

И.Е. Суриков

СОКРАТ

«Академический проект»
Москва, 2017

УДК 94
ББК 63.3(0)
С 90

Суриков И.Е.
С 90 Сократ. — М.: Академический проект, 2017. — 372 с. — (Всеобщая история: портреты Античности).
ISBN 978-5-8291-2134-1

Один из величайших философов в мировой истории, при этом за всю свою жизнь не написавший ни одного философского трактата. Признанный мудрец (сам Дельфийский оракул объявил его мудрейшим из людей!), говоривший всем «Я ничего не знаю». Бедняк безобразной внешности, постоянно окруженный толпой почитателей — знатных и богатых молодых красавцев. Человек глубоко религиозный, но осужденный на казнь по официальному обвинению в безбожии. Это — Сократ. О нем, наверное, слышал каждый, и биография его известна неплохо. Однако его деятельность и во многом парадоксальное учение порождают множество загадок.

В книге о знаменитом афинянине специалист по античной культуре, доктор исторических наук И.Е. Суриков предпринимает попытку приподнять завесу тайны над сложной и противоречивой фигурой героя (хотя личность Сократа в чем-то навсегда останется непостижимой).

Для студентов и преподавателей исторических, философских, культурологических специальностей и всех интересующихся историей и философией Античности.

УДК 94
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-8291-2134-1

© Суриков И.Е., 2017
© Оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2017

ЗНАКОМЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ

Сократ... Наверное, трудно найти человека, который не слышал бы это имя. Ведь оно принадлежит знаменитейшему, едва ли не самому известному из деятелей античной греческой культуры.

Сократ на первый взгляд кажется фигурой очень знакомой. О нем почти каждый хоть что-то сможет сказать. В первую очередь, конечно, вспоминают о том, что он — философ, мудрец. В этом смысле само имя Сократа, можно сказать, стало нарицательным, воспринимается как некий символ мудрости. И вполне закономерно: Сократ действительно входит в число крупнейших представителей мировой философии, тех, кто в наибольшей степени повлиял на ее развитие, прокладывая новые пути в «лабиринтах мысли».

Многим известно также, что Сократ жил и учил в Афинах — самом прославленном и блистательном городе Древней Греции, причем именно тогда, когда сами Афины находились в зените своего процветания, украшались великолепными памятниками искусства, подобно магниту притягивали интеллектуалов из самых разных мест. «Школой всей Эллады» (Фукидид. История. II. 41. 1)¹ назвал в эти годы Афины другой их выдающийся уроженец — Перикл, государственный деятель, вошедший в историю как автор того самого «афинского чуда». Афиняне в классическую эпоху (V–IV вв. до н.э.) впервые в мире создали политическую систему развитой демократии. В условиях этой демократии и протекала деятельность Сократа.

Да и оборвалась его жизнь по воле господствовавшего в государстве народа, демоса. Об этом тоже многие знают; не случайно, когда произносишь «Сократ», часто в памяти сразу же невольно всплывает: «цикута». Смертельный яд, приготовлявшийся из одноименного растения и служивший в античности для казни преступников. Сократ и цикута столь прочно ассоциируются потому, что философу выпала на долю именно такая судьба: народный суд демократических Афин приговорил его к смерти, и приговор был приведен в исполнение.

Известны даже людям, не занимавшимся специально античностью, и многие черты внешности Сократа, его образа жизни. Припомнят о том, что был он неказист собою, крайне неприспособлен в быту (недаром его нередко называли «босоногим мудрецом»), по стилю поведения — некий экстравагантный чудаковатый человек, удивлявший современников. Припомнят, конечно, и о том, что Сократ имел жену Ксантиппу, чей на редкость сварливый нрав вошел в поговорку...

Одним словом, Сократ, повторим, — фигура вроде бы знакомая, о которой довольно много знает даже неспециалист. О нем пишутся романы, ставятся пьесы, снимаются фильмы. Но это, так сказать, одна сторона медали. Другая же заключается в том, что Сократ — еще и один из самых загадочных исторических персонажей.

В этом-то и загвоздка. Обычно загадочными кажутся те личности из прошлого, о которых известно мало. О Сократе известно много (мало о ком из древних греков сохранилось такое же большое количество разнообразных сведений), но от этого быть загадкой он не перестает.

Как правило, чем больше мы узнаем о человеке, чем яснее нам становится его жизненный путь, — тем меньше в нем остается непонятного. Возьмем для сравнения Цицерона. Именно его — по той причине, что его имя, как и имя Сократа, тоже на слуху у всех.

Один просто слышал это имя. Другой знает, что его носитель — великий римский оратор. Третий может сообщить о нем кое-какие факты. Четвертый (допустим, ученый, долгие годы занимавшийся Цицероном) способен реконструировать его жизнь в деталях, на некоторых отрезках — с точностью чуть ли не до дня. Это возможно, потому что от Цицерона сохранился обширный сборник писем, которые он писал родным и близким. В общем, чем тщательнее изучаешь его биографию — тем меньше остается в ней «белых пятен».

Как ни странно, с Сократом — все наоборот. Чем пристальнее в него всматриваешься — тем хуже его понимаешь. И в какой-то момент осознаешь, что этот афинянин, с иронической усмешкой посматривавший на окружающий мир, загадочен не из-за недостатка информации о нем, а по существу, сам по себе. С ним связаны сплошные парадоксы.

* * *

И вот первый: Сократ — философ, одна из ключевых фигур в истории философии. Философы, к какому бы направлению и к какой бы манере мышления они ни принадлежали — будь то Платон или Аристотель, Кант или Гегель, Ницше или Хайдеггер, — всегда излагают свои учения в письменной форме, пишут и издают труды. Да и как иначе донести идеи до людей? И возможно ли вообще представить философа (тем более — великого философа), который никогда ничего не написал? Оказывается, один такой пример все-таки есть, и это именно Сократ². Свои мысли он высказывал исключительно в устной форме.

Судя по всему, это была его принципиальная позиция. Он формировался как личность в те годы, когда в Афинах происходил процесс

перехода от устного к письменному слову³. Письменность, только недавно начавшая распространяться в широких кругах граждан, воспринималась как некое новшество и — при общем консервативном настрое жителей античных государств — вызывала у многих недоверчивое, подозрительное отношение.

Сократа, конечно, никак не упрекнешь в закоснелом консерватизме; напротив, как мы увидим далее, это было именно то, против чего он всю жизнь боролся. И тем не менее его отношение к письменной культуре было достаточно сложным; мыслитель прекрасно видел не только «плюсы», но и «минусы», которые она с собой несет.

Вот как сам Сократ говорит об этом своему молодому другу и ученику Федуру (*Платон. Федр. 275а слл.*). Он, как с ним часто случалось, прямо на ходу придумывает историю, несущую глубокий смысл, и рассказывает ее собеседнику. Некий египтянин Тевт (тут, наверное, отразилось воспоминание о Тоте, древнеегипетском боге мудрости) изобрел знаки письменности, показал их фараону и спросил его мнения. Царь же ответил: «В души научившихся им они (письмена. — *И. С.*) вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать они станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

И дальше Сократ продолжает уже от себя: «Значит, и тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство и кто в свою очередь черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее,— оба преисполнены простодушия... В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде — и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе... Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущест-

веннее?.. Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать».

Эти слова Сократа сохранены его гениальным учеником — Платоном. В целом нет полной ясности, насколько тот образ «босоногого мудреца», который воссоздает Платон в своих произведениях, соответствует реальной личности Сократа. Это очень серьезная научная проблема, о которой еще будет подробно говориться ниже. Но, кажется, можно с уверенностью утверждать, что именно в процитированном месте Платон достоверно излагает мысли своего учителя.

Итак, мотивы, по которым Сократ не писал философских или каких-либо иных трудов, тут очень ярко и талантливо аргументированы. Кое с чем из сказанного даже и поныне можно согласиться. Письменность ухудшает память, говорит Сократ; она вселяет в людей мнимую мудрость, то есть ложную уверенность в собственной эрудиции, при том что на самом деле эрудиция эта поверхностна; с письменными произведениями невозможно столь же полноценное общение, как с живыми людьми, — они не могут ответить на вопросы, рассеять то или иное недоумение читателя...

В этом — весь Сократ! Для него философия была постоянным диалогом, непрекращающимся процессом совместного поиска истины. Спор участников этого процесса обязательно приводит к тому, что позиции их всех за время разговора неоднократно переменяются. В этом методе совершенно нет догматизма. И по сравнению с ним любое записанное и изданное сочинение неизбежно становится более догматичным, поскольку оно уже зафиксировано и неизменно. Сократу гораздо милее устное, живое общение учителя с учеником. Наверное, неуютно жилось бы этому философу в нашем современном мире, когда такое устное общение все больше сводится к минимуму, а учатся в основном по книгам...

Философ, никогда ничего не писавший, — этот феномен не может не порождать некий дискомфорт у историков философии: все-таки слишком уж это необычно. И поэтому иногда ставится вопрос: да правомерно ли вообще называть Сократа философом? Так, крупный отечественный ученый И.Д. Рожанский пишет о Сократе: «...он, скорее, был народным мудрецом, образ жизни и поведение которого производили не меньшее впечатление, чем содержание его высказываний»⁴.

Со второй частью этой формулировки можно безусловно согласиться, а вот относительно первой — возникают серьезные возражения. Сократ — «народный мудрец», то есть как бы не совсем философ (или совсем не философ)? Фигура, более схожая, например,

с представителями древней восточной мудрости? Да и в самой Греции были мудрецы — люди, которых именно так и называли современники и потомки. Солон, Хилон, Питтак, Фалес... Только жили и действовали они лет за полтора до Сократа, в первой половине VI в. до н.э.

Греки впоследствии пытались составить канонический перечень «семи мудрецов». Но у разных авторов этот список имеет не вполне одинаковый вид, так что всего мудрецов насчитывается не семь, а побольше — с десятков или с дюжину⁵. Мудрецы стояли у истоков эллинской мысли. Не случайно позднеантичный писатель Диоген Лаэртский начинает свой компендиум по истории философии именно с мудрецов, а потом уже переходит к собственно философам.

Мудрец по-древнегречески «софос», а философ — «философос». Дословно — «любомудр», любящий мудрость. В том-то и принципиальная разница: мудрец претендует на то, что он обладает мудростью, а философ не столь самонадеян: он лишь стремится к мудрости. Мудрец *знает*, философ *ищет*. Поэтому мудрецы высказывали свои мнения в форме кратких декларативных изречений, афоризмов, не утруждая себя тем, чтобы их доказывать.

Тем из мудрецов, который стоял всего ближе к философии, считается Фалес Милетский. Часто его называют даже первым философом в античной и мировой истории. Однако достоверно известно, что сам Фалес себя так никогда не называл, да и терминов «философ», «философия» в его время еще не существовало. По надежным свидетельствам, первым эти термины ввел Пифагор несколько позже, во второй половине VI в. до н.э. Вот как пишет об этом тот же Диоген Лаэртский:

«Философию философией [любомудрием], а себя философом [любомудром] впервые стал называть Пифагор... Мудрецом же, по его словам, может быть только бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть «мудростью», а упражняющегося в ней — «мудрецом», как если бы он изострил уже свой дух до предела; а философ [“любомудр”] — это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 12). Несомненно, прибегая к новому, неизвестному до него словоупотреблению, Пифагор сознательно и демонстративно противопоставлял себя «мудрецам»⁶.

Но дело даже не в названиях. Фалеса трудно считать философом прежде всего потому, что его манера мыслить и излагать свои мысли — еще вполне предфилософская. «Начало всего — вода», «мир одушевлен и полон божеств»... Сказано афористично, причем несколько темно и загадочно. А никаких объяснений не дается. Мудре-

цу должны внимать как пророку, а не требовать от него рациональных аргументов.

Называя Сократа мудрецом, можем ли мы утверждать, что он возвратился именно к этой древней традиции? Ни в малейшей мере! Нельзя представить себе ничего более противоположного сократовским приемам мышления. Для них характерно совершенно иное — стремление любой вопрос всесторонне обсудить, рассмотреть все *pro* и *contra*, привести доказательства в пользу различных точек зрения, взвесить их, выбрать наилучшее...

Вот слова самого Сократа — из его речи на суде: «...Мудрым-то оказывается бог... Человеческая мудрость стоит немногого или вообще ничего не стоит... Мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость» (*Платон. Апология Сократа. 23ab*). Нельзя не заметить здесь переключки с процитированным чуть выше мнением Пифагора.

У Сократа нет готовых рецептов, решения проблем рождаются в постоянном поиске. Он не знает, а ищет и сам это неоднократно подчеркивает. В этом смысле он никак не мудрец, а именно философ до мозга костей. В полной мере философскими являются и его терминологический арсенал, и методологии подхода к обсуждаемым темам — дедуктивная и индуктивная. В общем, вполне закономерно, что и сам Сократ называл себя не мудрецом, а философом, и современники воспринимали его именно так. А им, наверное, все-таки было виднее.

Вернемся к парадоксам, связанным с Сократом. Он, как мы уже знаем, — один из крупнейших, самых известных и самых характерных представителей античной цивилизации. А между тем он всем своим обликом чрезвычайно мало соответствовал классическим античным идеалам. Невысокий, полноватый, лысый, курносый, с глазами навывкате, с большим ртом...

В Древней Греции сформировались те понятия о человеческой (особенно мужской) красоте, которые, в сущности, разделяются нами и по сей день. В представлениях эллинов, этих основоположников мирового спорта, красивый мужчина — это хорошо натренированный (но, подчеркнем, не «перетренированный») атлет: высокий, стройный, мускулистый (однако без гипертрофированной мускулатуры: над современными культуристами греки только посмеялись бы), с правильными чертами лица. На этом фоне Сократ вопиюще не античен. По меркам своего времени он не то что некрасив — он просто уродлив.

От наблюдательного взгляда греков эти его черты, разумеется, укрыться не могли. Внешность Сократа бросалась в глаза, выделя-

лась в толпе; его каждый узнал бы издали. Конечно же, и сам философ вполне отдавал себе отчет в особенностях своей внешности. Сохранилось свидетельство, принадлежащее другому его ученику — Ксенофону, — о том, как Сократ на дружеской пирушке высказывался о собственном лице. Как всегда, иронически, с нотками юмора.

В разгар пира философ внезапно заявил, что он красивее возлежавшего⁷ рядом известного красавца Критобула. Тот, конечно, крайне удивился, между двумя мужчинами возник спор. Сократа попросили, чтобы он доказал свою точку зрения, и он начал:

«— Знаешь ли ты, — спросил Сократ, — для чего нам нужны глаза?

— Понятно, — отвечал он (Критобул. — *И. С.*), — для того, чтобы видеть.

— В таком случае мои глаза будут прекраснее твоих.

— Почему же?

— Потому что твои видят только прямо, а мои вкось, так как они навывкате.

— Судя по твоим словам, — сказал Критобул, — у рака глаза лучше, чем у всех животных?

— Несомненно, — отвечал Сократ, — потому что и по отношению к силе зрения у него от природы превосходные глаза.

— Ну, хорошо, — сказал Критобул, — а нос у кого красивее — у тебя или у меня?

— Думаю, у меня, — отвечал Сократ, — если только боги дали нам нос для обоняния: у тебя ноздри смотрят в землю, а у меня они открыты вверх, так что воспринимают запах со всех сторон.

— А приплюснутый нос чем красивее прямого?

— Тем, что он не служит преградой зрению, а позволяет глазам сразу видеть, что хотят; а высокий нос, точно издеваясь, разделяет глаза барьером.

— Что касается рта, — сказал Критобул, — я уступаю: если он создан, чтобы откусывать, то ты откусишь гораздо больше, чем я. А что у тебя губы толстые, не думаешь ты, что поэтому и поцелуй твой нежнее?» (*Ксенофонт*. Пир. 5. 5–7).

Как видим, под конец Критобул понял, что с ним шутят, и сам включился в игру. Однако у Сократа, как ни у кого другого, в каждой шутке есть доля истины. Так и тут: в основе подобных юмористических рассуждений — его взгляд, согласно которому прекрасно то, что полезно (так называемый прагматизм в эстетике).

* * *

Сократ — основоположник афинской (или аттической⁸) школы философии, которая была самой сильной в истории античной фи-

лософской мысли⁹. К ней принадлежали, в частности, такие «звезды первой величины», как Платон и Аристотель. Платон, как упоминалось, слушал самого Сократа, а Аристотель, в свою очередь, — Платона.

У «босоногого мудреца» имелось множество учеников, и почти каждый из них стал известным мыслителем, внес тот или иной вклад в развитие философии. А был ли сам Сократ чьим-либо учеником? Или же он — гениальный самоучка, научившийся философствовать без учителя? Ведь до него в Афинах не было или почти не было философов — местных уроженцев.

Но здесь перед нами — очередная загадка его жизни, которую вряд ли уместно подробно рассматривать здесь, в самом начале книги. Мы обратимся к ней в свое время. А пока просто процитируем его короткую реплику, обращенную к богачу Каллию, который кичился тем, что переплатил учителям много денег, дабы научиться мудрости: «Все ты насмехаешься и нас презираешь... На нас ты смотришь как на самоучек в философии» (*Ксенофонт*. Пир. 1. 5). Из-за того, что Сократ, как обычно, иронизирует, трудно понять правильный смысл его реплики. То ли он хочет сказать, что на самом деле не самоучка, то ли, наоборот, именно этим-то и гордится.

Еще один интересный нюанс. Сократ постоянно утверждал, что он ничего не знает. Часто ему даже приписывают известный афоризм: «Я знаю, что ничего не знаю». На самом деле это ошибка: именно такого выражения у Сократа мы нигде не встречаем¹⁰. Да оно и содержало бы в себе логическое противоречие. Похоже, так выражался другой философ, современник Сократа — Демокрит («я знаю только то, что я ничего не знаю» — *Демокрит*. фр. В 304 Diels — Kranz). Но Сократ, с его любовью к точности определений, четкости формулировок, вряд ли сказал бы такое. На самом деле выражался он значительно мягче, например, так: «...я, коли уж не знаю, так и не думаю, что знаю» (*Платон*. Апология Сократа. 21d).

Тем не менее необычен сам факт: человек, не стыдившийся признать свое незнание, тем не менее был постоянно окружен когортой преданных учеников, восторженно его слушавших. И он не прогонял их, как впоследствии прогонял, например, учившийся у него философ Антисфен, не желавший иметь последователей (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 21). Напротив, Сократ охотно общался с этими молодыми (а иногда — и не очень уже молодыми) людьми. Получается, считал, что ничего не знает, — и при этом учил?

И чему учил? Здесь мы выходим на новую большую проблему, тоже порождающую серьезные разногласия. Эта проблема свя-

зана как раз с учением Сократа, с тем, в чем оно заключалось, каковы были его основные положения. Можно сказать, что это вообще самый главный из «сократовских парадоксов»: все признают его одним из величайших философов, но никто не может толком изложить его философскую систему. Какой она была, да и была ли она в принципе? Порой даже по этому последнему вопросу высказываются сомнения. А ведь подобная неясность препятствует тому, чтобы понять истинное место Сократа в истории мысли, разгадать секрет его колоссального влияния.

Какие только точки зрения не выдвигались в попытке описать учение Сократа! Самые разнообразные, вплоть до крайних. На одном «полюсе» — позиция, воспринимающая всю дальнейшую античную философию как «развернутый комментарий» к сократовским идеям, их развитие. На другом — мнение, согласно которому Сократ вообще не имел сколько-нибудь внятно разработанного философского учения (оно, дескать, только позже было ему приписано его учениками и теми, кто хотел считать себя его учениками) и воздействовал на своих приверженцев исключительно своей личностью, своей манерой общения и т.п.

На это последнее предположение (а оно высказывается достаточно часто) наводит, помимо прочего, следующий ход мысли. Как уже говорилось, философов, учившихся у Сократа, было очень много. Мало кто из его античных «коллег» может с ним сравниться в этом плане. Но, что удивительно, эти ученики не только не составили собой какого-то единого философского направления — они говорили очень часто вещи прямо-таки противоположные. Одни признавали высший и постоянный мир идей — образец для нашего бренного мира, а другие даже и не думали ни о чем подобном; одни призывали до минимума ограничивать потребности, другие считали целью жизни наслаждение...

О каких-то из этих учений мы знаем в деталях, о каких-то хуже, о каких-то почти ничего. Но бросается в глаза, что они имеют очень мало общего между собой — а между тем вроде бы все восходят к Сократу. В чем же дело? Предположить ли, что одни слушатели «босоногого мудреца» его поняли, а другие — нет? Или же он к каждому из собеседников находил «индивидуальный подход», беседовал с ними по-разному, о разных вещах и с разными выводами?

Одним словом, парадокс следует за парадоксом. Обо всех названных здесь, а также и о кое-каких других нам неизбежно придется поговорить на протяжении этой книги, попытаться разобраться в них.

Конечно, о проблемах, связанных с философскими взглядами Сократа, мы будем стараться говорить так, чтобы это было понят-

но каждому образованному читателю. А главную цель книги видим в том, чтобы попробовать воссоздать, насколько возможно, многогранный и противоречивый образ этого странного, необыкновенного человека.

Иными словами, речь пойдет прежде всего о личности Сократа. Причем следует подчеркнуть, о его личности обязательно нужно говорить в контексте эпохи, в которую он жил. Сократ был плотью от плоти своего бурного времени и, наверное, только в это время он и мог появиться. Понять его можно только в том случае, если учитывать современные ему исторические события и процессы, культурное окружение, интеллектуальные течения, в которых он принимал самое активное участие.

О Сократе по понятным причинам написано чрезвычайно много. Есть работы о нем и на русском языке. Им занимались философы¹¹, юристы¹², историки¹³. Но все-таки никому не удалось сказать о Сократе все, что можно было бы. Не удастся это и нам. «Босоногий мудрец» в полном смысле слова принадлежит к числу фигур неисчерпаемых — таких, о которых сколько ни говори, все будет мало.

* * *

А завершим мы эту вводную главу цитатой, принадлежащей Грегори Властосу — видному специалисту по античной философии и автору одной из лучших в мировой науке книг о Сократе: «Он (Сократ. — И. С.) — человек “не от мира сего”: его мало заботят деньги, репутация, безопасность, сама жизнь, да и, в общем-то, все что угодно, кроме добродетели и нравственного знания. Но он — и не пришелец “из мира иного”: ему неизвестен этот вечный мир, с которым Платон ищет мистического единения»¹⁴.

МНОГОЛИКИЙ СОКРАТ

Говоря о Сократе, нам на протяжении всей книги придется постоянно обращаться к свидетельствам источников, то есть к произведениям античных авторов, которые в той или иной связи писали об этом афинском философе. Самыми важными и самыми достоверными из свидетельств, разумеется, оказываются те, которые принадлежат современникам — людям, которые лично видели «босоногого мудреца», общались с ним.

К счастью, таких сообщений современников о Сократе имеется немало, пожалуй, больше, чем о ком-либо другом из знаменитых древних греков. Излюбленным методом обучения, который практиковал Сократ, были беседы, диалоги, которые он вел со своими учениками — либо один на один, либо в небольшой группе¹. Этот прием ученики в полной мере восприняли и после казни своего наставника, стремясь запечатлеть, сохранить его духовный облик, писали свои труды также в форме философских диалогов, воспроизводящих разговоры с Сократом. Именно он чаще всего и выступал в таких диалогах в качестве главного действующего лица.

Диалоги сочиняли почти все мыслители, прошедшие школу Сократа. К сожалению, творчество лишь очень немногих из них дошло до наших дней в целостности и сохранности, произведения остальных сохранились только в форме немногочисленных, разрозненных фрагментов. Тем не менее даже и то, что есть ныне в распоряжении ученых, — это достаточно обширный корпус текстов, и они-то нами далее будут всегда использоваться. Часто из них будут приводиться цитаты, порой обширные, поскольку один из лучших способов узнать о людях и событиях — предоставить слово непосредственным свидетелям.

Самый же ранний письменный памятник, в котором повествуется о Сократе, имеет несколько чрезвычайно своеобразных особенностей. Во-первых, он появился еще при жизни Сократа. Во-вторых, представляет собой не философский или исторический труд, а литературное произведение, драму, в которой Сократ — один из героев. В-третьих, мыслитель изображен в этом произведении в резко отрицательном свете.

Великий афинский комедиограф Аристофан написал и поставил в 423 г. до н.э. комедию под названием «Облака». Однако успеха не имел, что явствует вот из какого обстоятельства. Театральные представления в Афинах проходили в форме конкурсов, состязаний меж-

ду авторами-драматургами. На конкурс комедий допускались три пьесы. «Облака» Аристофана были в числе этих трех и... заняли третье место, что равнялось провалу.

Автор, конечно, был недоволен и принялся за переделку своей драмы — с тем чтобы когда-нибудь потом вновь попытать счастья, выставить «исправленное» детище на суд афинской публики. Однако, насколько известно, так и не сделал это, возможно, даже не довел переделку до конца. Над второй редакцией «Облаков» Аристофан работал в 418–416 гг. до н.э., и именно эта вторая редакция дошла до нас.

У трудолюбивого, скуповатого крестьянина Стрепсиада — непутевый сын Фидиппид. Увлекаясь конскими бегами, он растрчивает отцовское имущество, наделал долгов. Стрепсиад долго раздумывает над тем, как бы беде помочь, и наконец находит средство — решает послать сына учиться. Но куда? Крестьянин уже и место подобрал:

Стрепсиад: Калиточку ты видишь, домик маленький?..

Мыслильня² это для умов возвышенных.

Здесь обитают мудрецы. Послушать их,

Так небо — это просто печь железная,

А люди в этой печке — словно уголья.

Того, кто денег даст им, пред судом они

Обучат кривду делать речью правою...

Фидиппид: А, знаю, негодяи бледнорожие,

Бахвалы, плуты, нечисть босоногая,

Дурак Сократ и Херефонт помешанный.

(*Аристофан. Облака. 92 слл.*)

Как видим, не слишком-то лестно уже в самом начале комедии отзывается одно из действующих лиц о Сократе и его окружении, из которого назван по имени Херефонт — один из самых преданных учеников «босоногого мудреца». Фидиппид не может понять, зачем это ему идти к ним на обучение. Отец объясняет.

Стрепсиад: Рассказывают, там, у этих умников

Две речи есть. Кривая речь и правая.

С кривою этой речью всяк, всегда, везде

Одержит верх, хотя бы был кругом не прав.

Так, если ты кривым речам научишься,

Из всех долгов, которым ты один виной,

Не заплачу я и полушки ломаной.

(*Аристофан. Облака. 112 слл.*)

Итак, Стрепсиад хочет, чтобы его сын научился секретам судебной демагогии, с этой-то целью и посылает его к Сократу. Однако Фидиппид наотрез отказывается, и старик скрепя сердце решается сам идти в «мыслильню» набираться ума.

У входа его встречает ученик-привратник и сразу же в порядке ознакомления упоминает о некоторых из «проблем», что исследуются в этом собрании мудрецов:

Ученик: Недавно Херефонта спросил Сократ:
На сколько ног блошинных блохи прыгают?
Пред тем блоха куснула Херефонта в бровь
И ускользнула на главу Сократову.

Стрепсиад: И как же сосчитал он?

Ученик: Преискуснейше!
Воск растопивши, взял блоху и ножками
В топленный воск легонько окунул блоху.
Воск остудивши, получил блошинные
Сапожки, ими расстоянье вымерил.

Стрепсиад: Великий Зевс! Не ум, а бритва острая!

Ученик: Что ж скажешь ты о новом изобретенье
Сократа?

Стрепсиад: О каком, скажи, прошу тебя?

Ученик: Мудрец сфетийский³ Херефонт спросил его,
Как мыслит он о комарином пении:
Трубит комар гортанью или задницей?

Стрепсиад: И что ж сказал о комарах почтеннейший?

Ученик: Сказал он, что утроба комариная
Узка. Через эту узость воздух сдавленный
Стремится с силой к заднему отверстию.
Войдя за узким ходом в расширение,
Из задницы он вылетает с присвистом.

(Аристофан. Облака. 145 сл.)

Итак, вот какого рода вопросы якобы обсуждает Сократ со своими учениками. Дальше прибавляется еще несколько пикантных подробностей.

Ученик: На той неделе истина великая
Погибла из-за ящерицы.

Стрепсиад: Как же так?

Ученик: В полночный час, исследуя движение
И бег луны, стоял он, рот разинувши.
Тут с крыши в рот ему наклала ящерка.

Стрепсиад: Смешно, Сократу в рот наклала ящерка!

Ученик: Вчера ж у нас еды на ужин не было.

Стрепсиад: Ну! ну! И пропитанье как промыслил он?

Ученик: Зашел в палестру, стол слегка золой покрыв,

Взял в руки вертел, циркулем согнул его

И осторожно... из палестры плащ стянул.

(*Аристофан*. Облака. 169 слл.)

Комический эффект достигается здесь тем, что в ткань вымысла вплетаются вполне реальные детали. Так, известно, что Сократ действительно любил учить в палестрах — помещениях для занятий спортом. Сообщается и еще об одной его необычной особенности: он мог внезапно встать на одном месте и, застыв, надолго задуматься (см., например: *Платон*. Пир. 175ab). Особенно красочно описан один такой случай тем же Платоном. Дело было во время военного похода, когда Сократ с другими солдатами жил в лагере.

«Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы — дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел» (*Платон*. Пир. 220cd).

Но вернемся к «Облакам» Аристофана. Наконец Стрепсиад видит в «мыслильне» и самого Сократа: тот расположился в подвешенном к потолку гамаке. Старик обращается к нему:

Стрепсиад: Сократушка!

Сократ: Чего ты хочешь, праха сын?

Стрепсиад: Скажи сначала, чем ты занимаешься?

Сократ: Паря в пространствах, мыслю о судьбе светил.

(*Аристофан*. Облака. 222 слл.)

Крестьянин вступает с философом в разговор и по привычке ввертывает «клянусь богами». Сократ заявляет, что богов у них в «мыслильне» не признают, а поклоняются облакам. Тут же появляется хор облаков (по нему и названа комедия), восхваляющий Сократа.

Предводительница хора облаков:

...Ты же тем нам приятен, что ходишь босой,
озираясь направо, налево,
Ходишь чванно и важно, в лохмотьях, дрожа,
вскинув голову, нас обожая.

(Аристофан. Облака. 362 сл.)

Старику, конечно, странно слышать это ниспровержение народных верований, он пытается их защитить.

Стрепсиад: Ну а Зевс? Объясни, заклинаю Землей,
нам не бог разве Зевс Олимпийский?

Сократ: Что за Зевс? Перестань городить пустяки!
Зевса нет!

Стрепсиад: Вот так так! Объясни мне,
Кто же дождь посылает нам? Это сперва
расскажи мне подробно и ясно...

Сократ: Да нисколько не Зевс. Это — Вихрь.

Стрепсиад: Ну и ну!
Значит, Вихрь! И не знал я, деревня,
Что в отставке уж Зевс и на месте его
нынче Вихрь управляет вселенной.

(Аристофан. Облака. 366 слл.)

Заметим сразу, что концепция мирового Вихря не имеет ровно никакого отношения к реальному Сократу, она — из арсенала ионийских натурфилософов более ранней эпохи⁴. Аристофановский же Сократ резюмирует.

Сократ: И не будешь иных ты богов почитать,
кроме тех, кого сами мы славим?
Безграничного Воздуха ширь, Облака
и Язык — вот священная тройца!

(Аристофан. Облака. 423 сл.)

Стрепсиад поступает в учение к Сократу, но вскоре тот его прогоняет за неспособность. А в качестве платы за обучение забирает плащ. Старик возвращается домой, к сыну, и там начинает ему излагать сократовскую мудрость, как он ее понял:

Стрепсиад: Нет никакого Зевса, мой сынок. Царит
Какой-то Вихрь. А Зевса он давно прогнал.
(*Аристофан*. Облака. 827 сл.)

В конце концов ему удастся все-таки уговорить Фидиппида, чтобы тот сам пошел поучиться в «мыслильню». Юноша проходит полный курс, и результат оказывается двояким. С одной стороны, теперь он, в совершенстве владея искусством демагогической речи, быстро отваживает от дома соседей-кредиторов. С другой же стороны, он начинает «угощать» отца тумакami. А когда старик возмущается, сын приводит логические аргументы в пользу того, что детям можно бить своих родителей.

Фидиппид: Сложеньем изощренных слов и мыслей я занялся
И доказать могу, что сын отца дубасить вправе.
(*Аристофан*. Облака. 1404 сл.)

Отчаявшийся крестьянин берет факел, идет и поджигает «мыслильню» Сократа, восклицая при этом:

Стрепсиад: Зачем восстали на богов кошунственно?
Следы Селены вы зачем пытаете?
Коли, руби, преследуй! Много есть причин,
А главное — они богов бесчестили!
(*Аристофан*. Облака. 1506 слл.)

Этим и кончается комедия. Нетрудно заметить, что тот образ Сократа, который в ней выведен, содержит целый ряд резких, грубых противоречий с действительностью. Сократ не занимался натурфилософией — объяснением законов природного мира (может быть, в молодости он и отдал дань этой дисциплине — вопрос является спорным и будет рассмотрен в одной из следующих глав, но, во всяком случае, ко времени постановки «Облаков» он давно уже сконцентрировался на изучении человека и общества). Не преподавал он и риторику, искусство красноречия. Ничто в идеях реального Сократа не позволяет заподозрить в нем атеиста, отрицающего существование богов. Далее, «босоногий мудрец» вел свои занятия не в какой-то специально оборудованной «мыслильне», а на улицах и площадях родного города, в палестрах, лавках, цирюльнях... Да и плату с учеников никогда не брал.

Насколько вообще этот образ философа, выведенный комедиографом⁷, заслуживает серьезного к себе отношения? Ясно, что это —

в полной мере карикатура. Хорошо известно, что афинская комедия V в. до н.э. (так называемая древняя аттическая комедия), крупнейшим представителем которой был Аристофан, обладала двумя важнейшими чертами. С одной стороны, она была обращена против личностей — реальных, конкретных личностей, которые зачастую выводились на сцене под своими собственными именами⁶. Среди «героев» пьес — виднейшие политики Перикл, Клеон и др., знаменитый поэт Еврипид. Неудивительно, что Сократ, личность в городе известная и привлекавшая внимание странностями своего поведения, тоже оказался одной из популярных «мишеней» для авторов комедий.

С другой стороны, комический жанр в рассматриваемую эпоху — это жанр с ярко выраженными элементами гротеска, фантастики и даже прямого абсурда. В комедиях Аристофана и его современников сплошь и рядом обыгрывались ситуации заведомо невозможные, такие, какие в реальной жизни не случаются никогда. Создавалась особая, «шутовская» картина мира. Или «карнавальная», как ее еще называют, опираясь на исследования выдающегося российского ученого-гуманитария М.М. Бахтина о «карнавальных» жанрах культуры, в которых все как бы выворачивается наизнанку⁷.

Смех древней комедии, ритуальный по своему происхождению, не должен был быть обидным. Так обычно считается, и, насколько можно судить, считается справедливо. На сцене высмеивались, допустим, те же Перикл или Сократ, актеры, изображавшие их, кривлялись и вызывали всеобщий хохот, а в это время те же самые Перикл и Сократ сидели среди зрителей, веселились и хлопали вместе с согражданами. Потому что понимали: на комедию обижаться нельзя, ее смех — пусть порой и едкий, и резкий, но в основе своей добрый, жизнеутверждающий.

Правда, в античной литературе встречается рассказ, согласно которому якобы Сократ, когда шло представление «Облаков» и он сам был в числе зрителей, в самом начале пьесы поднялся с места и стоял во весь рост до окончания. Что он этим хотел выразить — не вполне ясно, тут мнения расходятся, но понятно, что не положительные эмоции. Однако эпизод этот присутствует лишь у поздних авторов (например: *Элиан*. Пестрые рассказы. II. 13), которые от времен Сократа были отделены многими веками, а современники событий ни о чем подобном не говорят. Весьма велика вероятность того, что весь рассказ имеет чисто анекдотический характер, не содержит никакого зерна истины.

Итак, повторим, вроде бы на «проделки» комедиографов не принято было обижаться, а сами они не ставили перед собой задачу кого-либо обидеть. Впрочем, опять же не все так просто. Комедиограф

Гермипп из пьесы в пьесу осмеивал подругу Перикла Аспасию, а кончил тем, что подал на нее в суд (*Плутарх*. Перикл. 32). Политический деятель Клеон, раздраженный нападками на него в комедиях Аристофана, вступил с драматургом в открытый конфликт, по некоторым сведениям, даже поколотил его. Одним словом, почва для обид все-таки была. Во второй половине V в. до н.э. в Афинах даже один или два раза пытались законодательно запретить авторам комедий выводить в своих произведениях граждан под их подлинными именами, но, впрочем, эти попытки ограничить свободу слова в демократическом государстве не увенчались успехом⁸.

Как бы то ни было, образ Сократа, созданный в «Облаках», запомнился афинянам. Особенно тем из них, кто не давал себе труда вникнуть в тонкости философских учений. Они, бесспорно, считали Сократа вредным проповедником ложной мудрости — таким, каким его нарисовал Аристофан. Даже почти четверть века спустя — в 399 г. до н.э., когда судили Сократа, — память о шарлатане из «Облаков» в народе сохранялась, и Сократ был вынужден в своей защитительной речи на суде специально оговорить: «Вы и сами видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается там в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху, и несет еще много разного вздору, в котором я ничего не смыслю» (*Платон*. Апология Сократа. 19 с).

Однако сам Аристофан был, бесспорно, образованным человеком и, в отличие от массы зрителей, не мог не понимать, что он приписывает Сократу взгляды, которых тот не разделял. Значит, сделал это не по неосведомленности, а вполне сознательно. Следует ли предполагать личную неприязнь комедиографа к мыслителю? Вроде бы имеются основания именно так и считать. Насмешки над Сократом встречаются у Аристофана не только в «Облаках». Например, в пьесе «Птицы», поставленной позже, в 414 г. до н.э., имеется следующий совершенно уморительный пассаж. В нем речь идет — как обычно у Аристофана, в грубо-комической форме — о страшноватом античном обряде вызывания душ мертвецов с целью гадания (некромантии). По представлениям древних греков, для этого нужно было заколоть животное черного цвета (обычно овцу), чтобы души слетелись из подземного царства испить теплой крови, а заодно ответили на вопросы вызывающего. Именно так поступает, например, в гомеровской «Одиссее» заглавный герой. Наряду с Сократом в цитируемом отрывке упоминаются уже знакомый нам Херефонт, а также политик Писандр.

Есть в стране зонтиконогих
Неизвестное болото.

Грязный там сидит Сократ,
 Вызывает души. Как-то
 За душой, ушедшей в пятки,
 Прискакал туда Писандр.
 Он верблюду молодому
 Перерезал горло бритвой,
 Не Писандр, а Одиссей!
 Стал он ждать. Упырь явился
 И припал к верблюжьей крови,
 А упырь тот — Херефонт.

(Аристофан. Птицы. 1553 слл.)

Как видим, ничего не меняется. Сократ для Аристофана по-прежнему «грязный», а его друг Херефонт назван «упырем».

Однако имеется весьма важное свидетельство о том, что в жизни отношения Сократа и Аристофана не были омрачены никакой ссорой. В платоновском диалоге «Пир» изображено, как они пируют в одной компании, шутят, дружески спорят... А происходила эта описанная Платоном пирушка в 416 г. до н.э., то есть уже после постановки «Облаков» — в диалоге даже цитируется эта комедия (Платон. Пир. 221b), — но до «Птиц». Одним словом, проблема отношений Аристофана и Сократа, мотивов, по которым драматург дал столь искаженный и неприглядный образ философа, еще не может считаться решенной. Несомненно одно: изображение Сократа Аристофаном в целом не является аутентичным и на него нельзя некритически опираться при изучении деятельности «босоногого мудреца».

* * *

Но самая серьезная сложность, связанная с отражением личности Сократа в современных ему источниках, может быть обозначена так: «Сократ Платона и Сократ Ксенофонта». Оба названных здесь афинянина были учениками Сократа, оба общались с ним в последние годы его жизни. А потом их пути разошлись. И тот и другой прожили еще очень долго, и им была дарована яркая, незаурядная судьба.

Ксенофонт⁹ (445 или 430 — ок. 355 до н.э.) по происхождению был знатным аристократом. В 401 г. до н.э. он, не видя применений своим способностям в условиях демократии, принял решение покинуть Афины. Сократ к этому его выбору отнесся без одобрения, но, впрочем, и не отговаривал. Ксенофонт в составе отряда греческих воинов-наемников принял участие в авантюре персидского царевича Кира Младшего, который хотел свергнуть с престола своего стар-

шего брата — царя Артаксеркса II. Так начался «военный отрезок» биографии Ксенофонта.

Поход оказался нелегким. Проникнув в самое сердце Персидской державы, неподалеку от Вавилона эллины вступили в сражение с войсками Артаксеркса и одержали победу. Однако в битве погиб Кир, в результате все предприятие становилось лишенным смысла. Греческим наемникам пришлось с тяжелыми потерями, отбивая постоянные нападения врагов, отступать на родину, к морю. На протяжении этого многомесячного перехода Ксенофонт являлся одним из командиров отряда.

С 399 г. до н.э. он находился на спартанской службе, познакомился и очень сблизился с выдающимся полководцем — царем Спарты Агесилаем, почитателем которого оставался всю жизнь. Вскоре началась так называемая Коринфская война; в ней против Спарты выступала коалиция, в которую входили Афины. За то, что Ксенофонт в это время был на стороне врага, афиняне лишили его гражданских прав. Теперь путь на родину ему был закрыт, и он так никогда туда и не вернулся, хотя ближе к концу жизни и был амнистирован.

В 387 г. до н.э. Ксенофонт отошел от военных и государственных дел. Он поселился на Пелопоннесе (южная часть Балканской Греции), в зоне влияния спартанцев, которые за заслуги предоставили ему поместье, и вел отныне жизнь образцового сельского хозяина, а также занимался литературным творчеством.

Ксенофонт — один из самых плодотворных и многосторонних античных писателей. Его перу принадлежат произведения разных жанров и размеров, посвященные разнообразной проблематике. Главным трудом Ксенофонта считается «Греческая история», в которой описаны события конца V — первой половины IV в. до н.э. К ней примыкает «Анабасис» («Восхождение») — древнейшее из дошедших до нас произведений историко-мемуарного жанра: в нем автор очень ярко и живо рассказал о своем вышеупомянутом походе в Персию. Особняком среди книг Ксенофонта стоит «Киропедия» («Воспитание Кира») — квазиисторический утопический роман, в котором под видом повествования о деяниях древнего персидского царя Кира Старшего нарисован образ идеального правителя. Дошли до нас и другие работы. О чем только не писал Ксенофонт! О мерах по преодолению кризиса в экономике, о государственном устройстве Спарты, об обязанностях командира конницы во время военных действий, о тирании и о многом другом. Ему принадлежит чуть ли не первое в Греции произведение биографического жанра — хвалебное жизнеописание его друга, царя Агесилая.

Для нас будет наиболее интересна группа сочинений Ксенофонта, которые принято называть сократическими, потому что в них главным героем является Сократ. Основное из этих сократических сочинений — обширные «Воспоминания о Сократе», в которых автор вновь проявляет себя как мемуарист. К «Воспоминаниям» при- мыкают три меньших по размеру трактата: «Пир», «Домострой» и «Защита Сократа на суде»¹⁰. Все они тоже строятся вокруг фигуры Сократа. Сократические сочинения Ксенофонта написаны в основном в диалогической форме.

Ксенофонт — великолепный стилист, имеющий мало равных. Язык его произведений славился уже в античности (этого автора называли «аттической пчелой», уподобляя, таким образом, его творения меду), да и по сей день считается образцом грациозной простоты и ясности изложения. Что же касается содержания трудов Ксенофонта, то в древности он пользовался блистательной репутацией мудреца-энциклопедиста, авторитетного эксперта по самым различным сферам человеческой деятельности — от философии до псовой охоты (да, он и об этом тоже писал!). А вот суждение о нем современной науки значительно более скептично.

Как историк Ксенофонт отнюдь не смог достичь уровня своих великих предшественников — Геродота и Фукидида. Ему недостает ни глубины научного осмысления исторических событий и процессов, подменяемой чистой описательностью, ни критического, рационалистического подхода к находившимся в его распоряжении свидетельствам, ни элементарной объективности: его нескрываемые симпатии к Спарте нередко заставляют его умалчивать о тех или иных неблагоприятных фактах истории этого греческого государства или даже искажать их.

Не являлся Ксенофонт и оригинальным мыслителем, что особенно ясно видно именно на примере его «сократических» сочинений. Его мировоззрение в целом было вполне традиционным, отличалось чисто практическим характером житейской мудрости, отсутствием интереса к глубоким философским проблемам. Политическим взглядам Ксенофонта свойственны неприязнь к афинской радикальной демократии и однозначно позитивное отношение к жесткой, воензированной Спарте, а также обостренное внимание к различным формам монархического устройства, прежде всего к идеализируемой им персидской монархии.

Пожалуй, наиболее оригинальны экономические сочинения Ксенофонта: в них едва ли не впервые в античной общественной мысли исследуются практические способы совершенствования финансовой и налоговой политики в греческих полисах (городах-государствах), иными

словами, фактически закладываются первые основы политэкономии. Историческое значение трудов Ксенофонта обусловлено главным образом тем, что они стали важной ступенью в идеологической подготовке эпохи эллинизма, которой через несколько десятилетий после его смерти суждено было наступить в Восточном Средиземноморье.

Платон — несравненно более крупная фигура в истории мировой культуры, один из величайших мыслителей всех времен и народов. Платон¹¹ (427–347 до н.э.) родился в одном из древнейших и прославленных аристократических родов, был потомком полулегендарных афинских царей. В молодости он писал стихи, серьезно занимался спортом, мечтал о политической карьере, но однажды встретил Сократа, и эта встреча изменила всю его жизнь. Под влиянием «босоногого мудреца» этот представитель «золотой молодежи» обратился к философии, вошел в когорту сократовских учеников.

Казнь учителя глубоко потрясла молодого человека, на всю жизнь вызвав у него неприязнь к народовластию. Платон покинул Афины и много путешествовал: посетил Египет, в греческих городах Южной Италии познакомился с учением пифагорейцев, оказавшим большое влияние на развитие его взглядов. Несколько лет он прожил на Сицилии, при дворе тирана Сиракуз Дионисия Старшего, пытаясь обратить всемогущего властителя к добродетели. Но его старания оказались тщетными — в конце концов Дионисий приказал продать Платона в рабство; к счастью, друзья мыслителя выкупили и освободили его. Как ни парадоксально, даже это не убедило его в утопичности «сиракузского проекта»: он впоследствии еще дважды ездил к Дионисию Младшему — сыну Дионисия Старшего, унаследовавшему престол отца, — не теряя надежды воспитать-таки «правителя-философа». Стоит ли говорить, что успеха он все же не имел...

Однако главным делом Платона со временем становится преподавание философии. В 387 г. до н.э., возвратившись в родные Афины, он основал в его предместье известнейшую в Греции философскую школу — Академию, название которой с тех пор стало нарицательным. До конца жизни он возглавлял ее и воспитал многих мыслителей, в том числе таких выдающихся, как Аристотель. Платон много писал; излюбленным его жанром, как и у всех учеников Сократа, был философский диалог — с виду легкая, непринужденная беседа о сложнейших вопросах бытия. В своих диалогах Платон зарекомендовал себя не только великим философом, но и замечательным мастером художественного слова, одним из крупнейших античных писателей. Главное действующее лицо почти всех его диалогов, — естественно, тот же Сократ: именно устами покойного учителя, а по большей части не «от первого лица» Платон излагает и свое собственное учение.

Что же касается самого этого учения, то, если пока сказать о нем в очень кратких словах, хорошо известно, что Платон наиболее ярко и последовательно изложил основы философского направления идеализма и, по сути, стал его основоположником. Согласно главному платоновскому тезису, окружающий нас материальный мир есть лишь слабое отражение, бледный отпечаток мира самостоятельно существующих идей — духовных, невидимых, но постигаемых умом прообразов всех вещей. Мир идей строится по принципу пирамиды; на самом верху ее находится высшая идея — идея блага, или добра, правящая миром.

Платон признает существование души, считает, что она несет посмертное воздаяние за добрые поступки и грехи, совершенные при жизни; он учит о переселении душ из тела в тело в соответствии с добродетелями и пороками той или иной души. В области политической мысли Платон в больших диалогах «Государство» и «Законы» выступил сторонником жесткого, тоталитарного государственного устройства с элементами общности имущества, со строгой регламентацией всех жизненных проявлений индивидов, с полуказарменным образом жизни.

А теперь — еще один чрезвычайно интересный нюанс. Итак, и Ксенофонт, и Платон писали диалоги о Сократе. Круг других действующих лиц в этих диалогах у обоих авторов тоже часто пересекается, что вполне естественно: отнюдь не безграничной была та культурная среда, в которой вращался «босоногий мудрец»; напротив, учитывая очень небольшие по современным меркам размеры афинского государства, эта среда была весьма узкой, представляла собой набор одних и тех же конкретных людей.

На этом фоне не может не удивить, что Платон и Ксенофонт друг для друга как бы не существуют. Платон не упоминает Ксенофонта, а Ксенофонт только однажды, мимоходом называет имя Платона (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. III. 6. 2*); создается полное впечатление сознательного взаимного игнорирования. Ибо как иначе объяснить этот странный факт? Ведь не можем же мы всерьез предположить, что два афинянина, почти ровесники (да пусть даже и не ровесники — это не имеет принципиального значения), в одно и то же время слушавшие беседы Сократа, не были лично знакомы друг с другом.

Правда, иногда предлагается следующее объяснение: да, Сократ общался со многими, но он-де имел также «ближний круг» учеников и только его членам раскрывал свои самые заветные мысли. Платон принадлежал к этому «ближнему кругу», а Ксенофонт — нет. Однако это предположение натывается на значительные сложности.

Во-первых, само наличие у Сократа двух учений — так сказать, для «внешнего» и «внутреннего» употребления — еще нужно серьезно доказывать. Хорошо известно, что в случае с Платоном именно так и было: с одной стороны, публичные лекции для «непосвященных», с другой — более глубокий разбор вопросов в малой группе ближайших последователей. У Платона было и два типа сочинений — экзотерические (направленные «вовне») и эзотерические (не предназначенные для выхода за пределы школы, фактически тайные). К сожалению, последние почти не сохранились, и подавляющее число имеющихся в нашем распоряжении платоновских диалогов принадлежит к экзотерической литературе. И это тоже вполне естественно: потому-то эзотерические труды и не дошли до нас, что они не разглашались.

Одним словом, у Платона имелись и «ближний круг», и тайное учение для него. Но что дает нам право предполагать, что сказанное можно относить также и к Сократу? По методам обучения он очень сильно отличался от Платона, «засевшего» в своей Академии; весь его образ жизни был куда более публичным...

Но даже если допустить, что верна гипотеза о пресловутом сократовском «ближнем круге», в который Платон входил, а Ксенофонт не входил, — все-таки это ни в малой мере не объясняет игнорирование ими друг друга в своих сочинениях. Потому что, повторим, не быть знакомы они не могли.

Приходит в голову несколько другое объяснение рассматриваемого факта: а нельзя ли предположить некую конкуренцию между Платоном и Ксенофонтом, их борьбу между собой за философское наследие учителя? Это кажется нам вполне возможным и подтверждается вот еще какой немаловажной деталью — совпадением названий некоторых произведений двух авторов. У Платона есть диалог «Пир» — и у Ксенофонта есть диалог «Пир». Платон написал «Апологию Сократа» — и среди сократических сочинений Ксенофонта имеется небольшой трактат с таким же названием.

Предположить, что такие совпадения чисто случайны, никак невозможно. Нет, налицо несомненная перекличка, предполагающая полемику. Крайне интересно было бы знать, чей из двух «Пиров» и чья из двух «Апологий» появились на свет первыми, а чьи, напротив, явились откликами, и прочесть их все под углом этого знания. Многое стало бы яснее. Но, увы, знать этого нам не дано, возможны только произвольные догадки, а они не приближают к истине. Правильно писал наш выдающийся филолог С.И. Соболевский: «Спор об этом идет уже более 100 лет; то одно мнение берет верх, то другое. И за то и за другое мнение высказывались крупные ученые. Уже от-

сюда видно, что вопрос этот неразрешим, так как никаких указаний на время написания нет ни в том, ни в другом сочинении, а сходные места в них можно с одинаковой вероятностью объяснять заимствованием Платона у Ксенофонта и Ксенофонтом у Платона»¹².

Но можно ли было спорить с оппонентом, при этом даже не упоминая его? Да, в античности такое вполне практиковалось. Например, в предыдущем поколении перед Ксенофонтом и Платоном выдающийся историк Фукидид — тоже афинянин — именно так, не называя по имени, полемизировал со своим великим предшественником Геродотом¹³. К подобному приему обращались в тех случаях, когда, с одной стороны, уважали человека и не хотели его обижать, поминная имя его всеу, а с другой — не могли с ним согласиться и желали отстоять свое право на истину.

А Платону и Ксенофону было в чем не соглашаться...

* * *

Дело в том, что Сократ в изображении этих двух его учеников — это, в сущности, два разных, непохожих друг на друга Сократа. То есть, конечно, имеются и совпадающие моменты, иначе и быть не может. В том, что касается внешности Сократа, манеры его поведения, ряда внешних фактов биографии, таких, как участие философа в военных походах, суд над ним, казнь и т.п., — сведения Платона и Ксенофонта в основном не расходятся. Однако образ его личности и, главное, представление о его учении у двух названных авторов предельно различны.

Несколько упрощая (из дальнейшего будет ясно, что на самом деле ситуация сложнее и богаче нюансами), пока можно так сформулировать суть отличия: Сократ Платона — вдохновенный парадоксалист, решительный противник устоявшихся догм, при каждом удобном случае сокрушающий их, а Платон Ксенофонта — скучноватый резонер, вещающий в основном избитые трюизмы. Большой контраст даже трудно себе представить.

Чем он обусловлен? И кто из двух писателей ближе к истине? Обычно считается, что все-таки Платон. И в целом такое суждение, безусловно, верно. Но о Ксенофонте порой можно встретить такое суждение: он, дескать, был человеком военным и, следовательно, недалеким. А вот это — сильное преувеличение, с которым трудно согласиться. Мы уже видели, что Ксенофонт — разносторонний автор с широким кругом интересов, вовсе не сводившихся к делам войны. Свойственны ему были и острый ум, и умение изящно изложить свои мысли. Впрочем, в целом склад мировоззрения Ксенофонта, как мы уже говорили выше, все-таки не был философским, скорее практиче-

ским. Тонкости и сложности проблем, возникающих при обдумывании законов бытия, были ему чужды.

Итак, в качестве главного и наиболее достоверного источника для постижения Сократа и его философствования мы выбираем сочинения Платона? Но стоит нам сделать этот выбор — и мы оказываемся перед новой серьезнейшей трудностью: оказывается, что у самого Платона Сократ неодинаков!

Платон прожил около восьмидесяти лет, его творческая деятельность развертывалась на протяжении полувека. Десятки произведений, написанных им за это долгое время, в научной литературе принято делить на три группы: ранние (их еще называют сократическими), средние и поздние. В поздних работах Платона Сократ либо вообще не появляется (как в самом большом его трактате — «Законы»), либо находится на вторых ролях. Таким образом, в том, что касается изображения «босоногого мудреца», сравнение приходится проводить между ранними и средними платоновскими диалогами.

Такое сравнение сразу же выявляет ряд принципиальнейших различий. Грегори Властос, наиболее скрупулезно занимавшийся рассматриваемым вопросом, считает, что этих различий — десять. Он формулирует их следующим образом¹⁴ (мы не цитируем Властоса дословно, а пересказываем его тезисы своими словами, в ряде случаев расширяем их необходимыми пояснениями):

1. Сократ, как он изображен в ранних диалогах Платона, — философ, интересующийся исключительно моральной проблематикой; Сократ, выведенный в средних диалогах, помимо этики, обсуждает также проблемы метафизики, эпистемологии, философии науки, философии языка, религии, образования, искусства — одним словом, выступает в роли мыслителя-энциклопедиста.

2. Сократ средних диалогов имеет грандиозную метафизическую теорию, основными элементами которой являются представления об отдельно существующем мире идей, о предвечной душе, предшествующей телу, о знании как припоминании (это, собственно, и есть теория самого Платона); Сократ ранних диалогов подобной теории не имеет.

3. Сократ ранних диалогов заявляет, что он не имеет знания и хочет его найти — посредством диалогов с собеседниками, посредством споров; Сократ средних диалогов уверен, что знание он имеет, и делится им с другими.

4. В учении Сократа средних диалогов человеческая душа сложно структурирована, доказывается ее трехчастная модель (область ума, область эмоций, область вожделений); у Сократа ранних диалогов ничего подобного мы не находим.

5. Сократ средних диалогов хорошо изучил математику; Сократ ранних диалогов ею вообще не интересуется.

6. Вся концепция философского знания у Сократа средних диалогов является элитистской, то есть основана на том, что только немногим избранным дано постичь истину; Сократ ранних диалогов, напротив, — философ эгалитарный (по выражению Властоса, «популистский»), и никакого пренебрежительного снобизма по отношению к «бессмысленной черни» у него нет.

7. Сократ средних диалогов обладает продуманной, детально разработанной политической теорией, и теорию эту тоже отнюдь не назовешь демократической, демократия выступает в ней в качестве одной из худших форм государственного устройства; Сократ ранних диалогов подобной теорией не обладает, а на уровне практических, жизненных взглядов предпочитает родные демократические Афины всем другим государствам с любыми политическими системами.

8. Ни в ранних, ни в средних платоновских диалогах Сократ не отрицает однополый любви, напротив, считает ее более высокой, нежели любовь между представителями разных полов. Нас такой взгляд может с непривычки шокировать, однако для античных греков он был нормой¹⁵, и о гомоэротизме Сократа и его окружения нам еще волей-неволей придется подробнее говорить в дальнейшем. Однако отличие и здесь налицо: гомоэротизм Сократа средних диалогов имеет трансцендентную основу, а о Сократе ранних диалогов этого нельзя сказать.

9. Религиозные взгляды Сократа ранних диалогов отличаются этическим и деятельным характером, а религиозные взгляды Сократа средних диалогов — характером мистическим и созерцательным.

10. Метод философского исследования у Сократа ранних диалогов диалогичен, а у Сократа средних диалогов — скорее дидактичен. Строго говоря, нам кажется, что это последнее отличие можно было бы и не выделять специально, поскольку оно по существу совпадает с тем, которое обозначено номером 3. Но, очевидно, Властосу хотелось, чтобы у него в итоге получилась «круглая цифра».

Итак, нетрудно убедиться, что перед нами действительно два разных мыслителя под одной «сократовской маской». Какой же из них соответствует истинному Сократу? Согласно абсолютно общепринятой точки зрения, только в ранних диалогах Платон изображает своего учителя аутентично. Не случайно эти платоновские сочинения и называют сократическими. В них мы еще, так сказать, в большей степени слышим Сократа, чем самого Платона. А потом ситуация меняется, причем в нескольких отношениях.

С одной стороны, чем больше времени проходит после смерти «босоногого мудреца», тем сильнее стираются в памяти его гениального ученика представления о том, чему и как он в действительности учил. И это вполне естественно, поскольку память человеческая небезупречна, а обнаружить и исправить ее погрешности с помощью обращения к трудам самого Сократа было невозможно, поскольку, как мы знаем, таких трудов и не существовало.

С другой стороны, Платон постепенно оказывается полностью во власти собственной грандиозной философской системы, и он, сознательно или бессознательно, не может удержаться от соблазна вложить эти свои взгляды в уста покойного Сократа, приобретая себе тем самым авторитетного союзника. Иными словами, на этом этапе под видом Сократа мы слышим уже самого Платона.

Однако изложенная здесь концепция имеет и свои слабые места; все опять же оказывается гораздо сложнее. Датировка многочисленных произведений, сохранившихся под именем Платона и составляющих огромный свод (в русском переводе он занимает четыре увесистых тома), их расположение в хронологическом порядке — вопрос очень спорный; по нему до сих пор не достигнуто согласия между исследователями, высказываются различные точки зрения. Платон не ставил никаких дат под своими диалогами; в результате, чтобы определить время написания того или иного из них, приходится прибегать к весьма косвенным соображениям, которые подчас являются произвольными, убеждают одних участников спора и не убеждают других. Более того, вполне вероятно, что какие-то сочинения, хоть и числятся среди платоновских, но на самом деле таковыми не являются, то есть написаны другими людьми. Дискуссия о хронологии и подлинности трудов Платонова корпуса идет уже со времен поздней античности, то есть около двух тысяч лет, и конца-края ей не видно.

Продемонстрируем это на конкретном примере. Очень важен для воссоздания внутреннего облика Сократа платоновский диалог «Критон». В нем рассказывается о том, как Сократ, уже осужденный на смерть и ожидающий в тюрьме приведения приговора в исполнение, решительно отвергает предложения друзей организовать его побег, утверждая, что честный гражданин должен всегда свято подчиняться законам отечества, даже если считает, что с ним поступили несправедливо.

«Критон» традиционно относят к самым ранним платоновским диалогам, написанным непосредственно после «Апологии Сократа», которую считают вообще первым произведением молодого философа. Соответственно, и в собраниях сочинений Платона «Критон»

обычно помещается сразу вслед за «Апологией», на втором месте. Однако на самом деле единственное основание для такой датировки — тематическая близость: в «Апологии» речь идет о суде над Сократом, в «Критоне» — о событиях, имевших место вскоре после суда. А такое основание очень уж шатко и ненадежно. Например, было время, когда к той же группе относили диалог «Федон», исходя из того, что в нем рассказывается уже о самой казни «босоногого мудреца». Иными словами, как «Критон» продолжает «Апологию», так «Федон» является продолжением «Критона». Выстраивается своеобразная трилогия: суд — тюрьма — казнь...

Однако на сегодняшний день мнения о раннем написании «Федона» никто уже не придерживается. Этот диалог, в котором излагается уже развитое учение о душе, ныне относят к среднему периоду творчества Платона. С тем же успехом и «Критон» вполне может принадлежать к числу его средних, а не ранних диалогов. Мы лично склоняемся к тому, что даже не средних, а поздних: в «Критоне» главная проблематика связана с законами и законностью, а эти вопросы особенно волновали Платона на склоне лет, в последний период его творчества¹⁶. Более того, даже в самом том факте, что «Критон» принадлежит перу Платона, нет полной уверенности. Существует мнение, согласно которому он был создан всего лишь в рамках его школы¹⁷, то есть реальный автор диалога — кто-то из учеников Платона, человек, который лично с Сократом знаком не был.

Вдаваться во все эти хронологические тонкости потребовалось нам для того, чтобы поставить вопрос: может ли тот же «Критон» использоваться как аутентичный источник для изучения личности и взглядов Сократа? Если это ранний диалог — то, безусловно, может. Если средний — может, но с серьезными оговорками. Если поздний — почти не может. Если сочинение вообще написано не Платоном — то и отношение к нему должно быть соответствующее. Одним словом, от решения проблемы датировки зависят существеннейшие вещи! А с датировкой, как видим, никакой ясности нет. Мы показали это на примере «Критона», но на самом деле аналогичные сложности сопряжены почти с любым платоновским сочинением.

Создается впечатление, что зачастую ученые, пытаясь реконструировать хронологию творчества Платона, как бы вращаются в «порочном круге». Достоверность образа Сократа в том или ином диалоге оценивают в зависимости от того, насколько этот диалог ранний или поздний. А саму эту последовательность выводят из того, каким в диалоге изображен Сократ.

Разумеется, нельзя ставить под сомнение само наблюдение, что со временем Сократ под пером Платона менялся. И с этим, кстати,

тоже связаны новые трудности для исследователя. Так, огромный диалог-трактат «Государство» писался на протяжении нескольких десятилетий. Автор оставлял работу над ним, увлеченный другими делами, потом вновь к нему возвращался. Вполне естественно, что Сократ в начале «Государства» и Сократ в его конце уже не похожи друг на друга. И это в рамках одного произведения!

И еще один момент. Самый, так сказать, классический и хрестоматийный образ Сократа — тот самый, который встает перед глазами каждого, кто произнесет его имя, — это тот образ, который мы находим в трех знаменитых диалогах Платона — «Федон», «Пир» и «Федр». Все три являются не только вершинами философской мысли, но и шедеврами художественного слова. Сократ в них обрисован настолько ярко, колоритно, убедительно, что при чтении интуитивно возникает полная убежденность: да, именно таким он и был, этот «босоногий мудрец». А между тем перечисленные произведения заведомо относятся не к раннему, а к среднему периоду деятельности Платона. Поневоле задумаешься: а верен ли исходный тезис о том, что при написании биографии Сократа нужно опираться в первую очередь на ранние платоновские диалоги?

* * *

В любом случае, перед нами — уже интрига. У Аристофана — один Сократ, у Ксенофонта — совершенно другой, а у Платона, как выясняется, этих Сократов даже несколько... А ведь нужно помнить еще и о том, что Сократов было бы еще больше, сохранись до нашего времени многочисленные утраченные сочинения, написанные другими современниками Сократа. Тем более что среди последних были и его сторонники, как Эсхин Сократик, и его противники, как софист Поликрат...

Впрочем, по большому счету ситуация не столь уж и поразительная. *Quot capita, tot sententiae*, «сколько голов — столько мнений», говорит латинская пословица. Любой большой человек, возвышающийся над уровнем массы, вызовет к себе неоднозначное отношение, и суждения о нем обязательно будут разноречивыми. Да и в целом одна из особенностей человеческой психики заключается в том, что один лучше удерживает в памяти одно, а другой — другое, и каждый — то, что ему ближе.

Скажем, уже множество раз отмечалось, что образ Иисуса Христа в описаниях евангелистов несколько разнится. В особенной степени это относится к Евангелию от Иоанна сравнительно с тремя остальными («синоптическими») Евангелиями. Сторонники «научного атеизма» даже использовали этот факт как один из важных ар-

гументов в пользу того, что основатель христианской религии — персонаж вымышленный, а не историческая личность.

Этот довод на самом деле крайне слаб. Скорее уж наоборот: если бы все совпадало до деталей, то можно было бы заподозрить авторов в «предварительном сговоре». А в норме, как известно, расспросив нескольких людей об одном и том же событии (любом), мы никогда не услышим двух одинаковых рассказов. Зачем углубляться в древность? Даже и в наши дни зачастую случается, что, прочтя о каком-нибудь видном политическом лидере в пяти газетах, мы как бы познакомимся с пятью разными политиками.

Кстати, не случайно мы здесь для сравнения с Сократом упомянули именно о Христе. В дальнейшем нам еще предстоит увидеть, что между этими двумя великими героями духовной истории человечества парадоксальным образом обнаруживается целый ряд черт пересечения. Сократа иногда даже называют «языческим Христом».

Итак, приходится мириться с тем, что в свидетельствах о «бо-соногом мудреце», принадлежащих знакомым с ним лицам, немало разногласий и противоречий. Эту особенность даже можно из препятствия на нашем пути обратить, напротив, в «плюс», в подспорье, которое поможет воссоздать более многогранный, а значит, и более приближенный к действительности по сравнению с какой-нибудь од-номерной идеализирующей картинкой облик философа.

По сравнению с сообщениями современников уже меньшее значение имеют рассказы тех античных авторов, которые жили позже и не могут считаться первоисточниками. Меньшее — но все-таки совсем не считается с ними тоже нельзя. Так, в следующем за Ксенофонтом и Платоном поколении о Сократе писал такой мощный ум, как Аристотель. Лично знать Сократа он, понятно, не мог, поскольку родился через пятнадцать лет после его смерти. Поэтому о чертах Сократа как человека мы у Аристотеля почти ничего не находим, зато встречаем ценные замечания о сократовском учении, позволяющие многое расставить по своим местам, сделать нужные акценты, выявить главное при определении вклада мыслителя в развитие античной философии. Все это сделать довольно трудно, если ограничиваться только диалогами Платона — блестящими по форме, глубочайшими по идеям, но порой несколько хаотичными по способу изложения.

В пользу Аристотеля в данном случае то, что это был исключительно дисциплинированный, систематизирующий ум. Правда, опять же нельзя не поставить вопрос: откуда узнавал он о теориях Сократа, которые — повторим снова и снова — не были изложены их творцом в письменном виде? Аристотель был учеником Платона, много лет провел в возглавляемой им Академии. Очевидно, именно к Пла-

тону и академическим кругам восходит та информация о Сократе, которую он до нас сохранил.

Пользовался ли он, помимо того, какими-либо дополнительными, независимыми от Платона источниками? В принципе, возможность такая у него вполне была. В Афинах продолжали жить и другие ученики «босоногого мудреца», некоторые из них создали собственные школы. Отношения между ними, впрочем, были далеки от идеальных — шла пресловутая борьба за наследие наставника, каждая из школ старалась показать, что именно она в наибольшей степени отвечает сократовским идеалам, а остальные их искажают. Так, Антисфен, в молодости слушавший Сократа, а впоследствии основавший скандально знаменитое философское направление кинизма, написал против Платона — своего же бывшего сотоварища — обличительный памфлет с издевательским названием «Сафон» (от древнегреческого слова *sathe*, имевшего непристойное значение).

Однако, похоже, то, что Аристотель знал о Сократе, все-таки в основном восходит к Платону и Академии. Просто он дал наиболее четкие формулировки и, как считается, точнее всех оттенил те новшества в истории философской мысли, которые связаны с именем Сократа.

Конечно, писали о нем и античные авторы более позднего времени. Так, известный биограф и моралист Плутарх, чья деятельность приходится на вторую половину I — начало II в. н. э., оставил трактат под названием «О демонии Сократа». Демоний — это голос божественного происхождения, который, по утверждению Сократа, ему доводилось слышать. О загадке сократовского демония — одной из самых интересных тем, связанных с жизнеописанием «босоногого мудреца», — мы еще будем подробно говорить ниже. Сочинение с похожим названием — «О боге Сократа», — но только на латинском языке, было у римского писателя Апулея, жившего тоже во II в. н. э., но в его второй половине.

Особенно следует сказать о Диогене Лаэртском — ученом рубежа II–III вв. н. э. Ему принадлежит единственная дошедшая до нас из античности относительно полная история философии, в которой имеется и довольно большая глава о Сократе (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 18–47*).

Труд Диогена весьма своеобразен. Читать его интересно и увлекательно, но использовать в качестве достоверного источника довольно затруднительно. Для этого автора характерна хаотичная эрудиция; в его повествовании немало неточностей и ошибок, зачастую налицо недопонимание взглядов тех мыслителей, о которых он пишет. Многие сведения, приводимые им, основаны не на фактах, а на

анекдотах и сплетнях. В конце концов, не стоит забывать о том, что Диогена отделял от Сократа огромный, многовековой хронологический промежуток — почти такой, как от нас до Куликовской битвы.

Но все же определенную ценность для реконструкции биографии Сократа произведение Диогена Лаэртского имеет. В частности, мы должны быть ему благодарны уже за то, что он сохранил для нас подлинный и дословный текст обвинительного акта против Сократа — в том виде, как этот документ официально зачитывался на суде над философом.

В заключение же этой главы подчеркнем: все-таки главное значение для изучения жизни и взглядов Сократа имеют сочинения Платона и Ксенофонта. Все остальные источники по сравнению с ними являются периферийными.

СЫН КАМЕНОТЕСА И ПОВИТУХИ

Афины возрождались из пепла.

Прошло около десятилетия с тех пор, как они дважды (в 480 и 479 г. до н. э.) были разорены и сожжены огромным персидским войском. Персы, ведомые Ксерксом — «великим царем, царем царей, царем четырех стран света, и прочая, и прочая...» (примерно так звучал пышный титул их монарха), — оставили на месте одного из крупнейших городов Эллады обугленные руины.

Однако захватчикам и самим не поздоровилось. Разгромленные вначале на море (в проливе у острова Саламин), а затем и на суше (в битве при городке Платеи), они вынуждены были позорно ретироваться с Балканского полуострова. Греки же перешли в наступление. Теперь их главной задачей становилось полное вытеснение врага из бассейна Эгейского моря: еще многие острова и прибрежные города оставались под контролем Персии. Именно Эгеида отныне стала основным театром военных действий, хотя, случалось, греческие эскадры заплывали и дальше на восток.

Вполне закономерно, что в эти годы, в эпоху Греко-персидских войн (500–449 гг. до н. э.) самыми знаменитыми и влиятельными людьми в Афинах были крупные полководцы, победители в боях. Впрочем, один из них, Фемистокл, автор саламинского триумфа, оказался в немилости у демоса (за то, что, дескать, чрезмерно превозносился) и около 470 г. до н. э. был изгнан из города. Его вечный соперник — политик и военачальник Аристид, за неподкупную честность и принципиальность снискавший себе прозвание «Справедливого», — отошел от активной деятельности. На ведущее же место в государстве выдвинулся третий лидер — Кимон¹.

Этот знатнейший аристократ, выходец из древнего рода Филаидов и сын другого героя войн с персами — Мильтиада, еще в 490 г. до н.э. разгромившего их при Марафоне, — ныне являлся, вне сомнения, «первым человеком» в Афинах, на протяжении ряда лет фактически осуществлял верховное командование вооруженными силами. Его выдающийся полководческий талант развернулся во всем своем блеске.

На первую половину 460-х гг. до н. э. (точную дату установить не удастся — от 469 до 466 г. до н. э.) пришлось самое эффектное из военных свершений Кимона, поставившее его просто-таки на недосяга-

емую высоту. Речь идет о сражении при Евримедонте; в ходе Греко-персидских войн эта победа стала самой крупной и самой громкой со времен Саламина и Платей.

Афинянам стало известно, что в устье речки Евримедонт (на юго-западном побережье Малой Азии) концентрируются крупные силы персов — как морские, так и сухопутные,— явно предназначенные для вторжения в Эгеиду. Кимон решил нанести упреждающий удар и во главе флота, насчитывавшего около 200 триер, внезапно прибыл к месту дислокации персов, застав противника врасплох.

Персы в сложившейся ситуации медлили, ожидая дополнительных сил: им было известно, что из Финикии на помощь идет еще одна эскадра кораблей. Кимон же, напротив, отнюдь не медлил, а действовал со всей возможной быстротой и оперативностью, атаковав превосходящие силы врага. Вначале в морском бою он полностью разгромил базировавшийся у Евримедонта персидский флот, состоявший почти из 350 судов; части этих последних удалось бежать с поля сражения, но до 200 кораблей попали в плен. Затем Кимон, высадившись на берег, нанес поражение сухопутному войску персов и захватил их лагерь. Но и этим дело еще не кончилось: афинский командующий сразу же снова вышел в море и разбил подходившую к Евримедонту и упоминавшуюся выше финикийскую эскадру из 80 судов. Итак, в один и тот же день была одержана «тройная» победа! Случай беспрецедентный в истории античного военного искусства.

Битва при Евримедонте принесла афинянам много пленных (до 20 тысяч) и обильную добычу. В результате этой и других побед Кимона Афины, еще недавно опустошенные и разграбленные, быстро стали чрезвычайно богатым городом². Резкое улучшение финансового положения позволило приступить к активной строительной деятельности. Город и укреплялся, и украшался.

Так, именно при Кимоне началось возведение знаменитых «Длинные стены» — системы оборонительных сооружений, связавшей Афины своеобразным «коридором» с портом Пиреем и тем самым сделавшей их всегда обеспеченными подвозом всего необходимого с моря и, следовательно, практически неуязвимыми для любой сухопутной осады. «Длинные стены» вошли в историю как одно из «великих дел» Перикла, но в действительности план постройки принадлежал Кимону, а Перикл лишь завершил уже начатое.

Тогда же была сооружена южная стена на афинском Акрополе: необходимость укреплять главную городскую цитадель была очевидной для всех после нашествия Ксеркса. Однако Кимон не ограничивался постройками чисто утилитарного (оборонительного или иного) характера, а внес также значительный вклад в благоустройство горо-

да и его окрестностей. Он «первый отвел и благоустроил места, где можно было проводить время в утонченных и достойных свободных граждан занятиях и беседах; городскую площадь он обсадил платанами, Академию же, до того лишенную воды и запущенную, превратил в обильно орошаемую рощу с искусно проведенными дорожками для бега и тенистыми аллеями. Эти места составили украшение города и в скором времени чрезвычайно полюбились афинянам» (*Плутарх*. Кимон. 13). Упомянутая здесь Академия — та самая, в которой позже, в IV в. до н. э., открыл свою философскую школу Платон.

Под городской же площадью имеется в виду афинская Агора. Эта площадь на протяжении всего V в. до н. э. постоянно и серьезно изменялась, что более чем естественно: история классической афинской демократии и история Агоры самым теснейшим, неразрывным образом связаны друг с другом. Обустройство этого главного центра общественной жизни продолжалось и при Кимоне. Как показывают археологические раскопки, он не только обсадил Агору платанами, как пишет Плутарх; было сделано большее. Как раз в период лидерства этого политика, в 460-е гг. до н. э., на площади, на ее западной стороне, появилась оригинальной формы, круглая в плане постройка — Толос. В ней постоянно, круглосуточно находились пританы — «дежурные» члены Совета Пятисот, одного из важнейших органов управления государством.

А на северной стороне Агоры тогда же была воздвигнута одна из самых зрелищных и знаменитых построек Афин — Расписная стоя. Этот портик был обязан своей славой прежде всего картинам, которые в нем висели. Они принадлежали кисти Полигнота Фасосского — крупнейшего живописца первой половины V в. до н. э., а также афинских мастеров Микона, Панена (брата великого скульптора Фидия) и др. Сюжеты картин, изображавших различные сражения (см. наиболее подробное описание: *Павсаний*. Описание Эллады. I. 15), были в основном взяты из мифов. Однако в портике была воспроизведена и одна реальная, историческая битва, — разумеется, Марафонская. Здесь, нужно полагать, не обошлось без личных пристрастий Кимона. На первом плане картины выделялся его отец Мильтиад, ободряющий воинов и подающий знак к битве.

Удивительный, неповторимый дух сложился в Афинах в ту эпоху, о которой мы сейчас рассказываем. Несокрушимый оптимизм, горделивая уверенность в собственных силах, открытость миру — такие чувства царили в сердцах сограждан. И неудивительно. Казалось, свершилось чудо: удалось избавиться от страшной опасности, выдворить с родины многократно превосходящих силой персов и продолжать наносить им новые поражения... Удалось восстановить унич-

тоженный город, и он на глазах хорошел, превращался в подлинную жемчужину Эллады, привлекал к себе и толпы просто любопытствующих, и лучшие интеллектуальные силы греческого мира — выдающихся деятелей культуры из разных мест, которые хотели жить и заниматься своим делом в богатеющем и процветающем Афинском государстве.

Силу впечатления, которое оставляли Афины V в. до н. э. в сердцах посетителей, в грубоватых, но метких словах выразил один из поэтов-комедиографов:

Да ты — чурбан, коли Афин не видывал;
Осёл — коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд — коли покинул их, не жалуясь.

(Лисипп. фр. 7 Кокс)

Философы, писатели, художники из многих полисов устремлялись в «город Паллады» (так часто описательно называли Афины по имени их божественной покровительницы — Афины Паллады). Им по душе была сложившаяся там обстановка духовной свободы, терпимости к чужим мнениям. Не последнюю роль, конечно, играло и то, что в богатых Афинах можно было рассчитывать на большие гонорары, чем где-либо.

Особенно много «заезжих знаменитостей» прибыло в Аттику из Ионии — населенной элинами области за Эгейским морем, на западном побережье Малой Азии. Ранее Иония находилась в безусловном авангарде развития греческой культуры, не имела в этом отношении себе равных. Достаточно сказать, например, что именно в ней, в ее самом крупном и известном городе — Милете — родилась философия.

Но ионийские центры утратили свои культурные позиции, поскольку они особенно сильно пострадали в ходе Греко-персидских войн. В частности, Милет в 494 г. до н.э. был полностью разрушен персами в наказание за непокорность. В регионе наступил упадок, который трудно было преодолеть. И оттуда началась, выражаясь современным языком, настоящая «утечка мозгов». Уезжали чаще всего в Афины, с которыми города Ионии после изгнания персов вступили в тесный союз.

В результате Афины, которые прежде не являлись крупным культурным очагом, быстро стали таковым. Пройдет еще немного времени — и в следующем поколении знаменитый лидер афинской демократии Перикл с гордостью скажет: «Город наш — школа всей Эллады» (Фукидид. История. II. 41. 1).

Но это будет позже, а пока Афины еще на пути к положению ведущей в культурном плане державы греческого мира. Немаловажный вклад в становление их в этом качестве вносил лично Кимон. Вокруг него сформировался кружок видных интеллектуалов — как местных уроженцев, так и выходцев из других мест. К Кимону были близки выдающийся живописец Полигнот и молодой Фидий, которому еще предстояло стать величайшим скульптором античности; прославленный драматург, автор трагедий Софокл и менее известный комедиограф Меланфий; поэт и прозаик Ион Хиосский и один из первых историков Ферекид... Скорее всего, общался с Кимоном и другой, более знаменитый представитель греческой исторической науки — сам «отец истории» Геродот³.

На одном из членов «кружка Кимона» хотелось бы остановиться несколько подробнее. Речь идет о философе Архелае. Когда скончалась жена Кимона Исодика и тот глубоко скорбел, Архелай специально для его утешения написал элегии (*Плутарх*. Кимон. 4), к сожалению, не сохранившиеся.

Почему нам сейчас особенно интересен именно этот человек? Все сразу станет ясно, как только мы процитируем слова о нем, принадлежащие Диогену Лаэртскому:

«Архелай, сын Аполлодора (а по мнению некоторых, Мидона), из Афин или из Милета, ученик Анаксагора, учитель Сократа. Он первый перенес из Ионии в Афины физическую философию; его звали Физиком, поскольку им закончилась физическая философия, а Сократ положил начало нравственной философии. Впрочем, уже Архелай, по-видимому, касался нравственности, так как философствовал и о законах, и о прекрасном и справедливом; а Сократ взял этот предмет у него, развил и за это сам прослыл основоположником» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 16).

Если эти сведения верны, если действительно существовало преемство между двумя мыслителями, тогда мы должны обратить на личность Архелая самое пристальное внимание. Но, к сожалению, попытка такого исследования приводит только к разочарованию. Информация об Архелае настолько скудна и противоречива, что не производит впечатления вполне аутентичной. Как видим из только что приведенной цитаты, в античности не было единого мнения относительно имени его отца. Более того, даже происхождение Архелая неизвестно — то ли афинское, то ли милетское...

Одним словом, перед нами какая-то сомнительная, проблематичная фигура. В результате в связи с Архелаем в научной литературе распространен скептицизм. Высказывались мнения, что такого фи-

лософа вообще не было, что это выдумка, фикция, направленная на то, чтобы искусственно связать Сократа с ионийской философской традицией, или же, даже если Архелай и существовал, то к Сократу на самом деле не имел никакого отношения⁴.

Впрочем, нам представляется, что чрезмерный скептицизм в этом вопросе вряд ли уместен. Судя по всему, за этим мыслителем следует все-таки зарезервировать определенное, достаточно значимое место в эволюции философских учений: он в той или иной мере выступил в роли посредника, «связующего звена» между первой в Элладе милетской школой философии, занимавшейся исключительно поисками «начал» мироздания, и деятельностью Сократа, который в молодости тоже отдал дань натурфилософским изысканиям, но впоследствии отказался от них и всецело посвятил себя этической проблематике (об этом «повороте к человеку» подробнее будет говориться ниже). Потому-то Диоген Лаэртский и пишет (может быть, с чрезмерной категоричностью), что на Архелае «закончилась физическая философия».

* * *

В этой-то обстановке в Афинах в 469 г. до н. э. появился на свет мальчик, которому суждено стать героем нашей книги. Сократ, сын Софрониска, из Алопеки — таково было его полное имя.

Привычных нам фамилий древние греки не имели. Официальное имя афинского гражданина состояло из трех компонентов: собственно личного имени, патронимика («сын такого-то», что соответствует нашим отчествам) и демотика — указания на принадлежность к тому дему, к которому был приписан человек. Демы — округа, на которые делилась Аттика, низшие единицы административно-территориального устройства Афинского государства. Каждый гражданин обязательно был членом какого-либо дема. Дем Сократа, Алопека, находился в ближайших окрестностях Афин, к югу от городских стен. Уроженцем того же дема являлся, например, упоминавшийся выше видный политик Аристид Справедливый.

Античный полис и в целом был очень небольшим по нашим меркам государством. Что уж говорить о его подразделениях — демах! Это совсем крохотные сообщества людей, члены которых, как правило, были хорошо знакомы друг с другом. Так, ниже мы увидим, что сын того самого Аристида дружил с отцом Сократа.

Год рождения «босоногого мудреца» известен с полной точностью, и это, в общем-то, даже редкость для деятелей древнегреческой истории и культуры. Значительно чаще даты их рождения приходится с трудом вычислять на основании разного рода косвенных сообра-

жений, да и получаются в итоге только приблизительные результаты. Так, мы не можем сказать с полной точностью, когда родились Аристид, или Кимон, или даже Перикл (соответствующие даты, приводимые в энциклопедиях и учебниках, в известной мере условны).

В случае с Сократом дело обстоит намного лучше. Во-первых, существует следующее сообщение: «Родился он (как сообщает Аполлодор в «Хронологии») при архонте Апсефионе, в четвертый год 77-й олимпиады, шестого фаргелиона...» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 44).

Как перевести указанную здесь дату в нашу хронологическую шкалу? Легче всего это сделать, учитывая используемое в источнике летосчисление по олимпиадам — четырехлетним промежуткам между Олимпийскими играми. Эти общегреческие состязания проводились летом, соответственно, летом же начинался отсчет очередной олимпиады. Четвертый год 77-й олимпиады соответствует 469/468 г. до н. э. Иными словами, в современной хронологической «системе координат» он охватывает вторую половину 469 г. до н. э. и первую половину 468 г. до н. э.⁵

Однако датировка по годам олимпиад была явно наложена на биографию Сократа уже «задним числом», ибо в V в. до н. э., когда он жил, этот счет лет в Греции еще не применялся: он был предложен только в III в. до н. э. историком Тимеем из Тавромения, да и после этого использовался только в ученых трудах, а не в повседневном быту. Если сам Сократ говорил кому-то о времени своего рождения, то он должен был выражаться иначе: «Я родился при архонте Апсефионе».

Тут тоже необходимо пояснение. В классическую эпоху в Афинах (равно как и в других греческих государствах) годам не присваивали номер, как в наши дни (2010 год и т. п.), а называли их по именам высших должностных лиц, находившихся у власти в эти годы (благо в полисном мире было принято, чтобы должностное лицо занимало свой пост только на протяжении одного года и не больше). В Афинах в роли такого «датирующего» должностного лица выступал архонт-эпоним.

Нам эта система не может не показаться крайне неудобной, поскольку она не позволяет оперативно ориентироваться в хронологии. Скажем, если ныне, в 2010 году, кто-нибудь говорит: «Я родился в 1965 году», то у собеседника займет не более секунды высчитать, что этому человеку в данный момент 45 лет. А как в Афинах? Для того, чтобы по словам «Я родился при архонте Апсефионе» определить возраст говорящего, нужно было либо идти на Агору, смотреть выставленный там список архонтов за все годы и производить под-

счета, либо держать в памяти все эти имена архонтов (а это, конечно, мало кто мог).

Как бы то ни было, афиняне пользовались летосчислением по архонтам на протяжении многих веков; стало быть, оно их вполне устраивало. Архонтство Апсефиона приходится — опять же переводя на наши даты — на 469/468 г. до н. э. Таким образом, две датировки совпадают, и год рождения Сократа можно считать безоговорочно выясненным.

А вот с месяцем и числом сложнее. Афинский год, как и олимпийский, начинался летом. Он делился на двенадцать месяцев, но названия этих месяцев были, естественно, совершенно не такие, как у нас. Упомянутый в вышеприведенной цитате фаргелион — одиннадцатый месяц афинского календаря, примерно соответствующий современному июню. Получается, Сократ родился летом 468 г. до н. э.?

Однако многое мешает это допустить. Возникают нестыковки со свидетельствами более достоверными, принадлежащими Платону, который лично знал Сократа. В платоновских произведениях Сократ говорит о себе, например, следующее: «В первый раз пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду» (*Платон. Апология Сократа. 17d*). И после суда, уже в тюрьме, еще раз упоминает о том, что прожил семьдесят лет (*Платон. Критон. 52e*).

Суд над Сократом состоялся в 399 г. до н. э., и это известно точно. Но если философ родился в 468 г. до н. э., к моменту процесса ему еще никак не могло исполниться семидесяти лет. Неизбежен вопрос, насколько достоверна дата 6 фаргелиона, которую указывает Диоген Лаэртский. При этом он дает ссылку на Аполлодора — известного афинского ученого II в. до н. э., известного своим пристальным вниманием к вопросам хронологии.

Аполлодор в целом имеет репутацию авторитетного историка, заслуживающего доверия. Однако не следует забывать о том, что жил он спустя два столетия после смерти Сократа, и совершенно неясно, откуда бы он мог подчеркнуть столь конкретную — с точностью до дня — дату рождения «босоногого мудреца». Ведь не можем же мы допустить, что он обнаружил где-нибудь «свидетельство о рождении» Сократа — тем более что в античной Греции никаких таких свидетельств, разумеется, никому не выдавалось.

Очевидно, приходится констатировать, что дата, принимаемая Аполлодором и Диогеном Лаэртским, ошибочна, а скорее всего — просто легендарна. Кстати, именно 6 фаргелиона в Афинах справлялся важный праздник в честь Аполлона, называвшийся Фаргелиями (именно он дал имя и самому месяцу). А ведь известно, что

рождение многих великих людей — впоследствии, когда их жизнь становилась легендой, — стремились приурочивать к каким-нибудь нередовым, в том или ином отношении выделяющимся дням.

Итак, наиболее осторожным будет признать, что Сократ родился в 469 г. до н. э. (в этом сомневаться не приходится, сопоставляя информацию, почерпнутую у Платона и Диогена Лаэртского), и этим ограничиться, не стремясь к большей точности, которая вряд ли возможна.

Об отце философа почти ничего не известно. Его профессия в источниках определяется дословно как «мастер по камню» (lithurgos или lithochoos; см., например: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 18; «Суда», статья «Сократ»⁶). Это означает, что Софрониск был либо высококвалифицированным каменотесом, либо же скульптором, но, наоборот, низкого пошиба — не деятелем искусства, а ремесленником, одним из тех, кому заказывали, например, надгробные памятники.

По большому счету, это и не принципиально. Дело в том, что эллины классической эпохи не проводили принципиального различия между ремеслом и искусством. Эти два понятия на древнегреческом языке даже обозначались одним и тем же термином «техне» (отсюда, кстати, современное слово «техника»).

Мастеров искусства — скульпторов, живописцев, архитекторов — греки в полной мере относили к ремесленникам. Для нас это совсем уж необычно. Мы, например, ценим поэта и художника примерно одинаково, эти слова стали даже отчасти взаимозаменяемыми («поэт — художник слова» и т. п.). Совсем иначе было в античной Элладе. Для ее жителей поэт — боговдохновенный певец, общающийся с музами, а художник — всего лишь очень высококвалифицированный ремесленник.

Поэзией могли заниматься на досуге люди самого высокого положения, аристократы. Собственно, подавляющее большинство греческих лириков архаической эпохи (Солон, Алкей, Феогнид и др.) принадлежали к знатной элите. Но чрезвычайно редко бывало, чтобы аристократ занялся, скажем, ваянием или начал писать картины.

Конечно, такие случаи все-таки известны. Один из знаменитейших древнегреческих художников, Полигнот Фасосский, кажется, принадлежал к знатному роду. Он, как мы уже знаем, участвовал в создании картин на стенах знаменитой Расписной стои на афинской Агоре. И характерно, что Плутарх специально оговаривает, стараясь оправдать живописца: «Полигнот не принадлежал к числу художников-ремесленников и расписывал портик не из корысти, а безвозмездно, желая отличиться перед гражданами» (*Плутарх*. Кимон. 4).

Приведем еще одну цитату из того же Плутарха, имеющего справедливую репутацию писателя-моралиста. Этот отрывок очень ярко передает отношение даже к величайшим скульпторам, внесшим колоссальный вклад в развитие мирового искусства. Плутарховское суждение поражает своей категоричной суровостью:

«Кто занимается лично низкими предметами, употребляя труд на дела бесполезные, тот этим свидетельствует о пренебрежении своим к добродетели. Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе (то есть на знаменитую статую Зевса в Олимпии работы Фидия. — *И. С.*), не пожелал бы сделаться Фидием или, посмотрев на Геру в Аргосе, — Поликлетом... Если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания» (*Плутарх. Перикл. 2*).

Даже трудно представить себе, что так относились к деятелям искусства в том обществе, где это искусство достигло, вероятно, самого высокого уровня за всю историю человечества. Перед нами — один из парадоксов эллинского мировоззрения...

Больше мы знаем о матери Сократа — Фенарете. Примечателен уже тот факт, что известно ее имя. Дело в том, что в мире греческих полисов имена женщин из порядочных семейств было не принято произносить в публичных ситуациях, «выставлять напоказ»⁷. Считалось, что это позорит их самих и их мужей, что чем незаметнее представительница «слабого пола», тем лучше. Вот, например, слова великого Перикла: «Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу» (*Фукидид. История. II. 45. 2*).

Такая традиция, конечно, отнюдь не способствовала сохранению в памяти женских имен. По подсчетам ученых, из 62 360 известных из источников жителей Афин (за всю историю полиса) мужчин 56 617, а женщин лишь 5691, то есть в десять (!) раз меньше⁸. Не иначе было и в других эллинских государствах. Если женщина чем-нибудь прославилась сама по себе, то это еще могло спасти ее имя от забвения. Но если она просто являлась матерью какого-нибудь знаменитого человека, как в данном случае, то серьезных стимулов помнить, как ее звали, в сущности, не было. «Никий, Демосфен, Ламах, Формион, Фрасибул, Ферамен — мы нигде не встречаем даже имени матери хотя бы одного из них» (*Плутарх. Алкивиад. 1*). А ведь здесь перечислены очень видные деятели афинской истории. Имя матери Сократа, тем не менее, сохранилось — прежде всего потому, что его упоминает сам философ в платоновских диалогах.

Известно о Фенарете и кое-что еще, помимо имени. Софрониск был не единственным ее мужем. В источниках сообщается, что у Сок-

рата имелся единоутробный брат по имени Патрокл — сын Фенареты, но не от Софрониска, а от некоего Хередема (*Платон*. Евтидем. 297de).

Считается, что в браке с этим Хередемом (из того же дема Алопеки) Фенарета была до того, как стала женой Софрониска⁹. А потом ее первый супруг либо умер, либо развелся с ней. Развод в классических Афинах вполне допускался, и, если он осуществлялся по взаимному согласию, даже не требовалось никаких юридических формальностей. Что интересно и сильно отличается от нынешней практики, в случае развода дети всегда оставались у отца, а не у матери.

В любом случае Патрокл не воспитывался в доме Софрониска. Поэтому некорректно, например, утверждение В.С. Нерсисянца: «Сократ был в семье вторым ребенком»¹⁰. Сократ и Патрокл не принадлежали к одной семье. В семье же Софрониска и Фенареты вообще, судя по всему, не было других детей, кроме Сократа. Во всяком случае, о них ничего не сообщается.

Нужно отметить, что древнегреческие семьи были, как правило, невелики. Большим количеством детей не обзаводились — в первую очередь потому, что не хотели дробить наследственное имущество. Еще за несколько веков до Сократа знаменитый поэт Гесиод, почтившийся учителем жизни, давал такой совет:

Единородным да будет твой сын. Тогда сохранится
В целости отческий дом и умножится всяким богатством.
Пусть он умрет стариком — и опять одного лишь оставит.
(*Гесиод*. Труды и дни. 376–378)

Отец Сократа, по всей вероятности, последовал этому совету, а вот сам философ, как увидим ниже, — не последовал.

О Фенарете известна еще одна чрезвычайно важная биографическая подробность: она была повивальной бабкой, принимала у женщин роды. Сам Сократ неоднократно упоминал об этом в беседах со своими учениками и друзьями. Вот один из самых показательных примеров (из разговора «босоногого мудреца» с молодым математиком Теэтетом):

«А не слыхал ли ты, что я сын повитухи — очень опытной и строгой повитухи, Фенареты?.. Поразмысли-ка, в чем состоит ремесло повитухи... Ты ведь знаешь, что ни одна из них не принимает у других, пока сама еще способна беременеть и рожать, а берется за это дело лишь тогда, когда сама рожать уже не в силах... А разве не правильно, что распознавать беременных тоже должны не кто иные, как повитухи?.. Притом повитухи дают зелья и знают заговоры, могут возбуждать ро-

довые муки или по желанию смягчать их, а ту, что с трудом рождает, заставить родить, или если найдут нужным, то выкинуть... А ты не заметил за ними вот чего: ведь они же и сватать горазды, поскольку умудрены в том, какой женщине с каким мужем следует сойтись, чтобы родить наилучших детей» (*Платон. Теэтет. 149a-d*).

Как можно видеть из этой цитаты, повивальным ремеслом занимались женщины уже пожилые по меркам того времени. Очевидно, можем заключить, что Фенарета вышла за Софрониска и родила ему Сократа, будучи уже не первой молодости (особенно учитывая, что это было ее второе замужество). Не исключено, возраст и стал одной из причин того, что других детей в этой семье не появилось.

Нужно сказать, что Сократ не случайно часто упоминал о занятии своей матери. Он пользовался образом повивального искусства как метафорой для обозначения своего собственного метода философствования и обучения молодых людей. Так, рассказав Теэтету в только что процитированном отрывке о ремесле повитух, он тут же добавляет:

«А не слышал ли ты, что и я промышляю тем же ремеслом?.. В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, — отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод...» (*Платон. Теэтет. 149a, 150bc*).

Собственно, смысл метафоры вполне прозрачен: подобно тому, как повитуха помогает родиться ребенку, философ, ведя беседы, споры с учениками, рассматривая предметы с разных точек зрения, помогает родиться истине в их душах. Такой прием, начиная с Сократа, называют *майевтикой*, то есть дословно — именно повивальным искусством (повитуха по-древнегречески «мая»).

И еще один немаловажный нюанс следует отметить в связи с занятием Фенареты. Оно, несомненно, позволяло ей вести образ жизни, не вполне обычный для афинянки классической эпохи.

Дело в том, что греческое полисное общество имело подчеркнуто патриархальный характер. Полис можно назвать своеобразным «мужским клубом», в котором женщины находились в весьма ущемленном положении. Они не пользовались политическими и гражданскими правами (в том числе не могли даже иметь собственности, не говоря уж об участии в управлении государством) и были обречены на затворническое существование.

Скудна содержанием, скучна была жизнь афинской гражданки. Она была почти все время замкнута в пространстве дома. Ее заня-

тиями были прядение и ткачество, ведение хозяйства, присмотр за домашними рабами и рабынями, воспитание малолетних детей. Позволялось разве что побывать в гостях у подруги, да и то не часто, к тому же обязательно под присмотром кого-нибудь из слуг. Даже на рынок за покупками женщины (во всяком случае, из состоятельных семей) не ходили: это считалось мужским делом. «Жизнь женщин до старости скрывалась от посторонних глаз. Предполагалось, что женщина из приличного семейства может впервые выйти из дома, лишь достигнув того возраста, когда встречный поинтересуется тем, чья это мать, а не тем, чья это жена», — остроумно замечает современный ученый¹¹.

Знакомый уже нам Ксенофонт высказывает господствовавшее в его время мнение, влагая его в уста зажиточного крестьянина и видного гражданина Исхомаха, «образцового хозяина», неоднократно заслуживавшего похвалу Сократа: «Природу обоих полов с самого рождения, мне кажется, бог приспособил: природу женщины для домашних трудов и забот, а природу мужчины — для внешних... Женщине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а мужчине более стыдно сидеть дома, чем заботиться о внешних делах» (*Ксенофонт. Домострой*. 7. 22, 30).

Древнегреческий жилой дом делился на две половины: мужскую (андрон) и женскую (гинекей). Если к мужу приходили друзья и по этому поводу устраивалась веселая пирушка (симпосий), супруга в ней не участвовала. Она оставалась на своей половине, в гинекее, в то время как глава семьи кутил с гостями в обществе музыкантов и танцовщиц.

Не исключено, что афинянам было просто неинтересно в компании своих законных жен. Сами-то они были политически развитыми и всесторонне образованными людьми. Могли и поспорить на философские темы, и посостязаться в произнесении речей, и почитать наизусть большие куски из произведений великих поэтов... А женщины ничем этим похвастаться отнюдь не могли. Если мальчиков в семь лет отправляли учиться в школу, то девочки практически никакого образования вообще не получали. Они жили в гинекее под присмотром матери вплоть до замужества и перехода в новый дом. В большинстве своем женщины не владели даже искусством грамотности.

Так вот, возвращаясь к Фенарете: уже в силу того, что она была повивальной бабкой, ей, понятное дело, не приходилось вести такую же затворническую жизнь, как подавляющему большинству других гражданок. За ней приходили, звали принимать роды, осматривать беременных и т. п. Не забудем и о том, что, по вышеприведенному свидетельству Платона, повитухи одновременно были и свахами.

Иными словами, мать Сократа должна была регулярно входить в чужие дома, общаться с различными семьями, подчас ей незнакомыми. Все это, разумеется, приводило к тому, что ее информированность, да и общий кругозор были несравненно более широкими, чем у средней афинской женщины. И она, похоже, имела чем поделиться с сыном. Уж не в нее ли он вырос таким общительным, живым, разговорчивым, неунывающим?

Во всяком случае, влияние Фенареты на Сократа никак невозможно отрицать. И это влияние должно было быть особенно интенсивным в первую пору жизни будущего философа. Ведь до семи лет, когда наступало время идти учиться, дети жили в гинекее с матерью. А отец с ними практически не общался. Мужчина-афинянин, в отличие от женщины, вел образ существования в высшей степени общественный. Встав утром и позавтракав, он покидал жилище, а возвращался лишь вечером, к обеду. Весь же день проводил на городских улицах и площадях: там занимался своими делами, участвовал в работе органов власти, узнавал последние новости, общался с друзьями, делал покупки на рынке...

Одним словом, именно в те годы, когда душа ребенка наиболее активно впитывает все новые впечатления и информацию, когда происходит первичное формирование личности, — ребенок общался в первую очередь с матерью, а по сути, больше и ни с кем, разве что с домашними слугами, если они были. И тут, конечно, многое зависело от личности матери. А Фенарета, как ясно из вышесказанного, была матерью необычной.

* * *

«Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью». Автор этих слов — Фридрих Ницше¹²; о его отношении к Сократу, весьма сложном и противоречивом, но в целом негативном, еще будет говориться в последней главе этой книги.

Но сейчас речь не об этом, а о том, что в приведенной фразе Ницше всего лишь в крайней и резкой форме высказал ту точку зрения, которая является общепринятой: Сократ являлся представителем «низов», простонародья, с которым из какого-то аристократического каприза общались члены знатных и прославленных родов (а таких было немало в его окружении и с некоторыми из них нам в дальнейшем предстоит ниже познакомиться).

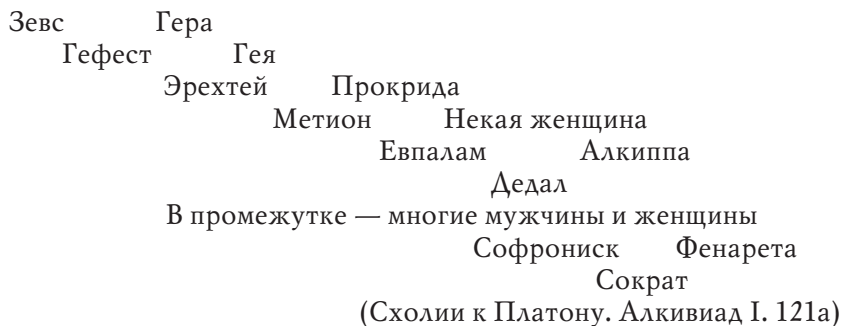
Однако в самое последнее время некоторыми учеными¹³, в том числе и автором этих строк, была высказана принципиально иная точка зрения, согласно которой Сократ — выходец из обедневшей зна-

ти, сохранивший связь со своей исконной средой. Поскольку такой взгляд выглядит парадоксальным, то необходимо рассмотреть приводимые в его пользу аргументы и проверить, насколько они весомы.

В одном из диалогов Платона Сократ, беседуя с молодым Алкивиадом, блистательным аристократом, заводит разговор о знатности. Алкивиад упоминает о том, что его род восходит к самому Зевсу, Сократ же отвечает: «Да и мой род, благородный Алкивиад, восходит к Дедалу, Дедал же происходит от Гефеста, сына Зевса (*Платон. Алкивиад I. 121a*). И в другом месте (*Платон. Евтифрон. 11c*) философ также замечает, что его предок — Дедал.

Имя этого легендарного скульптора, художника и изобретателя, конечно, известно каждому, кто хоть что-нибудь знает о греческой мифологии. Но мало кто слышал о том, что Дедал, согласно мифам, имел знатнейшее происхождение — был внуком или правнуком афинского царя Эрехтея. Сократ же именуется себя его потомком и тем самым вроде бы претендует на принадлежность к древней аристократии.

В схолиях (позднеантичных комментариях) к Платону в соответствующем месте приводится следующее генеалогическое древо, разъясняющее происхождение Сократа:



Хорошо известно, впрочем, что схолии — крайне ненадежный источник¹⁴: в них очень много путаницы и произвольных домыслов. Безоговорочно ручаться за приведенные схолиастами сведения почти никогда нельзя.

Если верить приведенным выше свидетельствам, то можно было бы констатировать, что Сократ происходил из аристократического рода Дедалидов. Некоторые исследователи признают существование в Афинах такого рода — «младшей ветви древнейшей аттической династии Эрехтеидов»¹⁵. Заметим, однако, что крупнейший специалист по афинской генеалогии Й. Тёпфер отрицал существование этого

рода¹⁶. В Аттике, правда, был маленький дем под названием Дедалиды, но это еще ни о чем не говорит.

Разбирая этот вопрос, обязательно нужно учитывать еще и то, что Сократ — великий иронист: даже его собеседники сплошь и рядом не могли понять, когда он говорит серьезно, а когда шутит. Не имеем ли мы здесь дело с очередным проявлением сократовской иронии?

Возведение Сократом своего происхождения к Дедалу может, в частности, означать и то, что, как мы уже знаем, отец философа Софрониск был скульптором или, во всяком случае, работал в этой сфере. Все скульпторы должны были — в метафорическом смысле — считать себя потомками Дедала, точно так же, как, например, все греческие медики считали себя потомками бога врачевания Асклепия (более известного нам в латинской транскрипции, как Эскулап).

Есть, однако, и более убедительные аргументы в пользу аристократического происхождения Сократа. Известно, например, о наследственной дружбе между семьями Сократа и неоднократно упоминавшегося выше Аристиды Справедливого. Отец Сократа Софрониск и сын Аристиды Лисимах «всегда были товарищами и друзьями» (*Платон*. Лахет. 180е). А сам Сократ поддерживал близкие отношения с Аристидом Младшим, сыном этого Лисимаха и внуком Аристиды Справедливого (*Платон*. Феаг. 130а; Теэтет. 150е), хоть и сетовал порою, что тот выходит из-под его контроля, поддаваясь дурным влияниям. Подчеркнем сразу, что в Афинах V в. до н. э. знатные аристократы, к которым принадлежала семья Аристиды, не стали бы ни с того ни с сего дружески общаться с простолюдинами, выходцами из низов общества. Античные греки вообще очень ответственно относились к тому, с кем заводить дружбу, а с кем нет, поскольку воззрение «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» воспринималось как безусловная истина (см., например: *Демосфен*. XIX. 245)¹⁷.

Говоря о связях между семьями Сократа и Аристиды, продолжавшихся на протяжении нескольких поколений, отметим еще один занятный факт. Все знают, что Сократ был женат на Ксантиппе, имя которой стало хрестоматийным и нарицательным для сварливой женщины. Однако существует устойчивая традиция, представленная целым рядом авторов (*Аристотель*. фр. 93 Rose; *Деметрий Фалерский*. фр. F45 Jacoby; *Плутарх*. Аристид. 27; *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 26; *Афиной*. Пир мудрецов. XIII. 556а), согласно которой у Сократа была и вторая жена, по имени Мирто, которую он взял в свой дом то ли для того, чтобы помочь ей в нужде, то ли выполняя какое-то постановление, поощрявшее граждан для улучшения ситуации с деторождением иметь двух жен сразу.

Все перечисленные источники согласны только в одном — в том, что Мирто принадлежала к семье Аристиды Справедливой. В остальном же — полный разнбой. Она фигурирует то как дочь Аристиды (впрочем, этот вариант представляется совершенно невозможным: достаточно сопоставить время рождения Аристиды — около 530 г. до н. э., и Сократа — 469 г. до н. э.), то как его внучка, то даже как правнучка. И женой Сократа она была не то до Ксантиппы, не то после, не то одновременно с ней... На наш взгляд, скорее можно считать, что по своему юридическому статусу Мирто была не официальной супругой Сократа, а его наложницей¹⁸. Как известно, афинское право отнюдь не запрещало гражданам иметь наряду с законной женой таких наложниц, которые, более того, вполне могли быть свободными женщинами и даже гражданками.

Не стоит даже и пытаться сейчас распутать все эти хитросплетения: у нас недостаточно достоверных данных. Констатируем только факт, который, кажется, все-таки можно считать имевшим место: Сократ находился в каких-то близких отношениях с женщиной из потомства Аристиды. Это была дочь или сестра Аристиды Младшего, с которым, как упоминалось выше, философ общался.

В связи с наложницами процитируем слова оратора Демосфена, которые нашим современникам могут показаться глубоко циничными и шокирующими. «Гетер мы заводим ради наслаждения, наложниц — ради ежедневных телесных потребностей, тогда как жен мы берем для того, чтобы иметь от них законных детей, а также для того, чтобы иметь в доме верного стража своего имущества» (*Демосфен*. LIX. 122). Но Сократ взял в свой дом Мирто, скорее всего для того, чтобы спасти ее от бедности. Ведь Аристид Справедливый, будучи бессребреником, почти не оставил своим потомкам наследства, и они сильно нуждались. Кстати, можно с немалой долей уверенности утверждать, что личность Аристиды, его образ жизни оказали значительное влияние на Сократа, на весь стиль его поведения, который был максимально простым и непритязательным не только (наверное, даже не столько) из-за ограниченности материальных средств, но и по принципиально-демонстративным соображениям.

Скажем заодно несколько слов и о Ксантиппе, законной супруге Сократа. Ее с немалой долей вероятности тоже можно считать знатной женщиной. Во всяком случае, имя ее типично именно для аристократической среды. Мужской вариант этого имени — Ксантипп — был популярен в VI–V вв. до н. э. прежде всего в древнем роду Бузигов — том самом, к которому принадлежал, в числе прочих, великий Перикл. А за неизвестного простолюдина ни один аристократ, конечно, не выдал бы свою дочь.

На Ксантиппе Сократ, судя по всему, женился довольно поздно, когда ему было пятьдесят или близко к тому. В их браке родились три сына — Софрониск, Менексен и Лампрокл. Один из них, как было принято в греческих семьях, был назван в честь деда — отца Сократа; имена остальных тоже звучат в достаточной мере аристократично. Впрочем, на семейной жизни «босоногого мудреца» мы пока останавливаться не будем; рассказ о ней предстоит в одной из следующих глав.

А пока заметим, что наш тезис о знатном происхождении Сократа подтверждается еще и следующим наблюдением Аристотеля: «прекрасно одаренные роды вырождаются в сумасбродные характеры, как, например, потомки Алкивиада и Дионисия Старшего, а роды солидные — в глупость и вялость, как, например, потомки Кимона, Перикла и Сократа» (*Аристотель*. Риторика. II. 1390b25 сл.). Как видим, род Сократа поставлен здесь в один ряд с родами Кимона и Перикла, то есть Филаидами и Бузигами.

Немаловажно и то, что Сократ с некоторым презрением относился к простонародью. Вот как наставлял он одного из своих собеседников: «Неужели ты стесняешься валяльщиков, башмачников, плотников, кузнецов, земледельцев, купцов, рыночных торговцев, думающих только о том, чтоб им купить что-нибудь подешевле и продать подороже? А ведь из всех их и состоит народное собрание» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. III. 7. 6). Если бы он сам относился к низам общества, подобные высказывания в его устах были бы немыслимы, ибо тогда они относились бы и к нему самому. И аристократы, общаясь с философом, явным образом видели в нем «своего», а не простолюдина.

Что же касается материального положения семьи, в которой родился и вырос Сократ, его можно охарактеризовать следующим образом: семья была не богатой, но и отнюдь не бедной, а зажиточной, принадлежала к средним слоям афинского гражданства.

Это становится понятным из следующего обстоятельства. Все граждане Афин в зависимости от размера своих доходов делились на четыре имущественных разряда, носивших такие названия (в убывающем порядке): пятисотмерники, всадники, зевгиты, феты. В случае войны члены разных разрядов имели неодинаковые обязанности. Из представителей пятисотмерников набирались триерархи — капитаны военных кораблей; всадники, как легко догадаться, служили в кавалерии, зевгиты — в рядах тяжеловооруженных пехотинцев (гоплитов), феты шли в легковооруженную пехоту, но по большей части — на флот, гребцами и матросами.

Известно, что Сократ, когда приходилось идти в поход, занимал место в одном из гоплитских отрядов. Таким образом, он принадле-

жал к разряду зевгитов, а этот разряд и включал в себя зажиточных земледельцев, главную опору полиса.

Правда, к концу своей жизни философ был очень беден. Причину этого он сам с полной ясностью обрисовывает в своей защитительной речи на суде: «...Я забросил все свои собственные дела и сколько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели... Думаю, что я могу представить верного свидетеля того, что я говорю правду, — мою бедность» (*Платон. Апология Сократа. 31bc*). Итак, Сократ разорился потому, что всего себя посвятил философии и воспитанию сограждан, а на домохозяйство не обращал ни малейшего внимания.

И тем не менее у Сократа, при всем его незавидном финансовом положении, должны были быть рабы. Это звучит несколько необычно: представить «босоногого мудреца» в роли рабовладельца как-то не удастся. И тем не менее несомненно, что без рабов (хотя бы одного-двух) он обойтись не мог, и вот почему.

Обязательной принадлежностью гражданина древнегреческого полиса был земельный надел на сельской территории в окрестностях города (хоре). Этот надел являлся и главным источником средств существования для большинства граждан. Во всяком случае, для Сократа — уж точно, поскольку ремеслом и торговлей он, понятное дело, не занимался, а платы с учеников за занятия, как знаем, не брал. Как бы худо-бедно он ни жил, но, во всяком случае, кормиться должен был со своего участка.

Участок же обрабатывал либо сам гражданин, либо принадлежавшие ему рабы (разумеется, возможен и средний вариант — когда сам хозяин трудился вместе с рабами). Иными словами, вопрос стоит так: ходил ли Сократ работать на свой участок? Похоже, что нет, ибо он, по свидетельствам источников, вообще почти никогда не покидал города.

Очень яркий эпизод содержится в диалоге Платона «Федр». Сократ, случайно встретив своего ученика Федра, разговорился с ним. Беседуя, два афинянина продолжали прогуливаться и в конце концов, выйдя за городскую стену, оказались, как ныне выражаются, на лоне природы. И вот тут Сократ начинает восхищаться:

«Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попить ногой... Да, если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень

приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федр».

На это Федр не без удивления отвечает: «А ты, поразительный человек, до чего же ты странен! Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только не едешь в чужие страны, но кажется мне, не выходишь даже за городскую стену». Сократ парирует: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе» (*Платон. Федр. 230b-d*).

В другом диалоге Сократ говорит о себе ровно то же самое (здесь он обращается к себе самому во втором лице): «...И никогда-то не выходил ты из города ни на праздник, ни еще куда бы то ни было» (*Платон. Критон. 52b*).

Итак, Сократ — в полном смысле слова «городской философ» (и, может быть, именно поэтому он так тонко чувствует красоту природы в тех редких случаях, когда ее видит). И уж точно он меньше всего похож на человека, который регулярно ходит в сельскую местность возделывать свою землю. А земля, как известно, сама собой плодосит не будет. Кто-то ведь должен был ее обрабатывать...

ПУТЬ К ФИЛОСОФИИ

Сократа мы обычно представляем пожилым; таковы и дошедшие из античности его скульптурные портреты. Дело в том, что именно человеком в летах, уже умудренным опытом он, как правило, изображен в источниках. И нам даже трудно подумать о том, что и он когда-то был юношей, раздумывающим о выборе жизненного пути...

Правда, в некоторых диалогах Платона все-таки появляется молодой Сократ, в «Пармениде» — даже двадцатилетний или еще моложе. Но это все-таки большая редкость, исключение, к тому же «Парменид» ввиду своей огромной сложности далеко не самое читаемое из платоновских произведений.

Одним словом, Сократ в основном предстает перед нами уже вполне сложившейся личностью. Процесс формирования его как мыслителя остается как бы в тени. О многом мы можем только догадываться, высказывать более или менее вероятные предположения.

Насколько можно судить, начальное образование Сократ получил вполне обычное, такое же, как все или почти все его сограждане¹. Незадолго до смерти он говорил другу Критону, что отец дал ему «мусическое и гимнастическое воспитание» (*Платон*. Критон. 50de).

Тут нужно кое-что пояснить. Когда мальчикам из семей афинских граждан исполнялось семь лет, их начинали водить к учителям. Государственной системы образования в греческих полисах не имелось. Школы были частными, обучение в них — платным. Однако из-за большого количества школ и конкуренции между ними плата держалась на низком уровне, и практически каждый афинянин мог позволить себе дать детям образование. Во всяком случае, отец Сократа Софрониск, который, как мы видели в предыдущей главе, был человеком не бедным, несомненно, послал сына учиться, тем более что сам Сократ об этом свидетельствует.

Сами же школы были очень небольшими — всего лишь по несколько учащихся в каждой, что, конечно, облегчало индивидуальный подход к ним.

Образование было трех видов: грамматическое, мусическое и гимнастическое. Сократ упоминает только о двух последних, но само собой разумеется, что и без грамматического тоже не обошлось. Ведь именно у учителя-грамматика дети получали самые первые знания. Он обучал их прежде всего чтению, письму и арифметике. Ученики писали палочками на покрытых воском дощечках, считали на счетах из камешков. Кроме того, заучивались отрывки из

произведений великих поэтов, в первую очередь Гомера. В Афинах были люди, которые к моменту окончания школы знали наизусть обе огромные гомеровские поэмы, что, несомненно, являлось предметом особой гордости их родителей.

Мусическим образованием занимался учитель-кифаред (название происходит от кифары — струнного музыкального инструмента, усложненного варианта лиры). У него дети обучались музыке, пению, игре на лире и флейте, танцам, а также и в целом хорошим манерам.

Наконец, учитель-педотриб был преподавателем, как ныне выражаются, физической культуры. Под его руководством подростки в палестрах занимались гимнастикой, бегом, борьбой... Образование такого рода (в целом его можно охарактеризовать как гуманитарное или, по крайней мере, с преобладающей гуманитарной составляющей) ставило своей главной целью воспитание из ребенка достойного гражданина своего отечества, всесторонне развитой личности, культурного, широко мыслящего человека.

Что еще можно сказать о юности Сократа? В источниках встречаются упоминания о том, что он будто бы на первых порах хотел было перенять профессию отца и занимался ваянием. Эта ветвь традиции даже приписывает ему авторство скульптурной группы Харит², стоявшей впоследствии на афинском Акрополе.

Однако в связи с данной версией (ее различные варианты см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 19–21) возникает слишком уж много сложностей и противоречий, не позволяющих слепо, некритически принимать ее на веру. Одни античные авторы утверждали, будто бы Сократ вначале был рабом и трудился в мастерской, а затем афинянин Критон, восхищенный способностями молодого человека, освободил его, дал ему образование и возможность заниматься философией. Другие писатели сообщали, что Сократ в юности вел беспорядочный образ жизни: «наживался на перекупках... собирал прибыль, тратил ее и начинал сначала». Потом же философ Архелай сделал его своим наложником...

Подобные анекдоты, несомненно, нужно решительно отринуть как не соответствующие действительности ни в малейшей мере. Они никак не увязываются с теми достоверными данными, которые мы имеем о Сократе. В частности, он не мог быть рабом, поскольку происходил из почтенной семьи граждан, свободных людей. Хорошо известно, что вокруг биографий всех великих людей со временем начинают образовываться целые напластования легенд и выдумок. Тем более подходящим объектом для таких легенд был Сократ — личность, как неоднократно упоминалось выше, странная, необычная.

Одним словом, нет серьезных оснований считать, что Сократ в молодые годы действительно занимался ремеслом каменотеса или скульптора. Правда, из некоторых источников известно, что философ неплохо разбирался в мастерстве ваения. Так, в одном месте у Ксенофонта он со знанием дела беседует со скульптором Клитием (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. III. 10. 6–8*). Но как раз этому удивляться не приходится, раз он вырос в семье Софрониска, высококвалифицированного каменотеса. Какие-то секреты этого дела он, понятно, не мог не узнать от отца, но отсюда еще отнюдь не следует, что сам он когда-либо брался за резец.

А кроме того, добавим, в той же главе воспоминаний Ксенофонта Сократ с точно таким же знанием дела разговаривает с живописцем Паррасием и с Пистием — мастером по изготовлению доспехов. Что же, получается, сам философ и живописью занимался, и в оружейной мастерской работал? Конечно, нет. Просто проблемы различных ремесел всю жизнь привлекали довольно пристальное внимание Сократа. Замечено³, что в его философских беседах постоянно всплывают образы ремесленников; он пользуется ими в качестве сравнений или метафор для объяснения тех или иных сложных вещей. Обусловлено ли это тем, что он родился в ремесленной семье и мыслил теми категориями, которые ему были ближе? Возможно.

Но, повторим, сам Сократ вряд ли когда-либо — даже в молодости — был практикующим ремесленником, каменотесом или каким-либо иным. Нет, у него, насколько можно судить, была обычная юность афинянина эпохи расцвета. Школа, занятия музыкой, спортом... Но, в общем, воспитание такого типа еще не давало специального философского импульса. Откуда же он возник в уме Сократа?

Как нам представляется, очень большую роль (значительно бóльшую, чем школа) должен был сыграть другой фактор, который, к сожалению, редко учитывают, — посещение театра. Раз в год, весной, на празднике Великих Дионисий в Афинах давались театральные представления, принимавшие форму состязания драматургов. Три лучших автора трагедий и три лучших комедиографа ежегодно выставляли свои новые произведения на суд публики (чаще всего они же выступали и режиссерами своих пьес), а избранное народом жюри определяло победителей.

Четыре полных дня, с утра до вечера, продолжались представления в театре. Афинские граждане оставляли все свои повседневные дела ради того, чтобы насладиться игрой актеров, пением хора, мастерством авторов. Посещение театра считалось делом государственным; беднейшим гражданам даже выдавались специальные «театральные деньги», чтобы они могли без ущерба для своих финансов посвящать

несколько дней в году посещению театра. Расцвет афинского театра был тесно связан с расцветом афинской демократии, ведь драма была воистину всенародным искусством, выполнявшим огромную воспитательную роль (прежде всего это относится к трагедии).

Несомненно, и Сократ с раннего возраста должен был посещать драматические постановки. Он видел шедевры таких титанов сцены, как Эсхил и Софокл, а также их менее известных коллег. Великих афинских драматургов с полным основанием можно назвать крупными мыслителями. В своих произведениях они поднимали важнейшие религиозные, этические, политические вопросы: о вине и возмездии, о писаном законе и древнем обычае, о наилучшей форме государственного устройства и многие другие. Все это не могло не находить отклика в чуткой душе молодого человека из дема Алопеки.

* * *

В годы, когда взростал Сократ, интеллектуальная атмосфера в Афинах продолжала держаться на столь же высоком накале. В государстве в это время произошла смена политического лидера. Кимон «приелся» демосу, в 461 г. до н. э. оказался в опале и был вынужден даже несколько лет провести в изгнании. Потом ему, правда, позволили вернуться на родину, но былого влияния он уже никогда не достиг (скончался в 450 г. до н. э.).

На позицию «первого гражданина» постепенно, но уверенно выдвигался другой человек — Перикл, по своим способностям государственного мужа, умению вести политическую борьбу, проницательности, дальновидности далеко опережавший всех конкурентов.

Подробно говорить о Перикле здесь вряд ли уместно⁴; отметим только, что он, будучи высокообразованным человеком, тоже прекрасно понимал огромную роль культуры для жизни государства. Вокруг него, как в свое время вокруг Кимона, сплотился кружок видных интеллектуалов — отчасти коренных афинян, отчасти приехавших из других городов Элады. К Периклу в разные годы были близки драматург Эсхил, философы Анаксагор и Протагор, музыкант и политический теоретик Дамон, просвещенный жрец и прорицатель Лампон, скульптор Фидий и др. Афины продолжали украшаться великолепными постройками.

Мыслители и другие деятели культуры по-прежнему прибывали в «город Паллады» с востока — из ионийских полисов, расположенных на малоазийском и северном побережьях Эгейского моря, на его островах. Самой крупной фигурой здесь, бесспорно, следует назвать Анаксагора, принадлежавшего к виднейшим представителям досократовской философии V в. до н. э.

Анаксагор⁵ (ок. 500–428 до н. э.) родился в Ионии, в городе Клазомены, но довольно рано перебрался в Афины и прочно, на много десятилетий осел там. Иногда даже именно его называют основателем афинской философской школы. Во всяком случае, в Афинах он имел немало учеников, в числе которых был, в частности, упоминавшийся выше Архелай — тот самый, который в некоторых источниках фигурирует как учитель Сократа.

Анаксагор являлся одним из ближайших сподвижников Перикла, возможно, его учителем и советником. Что же касается его учения — он может быть назван одним из последних и крупнейших представителей раннегреческой натурфилософии. Согласно его космогонической концепции, первоначально мир представлял собой беспорядочную смесь мельчайших частиц («семян» всех вещей), которым затем придал движение, стройность и законченность некий высший Разум, своим первотолчком преобразивший хаос в упорядоченный Космос: под влиянием этого толчка «семена» сложились во все существующее многообразие предметов и живых существ.

Анаксагор отрицал существование пустоты и признавал бесконечную делимость вещества. Он занимался также естественнонаучными изысканиями: объяснял причины солнечных и лунных затмений, падений метеоритов, внес вклад в развитие идеи о бесконечно малых величинах. Особенно поражало современников суждение Анаксагора о том, что солнце — не бог Гелиос, скачущий по небу на колеснице, а «глыба, огненная насквозь, а величиной оно больше Пелопоннеса» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 8*). Подобная оценка размеров Солнца в наши дни, разумеется, может вызвать только улыбку, однако важно уже то, что был сделан шаг от мифологического к рационалистическому пониманию природного феномена.

Взгляды Анаксагора стали в Афинах широко известными, поскольку он излагал их в своих трудах, которые каждый мог купить в книжных лавках (ср.: *Платон. Апология Сократа. 26d*). Уже сам тот факт, что подобная литература продавалась, а стало быть, находила спрос, свидетельствует: интерес к философии среди афинян был весьма велик.

«Заразился» этим интересом и Сократ. Однако все-таки не похоже, что он получил систематическое и полное философское образование у кого-либо из приезжавших в Афины мыслителей. У самого Анаксагора он не учился. Контакты Сократа с Архелаем, учеником Анаксагора, зафиксированы все-таки достаточно надежно. Однако характер этих контактов ввиду путаницы и противоречий в источниках остается не вполне ясным.

Интересно, что в диалогах Платона Сократ не называет Архелая своим учителем. В этом качестве выступает совсем другой философ — Продик с острова Кеос. В его присутствии он, во всяком случае, прямо говорит: «Я ученик вот этого Продика» (*Платон. Протагор. 341a*).

Но не сталкиваемся ли мы здесь опять с пресловутой сократовской иронией? Похоже, что именно с ней. Приведем для сопоставления слова Сократа, сказанные другому собеседнику и по другому поводу: «Конечно, если бы я успел прослушать у Продика пятидесятидрахмовый урок, после чего, по его словам, можно и самому стать учителем, ничто не помешало бы тебе тотчас досконально узнать всю истину о правильности имен. Да вот такого-то урока я не слыхал, а прослушал всего лишь драхмовый» (*Платон. Кратил. 384b*).

Продик (он принадлежал к софистам, о которых будет подробнее говориться в следующей главе) брал с учеников плату, как и почти все философы, занимавшиеся преподаванием. Как видим из цитаты, стоимость полного курса у него составляла для ученика 50 драхм. Сократ же получил у него знаний на одну драхму. То есть, очевидно, посетил какое-нибудь одно его занятие, чтобы составить себе представление, что это такое, — и не более того. Можно ли в подобной ситуации говорить об отношениях ученичества? Думаем, вряд ли.

Да и в целом Сократ на самом деле не очень-то высоко ставил Продика как мыслителя и учителя. Известно, что к нему он отсылал тех из своих учеников, которые не проявляли большого стремления к отысканию истины (*Платон. Теэтет. 151b*). Иными словами, не приходится сомневаться в том, что «босоногий мудрец» лишь иронически упоминает свое «обучение» у Продика. Хотя два философа, конечно, общались между собой — но ведь с кем только не общался Сократ!

Создается впечатление, что он и приобщился к философии именно таким путем — просто вступая в общение то с одним, то с другим ее представителем. И с Анаксагором, и с Архелаем, и с Продиком, и с многими иными... Конечно, читал также и их труды. И брал понемногу из разных источников. В этом плане пожалуй что и не будет неверной упоминавшаяся выше характеристика Сократа как «самоучки в философии» (*Ксенофонт. Пир. 1. 5*). Во всяком случае, он не был ничьим учеником в полном смысле слова. Тем более не был чьим-либо последователем. Нет, он шел своей непроторенной тропой. В чем же заключалась ее оригинальность?

* * *

Когда в Ионии в VI в. до н. э. родилась древнегреческая философия, исторически первым предметом ее интереса стало изучение

природы, физического мира. Иными словами, первые античные мыслители были натурфилософами. Этот интерес сохранялся в ионийской философской школе долго, по сути — на всем протяжении ее существования. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Анаксагор, Демокрит и многие другие занимались вопросами происхождения мира, законов, по которым он живет и развивается. Проблемы человека, его внутреннего мира, взаимоотношений людей, жизни в обществе, этики — все это раннегреческих философов, как правило, еще не слишком волновало, казалось мелким и незначительным по сравнению с грандиозными загадками мироздания. Философия была, так сказать, обращена «вовне», а не «вовнутрь».

Наибольшее внимание привлекала тема первоисточков. Из чего все появилось? По Фалесу — из воды, по Анаксимену — из воздуха, по Гераклиту — из огня... Анаксимандр, один из самых глубоких эллинских мыслителей⁶, считал первоначалом мира «апейрон» — некую неопределенную, вечную и безграничную материю, относительно правильного понимания сущности которой и по сей день между специалистами нет полного согласия. Анаксагор, как мы видели, сводил все к «семенам» вещей и к упорядочивающему Разуму, а Демокрит — к хаотическому движению неделимых атомов в пустоте, причем, напротив, вообще не допускал какого-либо разумного начала в этом процессе.

Похоже, что в юности, только-только вступив на стезю философской мысли, Сократ пережил некоторое увлечение натурфилософией. Вот как он, по словам Платона, говорит об этом в последний день своей жизни (*Платон. Федон. 96а слл.*):

«В молодые годы, Кебет, у меня была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют познанием природы. Мне представлялось чем-то возвышенным знать причины всякого явления — почему что рождается, почему погибает и почему существует. И я часто бросался из крайности в крайность и вот какого рода вопросы задавал себе в первую очередь: когда теплое и холодное вызывают гниение, не тогда ли, как судили некоторые, образуются живые существа? Чем мы мыслим — кровью, воздухом или огнем? Или же ни тем, ни другим и ни третьим, а это наш мозг вызывает чувство слуха, и зрения, и обоняния, а из них возникают память и представление, а из памяти и представления, когда они приобретут устойчивость, возникает знание? Размышлял я и о гибели всего этого, и о переменах, которые происходят в небе и на земле, и все для того, чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому исследованию. Сейчас я приведу тебе достаточно веский довод. До тех пор я кое-что знал ясно — так казалось и мне самому, и остальным, —

а теперь, из-за этих исследований, я окончательно ослеп и утратил даже то знание, что имел прежде... Теперь, клянусь Зевсом,— сказал Сократ,— я далек от мысли, будто знаю причину хотя бы одной из этих вещей... Один изображает Землю недвижно покоящейся под небом и окруженною неким вихрем, для другого она что-то вроде мелкого корыта, поддерживаемого основанием из воздуха, но силы, которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть сейчас,— этой силы они не ищут и даже не предполагают за нею великой божественной мощи. Они... нисколько не предполагают, что в действительности все связуется и удерживается благим и должным. А я с величайшей охотою пошел бы в учение к кому угодно, лишь бы узнать и понять такую причину. Но она не далась мне в руки, я и сам не сумел ее отыскать, и от других ничему не смог научиться, и тогда в поисках причины я снова пустился в плавание... После того,— продолжал Сократ,— как я отказался от исследования бытия, я решил быть осторожнее... Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать истину бытия... Как бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное — идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином,— а что не согласно с ним, то считаю неистинным».

Мы привели эту довольно пространную цитату, поскольку видим в ней драгоценный документ о становлении Сократа как философа. Кстати, описанный им процесс своих духовных поисков прекрасно подтверждает высказанную нами выше мысль о том, что он был своего рода самоучкой. Заметим: в приведенном изложении он задает вопросы самому себе, а не учителю.

Правда, следует отметить, что не все исследователи согласятся с нами относительно высокой ценности свидетельства из «Федона» (тем более что этот диалог принадлежит к среднему периоду творчества Платона и не входит в число сократических в строгом смысле слова, считающихся наиболее достоверными). Есть мнение, что Платон приписал здесь Сократу то, чего никогда не было, и на самом деле в жизни «босоногого мудреца» не имелось периода большого интереса к натурфилософии.

Однако вспомним вот еще о чем: Аристофан в «Облаках» рисует Сократа занимающимся в своей «мыслильне» не в последнюю очередь активным изучением природных явлений, поиском их причин. Разумеется, «Облака» — гротеск, карикатура, и все же... Достоинство карикатуры именно в том, что она должна быть узнаваемой. Если она вообще не похожа на того, кого изображает, — она не будет ни

смешной, ни понятной. Просто в карикатуре реально существующие черты утрируются, доводятся до абсурда. Иными словами, если бы Сократ вообще никогда не увлекался натурфилософскими проблемами, то Аристофан и не сделал бы из этого источник комических эффектов.

Ученые, отрицающие наличие натурфилософского этапа в биографии Сократа как мыслителя, ссылаются на другие свидетельства. Во-первых, Сократ в своей защитительной речи на суде, как ее передает Платон, отмечает упрек в том, что он «преступает закон, тщетно испытывая то, что под землею, и то, что в небесах», и называет это «вздором», причем подчеркивает: «Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах... а только ведь это, о мужи афиняне, нисколько меня не касается. А в свидетели этого призываю большинство из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою все те, кто когда-либо это слышал; ведь из вас много таких. Спросите же друг у друга, слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколько-нибудь рассуждал о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же справедливо и остальное, что обо мне говорят» (*Платон. Апология Сократа. 19b-d*).

Итак, вроде бы все ясно: Сократ в принципе не против натурфилософии, но утверждает, что сам ею никогда не занимался. Но тогда перед нами оказывается противоречие: в «Федоне» говорится одно, а в «Апологии» — прямо противоположное. Странно, особенно если учесть, что оба сочинения принадлежат перу одного автора — Платона... Что же, получается, он действительно делал с Сократом что хотел, приписывал ему по собственному произволу не согласующиеся друг с другом мнения?

Однако вот что еще тут нужно иметь в виду. «Апология Сократа», как ясно уже из названия, — произведение апологетическое; ее цель в том, чтобы оправдать учителя от обвинений, показать, что он не нарушал законы и, стало быть, казнен несправедливо. А в Афинах на тот момент существовал закон, принятый в конце 430-х гг. до н. э. по инициативе консервативного прорицателя Диопифа и предписывавший, «чтобы люди, не верующие в богов или распространяющие учения о небесных явлениях, были привлекаемы к суду как государственные преступники» (*Плутарх. Перикл. 32*)⁷. Иными словами, натурфилософия официально запрещалась.

Насколько известно, закон принимался персонально «под Анаксагора», которого в результате удалось изгнать из Афин. Но закон есть закон, и, конечно, Платон в «Апологии» (а возможно, и сам Сократ в своей реальной речи на суде) отнюдь не был заинтересован в том, чтобы афишировать какие-то действия, нарушающие законо-

дательство (хотя бы и задним числом). Совсем другое дело — «Федон»: в день казни уже не имеет смысла что-либо скрывать, можно говорить начистоту.

Во-вторых, о том, что Сократ был чужд изучению природы, говорит и другой его ученик — Ксенофонт — уже в самом начале своих воспоминаний: «Да он и не рассуждал на темы о природе всего, как рассуждают по большей части другие; не касался вопроса о том, как устроен так называемый философами «космос» и по каким непреложным законам происходит каждое небесное явление. Напротив, он даже указывал на глупость тех, кто занимается подобными проблемами... Он удивлялся, как они не понимают, что это постигнуть человеку невозможно, когда даже те из них, которые больше всех гордятся своим умением рассуждать на эти темы, не согласны между собою... Одним кажется, что сущее едино, другим, что оно беспредельно в своей множественности; одним кажется, что все вечно движется, другим, что ничто никогда не может двинуться; одним кажется, что все рождается и погибает, другим, что ничто никогда не может ни родиться, ни погибнуть. По поводу их он высказывал еще такое соображение. Кто изучает дела человеческие, надеется сделать то, чему научится, как себе, так и другим, кому захочет: думают ли исследователи божеских дел, что они, познав, по каким законам происходят небесные явления, сделают, когда захотят, ветер, дождь, времена года и тому подобное?.. Вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами, а сам всегда вел беседы о делах человеческих» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 1. 11–16*).

Но следует помнить, что воспоминания Ксенофонта — сочинение тоже в высшей степени апологетическое, чего их автор и не скрывает. Кроме того, Ксенофонт общался с Сократом только в последние годы жизни, когда тот действительно уже давно не интересовался натурфилософией. И ведь, помимо прочего, мемуарист не пишет, что Сократ *никогда* не питал подобного интереса.

Одним словом, свидетельства Платона в «Апологии» и Ксенофонта вряд ли можно расценивать как вполне объективные и исчерпывающие всю истину; мы считаем, что натурфилософский период в эволюции взглядов Сократа нельзя отрицать. Другое дело, что этот период, насколько можно судить, был довольно скоротечным — потому и не остался в памяти современников, — но все-таки необходимым.

Не приходится удивляться тому, что молодой мыслитель быстро ушел от вопросов изучения природы. Видимо, по всему складу своего ума он тяготел к иному. Обратим внимание на интересный нюанс: как мы видели выше, в «Федоне», рассказывая о своих натурфилосо-

софских увлечениях, Сократ подчеркивает, что его уже тогда больше интересовали не проблемы функционирования космоса, а проблемы, связанные с живыми существами, особенно с людьми. Не происхождение, скажем, земли, солнца, луны, звезд и т. п. (традиционные ионийские натурфилософы именно по этим вопросам много копий сломали, споря друг с другом), а совсем иное: чем человек мыслит, как у него возникают восприятия и представления...

Итог вполне закономерен: перелом в сфере философских интересов Сократа, переход от исследования физического мира к исследованию мира людей, общества. Точно и исчерпывающе характеризует новую сократовскую тематику Ксенофонт: «Он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость и что трусость, что государство и что государственный муж, что власть над людьми и что человек, способный властвовать над людьми, и так далее: кто знает это, тот, думал он, человек благородный, а кто не знает, по справедливости заслуживает названия хама» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 1. 16*).

* * *

Но когда именно произошел перелом, о котором идет речь, и стало ли непосредственным толчком к нему какое-нибудь конкретное событие? Как нам представляется, так оно и было.

Около 450 г. до н. э. (точную дату установить не удастся) Афины посетили два философа из Элеи — великий Парменид и его ученик Зенон⁸. Элея, совсем маленький греческий городок в Южной Италии, была тем не менее крупным центром философской мысли.

Визит, о котором сейчас будет рассказываться, сам по себе является событием достаточно значимым, неординарным. Афины, как мы знаем, часто навещали философы из других мест, но в подавляющем большинстве это были представители ионийской натурфилософской школы греческого востока. Гости же с запада появлялись в «городе Паллады» несравненно более редко. Прибытие Парменида и Зенона — чуть ли не первый известный случай такого рода.

В лице этих мыслителей афиняне познакомились со второй, наряду с ионийской, ветвью раннегреческой философии — итальянской. Итальянская философская школа, правда, была основана в VI в. до н. э. выходцами из той же Ионии — эмигрировавшими на запад Пифагором с острова Самоса и Ксенофаном из малоазийского Колофона. Однако в этом регионе развитие философии как-то сразу пошло существенно иными путями. Философы греческой Италии мыслили гораздо более идеалистично, чем их ионийские коллеги, искавшие

всегда материальную первооснову космоса, и пытались найти эту первооснову в области умопостигаемых форм, не доступных непосредственному чувственному восприятию.

Так, Пифагор в пику ионийцам полагал, что миром правят не природные стихии — огонь, воздух, вода и т. п., — а числа и их соотношения, и именно их считал неким мистическим «началом всех вещей». Ксенофан едва ли не первым на античной почве развил учение о едином боге, управляющем вселенной только силой своего разума.

Есть один только бог, меж богов и людей величайший,
Не похожий на смертных ни обликом, ни сознанием...
Весь целиком он видит, весь сознает и весь слышит.
...Без труда, помышленьем ума он все потрясает...
Вечно на месте одном пребывает, не двигаясь вовсе,
Переходить то туда, то сюда ему не пристало.
(Ксенофан. фр. B23–B26 Diels — Kranz)

Фактически это уже рациональное богословие. И к тому же — первый на античной почве шаг к монотеизму (правда, шаг еще довольно робкий и непоследовательный: наряду с пресловутым «одним богом» признается и наличие каких-то других богов).

В творчестве Парменида, ученика Ксенофана, идеи итальянской философии нашли наиболее полное воплощение. Он, как и ионийцы, был натурфилософом, но совершенно особого толка⁹. Он утверждал, что мир на самом деле совсем не таков, каким его воспринимают наши органы чувств. Зрение и другие чувства не дают нам истинной картины, обманывают наш разум.

В частности, особенно настаивал Парменид на том, что нет и не может быть никакого движения, никаких изменений; они лишь кажутся нам, а в действительности мир совершенно неподвижен и находится в состоянии вечного покоя. На первый взгляд, эта точка зрения абсурдна и вроде бы ничего не стоит ее опровергнуть: ведь все мы и сами постоянно движемся и видим движения других лиц и предметов, о каком вечном покое может идти речь? Но вот маленький шедевр Пушкина — как раз об этой самой философской проблеме античности. Описан действительно имевший место случай — так возражал на аргументы Парменида Диоген:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;

Хвалили все ответ замысловатый.
 Но, господа, забавный случай сей
 Другой пример на память мне приводит:
 Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
 Однако ж прав упрямый Галилей¹⁰.

Пример с Землей и Солнцем очень хорош, он прекрасно показывает, что нередко и вправду реальность не совпадает с данными наших ощущений. Из этого-то и исходил Парменид.

Зенон Элейский, развивая и доказывая положения, выдвинутые учителем, составил ряд сложных, парадоксальных логических задач, так называемых апорий (то есть по-древнегречески затруднений), наглядно демонстрирующих противоречия между умозрительными соображениями и житейским опытом, — об Ахилле и черепахе, о летящей стреле и др.

Первая из упомянутых апорий может быть вкратце пересказана так. Представим себе, что Ахилл — самый быстроногий герой в греческой мифологии — состязается в беге с черепахой, этим воплощением медлительности. Дадим черепахе « фору », поставив ее на десять шагов впереди. Условимся также, что Ахилл движется в десять раз быстрее своей соперницы — просто потому, что с круглыми числами легче оперировать.

Итак, соревнование началось. Сможет ли прославленный бегун догнать черепаху? « Конечно, сможет », — говорили собеседники Зенона. « А вот и нет, — усмеялся философ. — Смотрите сами. Пока Ахилл пробежит десять шагов, отделяющие его от черепахи, та проползет один шаг и по-прежнему будет впереди него. Пока Ахилл пробежит этот шаг — черепаха проползет одну десятую шага и все равно остается впереди. Ахилл пробегает одну десятую шага — черепаха проползает одну сотую. И так до бесконечности! Ведь пространство бесконечно делимо, и для того, чтобы преодолеть даже самый ничтожный его отрезок, нужно же затратить какое-то время. Герой приближается к черепахе, но не может ее догнать, тем более обогнать. Он постоянно оказывается в точке, где она только что была, но где ее уже нет: она ведь, хоть и медленно, но тоже движется, но не стоит на месте ».

Апория о летящей стреле имеет несколько иной характер. Когда стрела летит, она движется или покоится? И опять же общепринятый ответ, разумеется, будет: « Конечно, движется ». А ответ Зенона — снова иной. В каждый отдельно взятый момент стрела находится в каком-то одном месте, а не в двух сразу. А поскольку время состоит именно из отдельно взятых моментов, то стрела *всегда* находится

в каком-то одном месте. Где же тогда движение? Его нет, оно куда-то исчезает.

Впоследствии Аристотель считал, что ему удалось разрешить парадоксы Зенона, разоблачить лежащие в их основе логические сбои. Но он ошибался¹¹. На самом деле «Зеноновы загадки» — это не какие-нибудь дешевые софизмы, строящиеся на жульнической подмене понятий. Таких тоже было более чем достаточно в античной Греции. Например, известный «рогатый софизм»: «Чего ты не терял, то у тебя есть. Рогов ты не терял? Значит, ты рогат». Тут-то как раз найти подвох очень просто.

Нет, апории Зенона гораздо глубже. Они отражают собой не досужую игру ума, а реальные парадоксы системы «пространство — время — движение». Нельзя сказать, что они и по сей день однозначно и непротиворечиво решены. И действительно, с логической стороны они абсолютно безупречны. Придаться решительно не к чему, все предельно убедительно. А вместе с тем столь же ясно и другое: заключения элейского философа решительно противоречат данным опыта наших чувств. Если действительно устроить подобное состязание между человеком и черепахой, то каждый зритель легко сможет увидеть, как бегун за несколько секунд догонит и перегонит неповоротливое животное.

Что же получается? Глаза говорят нам одно, а логика, то есть наш разум, — другое. Что же из них нас обманывает? Чему верить? Ответ человека наших дней будет однозначен: безусловно, верить нужно органам наших чувств. Но это означает — отказать в доверии разуму. Зенон бы сказал: «Если не верить собственному разуму, то лучше вообще прекратить этот разговор: кого обманывает его ум, тот попросту сумасшедший». Уж лучше признать, что зрение и другие чувства не дают нам адекватного представления о мире. Воистину: не верь глазам своим.

В целом можно констатировать, что Парменид и Зенон первыми в истории древнегреческой и мировой мысли всерьез начали ставить проблемы гносеологии. После их достижений уже решительно невозможным стало «наивное» философствование в прежнем, старинном духе. Необходимо было как-то реагировать на тезисы, выдвинутые этими мыслителями: либо аргументированно опровергать их, либо принимать — но уж тогда выстраивать философские системы по-новому, с учетом этих тезисов.

Из тупика, порожденного зеноновскими апориями о пространстве и времени, было предложено две альтернативные попытки выхода — Анаксагором и Демокритом. Выдвинутые ими концепции имеют определенное внешнее сходство (поэтому учение Анаксагора иногда

считают одной из разновидностей атомизма), но по существу полярно противоположны друг другу.

«Настоящие» атомисты во главе с Демокритом, если выражаться языком современной науки, признают квантование — представление физической величины в виде ряда дискретных единиц. Мир у них в конечном счете состоит из неделимых элементов (собственно, «атом» и означает по-гречески «неделимый»). Анаксагор же квантование отрицает, у него вещество делится до бесконечности. Заметим, кстати, что хотя само понятие «квант» в античности, разумеется, не употреблялось, но тем не менее с появлением квантовой теории нам в целом стала гораздо понятнее проблематика ранней греческой философии, выяснилось, что одной из важных проблем, ставившихся и решавшихся ее представителями, была именно возможность квантования пространства.

Подчеркнем, именно пространства; что же касается квантования времени, то оно, насколько можно судить, не становилось предметом специальных дискуссий и воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Собственно, в вышеприведенных апориях Ахилл именно потому не может догнать черепаху, а летящая стрела «повисает в воздухе», что пространство у Зенона не квантуется и делится до бесконечности, а время квантуется, состоит из отдельных моментов.

Но вернемся к Сократу. Есть достоверные свидетельства, что он встречался и беседовал с Парменидом и Зеноном в пору их визита в Афины. Сократ сам неоднократно вспоминал об этом, отзываясь о Пармениде с неизменным уважением:

«Он (Парменид. — И. С.) внушает мне, совсем как у Гомера, «и почтенье, и ужас». Дело в том, что еще очень юным я встретился с ним, тогда уже очень старым, и мне открылась во всех отношениях благородная глубина этого мужа» (*Платон. Теэтет.* 183е). «Скажи-ка нам вот что: как ты привык — сам в длинной речи исследовать то, что желаешь кому-нибудь показать, или путем вопросов, как это, например, делал в своих великолепных рассуждениях Парменид, чему я был свидетель, когда был молодым, а тот уже преклонным старцем» (*Платон. Софист.* 217с).

А диалог Платона «Парменид», как ясно уже из названия, целиком посвящен этой встрече Сократа, который «был в то время очень молод» (*Платон. Парменид.* 127с) с элейскими гостями. «Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представительен; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону же тогда было около сорока, он был высокого роста и приятной наружности» (*Платон. Парменид.* 127b). В диалоге повествуется о том, как Сократ, присутствуя на публичном чтении Зеноном своего труда, после этого всту-

пает с ним в спор, а затем в беседу включается и сам Парменид. Их разговор затрагивает многочисленные, весьма глубокие предметы — о вещи и идее, о едином и многом...

Но, впрочем, сам тот факт, что юный Сократ дискутировал с элейцами о подобных проблемах, да еще и вполне на равных, по справедливости вызывал и вызывает самые серьезные сомнения. Как резонно писал один позднеантичный автор: «На самом деле Парменид настолько старше Сократа, что детство последнего едва захватило старость Парменида. И однако они беседуют на темы очень трудные» (*Макробий*. Сатурналии. I. 1)¹².

Да и в целом следует отметить, что проблематика диалога «Парменид» слабо вписывается в контекст философских исканий середины V в. до н. э. Об идеях много говорили философы следующего столетия, и прежде всего сам Платон, который, собственно, и внес главный вклад в разработку этого понятия. Представляется практически несомненным, что и в данном случае, как нередко, он вложил собственные мысли в уста давно ушедших людей.

Или то был не Платон? Во всяком случае, есть мнение, что «Парменид» и несколько примыкающих к нему диалогов были на самом деле написаны не самим основателем Академии, а молодым Аристотелем, когда тот еще был учеником Платона¹³. Некоторые нюансы предлагаемых в этих произведениях теорий вроде бы позволяют допустить такую возможность. Но вопрос этот очень сложен, нуждается в специальном анализе и здесь не может быть подробно рассмотрен.

Как бы то ни было, если содержание разговора Сократа с Парменидом не может быть ныне достоверно реконструировано, то все-таки сам факт их встречи, безусловно, имел место. И эта встреча просто не могла не оказаться очень важной вехой в эволюции философских воззрений «босоногого мудреца».

В чем конкретно выразилось влияние Парменида на Сократа? Об одном аспекте сам Сократ упоминает в одной из вышеприведенных цитат: Парменид, в отличие от большинства тогдашних философов, рассуждал не декларативно, а путем вопросов. Но ведь это же и есть знаменитый диалогический метод, рождение которого обычно связывают с именем Сократа! А сам он, как видим, признает, что позаимствовал такую манеру у Парменида. Конечно, и тут, как всегда, надлежит помнить о сократовской иронии, из-за которой — повторим снова и снова — всякий раз остается неясным, когда Сократ говорит всерьез, а когда шутит...

Может быть, еще более важным было вот что. Общение с Парменидом должно было дать Сократу заряд здорового скептицизма по отношению к ранее знакомым ему натурфилософским теориям

ионийцев. Можно ли считать любую из этих теорий происхождения и устройства мироздания хоть сколько-нибудь заслуживающей доверия, если, как учили Парменид и Зенон, мы вообще не имеем опытного знания и объективных данных о физическом мире? И стоит ли тогда вообще заниматься натурфилософией? Не переключиться ли на предметы, которые доступны исследованию, приводящему к какому-то ответственному и непротиворечивым выводам?

* * *

И Сократ сделал свой выбор. Выбором этим был именно «поворот к человеку». Решение вполне закономерное — не только лично для героя нашей книги, но и для античной философии в целом, которая неизбежно шла к этому коренному перелому в своей истории. Парменидовская критика просто-таки назрела ввиду того, что натурфилософские концепции к какому-то моменту исчерпали себя, произошло, так сказать, «пресыщение» ими.

Ведь было выдвинуто большое количество взаимоисключающих точек зрения. Из чего произошел мир? По Фалесу — из воды, по Анаксимену — из воздуха, по Гераклиту — из огня, по Пифагору — из чисел. У Анаксимандра первопричиной выступал неудобопонимаемый «апейрон», у Демокрита — какие-то никому не ведомые атомы... И ни одну из этих теорий в тогдашних условиях было невозможно ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть. Это в конце концов породило естественное недоверие к самой идее исследования внешнего мира, скептицизм и агностицизм (признание невозможности познания).

Отсюда — один шаг до следующего вывода: коль скоро о внешнем мире ничего определенного сказать нельзя, значит, изучать можно только себя самого, то есть человека. Разумеется, не тело человека, а его внутренний мир, а также взаимоотношения людей и все, что с ними связано, — нравственность, общественную жизнь, политику. Да, собственно, только это и дает реальную, практическую пользу, а какой прок от размышлений «о судьбе светил»?

Тогда-то и получил новое наполнение старинный лозунг «Познай самого себя». Кто первым сказал эти слова, доподлинно неизвестно; кто-то из «семи мудрецов» — то ли Фалес, то ли Хилон, то ли Солон... Но они были чрезвычайно популярны в архаической Греции и даже выбиты у входа в Дельфийский храм Аполлона — самое авторитетное святилище Эллады. Этот афоризм Сократ очень любил, причем понимал его примерно так же, как и мы теперь — как призыв к погружению в глубины собственной индивидуальности. Но изначально смысл изречения был совсем иным. В нем фиксировалась не-

кая мировая субординация с твердо установленным местом для каждого человека, которое ему надлежит знать. По сути дела, можно сказать, что в дельфийском контексте «Познай самого себя» означает: «Познай, что ты *всего лишь* человек, и не стремись к большему». Несколько упрощая — «Знай свое место».

«Поворот к человеку» в философии обычно связывают с именем Сократа. Соответственно, он оказывается, так сказать, фигурой-вехой, четко разделяющей два принципиально разных этапа в эволюции античной мысли. Всех древнегреческих философов в историко-философской литературе делят на тех, кто еще не подвергся воздействию сократовского учения, и тех, кто творил уже под его влиянием. Первых так и называют *досократиками*. Этот термин получил прочную прописку в трудах ученых, и от него вряд ли когда-нибудь откажутся. А между тем он содержит в себе определенные, достаточно серьезные противоречия.

Ибо очень уж разнородная компания оказывается собранной под общим наименованием досократиков. Тут и ранние ионийские натурфилософы-естествоиспытатели, и вдохновенный мистик Пифагор, и скептики Парменид с Зеноном, подорвавшие основы натурфилософии... Сюда же относят и атомиста Демокрита, который родился лет на десять позже Сократа, а умер лет на тридцать-сорок позже его. Да, парадокс еще и в этом: к группе досократиков по традиционной классификации оказываются причисленными некоторые мыслители, бывшие младшими (!) современниками «босоногого мудреца». И даже такие (например, философ, политический теоретик и государственный деятель Критий — о нем подробнее еще пойдет речь ниже), которые побывали в учениках у Сократа. Таковы, очевидно, неизбежные издержки чрезмерно формального подхода к любой проблеме.

Но вернемся к главному: справедлив ли сам тезис, согласно которому «поворот к человеку» — дело рук Сократа, именно и только его? Здесь не обойтись, по крайней мере, без двух важных оговорок.

Во-первых, очень важную роль в процессе, о котором идет речь, сыграла афинская трагедия. Мы не случайно специально упоминали выше, что Сократ с юности, несомненно, посещал театральные представления и жадно впитывал то, что говорилось со сцены. Именно театр имеет в виду видная отечественная исследовательница Т.В. Васильева, когда пишет: «В Афинах пятого века до нашей эры была мощная школа философии, только философия эта была не естествоиспытательская, а религиозно-этическая»¹⁴.

Да, драматурги ставили в своих произведениях именно эти вопросы — о нравственных ценностях, о почитании богов, о судьбе че-

ловека, а уж никак не о натурфилософии. Их-то и можно назвать непосредственными предшественниками Сократа. Другое дело, что они высказывали свои идеи посредством художественных образов, а теперь всю эту проблематику предстояло перевести на строгий язык философии.

Да, кстати, заодно и создать этот самый строгий язык, ибо в данном направлении еще очень мало что было сделано. Ранние, архаические философы предпочитали поэтическую манеру выражения; именно ее мы встречаем, например, у Анаксимандра, Гераклита. Ксенофан, Парменид, Эмпедокл излагали свои учения не в трактатах, а в поэмах. Пифагор, судя по всему, вообще ничего не писал (а труды, позже приписанные этому мыслителю его последователями, в действительности ему не принадлежат)¹⁵.

Понятно, что в подобных условиях не приходилось говорить о серьезной разработке философской терминологии. Каждый философ как бы говорил на собственном языке, в полном мере понятном лишь ему самому и узкому кругу единомышленников. Был необходим категориальный аппарат общих понятий — как основа, на которой можно договариваться или хотя бы полноценно спорить. Начало выработки этих общих понятий, как и «поворот к человеку», традиционно связывают с именем Сократа.

Однако справедливости ради следует заметить — в чем и заключается наша вторая оговорка, — что Сократ не единственный и не первый мыслитель, о котором все это может быть сказано. Одновременно с ним и даже чуть раньше на сцену в Элладе выступили *софисты*. О них совершенно необходимо хотя бы кратко рассказать в книге, посвященной «босоногому мудрецу». Его соединяли с ними тесные и противоречивые отношения, и без упоминания о софистах очень многое в деятельности Сократа будет просто непонятно.

КРУГ СОБЕСЕДНИКОВ (I): СОФИСТЫ

Во второй половине V в. до н. э. в греческих полисах впервые появились новые и странные люди. Это были странствующие учителя мудрости, переезжавшие из города в город, произносившие напыщенные и остроумные речи на площадях, собиравшие толпы слушателей и готовые за плату дать любому желающему уроки красноречия, искусства управления государством, а заодно и изложить в доступной форме все накопленные человеческой мыслью знания. Особенно много таких приезжих знаменитостей было в Афинах, где их деятельность всячески поощрялась Периклом, а потом — и его преемниками.

Афиняне старшего поколения, традиционного склада ума относились к этим учителям скептически и не без опаски. Есть мнение, что именно консерваторы дали им название софистов, и само это название, под которым данная группа мыслителей вошла в историю, изначально являлось пренебрежительным: «ему с самого начала был присущ известный иронический оттенок: *мудрствующий* — в отличие от того, кто просто и безусловно мудр... Термину “софист” был свойствен... уничижительный оттенок»¹. Есть, однако, и другая точка зрения, которая нам кажется более верной: «Греческому слову “софист”, по буквальному смыслу означающему профессионала, чья профессия — “мудрость” (“софия”), довольно точно соответствует современное международное слово “интеллектуал”»². Иными словами, на первых порах ничего негативного в терминах «софист», «софистика» не было, просто со временем они подверглись, так сказать, лексической девальвации.

В любом случае главной аудиторией софистов были, конечно, не старики, а молодежь — преимущественно из знатных и богатых семей. Вот она-то с восторгом слушала лекции софистов, в которых привлекало все — и вящая новизна развиваемых идей, и подчеркиваемая этими учителями практическая применимость даваемых ими знаний.

Среди афинян появились настоящие фанатичные поклонники софистов. Особенно «прославился» в этом смысле Каллий, сын Гиппоника, представитель древнего аристократического рода Кериков, слывший самым богатым человеком в Афинах. Его дед, тоже Каллий, был знаменитым дипломатом (заключил мирный договор, завершивший Греко-персидские войны) и трехкратным победителем в Олимпийских играх; его отец Гиппоник тоже принадлежал к политикам

и военачальникам, — впрочем, не самым крупным, — и в целом имел репутацию почтенного и благонамеренного гражданина. А этот Каллий-младший увлекся «привозной мудростью» и «переплатил софистам денег больше, чем все остальные вместе» (*Платон. Апология Сократа. 20а*). Платону вторит Ксенофонт: у него Сократ говорит Каллию: «Ты много денег передавал и Протагору, чтобы научиться у него мудрости, и Горгию, и Продику, и многим другим...» (*Ксенофонт. Пир. 1. 5*). Приезжавшие в Афины софисты останавливались обычно именно в доме Каллия (*Платон. Протагор. 311а, 314с-е*). Результат, кстати, для Каллия был плачевен: он разорился. В начале IV в. до н. э. один афинский автор говорил о нем так: «Каллий, Гиппоникий сын, в ближайшее время по смерти отца считался самым богатым человеком в Элладе, и, как говорят, дед оценил свое состояние в двести талантов, а теперь его имущество не ценится в два таланта» (*Лисий. XIX. 48*). Талант — древнегреческая мера стоимости, соответствовавшая примерно 26 кг серебра.

В числе софистов, вне всякого сомнения, имелись действительно крупные мыслители. В их числе следует назвать философа Протагора из Абдер, оратора Горгия из Леонтин и др. Но подвизались в качестве софистов также и несколько десятков самонадеянных посредственностей, а то и просто шарлатанов. Именно таковыми выведены, например, в одном из диалогов Платона братья Евтидем и Дионисодор с Хиоса, которые, расположившись в одной из палестр, вызывают любого желающего на диспут и, вступая в него, откровенно дурачат «почтеннейшую публику» дешевыми словесными ухищрениями (*Платон. Евтидем. 273а слл.*). Шарлатаны, конечно, не будут нас здесь интересовать; займемся теми софистами, которые действительно внесли серьезный вклад в развитие древнегреческой мысли³.

Безусловно, у каждого из видных представителей софистического движения было какое-то свое собственное учение. Но всем (или, по крайней мере, многим) этим учениям, несмотря на индивидуальные отличия, был присущ ряд важных общих черт. Такими чертами являлись антропоцентризм, субъективизм и релятивизм.

Самое главное — в центре теоретических построений софистов находился человек. Как писал в одном из своих трудов Протагор, «человек есть мера всех вещей» (*Протагор. фр. B1 Diels — Kranz*). Это высказывание стало классическим, очень знаменитым; ныне его знает, наверное, едва ли каждый, хотя вряд ли многие правильно ответят на вопрос об авторе процитированных слов.

Протагоровский тезис знаменовал два исключительно значимых новшества. Во-первых, тот самый «поворот к человеку». Философы

предыдущих эпох, как говорилось в предыдущей главе, занимались в основном проблемами внешнего физического мира, пытались открыть законы, по которым возникла и живет Вселенная. Дела человеческие не интересовали их, поскольку казались слишком «мелкими». Софисты же принципиально отказались от изучения мира, считая его непознаваемым. Особенно четко и откровенно (может быть, с прямой целью шокировать публику) выразил этот агностицизм Горгий, выдвинувший три положения: 1) Ничего не существует; 2) Если что-то и существует, то оно непознаваемо; 3) Если что-то и познаваемо, то невыразимо (*Горгий*. фр. В3 Diels — Kranz; цитата не дословная, но адекватно передающая то, что хотел сказать мыслитель). Иными словами, изучать возможно только человека, его внутренний мир, взаимоотношения людей, жизнь общества. Да, собственно, только это и нужно для жизни.

Во-вторых, что еще вытекает из признания человека мерой всех вещей? Ведь нет же какого-то одного, абстрактного человека; есть множество людей, и у каждого — своя «мера», свои суждения, свое видение мира. А значит, все относительно, все субъективно. Нет никакой абсолютной истины, общей для всех; не существует объективных ценностей. Можно доказать или опровергнуть все, что угодно, — для этого следует лишь ловко подбирать аргументы (это называлось «делать слабый довод сильным»)⁴.

Логично выводимыми импликациями рассмотренной релятивистской посылки (впрочем, в полной мере осознанными и акцентированными уже представителями младшего поколения софистов, такими, как Критий и Фрасимах) были такие черты учений некоторых из них, как прагматизм в этике (истинно то, что полезно и выгодно), правовой нигилизм, а порой — и откровенный культ силы (кто сильнее, кто сумеет навязать оппоненту свою точку зрения, тот и прав). Афинские послы, в 416 г. до н. э. ведя переговоры с осажденными жителями острова Мелоса, цинично заявляли: «Более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться» (*Фукидид*. История V. 89). Нет сомнения, что этому отстаиванию «права сильного» они научились у софистов.

Конечно, не стоит оценивать деятельность софистов только отрицательно, уподобляясь в этом их яростному критику Платону. Они способствовали широкому распространению знаний в Греции. Ранние мыслители проповедовали свои идеи в узких кружках единомышленников, а софисты вынесли философию на улицы и площади. Эти всесторонне образованные люди, «энциклопедисты» и «просветители» тогдашнего мира (эпоху софистов иногда даже называют эпохой «греческого Просвещения»), внесли вклад в развитие ряда

наук (языкознания, теории государства и права и др.), фактически положили начало античному ораторскому искусству. Софистам вообще был свойствен универсализм, он являлся предметом их законной гордости. Они прежде всего ставили себе в заслугу именно широту своих интересов и занятий, свое «многознание».

Тем не менее в целом деятельность софистов, бесспорно, способствовала подрыву устоявшихся полисных ценностей и представлений, кризису общепринятых верований и морали, росту индивидуалистических настроений, губительных для исконно коллективистского духа классического полиса. В высшей степени характерна нарисованная впоследствии Платоном в диалоге «Горгий» карикатура на поздних софистов — образ молодого афинянина Калликла, проникшегося «модными» учениями до глубины души, не желающего признавать никаких законов и нравственных норм и славящего не ведающую ограничений волю «сильной личности».

Для софистов было вообще характерно критическое отношение к традиционному мировоззрению, особенно к религии. Тот же Протагор написал специальный труд «О богах», причем, судя по всему, с откровенно скептических позиций. Во всяком случае, сочинение начиналось словами: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их и каковы они, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос темен, и людская жизнь коротка» (*Протагор*. фр. В4 Diels — Kranz)⁵. Весьма интересно было бы узнать, что же дальше писал Протагор о богах на протяжении целого трактата, если в первой же его фразе заявляется, что сказать-то о них, собственно, ничего и нельзя. Но, увы, это произведение утрачено.

Горячим последователем Протагора и других греческих «просветителей» стал драматург Еврипид, которого часто и с полным основанием называют «философом на сцене»⁶, потому что он в своих трагедиях постоянно занимался популяризацией передовых философских учений. Вот одно из характерных в этом отношении мест из Еврипида (из пьесы «Троянки»):

О ты, земле движенье и престол
Избравший на земле, кто б ни был ты,
Непостижимый Зевс, природы сила
Иль разум наш...

(*Еврипид*. Троянки. 884 слл.)

Пожалуй, именно Еврипид (480–406 до н. э.) из древнегреческих поэтов в наибольшей степени подвергся влиянию идей софистов⁷. Правда, некоторые античные авторы считали Еврипида учеником

и приверженцем Сократа. Так, в афинских комедиях встречаем следующие высказывания о Сократе (цит. по: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 18):

Для Еврипида пишет он трагедии,
В которых столько болтовни и мудрости.

Или еще:

Гвоздем Сократа Еврипид сколоченный.

Но это маловероятно. Сопоставив даты рождения, видим, что Еврипид был лет на десять старше Сократа, так что вряд ли он учился у него в каком бы то ни было смысле. Повторим, скорее он был учеником именно софистов, самые ранние из которых принадлежали к несколько более старшему поколению.

Бесспорно, проповедь софистов, имевшая широкую популярность в образованных слоях общества, разрушительным образом действовала на общепринятую шкалу ценностей. Под ее влиянием внедрялось скептическое отношение к религиозным верованиям, к законам и обычаям полиса. Каждый становился сам себе законом...

«Вольнодумство» и «безбожие» софистов породило в конце концов неприязнь к ним в массе афинского демоса, привыкшего мыслить «по старинке». Это с особенной силой сказалось в годину бедствий, вызванных Пелопоннесской войной со Спартой (431–404 гг. до н. э.). Несчастье за несчастьем обрушивалось на «город Паллады»: страшная эпидемия, неудачи на полях сражений, увенчавшиеся полным провалом грандиозной экспедиции на Сицилию... Казалось, сами боги гnevаются на Афины за то, что в них безнаказанно живут и учат такие «нечестивцы», как Протагор. Около 412 г. до н. э. этого софиста предали суду и приговорили к изгнанию из Афин.

Впрочем, мы забежали несколько вперед. Вернемся в довоенный период, в «Периклов век». До религиозной истерии, до преследования инакомыслящих пока еще далеко. Однако многие афиняне уже с подозрением начинают относиться к мудрствованиям софистов, не одобряют, что с ними охотно общается сам Перикл: «Когда какой-то пентатл (атлет-пятиборец. — *И. С.*) нечаянно брошенным дротом убил Эпитима из Фарсала, Перикл... потратил целый день, рассуждая с Протагором о том, кого, по существу, следует считать виновником этого несчастного случая, — дрот, или бросавшего, или распорядителей состязания» (*Плутарх*. Перикл. 36). В разговоре, таким обра-

зом, разбирались серьезные философские вопросы причинности, но большинству слушателей это, конечно, должно было казаться какими-то бесплодными словопрениями.

Протагор еще в 432 г. до н. э., до начала Пелопоннесской войны, говорил: «Ты правильно делаешь, Сократ, что соблюдаешь осторожность... Чужеземцу, который, приезжая в большие города, убеждает там лучших из юношей, чтобы они, забросив всех — и родных и чужих, и старших и младших, — проводили время с ним, чтобы благодаря этому стать лучше, нужно быть осторожным в таком деле, потому что из-за этого возникает немало зависти, неприязни и всяких наветов» (*Платон. Протагор. 316cd*).

В любом случае бороться судами и приговорами против идейных новшеств, даже неприятных для массы народа, было бесполезно. Идее следовало противопоставить идею. И как раз в это время в Афинах появился мыслитель, который выступил с решительной критикой многих базовых положений софистов, — Сократ.

* * *

Сократ был непохож на софистов даже всем своим образом жизни. Софисты были богатыми, процветающими и важными — Сократ, человек небольшого достатка, ходил по городу в простой одежде, часто босиком, при этом никогда не брал денег с учеников. Софисты много путешествовали — Сократ, коренной афинянин, почти никогда не покидал родного полиса. Софисты давали уроки в домах состоятельных молодых афинян — Сократ обычно вел свои беседы на улицах, в лавках, палестрах. Софисты произносили перед слушателями вычурные речи, не предполагающие возражений (то есть для них были характерны монологизм и категоричность суждений), — Сократ блестяще разработал метод философского диалога: серией вопросов, на первый взгляд простых и наивных, а в действительности сложнейших, он доводил своего оппонента до признания неправоты его взглядов, а затем тем же путем доказывал справедливость собственной позиции. Софисты много писали — Сократ не оставил после себя никаких трудов, и с его учением мы знакомы лишь в пересказе его учеников — Платона, Ксенофонта и др.

И тем не менее большинство современников, как ни странно, зачастую не замечало принципиальной разницы между Сократом и представителями софистического движения, видело в Сократе одного из софистов. Вспомним хотя бы «Облака» Аристофана: даже этот комедиограф, умный и проницательный человек, изображает «босоногого мудреца» в качестве злонамеренного софиста, достойного всяческого порицания⁸.

Одним словом, Сократ воспринимался всецело в «софистическом контексте», да и действительно был неотделим от него, хотя и являлся по ряду вопросов непримиримым идейным противником софистов. Что ни говорить, и тот и другие посвятили себя изучению одних и тех же проблем — человека и общества⁹. Но вот решали эти проблемы они совершенно по-разному, хотя афинский философ воспринял все действительно ценное, что содержалось в учениях софистов.

Особенно чужды и неприемлемы были для Сократа высказываемые ими идеи релятивизма. Софисты утверждали всеобщую относительность — Сократ в противовес им доказывал существование объективной истины, которую к тому же можно, хотя и трудно, отыскать. Он учил, что есть обязательные для всех, неписанные моральные законы — законы добра и истины. Тот, кто их постигнет, не сможет уже совершать дурные поступки, поскольку в жизни нельзя не следовать полученным знаниям¹⁰. Вот только дано это далеко не каждому: научиться нравственности, овладеть ею могут лишь немногие, ибо это требует большой самоотдачи и искреннего стремления.

Эти взгляды Сократа определяли его политическую позицию. Софисты по большей части были сторонниками демократии; так, Протагор считается одним из крупнейших ее идеологов в классической Греции¹¹. Сократ же находил немало недостатков в демократической форме правления и не боялся критиковать их. Впрочем, о политических воззрениях «босоногого мудреца» у нас будет случай поговорить подробнее в одной из следующих глав.

А пока продолжим рассказ о взаимоотношениях Сократа и софистов. В источниках описывается его постоянное общение с ними, всегда выливающееся в полемику. С кем же и о чем спорит Сократ? Дадим характеристики нескольких видных представителей софистического движения, с которыми особенно часто сталкивался «босоногий мудрец».

* * *

Протагор (ок. 480–410 до н. э.). Уроженец Абдер — греческого городка на северном побережье Эгейского моря. Заметим здесь сразу, что движение софистов как-то одновременно и сразу возникло в разных частях обширного эллинского мира. Причем многие мыслители этого круга — выходцы не из крупных культурных центров, а из совсем небольших полисов. В Греции даже какой-нибудь «медвежий угол» был не обделен талантами.

В тех же Абдерах родился и жил знаменитый атомист Демокрит, неоднократно упоминавшийся выше. В некоторых источниках говорится, что якобы именно он обратил Протагора к философии

(например: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. IX. 50, 53). Некоторые современные ученые склонны принимать это как факт¹², что нам, однако, представляется крайне маловероятным: Протагор был лет на двадцать старше Демокрита.

Протагор справедливо считается одним из крупнейших представителей софистического движения, а может быть, и просто самым крупным. В его учении особенно ярко и выпукло проявился релятивизм софистов. Выше уже цитировалось протагоровское изречение о человеке как мере всех вещей. А вот другие его слова: «Какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя» (*Платон*. Теэтет. 152а).

Сократ был хорошо знаком с Протагором, часто с ним общался. Одной из их встреч и бесед посвящен диалог Платона, который так и называется — «Протагор». Это одно из лучших, самых ярких произведений сократического периода творчества Платона. В начале диалога (в нем Сократ выведен говорящим от первого лица) присутствует исключительно живая, красочная зарисовка интеллектуальной жизни в Афинах эпохи софистов.

Юноша Гиппократ еще затемно приходит к дому Сократа и начинает громко стучать в дверь палкой. Разбуженный Сократ осведомляется в чем дело. Молодой человек восторженно отвечает: в город приехал Протагор! Он остановился у Каллия, сына Гиппоника. Гиппократ умоляет Сократа идти вместе с ним в дом Каллия и познакомить его с прославленным софистом: он хочет у него учиться. «...Из-за того-то я теперь к тебе и пришел, чтобы ты поговорил с ним обо мне. Я ведь и моложе, и притом никогда не видел Протагора и не слышал его, потому что был еще ребенком, когда он в первый раз приезжал сюда» (*Платон*. Протагор. 310е).

Сократ умеряет пыл юноши, убеждает его, что торопиться не стоит, нужно подождать хотя бы до рассвета: «Протагор большею частью проводит время дома, так что не бойся, мы скорее всего его застанем» (*Платон*. Протагор. 311а). С наступлением утра два афинянина отправляются к Каллию. По ходу дела из их беседы выясняется, что у него в это время живут и другие гости из числа видных представителей софистического движения — Продик и Гиппий. Дом буквально набит людьми. И когда Сократ с Гиппократом подходят к дверям, раб-привратник даже не хочет их пускать: «...ему, должно быть, из-за множества софистов опротивели посетители этого дома. Когда мы постучали в дверь, он, отворивши и увидев нас, воскликнул:

— Опять софисты какие-то! Ему некогда! — И сейчас же, обеими руками схватившись за дверь, в сердцах захлопнул ее изо всей силы.

Мы опять постучали, а он в ответ из-за запертой двери крикнул:
— Эй, вы! Не слышали, что ли: ему некогда.

— Но, любезный, — говорю я, — не к Каллию мы пришли, да и не софисты мы. Успокойся: мы пришли потому, что хотим видеть Протагора. Доложи о нас!

Человек насилу отворил нам дверь...» (*Платон. Протагор. 314de*).

В доме глазам Сократа и его молодого друга предстает весьма живописная картина: знаменитые софисты в окружении почитателей из числа афинской аристократической молодежи. «Когда мы вошли, то застали Протагора прохаживающимся в портике, а с ним прохаживались по одну сторону Каллий, сын Гиппоника, его единоутробный брат Парал, сын Перикла, и Хармид, сын Главкона (близкий родственник самого Платона. — *И. С.*), а по другую сторону — второй сын Перикла, Ксантипп... Те же, что за ними следовали позади, прислушиваясь к разговору, большею частью были, видимо, чужеземцы — из тех, кого Протагор увлекает за собою из каждого города, где бы он ни бывал, завораживая их своим голосом, подобно Орфею, а они идут на его голос, замороженные; были и некоторые из местных жителей в этом хоре. Глядя на этот хор, я особенно восхищался, как они остерегались, чтобы ни в коем случае не оказаться впереди Протагора: всякий раз, когда тот со своими собеседниками поворачивал, эти слушатели стройно и чинно расступались и, смыкая круг, великолепным рядом выстраивались позади него.

Потом «оного мужа узрел я», как говорит Гомер, — Гиппия Элидского, сидевшего в противоположном портике на кресле. Вкруг него сидели на скамейках Эриксимах, сын Акумена (известный врач. — *И. С.*), Федр мирринусиец (в будущем — ученик Сократа, о нем будет подробнее сказано ниже. — *И. С.*)... и другие... Он, сидя в кресле, с каждым из них разбирал и обсуждал их вопросы.

«Также и Тантала, да, и его я тоже увидел» (опять цитата из Гомера. — *И. С.*), ведь и Продик Кеосский прибыл сюда; он занимал какое-то помещение, которое прежде служило Гиппоннику кладовою, теперь же, за множеством постояльцев, Каллий очистил его и сделал пристанищем для гостей. Продик был еще в постели, укрытый какими-то овчинами и покрывалами... И некоторые другие тоже были там, а о чем они разговаривали, этого я не мог издали разобрать, хоть и жаждал слышать Продика, считая его человеком премудрым и даже божественным; но из-за того, что голос его низок, только гул раздавался по комнате, а слов его уловить нельзя было.

Чуть только мы вошли, как вслед за нами — красавец Алкивиад... и Критий, сын Каллесхра» (*Платон. Протагор. 314e слл.*). Не без сожаления прерываем это колоритное описание, заметив напоследок,

что последние из упомянутых здесь лиц — Алкивиад и Критий — еще неоднократно будут появляться в нашем дальнейшем повествовании.

Сократ представляет Протагору Гиппократу, но завязывавшийся разговор очень скоро перетекает на гораздо более общие проблемы. Разговор заходит, ни много ни мало, о добродетели и о том, можно ли ей научиться. Протагор утверждает, что можно, Сократ же отрицает это.

Спор продолжается долго («Протагор» — один из крупных платоновских диалогов), и, что бывает у Платона довольно редко, в итоге Сократ не одерживает полной и безоговорочной победы над оппонентом. Диспут кончается, так сказать, вничью. Более того, в конце разговора выясняется, что в его ходе каждый из спорящих радикально меняет точку зрения: «Сократ доказывал невозможность научения добродетели, а теперь сам пришел к выводу, что она есть знание, т. е. нечто доступное изучению; а Протагор, доказывавший, что добродетели возможно научить, пришел к выводу о невозможности такого научения...»¹³.

Протагор подводит итог: «Я одобряю, Сократ, и твое рвение, и ход твоих рассуждений. Да и я, думается мне, не такой уж дурной человек, а зависти у меня меньше, чем у кого бы то ни было. Я многим говорил о тебе, что из тех, с кем я встречаюсь, я всего более восхищаюсь тобой, особенно между твоими сверстниками. Я даже утверждаю, что не удивился бы, если бы и ты стал одним из людей, прославленных мудростью» (*Платон. Протагор. 361de*). Одним словом, соперники расстались добрыми друзьями...

* * *

Горгий (ок. 480–380 до н. э.). Уроженец Леонтин — маленького греческого городка на Сицилии. Прожил сто лет или даже несколько больше, причем до конца дней своих сохранял бодрость и силу ума.

Как Протагор в наиболее законченной форме выразил релятивизм софистов, так Горгий — самый яркий представитель свойственного многим представителям этого движения агностицизма. Выше уже говорилось о его трех тезисах, ставивших «тройной заслон» для возможности какого-либо познания.

В принципе не признававший постижения истины, Горгий именно поэтому особенно активно занялся риторикой и внес в ее формирование столь огромную роль¹⁴, что часто (и, пожалуй, справедливо) признается просто-таки ее «отцом».

И это вполне закономерно: риторика в ее софистическом понимании видела в речи не средство выражения истины, а мощный инструмент манипулирования людьми. Примерно в этом духе и выра-

жался сам Горгий: «Искусство убеждать значительно отличается от всех других искусств, так как оно всех их заставляет рабски служить себе добровольно, а не насильно» (*Платон. Филеб.* 58a).

Коль скоро истины вообще нет, это означает, что любое высказывание в равной степени верно и ложно, что его можно с одинаковым успехом как доказывать, так и опровергать. Собственно, для риторософиста «высшим шиком» считалось именно это: подготовить и сказать вначале речь в похвалу какого-нибудь предмета, лица или качества, а потом, сразу же, — в порицание того же самого.

Разумеется, для Сократа, который всю жизнь свою посвятил поиску истины, подобный подход к задачам ораторского искусства, был решительно неприемлем. И поэтому не случайно, что, когда он вступает в спор с Горгием (и его учеником Полом), то спорят они именно о риторике, о красноречии. Этому посвящен диалог Платона «Горгий».

А.Ф. Лосев, один из тончайших знатоков античной философии, так резюмирует основные выводы Сократа о софистической риторике, делаемые в этом диалоге: «...Риторика есть не искусство, а только сноровка, с помощью которой что-либо представляется привлекательным и доставляется удовольствие людям. Критика Сократа заключается прежде всего в том, что сноровка — это вообще не искусство, что не все привлекательное и доставляющее удовольствие есть прекрасное, что такая сноровка нужна и в поварском деле и все подобного рода сноровки суть разновидности угождения низменным страстям... Оратор, таким образом, оказывается как бы поваром для души. Ораторы в городах, хотя и обладают силой наподобие тиранов, на самом деле бессильны: ведь то, что они чинят, часто только кажется справедливым, а на самом деле это зло, а причинение зла другому оказывается результатом собственного бессилия. Прекраснее самому подвергнуться несправедливости, чем совершить ее по отношению к другому. Это и есть настоящая норма для риторики. Но такая норма никогда не осуществляется»¹⁵.

Словами же самого Сократа, «есть два вида убеждения: одно — сообщающее веру без знания, другое — дающее знание... Красноречие — это мастер убеждения, внушающего веру в справедливое и несправедливое, а не поучающего, что справедливо, а что нет... Значит, оратор в судах и других сборищах не поучает, что справедливо, а что нет, но лишь внушает веру, и только» (*Платон. Горгий.* 454e — 455a).

Разумеется, в диспуте, как его описывает Платон, побеждает Сократ. Вначале ставит в тупик Горгия; тут в разговор вмешивается Пол, стремясь поддержать учителя, но и он тоже быстро оказывается «на лопатках».



Гиппий (ок. 480–415 до н. э.). Его родина — Элида, крупный, но не слишком высокоразвитый полис на Пелопоннесе. Кстати, именно на территории этого государства находилась знаменитая Олимпия, где раз в четыре года проводились общегреческие спортивные игры.

Гиппий даже на фоне других софистов, отличавшихся, как мы знаем, универсализмом и энциклопедичностью познаний, отличался какой-то особенной широтой интересов. Помимо философских трудов и речей, он писал также литературные произведения разных родов и жанров (эпические, лирические, драматические...), а еще занимался историко-хронологическими исследованиями. В частности, Гиппий составил список победителей на Олимпийских играх, имевший большое значение для установления правильной хронологии многих событий древнегреческой истории. Поручались ему и дипломатические миссии (*Платон. Гиппий больший. 281b*).

Гиппий, помимо прочего, был «на все руки мастером». Вот один эпизод из жизни этого софиста — его описал Платон словами Сократа, обращенными к самому Гиппию: «Ты говорил, что, когда однажды прибыл в Олимпию, все твое тело было украшено изделиями твоих собственных рук, и прежде всего начал ты с перстня, сказав, что это вещь твоей работы, поскольку ты владеешь искусством резьбы по камню; и другая печатка оказалась твоим изделием, а также скребок и флакончик для масла — будто ты сработал их сам; потом ты сказал, что свои сандалии на ремнях ты собственноручно вырезал из кожи, а также скроил свой плащ и короткий хитон. Но что уж всем показалось весьма необычным и знаком высокой мудрости, так это твое заявление, будто ты сам сплел свой пояс для хитона, хотя такие пояса обычно носят богатые персы. Вдобавок ты заявил, что принес с собою поэмы, эпические стихи, трагедии и дифирамбы и много нестихотворных, на разнообразный лад сочиненных речей. И по части тех искусств, о которых я только что говорил, ты явился превосходящим всех остальных своим знанием, да и самым искусным в науке о ритмах и гармониях, а также в правописании; и то же самое во многих других искусствах, насколько могу я припомнить... Да! Я совсем было позабыл о твоей преискусной памяти: ты ведь считаешь себя в этом самым блистательным из людей» (*Платон. Гиппий меньший. 368b–d*).

В словах Сократа (Платона), несомненно, сквозят ирония и некоторая недоверчивость. Однако серьезных оснований для недоверия на самом деле нет. Судя по всему, Гиппий действительно имел определенную квалификацию в самых различных областях, — как видим, от глиптики до мнемотехники. Разумеется, не в похвалу ему то, что

он кичился и хвастался своими многогранными умениями и знаниями (которые к тому же уже в силу самой этой своей широты не могли не быть несколько поверхностными). А Гиппий действительно был человеком довольно высокомерным. Вспомним хотя бы, как ведут себя различные софисты в приводившейся выше сценке из «Протагора». Протагор беседует со своими слушателями, прогуливаясь в портике, Продик и вовсе рассуждает, не вставая с постели, «по-домашнему»; а вот Гиппий горделиво восседает в кресле...

У Платона спорам Сократа с Гиппием посвящены два диалога — «Гиппий меньший» и «Гиппий больший» (условно называемые так из-за различия в своих размерах). В первом два философа дискутируют о феномене лжи, во втором — о том, что такое прекрасное. В обоих произведениях Гиппий изрекает свои мнения кичливо и с большим апломбом, но в обоих же оказывается наголову разгромлен Сократом. В конце концов он, — видимо, от недостатка аргументов — раздраженно и цинично замечает:

«Но что ж это такое, по-твоему, Сократ, все вместе взятое? Какая-то шелуха и обрывки речей, как я сейчас только говорил, разорванные на мелкие части. Прекрасно и ценно нечто иное: уметь выступить с хорошей, красивой речью в суде, совете или перед иными властями, к которым ты ее держишь; убедить слушателей и удалиться с наградой, не ничтожнейшей, но величайшей — спасти самого себя, свои деньги, друзей. Вот чего следует держаться, распростившись со всеми этими словесными безделками, чтобы не показаться слишком уж глупыми, если станем заниматься, как сейчас, пустословием и болтовней» (*Платон. Гиппий больший. 304ab*). Как видим, сократовский диалогический метод был Гиппию совсем не по душе.

* * *

Продик (точные даты рождения и смерти неизвестны; он был, очевидно, ровесником Протагора или чуть моложе). Его родина — островок Кеос в Эгейском море, не очень далеко от побережья Атики.

То, что известно о Продике, позволяет прийти к выводу: пожалуй, он в меньшей степени, чем другие софисты, был релятивистом. Во всяком случае, в области этики. Он не позволял себе, в отличие от тех же Гиппия или Горгия, циничных высказываний о том, что главное — деньги, успех и т. п. Напротив, полемизировал с подобными взглядами.

Продик написал философскую притчу «Геракл на распутье», которая дошла до нас в довольно подробном пересказе Ксенофонта. Содержание притчи таково: к юному Гераклу, размышляющему о вы-

боре жизненного пути, подходят две женщины. Обе они по-своему красивы, но одна — «с чертами врожденного благородства», а у другой «благодаря косметике лицо... казалось на вид белее и румянее, чем оно было в действительности; фигура казалась прямее, чем была от природы...» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1. 22*).

Женщины воплощают собой соответственно Добродетель и Порочность, и каждая призывает Геракла пойти по ее пути. Порочность утверждает: «...Если ты сделаешь своим другом меня, то я поведу тебя по пути приятному и легкому: радости жизни ты вкусишь все, а тягостей не испытаешь во весь век свой» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1. 23*). Добродетель, разумеется, ничего подобного не сулит, ибо, говорит она, «из того, что есть на земле полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1. 28*). Поэтому путь ее более труден и тернист, но зато и более прочные, непреходящие блага этот путь дает тем, кто по нему следует: они «любезны богам, дороги друзьям, чтимы отечеством» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1. 33*). Всем известно, какую дорогу из этих двух избрал великий герой Геракл.

Как будто и не софист писал... Неудивительно, что, похоже, именно Продику из представителей софистического движения Сократ симпатизировал больше всего и только его одного из софистов называл своим учителем, как уже упоминалось выше. Интересно, что и в диалогах Платона, которые в целом пронизаны резко негативной тенденцией по отношению к софистам, Продику «достается» меньше, чем другим. Он изображается скорее в благоприятном свете. Так, в диалоге «Протагор», когда спор Протагора и Сократа достигает уже высокой степени накала и в нем начинают звучать раздраженные нотки, Продик выступает в роли примирителя:

«Я тоже, Протагор и Сократ, прошу вас уступить друг другу: можно спорить о таких вопросах, но не ссориться. Спорят ведь и друзья, которые хорошо относятся друг к другу, а ссорятся противники и враги. Так-то и вышла бы у вас великолепная беседа, и вы, собеседники, заслужили бы от нас, слушателей, величайшее одобрение, но не восхваление: одобрение возникает в душах слушателей искренне, без лицемерия, словесное же восхваление часто бывает лживым и противоречит подлинному мнению людей...» (*Платон. Протагор. 337ab*).

В приведенной здесь цитате Платон дает очень тонкую словесную характеристику Продика с его любовью к разбору отличий между схожими, но не одинаковыми понятиями («спор» — «ссора», «одобрение» — «восхваление» и т. п.). Хорошо известно, что Продик особенно интересовался проблемами языка, особенно связанными

с синонимикой. Его, по сути дела, можно назвать первым серьезным лингвистом в античной истории.

Сократ унаследовал это внимание к языковой стороне высказываний и сам порой был не чужд лексическим штудиям. Таковыми он занимается, например, на всем протяжении платоновского диалога «Кратил», где в самом начале, разумеется, упоминает Продика (*Платон*. Кратил. 384b). Самое же главное — работа по разграничению и уточнению значений синонимов во избежание путаницы между ними была совершенно необходима для создания аппарата максимально корректных общефилософских понятий. А ведь — опять напомним — начало формирования такого аппарата является одной из главных заслуг Сократа.

* * *

Антифонт (ок. 480–411 до н. э.). Это едва ли не единственный софист, который был коренным афинянином. Изучение его жизни и деятельности сопряжено с некоторыми сложностями прежде всего потому, что среди ученых нет единого мнения, являются ли упоминаемые в разных источниках «оратор Антифонт» и «софист Антифонт» двумя разными лицами или одним и тем же. Впрочем, в самое последнее время были приведены весьма весомые аргументы в пользу их тождества¹⁶. Из этого и будем исходить.

Антифонт, как и многие софисты, был личностью разносторонних дарований. Он писал философские трактаты, обучал молодежь искусству судебного красноречия, сам выступал с речами (некоторые из них сохранились до нашего времени) и даже занимался толкованием снов — его сонник считался в античности одним из самых авторитетных.

Кроме того, Антифонт являлся крупным политическим деятелем афинского полиса, идеологом олигархии, главой одной из влиятельных гетерий. Уже на закате своей карьеры, в 411 г. до н. э., он выдвинулся в государстве просто-таки на ведущее место. Антифонт стал одним из лидеров олигархического переворота, приведшего к власти так называемый режим «Четырехсот»¹⁷, а после установления этого режима играл в нем, по некоторым сведениям, фактически первенствующую роль. После свержения олигархии, продержавшейся лишь несколько месяцев, он предстал перед судом по суровому обвинению в противозаконном захвате государственной власти и произнес великолепную, поразившую современников речь в собственную защиту (от этой речи, к сожалению, дошли лишь незначительные фрагменты). Однако участь Антифонта, разумеется, была предreshена: его приговорили к смерти и казнили.

Как философ Антифонт являлся характерным представителем софистики. Вот краткое обобщение основных положений его учения: «...Все социально-правовые «установления», законы, равно как и «общепринятые нормы» морали, оказываются конвенциональной фикцией, «враждебной» природе человека... Природа понимается как естественные склонности, биологические инстинкты и заявляет о себе в известном гедонистическом постулате: максимум удовольствия, минимум страдания. «Справедливость» — лицемерное и вынужденное соблюдение законов; поэтому «для человека наиболее выгодный способ употребления справедливости таков: при свидетелях уважать законы, а без свидетелей — требования природы». Стесненная запретами и условностями природа при каждом удобном случае разрывает «оковы»... Примат «природы» над «законом» приводит Антифонта к идее равенства всех людей и неистинности сословных и расовых привилегий»¹⁸.

Как видим, здесь налицо все принципиальные особенности теорий софистов, причем доведенные, кажется, до предела: и релятивизм, и правовой нигилизм, и циничный, гедонистический прагматизм... А в то же время — признание равенства людей, что в V в. до н. э., в античном обществе, принципиально основанном на неравенстве, должно было звучать в высшей степени необычно и ново. Видный отечественный исследователь древнегреческой философии и культуры С.Я. Лурье считал Антифонта едва ли первым анархистом в истории человечества¹⁹. Но это, кажется нам, уже явное преувеличение.

В воспоминаниях Ксенофонта Антифонт выступает в качестве одного из действующих лиц, собеседников и оппонентов Сократа. Его спорам с «босоногим мудрецом» посвящена целая глава произведения (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. I. 6).

В частности, Ксенофонт излагает разговор, который как-то завел Антифонт с героем нашей книги, «желая отвлечь от Сократа его собеседников». Антифонт упрекает Сократа в том, что тот, занимаясь философией, при этом живет очень скудно, ест плохо, одевается бедно. Один из ключевых аргументов: «Денег ты не берешь, а они доставляют радость, когда их приобретаешь, а когда владеешь ими, дают возможность жить и приличнее, и приятнее». Соответственно, Сократ, по мнению Антифонта, учит не счастливой жизни, а несчастной. В ответ на это Сократ произносит длинную речь, главное содержание которой — оправдание его пренебрежения материальной стороной жизни. Заключительным аккордом рассуждений философа звучат слова: «Похоже, Антифонт, что ты видишь счастье в роскошной, дорого стоящей жизни; а по моему мнению, не иметь

никаких потребностей есть свойство божества, а иметь потребности минимальные — это быть очень близким к божеству; но божество совершенно, а быть очень близким к божеству — это быть очень близким к совершенству».

В другой беседе с Сократом Антифонт, если так можно выразиться, бьет в ту же точку, но с другого прицела: раз Сократ не берет денег со своих учеников, значит, он сам ни во что не ставит свои знания. Ведь бесплатно отдают только то, что действительно ничего не стоит. Сократ отвечает: «Кто продает свои знания за деньги кому угодно, тех обзывают софистами; а кто, заметив в человеке хорошие способности, учит его всему хорошему, что знает, и делает своим другом, про того мы думаем, что он поступает, как следует доброму гражданину». Наконец, последний вопрос Антифонта к Сократу у Ксенофонта формулируется так: «Почему он, думая, что других делает способными к государственной деятельности, сам не занимается ею, если правда, что умеет». Понятно, что философ и на этот вопрос дает удачный ответ: «А в каком случае, Антифонт, я больше занимался бы государственными делами, — если бы один занимался ими или если бы заботился, чтобы было как можно больше людей, способных заниматься ими?». Ксенофонт был учеником Сократа и, естественно, изображал своего учителя побеждающим во всех спорах.

Какие сведения об Антифонте, выведенного у Ксенофонта, мы можем почерпнуть из приведенного материала? Этот человек имеет учеников, т. е. фактически возглавляет школу. Более того, он заботится о расширении своей школы, пытается переманивать учеников от других учителей, как от того же Сократа. Антифонт берет со своих учеников плату, причем считает это вопросом принципиальным, снова и снова обращаясь к нему в беседах с Сократом. Последний, судя по всему, представляется Антифонту неким нарушителем «корпоративной этики», поскольку плату с учеников не берет; и Антифонта это откровенно раздражает.

* * *

Фрасимах, уроженец Халкедона (Калкедона), греческого города на берегу пролива Боспор Фракийский. Точные даты его жизни неизвестны; расцвет деятельности Фрасимаха пришелся на последнюю треть V в. до н. э. Судя по всему, он принадлежал уже ко второму поколению софистов и был несколько моложе Сократа.

Фрасимах прославлен своей особо нигилистической позицией по ряду вопросов. В частности, он, насколько можно судить по указаниям некоторых источников, отвергал религию. Свообразно относился этот софист к законам, праву, государственности. Он полагал, что

с их помощью сильные диктуют свою волю слабым, иными словами, и речи быть не может о том, что эти институты справедливы. Пожалуй, Фрасимаха можно назвать стихийным анархистом (с большим основанием, чем Антифонта). В чем-то этими своими взглядами он напоминает Ницше, точнее, если можно так выразиться, «Ницше наоборот». Ведь Ницше как раз считал, что законы, государственность, религия выдуманы, напротив, слабыми, дабы диктовать свою волю сильным, а сильные должны разрывать эти оковы.

Фрасимах выступает в роли собеседника и оппонента Сократа в диалоге Платона «Государство». Спор у них идет о справедливости. Фрасимах изображен Платоном как человек весьма экспансивный, напористый: «Фрасимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом... Однако чуть только мы приостановились, ... Фрасимах уже не мог более стерпеть: весь напрягшись, как дикий зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать» (*Платон. Государство. I. 336b*). «Потоком своего многословия он, словно банщик, окатил нас и залил нам уши» (*Платон. Государство. I. 344d*).

А вот его манера выражаться: «Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки?» (*Платон. Государство. I. 336bc*). «Скажи-ка мне, Сократ, у тебя есть нянька?.. Да пусть твоя нянька не забывает утирать тебе нос...» (*Платон. Государство. I. 343a*). Высказав свою точку зрения, Фрасимах не утруждает себя ее доказательствами и хочет сразу уйти, не выслушивая возражений, но его заставляют остаться.

Сократ, разумеется, не поддается на провокации, ведет разговор, как обычно, спокойно и иронично и в конце концов одерживает в диспуте победу: Фрасимах после тщетных попыток отстоять собственную правоту фактически признает свое поражение тем, что отказывается продолжать спор по существу и сводит его к грубоватым, эмоциональным выпадам, вроде: «Угощайся этим рассуждением сам, да смелее. Я тебе не стану перечить, чтобы не нажить врагов среди присутствующих» (*Платон. Государство. I. 352b*).

В целом, конечно, не может не броситься в глаза, что в платоновских диалогах Сократ снова и снова одерживает верх над софистами — почти всегда, причем обычно с легкостью, с большим перевесом. Разумеется, тут играет роль и то, что софисты, привыкшие, как говорилось выше, к монологичному способу общения, неуютно чувствовали себя, когда Сократ навязывал им обмен мнений в форме диалога, — так сказать, вынуждал их «играть на чужом поле». Они нервничали, терялись, допускали в споре серьезные промахи.

Но не следует забывать еще и о другом: автор диалогов, Платон, боготворил своего учителя Сократа и резко отрицательно относился к софистам — для него был решительно неприемлем именно их релятивизм. Ясно, что в своих произведениях (это ведь не какие-то объективные и беспристрастные хроники, а страстная защита определенной философской линии) он просто не мог допустить, чтобы кто-нибудь из софистов (да и вообще кто бы то ни было) победил Сократа. Сказанное в полной мере относится и к мемуарам Ксенофонта.

На самом же деле все явно было сложнее. Сократ на протяжении десятилетий постоянно общался с софистами. В чем-то не соглашался с ними, опровергал их ошибочные мнения. В чем-то, напротив, у них учился... Так и происходило его формирование как мыслителя. Не будет преувеличением сказать, что если бы не софисты, то не было бы и Сократа. Во всяком случае, того Сократа, которого мы знаем.

КРУГ СОБЕСЕДНИКОВ (II): ДРУЗЬЯ, УЧЕНИКИ, ПОПУТЧИКИ...

Разумеется, общался Сократ в Афинах отнюдь не только с софистами, да они все же так и не стали для него вполне «своими». Даже Продик. Присмотримся теперь повнимательнее к другой группе собеседников «босоногого мудреца» — к тем, кто составлял круг его последователей, а подчас — и истых почитателей.

Среди них — такие выдающиеся деятели античной культуры, как Платон и Ксенофонт, о которых мы подробнее говорили выше, и поэтому не будем вновь останавливаться на этих личностях. Но в целом, в большинстве своем это люди с далеко не столь громкими именами, как софисты (хотя некоторые из них тоже стали — под влиянием Сократа — профессиональными философами). Соответственно, и их биографии, как правило, известны значительно хуже. В частности, почти никогда не удается точно установить даты их рождения и смерти.

И в современной научной литературе о софистах пишут много, а вот друзья Сократа гораздо реже привлекают к себе внимание. Впрочем, не приходится удивляться тому, что персона главного героя нашей книги — столь яркая, рельефная, колоритная — сильно затмевает свое окружение, хотя в этом окружении и имеются достаточно неординарные фигуры. Разглядеть, исследовать этот «фон портрета Сократа» нам все же представляется немаловажным и необходимым. Ведь любое явление может быть лучше всего понято, если взять его в контексте. А в том, что Сократ был явлением — в самом полном смысле слова, — сомневаться не приходится.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — эта поговорка распространена в наши дни, но знакома она была и античным грекам, почти в такой же форме. В разговорах с друзьями человеческий облик Сократа проступит перед нами особенно полно и, главное, разносторонне, поскольку его собеседники, которые пройдут сейчас перед нами, все очень разные, несхожие между собой.

Хорошим подспорьем для автора при написании этой главы стала относительно недавно появившаяся книга Дебры Нейлс¹, посвященная просопографическому анализу тех лиц, которые действуют или

упоминаются в произведениях Платона и других учеников Сократа. Поясним здесь, что просопография — специальная историческая дисциплина, которая на основе сочетания данных, почерпнутых из различных источников, систематизирует описание личностей, принадлежащих к определенной эпохе, региону или группе. Когда разрозненная информация о таких личностях сводится воедино, часто оказывается возможным делать оригинальные выводы, обнаруживать факты, которые без того остались бы незамеченными, в частности, проследивать связи между лицами — родственные, дружеские, деловые или иного характера. Просопографический метод получает в последнее время широкое распространение в изучении античной истории².

* * *

Критон. Этот человек уже упоминался выше по ходу изложения. И неудивительно — перед нами один из ближайших друзей Сократа. Может быть, просто самый близкий. Он был родом из Алопеки — того же самого афинского дема, что и сам Сократ. А как нам известно, между сотоварищами по дему, которым неизбежно приходилось довольно часто встречаться, особенно часто возникали близкие и теплые отношения.

Критон — приблизительно ровесник Сократа, но тем не менее отношения между ними были не отношениями равных, а отношениями ученика и учителя. Критон всегда смотрел на Сократа «снизу вверх», считая его человеком необыкновенным, и пронес это восторженное преклонение перед другом через всю свою долгую жизнь. Он и сына своего, Критобула, воспитал в таком же духе, и тот тоже пополнил когорту слушателей Сократа.

В одной из предыдущих глав упоминалась легендарная версия, согласно которой якобы Сократ был в молодости рабом, а Критон выкупил его, освободил и дал образование. В том виде, в каком этот рассказ передается, он, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Однако, похоже, что есть в нем все-таки некое зерно истины: судя по всему, Критон помогал Сократу материально. Он был весьма состоятелен, а Сократ, как мы знаем, небогат, а в последние годы жизни просто беден.

Критон предстает перед нами в изображении античных авторов человеком простоватым и, можно сказать, недалеким. Вряд ли он способен в полной мере понять сократовскую «премудрость» — но все-таки стремится к ней. Однако хочет при этом оставаться обычным афинским гражданином — практичным и сметливым в делах житейских. Не для него путь Сократа, который презрел ради философии все остальное.

Вот Сократ пересказывает Критону свой недавний разговор с двумя заезжими софистами. И, как всегда, усыпает рассказ блестящими своей великолепной иронии. А Критон эту иронию просто не ощущает, принимает все за чистую монету и в конце концов, совершенно запутавшись, растерянно восклицает: «Когда я смотрю на кого-либо из тех, кто берется воспитывать людей, я всякий раз бываю поражен, и все они представляются мне при ближайшем рассмотрении весьма странными, так что скажу тебе откровенно: не приложу ума, как мне склонить мальчика (сына. — И. С.) к философии» (*Платон*. Евтидем. 306e — 307a).

Впрочем, чаще Критона заботили иные проблемы: «Однажды Сократ услышал, как Критон жаловался на то, что тяжело жить в Афинах тому, кто хочет заниматься своими делами. Теперь, говорил он, меня таскают по судам разные лица не за вину с моей стороны, а только в расчете, что я скорее готов откупиться деньгами, чтобы только не возиться с судом» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. II. 9. 1.). Типичный удел делового человека...

И все же Критон был глубоко предан Сократу и входил в самый ближний круг друзей «босоногого мудреца» — в число тех людей, которые «искали его общества не с тем, чтобы сделаться ораторами в народном собрании или в суде, но чтобы быть благородными людьми и хорошо исполнять свои обязанности по отношению к семье, слугам, родным, друзьям, отечеству, согражданам» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. I. 2. 48).

Пожалуй, и хорошо, что у Сократа-бессребреника был столь непохожий на него друг — надежный уже самой своей практичностью, такой, на поддержку которого всегда можно было надеяться в какую-нибудь особенно трудную минуту.

Критон и его сын, разумеется, присутствовали на суде над Сократом и очень старались ему помочь, — в частности, вызывались стать его поручителями и внести немалую сумму денег, только бы философ не приговаривали к смерти (*Платон*. Апология Сократа. 33de, 38b). Однако усилия их оказались тщетными.

Когда Сократ после приговора сидел в тюрьме в ожидании казни, Критон постоянно навещал его. Более того, он и теперь не оставлял надежд как-то поправить положение. Он высказывал Сократу мысль, мучившую его: «Ведь меня, если ты умрешь, постигнет не одна беда: кроме того, что я лишусь друга, какого мне никогда и нигде больше не найти, еще многим из тех, которые не близко знают нас с тобою, покажется, что я не позаботился спасти тебя, будучи в состоянии сделать это, если бы захотел истратить деньги» (*Платон*. Критон. 44bc).

И Критон решился подкупить тюремную стражу, организовать побег Сократа. Именно этому эпизоду посвящен упоминавшийся уже выше платоновский диалог, который так и называется — «Критон»³. Но, как мы уже знаем, со стражей-то проблем не возникло — возникли проблемы с самим Сократом. Он не поддался ни на какие уговоры и упрямо остался ожидать чаши цикуты.

Присутствовал Критон и в день приведения приговора в исполнение. «Федон» Платона, полностью посвященный этому дню, — замечательное художественное произведение, полное проникновенными строками. Приведем несколько цитат из него, описывающих поведение Критона. Этот пожилой афинянин, как всегда, в своем духе. Он горюет вместе со всеми, но не забывает и о делах. Сократ вступает с друзьями и учениками в оживленную беседу на философские темы, а Критон напоминает: «Прислужник, который даст тебе яду, уже много раз просил предупредить тебя, чтобы ты разговаривал как можно меньше: оживленный разговор, дескать, горячит, а всего, что горячит, следует избегать — оно мешает действию яда. Кто этого правила не соблюдает, тому иной раз приходится пить отраву дважды и даже трижды». Но способен ли Сократ молчать даже в свой смертный час?! Он отвечает: «Да пусть его! Лишь бы только делал свое дело, — пусть даст мне яду два или даже три раза, если понадобится» (*Платон. Федон. 63de*).

Близится закат — время казни. Критон все пытается повернуть беседу на дела практические: «Не хочешь ли оставить... какие-нибудь распоряжения насчет детей или еще чего-нибудь?.. А как нам тебя похоронить?»

— Как угодно, — отвечал Сократ, — если, конечно, сумеете меня схватить и я не убегу от вас» (*Платон. Федон. 115bc*).

Правда, потом, уже перед самой казнью, Сократ о чем-то говорил с пришедшими женщинами, своими родственницами, в присутствии Критона. Очевидно, именно его, своего лучшего друга, философ назначил, как ныне выражаются, своим душеприказчиком.

Когда Сократ выпил яд, «Критон... разразился слезами и поднялся с места» (*Платон. Федон. 117d*). Именно к Критону были обращены последние слова умирающего Сократа (смысл этих знаменитых слов будет нами разъяснен в свое время):

«— Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте.

— Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?

Но на этот вопрос ответа уже не было» (*Платон. Федон. 118a*).

Критон пережил Сократа. Неизвестно, на сколько лет, но вряд ли надолго — ведь ему и самому шел восьмой десяток. Якобы он даже написал 17 сократических диалогов — «О прекрасном», «О божественном», «О мудрости» и т. п. Но к этой информации, имеющейся только у позднего автора (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 121), ученые относятся без всякого доверия. Крайне маловероятно, что человек, вообще-то не отличавшийся философским складом ума, вдруг уже в преклонных годах обратился к письменному изложению столь сложных проблем.

* * *

Херефонт. Его мы тоже уже упоминали; он наряду с Критоном являлся вторым самым близким к «босоногому мудрецу» человеком. По возрасту он был, насколько можно судить, помоложе Сократа, но неамного.

Херефонт во всех отношениях представлял резкий контраст с практичным Критоном. Этот высокий, очень худой, болезненного вида человек в глазах современников был необычным и даже странным. Он ничуть не заботился о делах земных, житейских, целиком посвятив себя поиску истины в сократовском кружке.

Неудивительно, что его постоянно осмеивали авторы комедий — уж очень подходящей мишенью для этого был Херефонт. Вспомним, как достается ему от Аристофана — в пьесах этого поэта он то «помешанный», то «упырь»... Не отставали в подобных насмешках и другие комедиографы.

Херефонт был одним из тех эмоциональных энтузиастов, которые постоянно увлекаются, не могут скрывать своих чувств — сдержанность им чужда. Так его и характеризует Сократ в платоновских диалогах: «И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он был неуправляем во всем, что бы ни затевал» (*Платон*. Апология Сократа. 21a). Когда Сократ вернулся из одного военного похода — рассказывает он сам, «Херефонт с присущей ему восторженностью, вырвавшись вперед, подбежал ко мне и, схватив за руку, воскликнул: «Сократ мой, так ты уцелел в битве?!»» (*Платон*. Хармид. 153b).

Пожалуй, только Херефонт мог решиться на тот в высшей степени экстравагантный поступок, о котором долго говорили в Афинах. Он отправился в священные Дельфы и там обратился к оракулу Аполлона с вопросом о Сократе. Этот знаменитый эпизод различные античные авторы передают не вполне одинаково. Приведем поэтому основные версии.

В пересказе Платона Сократ так говорит в своей защитительной речи на суде: «Ну вот же, приехав однажды в Дельфы, дерзнул он

(Херефонт. — *И. С.*) обратиться к оракулу с таким вопросом. Я вам сказал, не шумите, о мужи! Вот он и спросил, есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня, и пифия ответила, что никого нет мудрее» (*Платон. Апология Сократа. 21а*).

Несколько иначе — в том варианте защитительной речи Сократа, который дает Ксенофонт: «Однажды Херефонт вопрошал обо мне бога в Дельфах, и бог в присутствии многих изрек, что нет человека более бескорыстного, справедливого, разумного» (*Ксенофонт. Защита Сократа на суде. 14*).

А вот версия, содержащаяся в труде позднеантичного историка философии (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 37*): «...Удостоился он (Сократ. — *И. С.*) похвалы от пифии, которая на вопрос Херефонта ответила знаменитым свидетельством:

Сократ превыше всех своею мудростью».

А совсем уже поздний источник приводит еще более простран- ный вариант пророчества:

Хоть мудр Софокл, а Еврипид еще мудрей,
Но выше всех Сократ своею мудростью.
(«Суда», статья «Мудр Софокл...»)

Этот последний вариант — и самый недостоверный. В нем почему-то появляются имена Софокла и Еврипида, а при чем здесь они? Херефонт о них ничего не спрашивал. Может быть, ответ пифии (жрицы-прорицательницы Аполлона в Дельфах) верно передает Диоген Лаэртский? Известно, что предсказания Дельфийского оракула часто (но, впрочем, не всегда) давались в стихотворной форме. Однако, во-первых, обычно в гекзаметрах, а не в ямбах, как здесь. Во-вторых, такое стихотворное пророчество все-таки должно было состоять из двух или более строк, вряд ли из одной.

Но стоит ли удивляться путанице у поздних авторов, если даже современники Сократа — Платон и Ксенофонт — передают ответ пифии по-разному, противоречат друг другу? Платон, насколько можно судить, ближе к истине. Но по какой причине дельфийские жрецы объявили, что нет никого мудрее Сократа? Что они знали о нем — почти никогда не покидавшем родных Афин?

Не исключено, что жрецы были просто удивлены «нестандартным» вопросом Херефонта. Не за тем обычно обращались к авторитетнейшему Дельфийскому оракулу. Считалось, что его прорицания

наиболее правдивы. Шли туда как посольства от полисов — проконсультироваться по делам государственной важности, так и частные лица, но, конечно, с проблемами практического характера: удастся ли исцелиться от болезни, будут ли дети, предпринимать или нет какое-нибудь важное дело...

А тут вдруг приходит афинянин странного вида, производящий впечатление полусумасшедшего, и спрашивает о своем друге — есть ли кто-нибудь мудрее его. Что можно было ответить в таком случае? Как говорится, каков вопрос — таков ответ.

Разумеется, дельфийское изречение получило известность среди афинян. Наверняка кто-то гордился, что согражданин признан мудрейшим из всех, а кто-то, наоборот, завидовал и раздражался. Ответ пифии, естественно, не мог не озадачить и самого Сократа. Что он предпринял, какие выводы сделал и в каком смысле в конце концов понял эти слова — мы узнаем в свое время.

Возможно, пути Сократа и Херефонта несколько разошлись в конце жизни обоих. Когда в Афинах в 404 г. до н. э. была свергнута демократия и установился олигархический режим, Сократ остался в городе, Херефонт же покинул его, ушел в изгнание, а в следующем году принял участие в новом перевороте, восстановившем демократическое правление. Но... опять же не будем забегать вперед, хоть и трудно от этого удержаться. Сократ и демократия, Сократ и олигархия — это отдельные и интересные темы, к которым в дальнейшем еще придется обратиться.

В своей защитительной речи на суде Сократ говорит о Херефонте как о лице уже умершем. Стало быть, он скончался между 403 и 399 г. до н. э., чуть раньше своего учителя.

* * *

Федр. А вот он принадлежал уже к молодому поколению учеников Сократа — родился около 444 г. до н. э., т. е. примерно на четверть века позже «босоногого мудреца». Федр, этот пылкий юноша с чистой и светлой душой (интересно, что и имя его в переводе означает «светлый, сияющий»), входит в число наиболее запоминающихся фигур из сократовского окружения. Дело, конечно, еще и в том, что диалоги «Федр» и «Пир», в которых он выступает в качестве действующего лица, — вершины творчества Платона как литератора.

Федр, каким он изображен в этих произведениях, невольно вызывает у читателя симпатию. Он — увлекающийся энтузиаст и, на первый взгляд, может этим напомнить Херефонта, но такое впечатление будет ошибочным: на самом деле два человека очень непохожи. Во-

сторженность Федра — от его молодости. В отличие от «мономана» Херефонты, для которого, кажется, не существует ничего на свете, кроме Сократа, — он уже нашел себе кумира! — Федр, напротив, в постоянном поиске. То он, затаив дыхание, внимает заезжему софисту Гиппию (*Платон. Протагор. 315e*) — человеку, как мы знаем, довольно пустому. То, выслушав речь модного оратора Лисия, в которой доказывается парадоксальный тезис — «надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен» (*Платон. Федр. 227c*), — тоже приходит в восхищение. Вскоре он случайно встречает Сократа и, конечно, хочет поделиться с ним своими чувствами. Тот предлагает пересказать речь. Федр смущается:

«Как это ты говоришь, дорогой Сократ, — неужели ты думаешь, что я, такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что он, самый искусный теперь писатель, сочинял исподволь и долгое время? Куда уж мне, хоть бы и желал я этого больше, чем иметь груду золота».

Сократ с улыбкой отвечает: «Ох, Федр, я или Федра не знаю, или позабыл уже и себя самого! Но нет — ни то, ни другое. Я уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто разок прослушал, но много раз заставлял его повторять, на что тот охотно соглашался. А ему и этого было мало: в конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что его особенно привлекало, а просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться, вытвердив это сочинение уже наизусть, — клянусь собакой, я, право, так думаю, — если только оно не слишком было длинно. А отправился он за город, чтобы поупражняться. Встретив человека, помешанного на том, чтобы слушать чтение сочинений (Сократ имеет в виду себя и, как всегда, иронизирует. — *И. С.*), он при виде его обрадовался, что будет с кем предаться восторженному неистовству, и пригласил пройти вместе. Когда же этот поклонник сочинений попросил его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит он тем, что станет пересказывать даже насильно, хотя бы его добровольно никто и не слушал» (*Платон. Федр. 227e — 228c*).

В этом сократовском описании характер Федра перед нами как на ладони! Тут же, кстати, выясняется, что у юноши есть с собой и сам текст речи Лисия. Друзья, устроившись в уютном уголке на берегу речки, начинают читать и обсуждать произведение. Сократ недоволен речью Лисия, указывает на ее недостатки и — в противовес, чтобы продемонстрировать, как на самом деле нужно говорить о любви, — сам произносит две речи на эту тему. Федр, по обыкновению и ими тоже восхищен: «А речи твоей я давно удивляюсь — насколько красивее она у тебя вышла... Я даже опасюсь, как бы Лисий не пока-

зался мне мелким, если бы он пожелал противопоставить ей какую-нибудь другую речь» (*Платон. Федр. 257с*).

Тема, которая больше всего волнует и интересует Федра в философии, — это именно тема любви. Что опять же вполне понятно, учитывая его возраст. Диалог «Федр», в котором он один из двух участников, посвящен любви, но любви же посвящен и еще более знаменитый «Пир» Платона, и вполне закономерно, что Федр в нем тоже действует. Вот отрывки из его речи в этом диалоге — речи во славу бога любви Эроса (Эроса).

Кстати, иногда задают вопрос: как правильное — «Эрос» или «Эрот»? На самом деле верны оба варианта. И более того, это не два разных греческих слова, а одно, начальная форма которого — *эрос*, а корень — *эрот-*. В древнегреческом языке бывает, что корень слова проявляется в начальной форме в несколько измененном виде. Вот параллельный и очень схожий пример: «свет» по-гречески будет *фос*, а корень слова — *фот-*. В результате в словах, заимствованных из греческого в современные языки, в том числе и в русский, может встретиться как элемент «фос-», так и элемент «фот-». Например, *фосфор* («светоносный»), но *фотография* («светопись»).

Итак, говорит Федр, «Эрот — это великий бог, которым люди и боги восхищаются по многим причинам, и не в последнюю очередь из-за его происхождения: ведь почетно быть древнейшим богом. А доказательством этого служит отсутствие у него родителей, о которых не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт... А как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ... Умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы отец и мать... Итак, я утверждаю, что Эрот, самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти» (*Платон. Пир. 178а слл.*).

Изящная речь, с подобающими риторическими прикрасами, с привычными примерами из мифологии... И, конечно, восторженная, как всегда у Феда.

Не слишком удачно, даже трагично сложилась его дальнейшая судьба. В 415 г. до н. э. он оказался каким-то образом замешан в один громкий судебный процесс религиозно-политического характера. На Федра поступил донос — якобы он в составе группы молодых людей участвовал в пародировании священных ритуалов. Вполне возможно, что донос был ложным, но «под горячую руку» в Афинах тех лет могли осудить и невиновного, не особо-то разбираясь. Федр поэто-

му бежал из Афин, а его имущество было конфисковано. Очевидно, именно это имеет в виду оратор Лисий — тот самый, упоминавшийся чуть выше, — когда характеризует Федра как «человека, впавшего в бедность не по своей порочности» (*Лисий*. XIX. 15).

Позже, насколько известно, Федру удалось возвратиться в Афины, обвинение было с него снято, — возможно, по амнистии 403 г. до н. э. Но до старости он все-таки не дожил — скончался в 393 г. до н. э., примерно в пятидесятилетнем возрасте⁴.

* * *

Симон. Этот афинянин был ремесленником, занимался выделкой кож и изготовлением обуви. Дом, где он жил, держал свою мастерскую и лавку, находился неподалеку от Агоры. «Когда Сократ приходил в его мастерскую и о чем-нибудь беседовал, то он делал записи обо всем, что мог запомнить; поэтому диалоги его называют «кожевничьими». Диалогов этих тридцать три, и они собраны в одну книгу... Именно он, говорят, первый стал сочинять сократические диалоги» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 122–123).

Именно поэтому Диоген Лаэртский и зачисляет Симона в философы. Весьма прискорбно, что ни один из написанных им диалогов не сохранился: очень интересно было бы узнать, как понимал сократовское учение этот «мыслитель-ремесленник». К указанию на то, что именно Симон — автор самых ранних сократических произведений, вполне возможно, следует отнести с доверием. Действительно, если он еще при жизни учителя записывал его беседы, ему было тем более легко сразу после казни Сократа издать эти записи.

Здесь нужно пояснить, что мелкие лавочки близ Агоры вообще были излюбленным местом общения афинян. Обычный афинский гражданин мало времени проводил у себя дома: встав утром и позавтракав, он отправлялся в город — заниматься общественными делами, встречаться с друзьями, узнавать новости... А можно ли представить более удобное место для таких встреч, чем подобные лавочки? Подолгу просиживать в них было гораздо приятнее, чем на жаркой площади — вспомним о греческом климате. К тому же лавочки, как магнитом, притягивали самые разнообразные слухи, сплетни и т. п.; в условиях отсутствия столь привычных нам СМИ они выполняли роль центров, где собирается и передается информация.

Был и еще один фактор, побуждавший Сократа заходить в такие места. Он больше всего любил общаться с молодежью. А афинское общественное мнение не слишком-то одобряло, чтобы очень моло-

дые люди часто показывались на самой Агоре — что им там делать, они еще не являются полноправными гражданами. А сидеть дома юношам тоже не хотелось — вот они и приходили в лавки: это была возможность одновременно и оказаться в средоточии городской жизни, и быть не на виду (ср. *Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. IV. 2. 1).

У каждого афинянина была на примете «своя» излюбленная лавка-мастерская, куда он особенно часто заходил. Сократ предпочитал именно заведение Симона. Может быть, обо всем этом и не стоило говорить так подробно, однако имя Симона ныне привлекает внимание ученых вот по какой причине.

Археологи из Американской школы классических исследований в Афинах, на протяжении многих десятилетий ведущие раскопки Агоры и ее окрестностей, открыли в одном из соседних кварталов остатки дома ремесленника⁵. Были обнаружены инструменты и предметы, необходимые для изготовления обуви, и это не оставляло никакого сомнения в том, какой была конкретная профессия хозяина дома. Но наиболее сенсационной стала находка разбитого килика (чаши для питья), на котором было написано имя Симона! Греки часто делали такие владельческие метки на своих сосудах.

Итак, можно смело говорить о том, что теперь с полной точностью известно одно из мест, где бывал Сократ, где ступала его нога. И мы можем собственными глазами увидеть предметы, которых касался ученик Сократа, а может быть, и сам «босоногий мудрец», кто знает? Почему бы ему, находясь в Симоновой мастерской, не взять в руки килик хозяина? Кстати, бывал у Симона также и Перикл (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 123).

* * *

Теэтет. Это — один из самых последних учеников Сократа и одновременно один из самых одаренных. По возрасту он принадлежал к еще более молодому поколению, чем Федр и даже Платон: родился около 415 г. до н. э. И, соответственно, был еще подростком, когда его впервые привели к Сократу — уже пожилому, которому оставалось жить очень недолго. Правда, возможно, указание Платона на то, что эта встреча состоялась буквально перед самым судом над Сократом (*Платон*. Теэтет. 210d), — сознательный литературный прием Платона, желавшего таким образом повысить драматизм ситуации. Не исключено, что старик-философ и юный гений (как мы сейчас увидим, по отношению к Теэтету этот эпитет — не преувеличение) на самом деле начали общаться несколькими годами ранее.

Привел же к Сократу Теэтета его первый наставник — Феодор Киренский, видный ученый-геометр и близкий знакомый «босоногого мудреца». Привел со следующими словами, прекрасно характеризующими Теэтета как с внешней, так и с внутренней стороны:

«Да, Сократ, мне не стыдно сказать, а тебе, я думаю, услышать, какого подростка встретил я среди ваших граждан... Он не то чтобы прекрасной наружности и скорее даже похож на тебя своим вздернутым носом и глазами навывкате, разве что черты эти у него не так выражены... Знай же, что из всех, кого я когда-либо встречал — а приходили ко мне многие, — ни в ком не замечал я таких удивительно счастливых задатков. С легкостью усваивать то, что иному трудно, а с другой стороны, быть кротким, не уступая вместе с тем никому в мужестве, — я не думал, что такое вообще может случаться, да и не вижу таких людей. Действительно, в ком столь же остры ум, сообразительность и память, как у этого юноши, те по большей части впечатлительны и норовисты, они носятся стремительно, как порожные триеры, и по природе своей скорее неистовы, чем мужественны; а более уравновешенные, те как-то вяло подходят к учению, их отягощает забывчивость. Этот же подходит к учению и любому исследованию легко, плавно и верно, так спокойно, словно бесшумно вытекающее масло, — и я удивляюсь, как в таком возрасте можно этого достичь» (*Платон. Теэтет. 143e — 144b*).

Сократ вступает с Теэтетом в диалог — на сей раз речь идет о знании и его природе. Философ ведет беседу необычайно доброжелательно. С одной стороны, вполне на равных, без снисходительного отношения старшего к младшему. С другой стороны, постоянно, но незаметно помогает талантливому подростку строить рассуждения, ненавязчиво подсказывает правильный ход мысли... Блестящий образчик сократовской майевтики, «повивального искусства» для ума! Под конец разговора Теэтет восклицает, обращаясь к Сократу: «Клянусь Зевсом, с твоей легкой руки я сказал больше, чем в себе носил» (*Платон. Теэтет. 210b*).

Уроки Сократа — пусть их и было немного, — конечно, не прошли бесследно для Теэтета. Да и могло ли быть иначе — ведь юноша обладал столь чуткой и восприимчивой душой, незаурядными способностями. Он подавал блестящие надежды и уже начал в полной мере их оправдывать. Правда, пошел Теэтет не по чисто философской, а по научной стезе и в двадцать с небольшим был уже одним из виднейших математиков своего времени, из тех, «благодаря которым увеличилось число теорем и геометрия приобрела более научный и систематический характер» (*Прокл. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида. Введение. II. 8*).

Теэтета наверняка ждали новые замечательные успехи, но вмешалась судьба... В вышеприведенной его характеристике отмечалось, помимо прочих, и мужество. Да, он и на полях сражений бился всегда в первых рядах, не щадил себя. В результате в одной из войн со Спартой, в 391 г. до н. э., он получил очень тяжелые ранения, да к тому же заразился дизентерией в лагере. Все это и свело его в могилу (*Платон. Теэтет. 142ab*). Его еще успели привезти в Афины, но через несколько дней он ушел из жизни. Теэтету было не больше 25 лет. Воистину, как гласила древнегреческая поговорка, «кого любят боги, тот умирает молодым».

Ошибочным является часто встречающееся в историко-философской литературе⁶ утверждение, что Теэтет скончался только в 369 г. до н. э., — стало быть, уже зрелым мужем — и успел еще поработать в Академии Платона, открывшейся в 387 г. до н. э.⁷ Но в том, что Платон и Теэтет были знакомы, сомневаться не приходится. Известно, что впоследствии Платон уделял изучению математики, особенно геометрии, огромное значение и не допускал в свою школу лиц, несведущих в этой науке. Кто знает, не повлияло ли на это его воззрение общение с младшим товарищем?

* * *

Сократ, как видим, умел находить общий язык с людьми самого разного возраста. Свободно, остроумно, плодотворно говорил он с Теэтетом, который годился ему во внуки. А вот другая описанная Платоном сценка (диалог «Лахет»), где собеседниками «босоногого мудреца» становятся представители более старшего, чем он сам, поколения: знатные аристократы Лисимах и Мелесий, видные полководцы Лахет и Никий. Среди участников диалога Сократ — самый молодой; действие происходит между 424 и 418 гг. до н. э., иными словами, ему лет сорок пять — пятьдесят. Остальные — уже пожилые афиняне (самый старший, Лисимах, был дружен еще с отцом Сократа). Лисимах и Мелесий раздумывают о том, кого бы пригласить для воспитания их юных сыновей. И тут в разговоре всплывает имя Сократа, отзывы говорящих о нем — самые благоприятные, проникнутые неподдельным уважением.

Лисимах: «Мальчики эти (сыновья Лисимаха и Мелесия. — *И. С.*), беседуя между собою дома, часто упоминали Сократа и очень его хвалили... Сократ, прекрасна хвала, кою воздают тебе по поводу таких дел люди, заслуживающие веры. Знай же, что слыша это, я радуюсь твоей славе, и считай меня одним из самых больших твоих доброжелателей». Лахет: «Итак, Лисимах, не отпускай этого мужа. Ведь я и в других случаях видел, как он делает честь не только свое-

му отцу, но и своей родине. Во время бегства из-под Делия (об этой битве еще будет говориться. — *И. С.*) он отступал вместе со мною, и говорю тебе: если бы другие держались так, как он, наш город тогда бы устоял и не пал столь бесславно» (*Платон. Лахет. 180е слл.*).

Сократ как раз оказывается в кругу беседующих, и немедленно начинается спор. На этот раз он — о мужестве, поскольку присутствуют знаменитые полководцы, и уж, казалось бы, кому, как не им, лучше всех знать, что это такое? Однако постепенно опять выясняется, что Сократ точнее, чем остальные, может определить предмет рассуждения. Он подчеркивает, что мужество не следует путать с дерзкой и неистовой отвагой, что оно обязательно должно быть соединено с разумом (*Платон. Лахет. 192с слл.*).

Ход мысли Сократа впечатляет стариков; они уже без колебания хотят отдать своих сыновей в обучение именно к нему. Лисимах даже и сам желает присоединиться к молодым: «Что скажешь ты, мой Сократ? Пойдешь ли ты нам навстречу и возьмешь ли на себя заботу о мальчиках, чтобы они стали как можно более достойными людьми?.. Мне нравится, Сократ, то, что ты говоришь. И я хочу, даром что я самый старший, тем усерднее обучаться вместе с подростками» (*Платон. Лахет. 200d, 201b*).

Один из тех афинских граждан, которые были по возрасту немного постарше Сократа, заслужил его особую похвалу, что, вообще говоря, редко случалось. Ведь у Сократа, с его критическим задором, не было однозначно положительного отношения даже к афинянам, ставшим знаменитейшими героями греческой истории, таким, как Фемистокл или Перикл. Он говорил о них, например, такое: «Говорят, будто они возвеличили наш город, а что из-за этих прежних правителей он раздулся в гнойную опухоль, того не замечают. А между тем они, прежние, набили город гаванями, верфями, стенами, податными взносами и прочим вздором, забыв о воздержности и справедливости. И когда наконец приступ бессилия все-таки разразится, винить афиняне будут советчиков, которые в ту пору случатся рядом, а Фемистокла, Кимона, Перикла — виновников своих бедствий — будут хвалить» (*Платон. Горгий. 518е — 519а*).

Кого же в таком случае Сократ безоговорочно одобрял, называл «человеком, который, казалось мне, поистине был одним из людей, по праву носящих название “прекрасный и хороший человек”» (*Ксенофонт. Домострой. 6. 12*)? Здесь следует пояснить, что словами «прекрасный и хороший» переводится древнегреческое выражение *калос кагатос*, означавшее высшую степень гармоничного совершенства человека, совершенства одновременно нравственного, умственного, физического⁸.

Этот сократовский идеал — Исхомах, богатый человек и «образцовый хозяин». Его фигура нарисована у сократического автора Ксенофонта настолько безупречной, что ранее у исследователей неоднократно возникали сомнения: да историческое ли это лицо? Однако специалисты по афинской просопографии убедительно показали, что Исхомах реально существовал⁹, тем более что он упоминается и в других источниках. Д. Нейлс датирует его рождение 460-ми гг. до н. э., иначе говоря, полагает, что он был чуть моложе Сократа. Однако более взвешенным представляется суждение Дж. Дейвиса, считающего, что Исхомах родился *не позже* 460 г. до н. э. По нашей оценке, он все-таки принадлежал к чуть более раннему, чем Сократ, поколению.

В диалоге Ксенофонта «Домострой» Сократ говорит, что он, «слыша, что все — и мужчины, и женщины, и иностранцы, и горожане — называют Исхомаха «прекрасным и хорошим»... решил попробовать познакомиться с ним» (*Ксенофонт. Домострой. 6. 17*). Далее описывается, как он, найдя Исхомаха в минуту досуга (не так-то просто это оказывается: тот все время занят делом!), вступает с ним в беседу, тема которой, разумеется, — ведение домашнего хозяйства, причем понимаемого в самом широком смысле слова. Заметим, кстати, что именно так — «ведение домашнего хозяйства» — переводится само древнегреческое по происхождению слово «экономика», которое к нынешнему моменту приобрело существенно иное значение.

Что включала в себя древнегреческая «экономика» — это как раз прекрасно видно по совокупности тех вопросов, которые обсуждаются в разговоре Исхомаха и Сократа. Здесь и обязанности жены (с этого, собственно, собеседники начинают), и забота о ее общем образе жизни (включающая, в частности, ее отучение от косметики и приучение к укреплению тела заботами о хозяйстве), и благоустройство дома, и посещение загородного имения, и выбор подходящего управляющего для него (с перечислением надлежащих качеств, необходимых такому управляющему), и обращение со слугами... Лишь после этого речь заходит о вещах, которые в нашем понимании являются собственно хозяйственными: говорится о необходимости изучать земледелие, даются советы касательно обработки земли, посева, уборки хлеба, садоводства и т. п.

В конечном счете, по мнению Исократа, хозяйство — это умение обращаться с людьми и повелевать ими (впрочем, равно как и любая другая сфера деятельности). «Поставленный во главе дела человек... если он умеет внушить работникам охоту к работе, энергию, усердие, такой человек добьется хорошего результата и большой создаст перевес прихода над расходом» (*Ксенофонт. Домострой. 21. 9*). То, что

называют «человеческим фактором». Вообще все античные экономические учения исходили из того, что главное в экономике — люди, а не средства производства и не какие-то абстрактные законы.

Разговор Сократа с Исхомахом в изложении Ксенофонта, между прочим, один из очень немногих во всей сократической литературе, в котором последнее слово остается не за Сократом, а за его собеседником. Можно полагать, что тем самым Сократ как бы признает превосходство Исхомаха. Впрочем, как мы уже видели, он и не скрывает своего восхищения перед этой в высшей степени цельной фигурой. По отношению к Исхомаху «босоногий мудрец» выступает не в привычной для него роли учителя, а скорее уж, наоборот, в роли ученика.

* * *

Среди же учеников Сократа в собственном смысле слова были и такие, которые под его влиянием сделали философию главным делом своей жизни. Федон Элидский, Евклид Мегарский, Эсхин Сократик...¹⁰ Некоторые из них впоследствии сами стали основателями и главами философских школ.

О большинстве их мы в этой главе ничего не будем говорить, поскольку о них слишком мало данных, которые позволяли бы воссоздать личный облик этих людей. Однако на двоих из этой части «сократовского кружка» все же необходимо остановиться подробнее.

Антисфен. Коренной афинянин; отец его, носивший то же имя, являлся видным политиком и богатым человеком, а мать — якобы фракиянкой (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 1). Если доверять этой традиции, он был незаконнорожденным, но эта версия в науке подвергается сомнению¹¹. Родился Антисфен, по одним сведениям, около 455 г. до н. э., по другим — около 446 г. до н. э. (последнее более вероятно), умер же между 366 и 360 гг. до н. э.

Вначале Антисфен учился у софиста Горгия, затем перешел к Сократу и стал его убежденным приверженцем, до того, что каждый день приходил его слушать в Афины из приморского городка Пирея, где жил. Источники изображают Антисфена весьма яркой и колоритной личностью, отличавшейся жесткими, подчас сознательно эпатирующими, циничными суждениями.

Вот, например, своеобразная проповедь нищеты: «...У меня столько всего, что и сам я насилу нахожу это; но все-таки у меня в барышах остается, что евши я дохожу до того, что не бываю голоден, пивши — до того, что не чувствую жажды, одеваюсь так, что на дворе не мерзну несколько не хуже такого богача, как Каллий; а ког-

да я бываю в доме, то очень теплыми хитонами кажутся мне стены, очень теплыми плащами — крыши; постелью я настолько доволен, что трудно бывает даже разбудить меня. Когда тело мое почувствует потребность в наслаждении любовью, я так бываю доволен тем, что есть, что женщины, к которым я обращаюсь, принимают меня с восторгом, потому что никто другой не хочет иметь с ними дела... Если бы отняли у меня и то, что теперь есть, ни одно занятие, как я вижу, не показалось бы мне настолько плохим, чтобы не могло доставлять мне пропитание в достаточном количестве. И в самом деле, когда мне захочется побаловать себя, я не покупаю на рынке дорогих продуктов, потому что это начетисто, а достаю их из кладовой своей души... Несомненно, и гораздо честнее должны быть люди, любящие дешевизну, чем любящие дороговизну: чем больше человеку хватает того, что есть, тем меньше он зарится на чужое... Я... всем друзьям показываю изобилие богатства в моей душе и делюсь им со всяким» (*Ксенофонт. Пир. 4. 37–43*).

Читаешь эти строки — и становится ясно, почему однажды Сократ, встретив Антисфена в дырявом плаще — а дыры тот еще намеренно выставлял напоказ, — сказал: «Сквозь этот плащ мне видно твое тщеславие» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 36*). Бывает такое смирение, которое, как говорится, паче гордыни. Антисфен, происходивший из состоятельной семьи, сознательно «опростился», жил демонстративно бедно и неприхотливо — и, несомненно, бравировал этой своей бедностью. О себе он явно был весьма высокого мнения: обратим внимание, как он подчеркивает в своей речи богатства собственной души...

Антисфен во всей многогранной личности Сократа заметил и абсолютизировал лишь одну черту — предельно скромный образ жизни. И подражал учителю только в этом. Он и его последователи призывали в чем только возможно ограничивать потребности, во всем обходиться минимумом возможного.

Антисфен говаривал еще: «Я предпочел бы безумие наслаждению» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 3*). Удивительно, но был среди учеников Сократа и человек, придерживавшийся полярно противоположных взглядов, считавший наслаждение главной целью жизни. Это — Аристипп, основоположник гедонизма как философского направления.

Аристипп родился около 440 г. до н. э., а год его смерти в точности неизвестен. Он был уроженцем Кирены — крупного греческого города в Северной Африке, — «а в Афины он приехал, привлеченный славой Сократа» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 65*). Как будто Сократ, подобно маг-

ниту, притягивал к себе самых непохожих людей из самых разных мест... Но как могло быть иначе, если о нем шел слух, что сам Дельфийский бог объявил его мудрейшим?

Диоген Лаэртский продолжает об Аристиппе: «Он первым из учеников Сократа начал брать плату со слушателей и отсылать деньги учителю. Однажды, послав ему двадцать мин¹², он получил их обратно, и Сократ сказал, что демоний запрещает ему принимать их: действительно, это было ему не по душе». Из сказанного видно, насколько неодинаково смотрели на мир два этих человека: Аристиппу казалось нормальным то, что для Сократа было совершенно недопустимым. Конечно, к чести Аристиппа то, что он вначале попытался отослать полученную плату Сократу; но, впрочем, с другой стороны, он не мог не догадываться, что тот их вряд ли примет.

Ксенофонт передает две беседы Сократа с Аристиппом. В одной из них учитель пытается отучить ученика от свойственной тому невоздержности и внушает ему необходимость умеренности (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 1*). В другой — рассуждает о понятиях «хорошее» и «прекрасное». Характерно начало описания этого разговора у Ксенофонта: «Однажды Аристипп вздумал сбить Сократа, как раньше его самого сбивал Сократ...» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. III. 8. 1*). Перед нами встает довольно своеобразная картина отношений в сократовском кружке: что за странное желание «сбивать» друг друга? Это весьма далеко от идиллии, царившей во многих догматических философских школах, где ученики с благоговейным почтением внимают мнению учителя. Нет, здесь нечто совсем другое: атмосфера постоянных споров и даже честолюбивого соперничества (уж в честолюбии-то точно нельзя было отказать очень многим из «сократовцев», будь то Антисфен или Аристипп), где сам учитель — лишь один из равных...

На первый взгляд, Аристипп с его постоянно подчеркиваемым гедонизмом предстает несимпатичной фигурой. Известно, что после казни Сократа он направился ко двору знаменитого сиракузского тирана Дионисия и подвизался в числе его льстецов. Однако есть и свидетельства об Аристиппе, позволяющие предположить, что на самом деле он все-таки был гораздо сложнее одномерной гротескной карикатуры «ловца наслаждений».

Например: «На вопрос, как умер Сократ, он сказал: “Так, как и я желал бы умереть”» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 76*). Уже это признание многого стоит!

«Однажды Дионисий предложил ему из трех гетер выбрать одну; Аристипп увел с собою всех троих... Впрочем, говорят, что он довел

их только до дверей и отпустил. Так легко ему было и принять и пре-небредить. Поэтому и сказал ему Стратон (а по мнению других, Платон): “Тебе одному дано ходить одинаково как в мантии, так и в лохмотьях”» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 67).

Как-то он был в гостях у одного негодяя и, осматривая комнаты с роскошными полами, вдруг, откашлявшись, сплюнул хозяину в лицо, сказав: «Нигде не было более подходящего места» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 67).

Как бы то ни было, в высшей степени примечателен сам тот факт, что в сократовском окружении мы встречаем одновременно таких лиц, как Антисфен и Аристипп — полные антиподы. Неизвестно, как они относились друг к другу (можно догадываться, что враждебно), но учителя и тот и другой боготворили. Получается, он был чем-то близок обоим, оба находили у него мысли, неким образом созвучные их настроениям. Снова и снова убеждаемся: выражение «многоликий Сократ» (оно употреблено в качестве заголовка одной из предыдущих глав) — не преувеличение. Именно таким, многоликим, был он не только в изображении различных источников, но и в действительности.

* * *

Получилось так, что по ходу этой главы, по ходу нашего знакомства с окружением Сократа акцент в целом все более смещается от людей малоизвестных (как Критон, Херефонт) или даже вовсе безвестных (как ремесленник Симон) к людям, в той или иной мере прославившихся. В полной мере принадлежит к этим последним и тот афинянин, о котором сейчас пойдет речь, — Критий.

Крития, безусловно, нужно считать одной из самых ярких фигур в афинской политической и интеллектуальной жизни конца V в. до н. э. В источниках его деятельность освещена достаточно подробно. Появляется Критий в «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта, а в другом произведении того же автора — «Греческой истории», — особенно в его начале, этот политик и мыслитель выступает в качестве одного из главных героев, — если уж быть точным, скорее «антигероев», как и в речах оратора Лисия. Необходимо также специально оговорить, что Платон, приходившийся Критию племянником, сделал его действующим лицом нескольких своих диалогов. Причем, судя по тому, что в числе этих диалогов с участием Крития — как ранний, сократический «Хармид», так и очень поздний, пифагорейский «Тимей», интерес к личности своего дяди не покидал великого фило-

софа на протяжении всей жизни. Одному из своих диалогов Платон даже дал название «Критий». К сожалению, это то самое платоновское сочинение, которое по какой-то причине осталось незавершенным и до сих пор является одной из наиболее интригующих загадок древнегреческой литературы (тем более что «Критий» — знаменитая «книга об Атлантиде»¹³). Не обделен Критий вниманием и в исследовательской литературе, как зарубежной¹⁴, так и в отечественной¹⁵.

В античной традиции он предстает в весьма колоритных, но при этом безусловно негативных тонах: как враг демократии, олигарх и лаконофил (убежденный поклонник Спарты), человек исключительно последовательных взглядов, практически фанатик идеи, и именно этим-то фанатизмом и страшный — ввиду своей твердой уверенности в том, что «цель оправдывает средства», что в случае необходимости можно пойти и на массовое пролитие крови и т. п. Принципиальность, таким образом, незаметно превращалась в свою противоположность — беспринципность, что, вообще говоря, нередко случается в политике.

Проиллюстрируем характеризующую нами тенденцию конкретными примерами. «Критий при олигархии превосходил всех корыстолюбием, склонностью к насилию, кровожадностью» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 12*). Правда, нужно учитывать, что Ксенофонт говорит здесь не от своего лица, а пересказывает обвинительную речь против Сократа, принадлежащую то ли Мелету, то ли Анику (а может быть, антисократовский памфлет софиста Поликрата), а сам выражается значительно мягче: «Если они (Критий и Алкивиад, о котором будет говориться в следующей главе. — И. С.) причинили какое зло отечеству, я не стану оправдывать их... Оба они по натуре своей были самыми честолюбивыми людьми в Афинах; они хотели, чтобы все делалось через них и чтобы им достигнуть громкой славы» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 13–14*). Следует обратить внимание на то, что имена Крития и Алкивиада поставлены здесь рядом, и это не случайно. Двух знаменитых афинян связывали тесные, но очень неровные отношения, колебавшиеся от дружбы и политической близости до непримиримой вражды, вне сомнения, вызванной отчасти завистью и соперничеством со стороны Крития.

Особый случай — Платон. Его позиция обуславливалась обстоятельствами, о которых сам философ на склоне лет подробно рассказал в своем известном VII письме. Когда в 404 г. до н. э. олигархи пришли к власти (а как оговаривает автор, «некоторые из них были моими родственниками и хорошими знакомыми», явно имея в виду прежде всего Крития), Платон, отнюдь не симпатизировавший демо-

кратии, вначале видел в них своих единомышленников. Он, пожалуй, даже несколько смягчая свою тогдашнюю истинную позицию, пишет: «...Я был убежден, что они отвратят государство от несправедливости и, обратив его к справедливому образу жизни, сумеют его упорядочить, и потому с большим интересом наблюдал за ними: что они будут делать? И вот я убедился, что за короткое время эти люди заставили нас увидеть в прежнем государственном строе (то есть в демократии. — *И. С.*) золотой век» (*Платон. Письма. VII. 324d*). Нелегко, должно быть, дались основателю Академии эти строки, учитывая его политические убеждения.

Итак, для Платона Критий и его соратники — это такие деятели, которые своими чудовищными преступлениями полностью скомпрометировали безусловно благоую в целом идею «правильного» государственного устройства. Мог ли он после этого относиться к своему дяде иначе, чем отрицательно? Впрочем, отношение это все-таки менялось. В «Хармиде» Критий представлен высокомерным человеком, привыкшим «к постоянному почету» (*Платон. Хармид. 69c*), при этом завзятым спорщиком, который на протяжении всего диалога колеблется между желанием безапелляционно отстоять собственную точку зрения и остатками уважения к своему учителю Сократу. Но совсем иначе выглядит тот же афинянин в «Тимее» и «Критии»: перед нами — умудренный собеседник, носитель древнего знания, о котором «все в Афинах знают, что он не невежда ни в одном из изучаемых нами предметов» (*Платон. Тимей. 20a*).

Критий, сын Каллесхра (ок. 450–403 гг. до н. э.)¹⁶, был одним из знатнейших аристократов в Афинах. Он принадлежал к древнему роду Кодридов, т. е. являлся отдаленным потомком афинских царей. В числе своих предков (правда, не по прямой, а по боковой линии) Критий числил и великого законодателя Солона.

В молодости Критий был близок как к софистам, так и к Сократу. Платон не без юмора изображает, как Алкивиад и Критий чуть ли не рука об руку ходят вслед за «заезжими знаменитостями», крупнейшими представителями софистического движения — Протагором, Продиком (*Платон. Протагор. 316a, 317de*). С Сократом же у Крития, похоже, не было столь же близких и дружеских отношений, как, например, у Херефонты или Критона, но все-таки Критий тоже считался его учеником. Впрочем, лишь до определенного момента: по сообщениям источников (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 12–16; I. 2. 29–3*), позже он порвал с Сократом, очевидно, получив у него все, что хотел. А хотел он, естественно, прежде всего прагматической, утилитарной мудрости, которая могла бы пригодиться в политической деятельности, при достижении власти.

Поэтому его общение с софистами, насколько можно судить, было более продолжительным. Не случайно Крития и самого включают в число младших софистов, считая его представителем наиболее радикального, при этом практически направленного крыла этого движения. Он имел репутацию известного оратора, а также являлся весьма плодовитым, разносторонним писателем и мыслителем. Его сочинения, к сожалению, дошли до нас лишь в кратких и немногочисленных фрагментах. А между тем среди них имелись как прозаические трактаты (о государственном устройстве Спарты, Фессалии), так и стихотворные произведения (гексаметры, элегии). Сочинял Критий и драмы; наиболее известна его тетралогия, в которую, судя по наиболее достоверным данным, входили трагедии «Тенн», «Радамант», «Пирифой» и сатирическая драма «Сизиф»¹⁷.

Последняя, от которой сохранился большой фрагмент, монолог кого-то из действующих лиц, возможно, самого заглавного героя (*Критий*. фр. B25 Diels–Kranz), особенно прославилась, поскольку в ней, как считается, содержалась одна из наиболее радикальных атеистических теорий древности¹⁸. Богов, согласно изложенному в пьесе воззрению, изобрел в древности некий мудрец-законодатель, озабоченный строгим соблюдением законности и придумавший с этой целью некие сверхъестественные существа, всемогущие и всеведущие, от взора которых не может ускользнуть никакой человеческий проступок, даже совершаемый тайно. Естественно, боги были помещены своим создателем на небо, поскольку именно небо является источником разного рода устрашающих природных явлений. Во фрагменте эта культурантрегерская деятельность расценивается как заслуживающая всяческой похвалы.

Соответственно, Критий и в древности иногда (впрочем, реже, чем можно было бы ожидать) включался в «каноны» знаменитых безбожников (например: *Секст Эмпирик*. Против ученых. IX. 54), и ныне зачастую признается одним из крупнейших представителей древнегреческого атеизма классической эпохи¹⁹. Проблема, однако, состоит в том, что ничто, кроме упомянутого фрагмента из сатирической драмы, не дает повода считать Крития атеистом. Более того, все, что известно об этом человеке, противоречит такому представлению о нем²⁰. Этот выходец из древнего рода Кодридов был ярко выраженным консерватором, олигархом, лаконофилом, при этом не оппортунистом, склонным «поступиться принципами», а в полном смысле слова человеком идеи, готовым пойти (и в конце концов пошедшим) на смерть за свои убеждения. Есть даже точка зрения, согласно которой автором драмы «Сизиф» являлся не Критий, а Еврипид²¹. Впрочем, кому бы ни принадлежало это произведение, совершенно

необязательно считать мнение одного из его персонажей, к тому же вырванное из контекста, выражением личной позиции автора, тем более, что речь идет о таком специфическом, гротескном жанре, как сатирическая драма.

Вернемся к общей характеристике Крития. Не приходится сомневаться в его многочисленных талантах политика, литератора, мыслителя, но столь же бросаются в глаза негативные стороны его личности и деятельности: жестокость, необузданный нрав, высокомерие, непримиримая ненависть к демосу. Критий с полным основанием может быть назван именно крайним олигархом. Его решительное неприятие вызывала любая форма демократии или приближающегося к ней государственного устройства. Неудивительно, что он являлся горячим поклонником Спарты, считая ее едва ли не идеальным государством.

Вот несколько цитат из приводимой Ксенофонтом речи Крития, выдержанной как раз в подобном духе: «Для таких людей, как мы с вами, демократический строй, конечно, крайне тягостен и невыносим... Если до нашего сведения доходит, что кто-либо враждебно относится к олигархическому правлению, мы принимаем все возможные меры для устранения таких лиц... Несомненно, наилучший государственный строй — это лакедемонский» (*Ксенофонт. Греческая история. II. 3. 25 слл.*). Ксенофонт, очевидно, лично присутствовал при произнесении этой речи Критием, и сомневаться в том, что он верно передал ее содержание, нет оснований.

* * *

Крития с наибольшим основанием можно назвать не другом и не учеником Сократа, а именно попутчиком. Да и то только до определенного момента. В сократовский «ближний круг» он явно не входил. Впрочем, в истории отношений Сократа и Крития была еще одна, заключительная «глава» — и чрезвычайно интересная. Она относится к тому времени, когда Критий сотоварищи захватили в Афинах власть, свергли демократию и установили олигархический режим. Но этот эпизод будет рассматриваться ближе к концу нашей книги, поскольку он пришелся уже на последние годы жизни Сократа. Перед этим нам еще предстоит познакомиться с политическими взглядами «босоногого мудреца», чтобы понять, что же привлекало в нем противников демократического правления.

Не только Критий, но и некоторые другие будущие лидеры олигархов были в той или иной мере близки к Сократу. Вот, например, двоюродный брат того же Крития — Хармид. В платоновском диалоге, носящем его имя, он изображен юношей необыкновенной кра-

соты, предметом всеобщего восхищения (*Платон. Хармид. 154cd*). Познакомившись с Сократом, Хармид жалуется на мучающие его головные боли. Сократ, по обыкновению, начинает в ироническом духе, и, как всегда, трудно отделить в его словах шутки от глубоких истин. Он-де знает какую-то целебную травку, «но к ней надо добавлять определенный заговор, если же принять ее без заговора, то от травки не будет пользы... Заговор же этот таков, что с его помощью нельзя излечить только одну голову... Совершенно бессмысленно думать, будто можно излечить каким-то образом голову саму по себе, не вылечив все тело в целом... Не следует и лечить тело, не леча душу... Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова и все остальное тело хорошо себя чувствовали» (*Платон. Хармид. 155e* слл.).

Итак, если употреблять современные выражения, человек — целостная система. Причем такая, в которой первична душа, а тело вторично. Соответственно, при любом лечении с души-то и нужно начинать. Поэтому, говорит Сократ Хармиду, «если ты пожелаешь... сначала предоставить мне душу... то я присовокуплю к этому и лекарство для головы» (*Платон. Хармид. 157c*).

Ни много ни мало: «босоногий мудрец» требует от человека, которого впервые видит, тут же открыть ему свою душу. Из таких-то эпизодов и становится понятным, почему почитатели Сократа считали его великим душеведом, а его недоброжелатели раздраженно говорили, что он ко всем лезет в душу...

Далее беседа у Сократа с Хармидом идет о рассудительности. Так, по крайней мере, читаем в русском переводе. В действительности имеется в виду качество, которое обозначалось словом *софросине* и считалось одной из главных добродетелей. «Рассудительность» — лишь один из вариантов перевода этого термина, неполный и неточный. Перед нами слово, которое очень трудно однозначно перевести с древнегреческого на какой-нибудь другой язык, потому что оно включает целый комплекс взаимосвязанных смыслов. «Софросине» — это самообладание и самоограничение, воздержанность во всем, умеренность, умение удерживать дерзостные порывы. В переводе на церковнославянский «софросине» будет «целомудрие», но на современный русский так переводить уже нельзя, поскольку к нашему времени смысловое поле слова «целомудрие» существенно сузилось: по сути дела, стал абсолютно преобладающим чисто физический его аспект, а раньше главным был нравственный.

Заканчивается беседа тем, что Хармид говорит Сократу: «...С моей стороны нет никакого препятствия к тому, чтобы ты заговаривал меня столько дней, сколько сам сочтешь нужным»

(Платон. Хармид. 176b). Иными словами, он выражает желание стать учеником Сократа.

Хармид затем во всем разделил судьбу своего двоюродного брата Крития: тоже был одним из лидеров олигархического переворота 404 г. до н. э. и тоже погиб в борьбе с демократами.

По некоторым сведениям, был близок к Сократу и еще один видный политический деятель олигархической ориентации (правда, не столь крайних взглядов, как Критий, а более умеренных) — Ферамен. Пожалуй, учеником «босоногого мудреца» в строгом смысле слова Ферамен не являлся, но все же примыкал к его кружку (*Диодор Сицилийский*. Историческая библиотека. XIV. 5). Сократические идеи, насколько можно судить, оказали влияние на позицию Ферамена (*Ксенофонт*. Греческая история. II. 3. 19; *Аристотель*. Афинская полиция. 28. 3). Идеалом для него представляла отнюдь не радикальное народовластие, а скорее строй, который в равной мере может быть назван мягкой олигархией или несколько ограниченной демократией: в частности главного критерия для причастности лица к власти выдвигался невысокий имущественный ценз.

* * *

Итак, каких только людей не было в окружении Сократа! Те, кто годился ему в отцы, и те, кто годился ему во внуки. Решительные противники демократии, как Критий, и ее сторонники, как Херефонт. Гедонист Аристипп и выбравший добровольную бедность Антисфен. Прагматик Критон и восторженный Федр. Богатый землевладелец Исхомах и простой ремесленник Симон...

Верным, конечно, будет сказать, что у каждого из них был «свой Сократ». Но не менее верным будет и иное: все-таки, в сущности, Сократ всегда, с кем бы ни беседовал, в конечном счете оставался самим собою. Многогранная его личность тем не менее была единой, целостной. К постижению этого ее целостного облика мы будем постепенно, со временем подходить. А пока мы подробнее остановимся — и даже посвятим данному сюжету специальную главу — на дружбе Сократа с еще одним знаменитым афинянином, на дружбе, которая особенно прославилась и даже, можно сказать, вошла в легенду.

СОКРАТ И АЛКИБИАД

Алкивиад (450–404 до н. э.), афинский политический деятель и полководец, был, пожалуй, одной из самых ярких, колоритных личностей во всей Греции второй половины V в. до н. э. Его карьера оказалась молниеносно короткой и ослепительной; подобно метеору пронесся он по политическому небосводу Эллады, оставив у современников впечатление чего-то небывалого, неповторимого¹. О нем говорили, что он превзошел всех в греческом мире как доблестями, так и пороками (*Корнелий Непот*. Алкивиад. 1); говорили, что двух Алкивиадов Греция бы не вынесла (*Плутарх*. Алкивиад. 16)... Им восхищались и его ненавидели, причем порой одни и те же люди.

Даже его гибель не остудила страстей: у Алкивиада оставались враги и после смерти. И это несмотря на то, что греки, почти всегда крайне пристрастные к тому или иному ведущему деятелю при его жизни, как правило, ощущали раскаяние позже, когда ничего исправить уже было нельзя². С Алкивиадом получилось не так. Еще в начале IV в. до н. э., когда вся политическая обстановка в корне изменилась и, казалось бы, многочисленные неоднозначные перипетии его бурной деятельности должны были мирно отойти в небытие, виднейшие аттические ораторы — Лисий (речи XIV, XV) и Андокид (речь IV)³ — составляют настоящие гневные филиппики по адресу этого уже покойного афинского лидера, а, кстати заметим, другие выдающиеся мастера красноречия — Исократ (речь XVI) и позже Демосфен (речь XXI) — его активно защищают⁴. Посмертная хула, повторим, очень нечастая вещь в греческой истории, гораздо более редкая, нежели посмертная слава. В этом отношении с Алкивиадом можно сопоставить разве что его философского alter ego — Сократа, другого «овода», возмущавшего в то же самое время спокойствие афинян. Сократ, как и Алкивиад, в течение довольно значительного времени после своей трагической кончины оставался фигурой спорной, и нам в этом еще предстоит убедиться.

Чрезвычайно характерно и важно для понимания того, как оценивали Алкивиада современники, одно место из комедии Аристофана, написанной в 405 г. до н. э.

Дионис: Скажите же, какого мнения держитесь

Насчет Алкивиада. Город болен им.

Евритид: Что ж город думает о нем?

Дионис: Что думает?

Желает, ненавидит, хочет все ж иметь.

А вы какого мнения, расскажите мне?

Еврипид: Мне ненавистен гражданин, что медленен

На помощь государству, на беду же скор.

Кто ловок для себя, ленив для города...

Эсхил: Не надо львенка в городе воспитывать.

А вырос он — себя заставит слушаться.

(*Аристофан. Лягушки. 1422 слл.*)

В этом сочиненном драматургом разговоре, происходящем в Аиде между богом Дионисом и тенями умерших поэтов Эсхила и Еврипида, наглядно отражена та борьба мнений, что кипела в Афинах вокруг Алкивиада, та смесь преклонения и ужаса, что испытывали по отношению к нему сограждане. Характерно, что по отношению к нему, как видим, употребляется метафора льва, нередко применявшаяся к тем политикам, которые считались опасными для государства своей чрезмерной влиятельностью, — например, к Периклу (*Геродот. История. VI. 131*)⁵.

В современной науке также существуют крайне противоречивые суждения о личности и деятельности Алкивиада. В нем видят то «тип эллина классической эпохи со всеми его достоинствами и недостатками»⁶, то «гениального вождя в слишком маленьком мире», предтечу эллинистических сверхчеловеков⁷, то талантливого неудачника, оказавшегося злым гением родины⁸, то последователя афинских политиков в традициях Фемистокла и Перикла⁹, то последнего аристократического лидера в старинном духе, не приспособившегося к новым демократическим условиям¹⁰. И в каждой из этих точек зрения есть определенная доля истины...

Алкивиад по своему происхождению принадлежал к кругу высшей афинской аристократии, был выходцем из семьи с давними и богатыми политическими традициями. Его отец Клиний состоял в ближайшем окружении Перикла. В 447 г. до н. э. Клиний, участвуя в так называемой Первой (или Малой) Пелопоннесской войне, погиб в битве при Коронее (*Плутарх. Алкивиад. 1*).

Что же касается матери Алкивиада Диномахи, то она происходила из рода Алкмеонидов, едва ли не самого знаменитого и влиятельного в Афинах. Помимо прочего, она приходилась двоюродной сестрой Периклу и родной сестрой — его первой жене. Иными словами, Алкивиад оказывался ближайшим родственником Перикла — «первого гражданина», самого влиятельного человека в государстве. Поэтому не случайно, что, когда он трех лет от роду остался без отца, его опекуном стал именно Перикл.

Уже с детства и ранней юности Алкивиад зарекомендовал себя блестяще одаренной личностью. Он отличался необыкновенной красотой; от него как бы исходило какое-то непреодолимое очарование, перед которым не могли устоять даже враги и недоброжелатели молодого афинского аристократа. Алкивиад рос в обстановке всеобщего почитания и восхищения, о нем знали все Афины. «Целая толпа знатных афинян окружала Алкивиада, ходила за ним по пятам, предупреждала все его желания» (*Плутарх*. Алкивиад. 4). Комедиограф Аристофан уже в своих ранних произведениях, созданных в 420-е гг. до н. э. («Пирующие», «Ахарняне», «Осы»), изображает Алкивиада как яркого представителя афинской «золотой молодежи».

Естественно, что в таких условиях Алкивиад вырос человеком до крайности избалованным и даже развращенным. Он вел исключительно экстравагантную жизнь, переполненную пьяными кутежами и беспорядочными любовными связями. Плутарх передает целый ряд связанных с этим анекдотов¹¹, которые вряд ли имеет смысл здесь подробно пересказывать, но о самых характерных из них, пожалуй, стоит упомянуть. «Алкивиад явился однажды к учителю грамматики и попросил сочинения Гомера. Тот ответил, что Гомера у него нет, тогда Алкивиад ударил его кулаком и ушел» (*Плутарх*. Алкивиад. 7). В другой раз он в пьяном виде и с компанией друзей пришел на пир к одному из афинян, забрал со столов половину стоявшей там золотой и серебряной посуды и удалился. Обескураженный хозяин заметил, однако, что его эксцентричный гость «обнаружил сдержанность и снисходительность: ведь он оставил нам эту половину, меж тем как мог забрать все» (*Плутарх*. Алкивиад. 4). Интересно, что этим обиженным хозяином был не кто иной, как Анит, будущий обвинитель Сократа.

Алкивиад — таково создающееся впечатление — считал, что для него нет ничего недозволенного, а сограждане только укрепляли в нем эту уверенность, прощая ему все выходки за его обаяние. Собственно, и об этом тоже прямо пишет Плутарх (правда, имея в виду более поздний период деятельности своего героя: «Добровольные пожертвования, щедрость хорега¹², дары городу, в пышности которых он не знал себе равных, слава предков, сила слова, красота и крепость тела в соединении с воинским опытом и отвагой заставляли афинян прощать Алкивиаду все остальное, относиться к нему терпимо и всякий раз подбирать для его выходок самые мягкие названия, именуя их то шутками, то даже добрыми делами» (*Плутарх*. Алкивиад. 16).

Как-то юный Алкивиад поспорил с друзьями, что без всякой вины публично ударит Гиппоника из рода Кериков (о нем уже упомина-

лось выше) — богатейшего из афинян, кроме того, занимавшего одну из важнейших в полисе жреческих должностей, человека уже немолодого, — и действительно сделал это. Однако на следующий день он «пришел к дому Гиппоника, постучался, предстал перед хозяином и, сбросив с плеч гиматий, предал себя в его руки, чтобы самому претерпеть побои и понести заслуженную кару» (*Плутарх. Алкивиад. 8*). Гиппоник, конечно, был растроган таким поведением Алкивиада, простил ему обиду, а позже даже выдал за него замуж свою дочь Гиппарету.

Впрочем, этот брак не был счастливым. Уже после смерти Гиппоника Гиппарета, удрученная полным невниманием со стороны супруга, его постоянными изменами, ушла от него к своему брату Каллию и решила подать на развод. Бракоразводный процесс, если он осуществлялся по инициативе женщины, был в Афинах достаточно долгой и сложной процедурой; от добивавшейся развода гражданки требовалось, в частности, собственноручно подать жалобу архонту на городской площади — Агоре. «Когда, повинувшись закону, она (Гиппарета. — *И. С.*) уже подавала требование, явился Алкивиад, внезапно схватил ее и понес через всю площадь домой, причем никто не посмел вступить и вырвать женщину из его рук», — рассказывает Плутарх и затем поучительным тоном добавляет: «...Примененное им насилие никто не счел ни противозаконным, ни бесчеловечным: по-видимому, закон для того и приводит в общественное место женщину, покидающую своего супруга, чтобы предоставить последнему возможность вступить с ней в переговоры и попытаться удержать ее» (*Плутарх. Алкивиад. 8*).

Разумеется, Алкивиад боролся не за саму Гиппарету, а за огромное приданое, которое он с нею получил и которое в случае развода должно было по афинским законам вернуться обратно в семью женщины. Несчастливая жена Алкивиада довольно скоро умерла; известно о двух детях от их брака — сыне, который тоже был назван Алкивиадом, и дочери (ее имя не сохранилось).

Вполне справедливо пишет об Алкивиаде римский биограф Непот: «Был он щедрым, блистательным в обиходе и во всем образе жизни, обходительным, обаятельным и умеющим ловко приноровиться к случаю; и он же в свободное время, когда дела не требовали душевного напряжения, оказывался изнеженным, беспутным, сластолюбивым и разнузданным, так что все дивились, как в одном человеке уживаются такие противоречия и такие разные природные свойства» (*Корнелий Непот. Алкивиад. 1*). Больше всего бросалось в глаза непомерное честолюбие и тщеславие Алкивиада, его стремление любыми способами выделиться из массы сограждан, «быть

не как все». Это проявлялось даже в мелочах. Так, на своем боевом щите он приказал изобразить не родовую эмблему, как было принято, а Эрота с молнией в руке, сам же щит сделать позолоченным. Для завоевания славы и престижа Алкивиад не останавливался ни перед какими денежными тратами, тем более что он был очень богат и, кроме того, как упоминалось, получил большое приданое за Гиппаретой. Он неоднократно добровольно принимал на себя разного рода литургии — общественные повинности, налагавшиеся на наиболее состоятельных граждан в пользу государства, — чрезвычайно активно участвовал и часто побеждал в общегреческих спортивных соревнованиях, причем в той дисциплине, которая считалась самой почетной, — в колесничных бегах. Тому же престижу служил и весь стиль жизни Алкивиада, необычайно пышный и роскошный.

На Олимпийских играх 416 г. до н. э. Алкивиад добился такого триумфа в состязаниях колесниц, какой ни до того, ни после того не выпадал на долю ни одного из греков. Выставив семь упряжек, Алкивиад занял сразу первое, второе и третье места. Тут нужно пояснить, что победителем в колесничных бегах считался не возница, а владелец упряжки (хотя владелец нередко выступал и в качестве возницы). Поэтому одно лицо могло занять на состязаниях сразу несколько мест. Впоследствии возникло подозрение, что одна из упряжек, выставленных Алкивиадом (едва ли не победившая, которой правил он сам), была обманно записана им на свое имя, а на деле принадлежала другому афинянину. Уже после смерти Алкивиада этот инцидент дал повод к судебному процессу против его сына.

О первом, втором и третьем месте Алкивиада говорится в победной песни (эпиникии) в его честь, написанной поэтом Еврипидом (*Еврипид*. Эпиникии. фр. I Page). Фукидид, описывая то же событие, говорит о первом, втором и четвертом местах (*Фукидид*. История. VI. 16. 2), но, на наш взгляд, песнь Еврипида, написанная непосредственно по следам событий, точнее передает факты¹³. Как бы то ни было, эта невиданная победа стоила Алкивиаду, конечно, весьма изрядных трат, но зато после нее он мог с полным основанием считать себя самым знаменитым человеком не только в Афинах, но и во всем греческом мире.

Вот как описывает оратор Андокид поведение Алкивиада во время рассматриваемых Олимпийских игр: «Обратите внимание на то, как вообще он обставил свое пребывание в Олимпии. Персидский шатер, превосходящий вдвое палатку официальной делегации, ему привезли эфесцы; жертвенных животных и корм для лошадей доставили хиосцы; поставку вина и прочие расходы он возложил на лесбосцев» (*Андокид*. IV. 30). Перед нами просто-таки парадоксальная картина;

даже трудно представить, чтобы в Греции V в. до н. э. афинский политический деятель, пусть даже и крупный, был окружен подобным почитанием, побуждавшим оказывать ему едва ли не сверхчеловеческие, героические почести.

Где бы ни оказывался Алкивиад, он тут же, подобно хамелеону, приспосабливался к новым условиям. По словам Плутарха, «в Спарте он не выходил из гимнасия (помещения для занятий спортом. — И. С.), был непритязателен и угрюм, в Ионии — изнежен, сластолюбив, беспечен, во Фракии беспробудно пьянствовал, в Фессалии не слезал с коня, при дворе сатрапа Тиссаферна в роскоши, спеси и пышности не уступал даже персам» (*Плутарх*. Алкивиад. 23). Непот добавляет, что, находясь в Беотии, Алкивиад превзошел всех «в трудолюбии и телесных упражнениях» (*Корнелий Непот*. Алкивиад. 11). Иными словами, повсюду вел себя так, как было принято в данном обществе.

В наибольшей степени запомнилось современникам «спартанское перерождение» Алкивиада. Волею судьбы ему однажды довелось несколько лет прожить в Спарте — этом суровом, воинственном государстве. И вот там-то он особенно резко изменил весь свой образ жизни. Казалось, не осталось и следа от прежнего изнеженного щеголя, который еще недавно, командуя афинским флотом, приказывал делать для себя «особые вырезы в палубе на триерах, чтобы спать помягче — в постели, уложенной на ремни, а не брошенной на голые доски» (*Плутарх*. Алкивиад. 16). Восхищая самих неприхотливых лаконян, Алкивиад с легкостью перенимал все их обычаи — носил простую одежду, купался в холодной воде, ел знаменитую спартанскую черную похлебку, которую, как считалось, вообще никто не в состоянии отведать, кроме самих граждан Спарты.

Однако под всеми этими личинами скрывался прежний Алкивиад. Воспользовавшись отсутствием спартанского царя Агида II, отправившегося в поход, он вступил в любовную связь с его женой Тимеей, которая даже родила от Алкивиада сына (этот сын, названный Леотихидом, впоследствии, после смерти Агида, даже претендовал на его престол, но проиграл борьбу младшему брату Агида — Агесилаю). Агид, возвратившись и заподозрив неладное, стал с тех пор врагом Алкивиада...

Но все это, впрочем, было уже позже, когда Алкивиад уже вырос, — мы несколько забегаем вперед, чтобы дать по возможности максимально полную характеристику человеку, о котором идет речь. Вернемся в его юные годы. Давно уже было высказано предположение, что Перикл прочил Алкивиада в свои политические преемники, поскольку его собственные сыновья Ксантипп и Парал

никакими талантами не блистали. Так или не так (каких-либо позитивных аргументов в защиту этой точки зрения вроде бы нет), несомненно, во всяком случае, что отношение самого Алкивиада к своему опекуну осложнялось некоторыми нюансами. Имела место, в частности, ревность молодого аристократа к лидеру афинского полиса; поклонники Алкивиада нашептывали ему, «что стоит ему взяться за государственные дела, как он разом не только затмит всех прочих военачальников и народных любимцев, но и самого Перикла превзойдет могуществом и славою среди греков» (*Плутарх*. Алкивиад. 6).

Да и в целом Перикл и Алкивиад были слишком уж разными людьми; по отношению к ним можно даже в известной мере говорить о конфликте поколений. Алкивиад решительно не желал принимать тех правил политической жизни в демократических Афинах, которым неукоснительно следовал Перикл. Широко известным стало заявление Алкивиада по поводу тщательной подготовки Перикла к отчетам перед народным собранием: «А не лучше ли было бы ему подумать о том, как вообще не давать отчетов?» (*Плутарх*. Алкивиад. 7). Ксенофонт передает чрезвычайно интересную беседу между Периклом и Алкивиадом, не достигшим еще двадцатилетнего возраста. В ходе этого разговора, предметом которого было определение закона, юноша, пользуясь различными ухищрениями софистической эристики, буквально загоняет «первого гражданина» в угол, заставляя того признать, что закон и беззаконие — одно и то же (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. I. 2. 40–46). Не приходится сомневаться в том, что данный эпизод, описанный современником, не выдуман¹⁴.

Таким образом, Алкивиад уже с молодых лет блестяще владел искусством спора, да и в целом был наделен редким даром красноречия (*Плутарх*. Алкивиад. 10), что, безусловно, имело большое значение в условиях афинской демократии, когда все вопросы государственной жизни решались путем открытого обсуждения и дискуссии¹⁵. В дополнение к природной одаренности он, естественно, получил прекрасное образование, как и подобало отпрыску знатного рода, готовящемуся к политической деятельности. Юный Алкивиад много общался с подвизавшимися в Афинах софистами.

* * *

Вот такая-то фигура предстала перед нами. На первый взгляд, меньше всего может прийти в голову, что у подобного человека могло быть что-то общее с Сократом. А тем не менее они находились в самых близких и теплых отношениях.

Познакомились два афинянина в 430-х гг. до н. э. Алкивиад был тогда цветущим юношей, предметом всеобщего восхищения, посто-

янно окруженным толпой почитателей, вращавшимся в «высшем свете», а Сократ — мужчиной средних лет, отличавшимся, как мы знаем, предельно неказистой внешностью. Казалось бы, что могло привлечь их друг в друга? Но в течение определенного, довольно значительного времени философ и молодой аристократ были почти неразлучны. Их дружба вошла в легенду.

С Сократом, например, напрямую связаны первые эпизоды военной карьеры Алкивиада (*Плутарх*. Алкивиад. 7). В 432 г. до н. э. Алкивиад в восемнадцатилетнем возрасте отправился в свой первый поход и участвовал в осаде города Потидеи на Халкидике (северное побережье Эгейского моря)¹⁶. В этом военном мероприятии принимал участие и Сократ, даже живший с Алкивиадом в одной палатке. В одной из битв с осажденными Сократ спас Алкивиада от гибели. Следует сказать, что последний отплатил добром за добро и несколько лет спустя (в 424 г. до н. э., уже в ходе Пелопоннесской войны) в неудачном для афинян сражении при Делии (в Беотии) сам, служа уже в коннице, пришел на выручку Сократу, отступавшему в рядах гоплитов и подвергавшемуся опасности.

Талантливую юношу привлекало в «босоногом мудреце» то, что он, в отличие от прочих многочисленных поклонников, не потакал его порочным наклонностям, а, напротив, старался их приглушать, воспитывая в нем стремление к истинной доблести. Подробно и ярко рассказывает об этом Плутарх, начиная с упоминания «добрых природных качеств, которые философ усматривал и различал под покровом внешней прелести; опасаясь его богатства и высокого положения, а также бесчисленной толпы сограждан, чужеземцев и союзников, осыпавших подростка лестью и знаками внимания, он старался, насколько мог, оградить его от опасностей, как берегут растение в цвету, дабы оно не потеряло свой плод и не зачахло... Алкивиад, с самых ранних лет избалованный и как бы замкнутый в кругу людей, которые искали только его благосклонности и не давали прислушаться к словам наставника и воспитателя, все же благодаря врожденным своим качествам узнал Сократа и сблизился с ним... Они быстро подружились... В деятельности Сократа Алкивиад видел подлинное служение богам, направленное к попечению о молодежи и ее спасению; он презирал самого себя и восхищался учителем, испытывал горячую благодарность за его доброжелательство и благоговейный стыд перед его добродетелью... Хотя у Сократа было много сильных соперников, временами он крепко держал Алкивиада в руках, воздействуя на присушие ему от рождения добрые качества — трогая своими словами его душу, надрывая сердце, исторгая из глаз слезы; но случалось и так, что мальчик, поддавшись на уговоры

льстецов, суливших ему всевозможные удовольствия, ускользал от учителя, и тогда тот гонялся за ним, точь-в-точь как за беглым рабом, ибо одного лишь Сократа Алкивиад и стыдился и боялся, всех прочих не ставя ни во что. Вот почему Клеанф и говорил, что Сократ держал своего возлюбленного за уши, оставляя соперникам немало удобных для захвата мест, которые ему самому недоступны, — чрево, срам, глотку... Впрочем, железо, размягченное в пламени, на холоде вновь твердеет, и все частицы его собираются воедино; так и Сократ, едва только брал под надзор раздувшегося от удовольствий и чванства Алкивиада, — тут же словно бы сжимал его и стискивал своими речами, делал робким и смиренным, втолковывая, как он еще далек от истинной доблести» (*Плутарх*. Алкивиад. 4–6).

Далеко не всегда и не во всем это удавалось; зачастую дурные влияния брали верх. Тем не менее характерно, что и впоследствии Алкивиад всегда сохранял теплые и даже восторженные чувства к Сократу. В отличие от другого известного сократовского ученика — своего сверстника Крития, будущего знаменитого олигарха, — он отнюдь не порвал с учителем.

При этом следует помнить, что Алкивиада привлекали в учении Сократа прежде всего его элитарные, аристократические и даже антидемократические стороны, в частности, настояние философа на том, что управление государством должно принадлежать не «совершенно невежественным» представителям демоса, а «знающим», «лучшим» людям. Нет надобности говорить, что к этим «лучшим» Алкивиад в первую очередь причислял себя, прекрасно осознавая (и даже, пожалуй, переоценивая) свои многочисленные таланты. Как ни парадоксально, учение Сократа с его проповедью «умеренности» и «самопознания» для Алкивиада оказывалось, наоборот, катализатором властных амбиций. Его огромное властолюбие закономерно влекло за собой подчеркнутую беспринципность, уверенность в том, что для достижения цели подходят любые средства. Подобно «титанам Возрождения» или ницшеанскому «сверхчеловеку», Алкивиад, похоже, искренне считал себя стоящим «по ту сторону добра и зла».

Отношения Сократа и Алкивиада¹⁷ прекрасно укладываются в чрезвычайно характерную для древнегреческой цивилизации модель дружбы-ученичества зрелого мужа и юноши, дружбы, не свободной от эротических оттенков¹⁸. Здесь приходится сказать о том, о чем обычно стыдливо умалчивают в научно-популярных книгах об античности, но без чего отношения Сократа и Алкивиада останутся во многом непонятными, — о широком распространении гомосексуализма в Элладе. Он был абсолютно повсеместным и повседневным компонентом всего образа бытия. Практически каждый мужчина

в молодости, до вступления в брак, имел гомосексуальный опыт, который на последующих этапах его жизни сохранился, но совмещался с гетеросексуальным.

Гомосексуальные отношения обычно имели формы эротически и романтически окрашенной дружбы между юношей и зрелым мужем. Последний всячески ухаживал за своим возлюбленным, старался вызвать у него ответное чувство, дарил дорогие подарки и пр. По отношению же к женщине подобный романтизм считался совершенно неуместным: ее просто «брали». И дело здесь не только в том, что возможности такого ухаживания, скажем, за своей будущей женой просто не существовало: девушки жили затворницами, и жених впервые видел невесту если не на свадьбе, то уж, во всяком случае, не раньше, чем на смотринах. Важнее другое: считалось, что однополая любовь, любовь между мужчинами (имевшая, помимо прочего, еще и образовательно-воспитательный оттенок) в принципе выше и достойнее, чем любовь к противоположному полу.

Однако ошибется тот, кто посчитает, что отношения Сократа и Алкивиада складывались в подобном банально-гомосексуальном духе. Все было гораздо сложнее, по-настоящему интригующе. Как же именно? Об этом мы сейчас и узнаем.

* * *

Детали истории мы узнаем, как часто бывает, из сочинений Платона. Алкивиад выступает в качестве одного из действующих лиц в ряде его диалогов. Два произведения платоновского корпуса даже носят имя Алкивиада: «Алкивиад I» и «Алкивиад II». Впрочем, существуют сомнения в принадлежности второго из этих диалогов, очень небольшого по размеру, перу самого Платона. Возможно, он был написан кем-то из его учеников. Подлинность «Алкивиада I», или «Алкивиада Большого», как правило, специалистами не оспаривается¹⁹. Впоследствии в платоновской Академии и выросших из нее философских школах к этому диалогу было особое отношение. Он «считался средоточием главных идей платонизма»²⁰, причем изложенных в самых общих чертах, в краткой и доступной форме. Поэтому с его чтения и разбора обычно начинали изучение этой философской системы — в качестве, так сказать, приготовительного, пропедевтического курса, после которого начинали уже заниматься деталями, вникая в них по другим диалогам.

«Алкивиад I» начинается с того, что Сократ, ранее лишь молчаливо следовавший за Алкивиадом, впервые подходит к нему и вступает в беседу. Юноша говорит: «...Быть может, тебе невдомек, Сократ, что ты лишь чуточку меня упредил: я ведь еще раньше предполагал

подойти к тебе и спросить, что тебе от меня надо и чего ради ты меня не оставляешь в покое, преследуя меня на каждом шагу. Ведь и в самом деле я дивлюсь, какое у тебя ко мне дело, и с величайшей охотой получил бы ответ на этот вопрос» (*Платон. Алкивиад I. 104cd*).

В ходе дальнейшего разговора философ знакомит Алкивиада со своими взглядами. Завершается диалог на грустной ноте — Сократ замечает: «... Вижу силу нашего города — как бы он не одолел и тебя, и меня» (*Платон. Алкивиад I. 135e*). Здесь как бы пророческий намек на то, что и самому Сократу предстоит погибнуть от руки сограждан-афинян, да и Алкивиад от них немало претерпит.

Впрочем, в целом «Алкивиад I» — не из числа лучших сочинений Платона, особенными литературными достоинствами он не блещет. Совсем другое дело — гениальный «Пир», в котором Алкивиад тоже появляется, правда, только в финальной части. Эту замечательную сценку просто невозможно не привести.

В доме молодого талантливого драматурга Агафона — вечеринка по поводу его победы в конкурсе трагедий. Пришли его друзья и знакомые, в числе которых — Сократ, его ученик Федр, врач Эриксимах, драматург Аристофан и другие. Собравшиеся, чинно возлежа на ложах (лежать, а не сидеть при приеме пищи — таков был обычай античных греков), не злоупотребляют питием, предпочитая вместо этого заниматься вещами более интеллектуальными — состязаться в произнесении речей о любви. Выступили уже почти все участники, включая Сократа, и тут...

«Вдруг в наружную дверь застучали так громко, словно явилась целая ватага гуляк, и послышались звуки флейты... Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко кричал, спрашивая, где Агафон, и требуя, чтобы его провели к Агафону. Его провели к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его под руку, и другими его спутниками, и он, в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент на голове, остановился в дверях и сказал:

— Здравствуйте, друзья! Примете ли вы в компанию очень пьяного человека или нам уйти? Но прежде мы увенчаем Агафона, ведь ради этого мы и явились!.. Но скажите сразу, входить мне на таких условиях или лучше не надо? Будете вы пить со мной или нет?» (*Платон. Пир. 212c слл.*).

Итак, Алкивиад явился поздравить виновника торжества. Его, конечно, впускают, предоставляют место за столом. Но он, как видим, вполне в своем духе — уж кутить так кутить. Но при этом, как всегда, галантен в обращении, даже плохо держась на ногах. Впрочем, в любом случае вторжение явно нетрезвого, возбужденного

человека в мирный, спокойный круг пирующих, конечно, смотрится резко-контрастно. Тем более что, устроившись, он сразу же берет инициативу в свои руки и заявляет:

«— Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я. Итак, пусть Агафон велит принести чару побольше, если такая найдется» (*Платон. Пир. 213e*). Поведение незваного гостя выглядит несколько бесцеремонно, но ему никто не перечит. Алкивиад — видный и влиятельный в городе человек. Ему еще нет тридцати пяти, но он уже неоднократно занимал высшие государственные должности.

Заметив среди присутствующих Сократа, он вначале приходит в некоторое замешательство и восклицает:

«— О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты устроил мне засаду и здесь. Такая уж у тебя привычка — внезапно появляться там, где тебя никак не предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз?» (*Платон. Пир. 213bc*).

Чуть позже Алкивиад, разгоряченный вином, впадает в откровенность и рассказывает собравшимся историю своих взаимоотношений с Сократом. Приведем его рассказ, сделав в нем лишь небольшие сокращения. Цитата окажется довольно пространной, но, думается нам, это как раз тот случай, когда лучше не излагать эпизод своими словами, а оставить его в передаче одного из участников.

Алкивиад говорит о том, что, познакомившись с Сократом, он увидел огромные душевные сокровища этого человека и был искренне восхищен им. «...Я решил сделать вскорости все, чего Сократ ни потребует. Полагая, что он зарится на цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей: ведь благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услышать от него все, что он знает. Вот какого я был о своей красоте невероятного мнения. С такими-то мыслями я однажды и отпустил провожатого, без которого я до той поры не встречался с Сократом (речь идет о слуге-педагоге — такие приставлялись к афинским мальчикам из знатных и богатых семей. — *И. С.*), и остался с ним с глазу на глаз — скажу уж вам, так и быть, всю правду, поэтому будьте внимательны, а ты Сократ, если совру, поправь меня.

Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждал, что вот-вот он заговорит со мной так, как говорят без свидетелей влюбленные с теми, в кого они влюблены, и радовался заранее. Но ничего подобного не случилось: проведя со мной день в обычных беседах, он удалился. После этого я пригласил его поупражняться вместе в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего-то добиться. И, упраж-

няясь, он часто боролся со мной, когда никого поблизости не было. И что же? На том все и кончилось. Ничего таким путем не достигнув, я решил пойти на него приступом и не отступать от начатого, а узнать наконец, в чем тут дело. И вот я приглашаю его поужинать со мной — ну прямо как влюбленный, готовящий ловушку любимому. Хотя и эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов все-таки принял мое приглашение. Когда он явился в первый раз, то после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, тогда отпустил его. Залучив его к себе во второй раз, я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда он собрался уходить, я сослался на поздний час и заставил его остаться. Он лег на соседнее с моим ложе, на котором возлежал и во время обеда, и никто, кроме нас, в комнате этой не спал...

Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не слышали бы от меня, если бы, во-первых, вино не было, как говорится, правдиво... а во-вторых, если бы мне не казалось несправедливым замалчивать великолепный поступок Сократа...

Итак, друзья, когда светильник погас и слуги вышли, я решил не хитрить с ним больше и сказать о своих намерениях без обиняков.

— Ты спишь, Сократ? — спросил я, потормошив его.

— Нет еще, — отвечал он.

— Ты знаешь, что я задумал?

— Что же? — спросил он.

— Мне кажется, — отвечал я, — что ты единственный достойный меня поклонник, и, по-моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать тебе в этом: ведь я не отказал бы тебе, нуждайся ты в моем имуществе или в моих друзьях. Для меня нет ничего важнее, чем достичь как можно большего совершенства, а тут, я думаю, мне никто не сумеет помочь лучше тебя. Вот почему, откажи я такому человеку, я гораздо больше стыдился бы людей умных, чем стыдился бы глупой толпы, ему уступив.

На это он ответил с обычным своим лукавством:

— Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то, что ты сказал обо мне, — правда, и во мне действительно скрыта какая-то сила, которая способна сделать тебя благороднее, — т. е. если ты усмотрел во мне какую-то удивительную красоту, совершенно отличную от твоей миловидности. Так вот, если, увидев ее, ты стараешься вступить со мною в общение и обменять красоту на красоту, — значит, ты хочешь получить куда большую, чем я, выгоду, приобрести настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поистине выменять медь на золото. Но приглядишься ко мне получше, милейший,

чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще далеко.

На это я ответил ему:

— Ну что ж, я, во всяком случае, сказал то, что думал. А уж ты сам решай, как будет, по-твоему, лучше и мне и тебе.

— Вот это, — сказал он, — правильно. И впредь мы будем сначала советоваться, а потом уже поступать так, как нам покажется лучшим, — и в этом деле, и во всех остальных.

Обменявшись с ним такими речами, я вообразил, что мои слова ранили его не хуже стрел. Я встал и, не дав ему ничего сказать, накинул этот свой гиматий — дело было зимой, — лег под его потертый плащ и, обеими руками обняв этого поистине божественного, удивительного человека, пролежал так всю ночь. И на этот раз, Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, несмотря на все эти мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, презрительно посмеялся над ней. А я-то думал, что она хоть что-то да значит, судьи, — да, да, судьи Сократовой заносчивости, — ибо, клянусь вам всеми богами и богинями, — проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим братом.

В каком я был, по-вашему, после этого расположении духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой — восхищался характером, благоразумием и мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самообладанию я никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом (мифологический герой Аякс считался неуязвимым. — *И. С.*), а когда я пустил в ход то, на чем единственно надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян, он покори́л меня так, как никто никогда не покори́л» (*Платон. Пир. 217а слл.*).

* * *

Итак, Алкивиад был озадачен, ошеломлен тем, что Сократ в вышеописанной пикантной ситуации повел себя совершенно не так, как повел бы, наверное, любой другой афинянин: проявил полное самообладание и воздержность, не «позарился» на красоту юноши, предпочел, чтобы их общение оказалось чисто духовным... Возможно, какой-нибудь циник и сказал бы, что Сократ-де просто, видимо, не был способен ни на что, кроме разговоров. Однако подобная мысль, как

видим, Алкивиаду даже не приходит в голову, а между тем уж он-то знал «босоногого мудреца» очень хорошо.

Речь Алкивиада на пиру у Агафона, как ее передает Платон, знаменательна во многих отношениях. Молодой аристократ не только рассказывает, как он пытался соблазнить своего старшего друга, но и дает прекрасную, запоминающуюся характеристику Сократа как человека, приводит немало интереснейших черточек его личности, его жизни. Об этом самом как раз и нам настало самое время поговорить.

«АФИНСКИЙ СИЛЕН»

В необъятном мире древнегреческой мифологии имелись, помимо многих других, такие странные, причудливые порождения народной фантазии, как сатиры и силены. Эти существа получеловеческого, полужвериного облика, входившие в окружение Диониса — бога вина и веселья, — часто характеризуются в научной литературе как «демоны плодородия» («демоны» здесь — в значении «низшие божества языческой религии»). Это их качество выражалось в необычайно похотливом нраве: в мифах они постоянно преследуют нимф и вакханок.

О сатирах слышал, наверное, почти каждый, а вот силены меньше знакомы широкому читателю. Собственно, различия между ними минимальны. И те, и другие изображались в общем похоже. Голова и торс — человеческие (впрочем, на голове небольшие рожки), нижняя же часть тела — как у животного: покрытые густой шерстью ноги с копытами и лошадиный хвост. Черты лица довольно уродливы, но при этом забавны: курносый нос, толстые губы, глаза навывкате...

Если хотели все же отличать силенов от сатиров, то подчеркивали следующие особенности: сатиры изображались молодыми, а силены — пожилыми, соответственно, плешивыми. Сатиры охочи до женского пола, а силены больше склонны к выпивке, поэтому они часто изображены в обнимку с винным мехом. Впрочем, полной ясности и определенности в мифологии силенов не существовало. Согласно одной из версий, был только один силен (его так и звали — Силен), учитель Диониса, отец многочисленных сатиров. По другой же версии, силенов, как и сатиров, было много.

Неудивительно, что у самих античных авторов встречаются случаи путаницы между этими двумя видами мифологических персонажей. Так, то ли силеном, то ли сатиром считался Марсий, который дерзко вызвал на музыкальное состязание самого Аполлона, но потерпел поражение, и разгневанный бог предал его жестокой смерти. Иногда слова «силен» и «сатир» даже употреблялись как взаимозаменяемые синонимы.

Почему-то образы силенов и сатиров были очень любимы мастерами греческого искусства. Возможно, из-за присущего этим образам комизма. Изготавливались, например, полые внутри скульптурные изображения этих существ, которые открывались и служили своеобразными шкатулками для хранения драгоценностей, умащений или маленьких статуэток божеств.

Весь этот пояснительный экскурс в начале главы потребовался нам потому, что без него многим осталось бы непонятным то очень яркое и меткое сравнение (фактически — развернутая метафора), которое употребляет Алкивиад в «Пире», характеризую Сократа. Этот пассаж обязательно приводится во всех книгах о «босоногом мудреце» — столь многое он объясняет. Последуем же и мы общему примеру:

«Хвалить же, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем сравнений. Он, верно, подумает, что я хочу посмеяться над ним, но к сравнениям я намерен прибегать ради истины, а совсем не для смеха.

Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силену, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия. Что ты сходишь с силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не станешь оспаривать. А что ты похож на них и в остальном, об этом послушай. Скажи, ты дерзкий человек или нет? Если ты не ответишь утвердительно, у меня найдутся свидетели. Далее, разве ты не флейтист? Флейтист, и притом куда более достойный удивления, чем Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст, с помощью инструмента... Ты же ничем не отличаешься от Марсия, только достигаешь того же самого без всяких инструментов, одними речами... Слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены...

Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов (корибанты — жрецы экстатического культа богини Кибелы. — *И. С.*), а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось — нельзя больше жить так, как я живу...

Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего-де ему не известно и ни в чем он не смыслит. Не похож ли он этим на силену? Похож, и еще как! Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полное изваяние силену. А если его раскрыть, сколько рас судительности, дорогие сотрапезники, найдете вы у него внутри!..

Сократ и в поведении своей, и в речах настолько своеобразен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека,

хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнить его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами — и его самого, и его речи.

Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи его больше всего похожи на раскрывающихся силенов. В самом деле, если послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца сатира. На языке у него вечно какие-то выучные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства» (*Платон. Пир. 215а слл.*).

Как видим, не обходится здесь Алкивиад без упоминания о внешности Сократа. Об этой внешности уже вкратце говорилось в начале нашей книги. Напомним, философ был лысым, курносым, с глазами навывкате, с большим ртом и толстыми губами... И ведь действительно — силен силеном! Особенно это бросается в глаза, когда смотришь на его сохранившиеся античные скульптурные изображения.

Тут, правда, нужно учитывать, что все эти изображения — помертвые. Во времена Сократа еще не создавали статуй живых людей, какими бы знаменитыми они ни были. Только для победителей в Олимпийских играх делалось исключение, но Сократ к ним, понятно, не относился. К тому же подлинная слава пришла к нему позже — после выхода в свет произведений Платона, Ксенофонта и других его учеников. Вполне можно допустить, что скульпторы, создавая традиционный и ставший впоследствии столь узнаваемым образ «босоногого мудреца», опирались именно на описание его внешности в сократических сочинениях, в частности, на только что приведенные слова Алкивиада в «Пире». Иными словами, весьма вероятно, что они, встретив эту колоритную метафору «Сократ — силен», сознательно или бессознательно привносили в черты его лица нечто от силен.

С внешностью Сократа связан один в высшей степени интересный эпизод, который был описан его учеником Федоном в диалоге «Зопир», к сожалению, не сохранившемся (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 105*). Эта история в античности была хорошо известна, а до нас дошла в изложении Цицерона:

«Разве мы не читали, как Сократа охарактеризовал Зопир, физиогномик, претендовавший на то, что он может определять характер и нрав человека по его телосложению, по глазам, лицу, лбу? Этот Зопир определил Сократа как человека глупого и тупого, так как у него ключицы не были вогнуты, а эти части тела, как он говорил, являются помехой и препятствием для ума. Вдобавок он нашел в нем женолюбие, по поводу чего Алкивиад, говорят, разразился хохотом» (*Цицерон. О судьбе. 5. 10*).

Нужно пояснить, что уже в античности существовала физиогномика — «научная» дисциплина, представители которой (этакие предшественники Ломброзо) пытались по внешности человека что-то говорить о его характере. Упоминаемый здесь Зопир не был греком, он прибыл в Афины откуда-то с Востока — то ли из Персии, то ли из Сирии.

Эпизод с Зопиром тот же Цицерон в другом своем труде рассказывает, добавляя новые детали, причем весьма интересные. Будто бы физиогномик, исследовав внешность Сократа, обнаружил в нем многочисленные пороки; другие никаких подобных пороков в нем не знали и потому осмеивали Зопира, но сам философ с ним согласился и сказал, что, действительно, пороки были ему от рождения присущи, но он силой разума избавился от них (*Цицерон. Тускуланские беседы. IV. 80*).

Правда, в полной истинности этой последней истории позволено усомниться, тем более что в ней имеются расхождения с предыдущим рассказом. Однако как раз для подобных случаев хорошо подходит итальянская поговорка: *si non è vero, è ben trovato* — «если это и не правда, то хорошо придумано». Сократ здесь предстает человеком, который в буквальном смысле слова сделал себя сам — неустанной работой над собой. Судя по всему, таким он и был.

Возможно, именно к Зопиру следует относить и следующее сообщение источника: «По словам Аристотеля, некий маг, пришедший из Сирии в Афины, заранее предсказал Сократу в числе других бедствий и его насильственную смерть» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 45*).

* * *

Сократ, несомненно, слыл в Афинах большим чудачком. Многие его поступки не могли не удивлять сограждан. В одной из предыдущих глав упоминалось, как однажды на войне он целые сутки простоял на одном месте, погруженный в свои мысли. Это вообще было в его духе — встать и надолго задуматься, ни на что не обращая внимания.

Приведем еще один пример. Сократ идет на пир к Агафону, куда его пригласили. По дороге встречает своего ученика Аристодема и предлагает ему присоединиться, хоть того и не звали. А дальше произошло вот что (случай пересказывает сам Аристодем).

«Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, Сократ просил его идти вперед. Придя к дому Агафона, Аристодем застал дверь открытой... Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами:

— А, Аристодем, ты пришел кстати, как раз поужинаешь с нами... А Сократа что же ты не привел к нам?

— И я, — продолжал Аристодем, — обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом; пришлось объяснить, что сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня сюда ужинать.

— И отлично сделал, что пришел, — ответил хозяин, — но где же Сократ?

— Он только что вошел сюда следом за мною, я и сам не могу понять, куда он девался.

— Ну-ка, — сказал Агафон слуге, — поищи Сократа и приведи его сюда...

Раб тем временем вернулся и доложил: Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается.

— Что за вздор ты несешь, — сказал Агафон, — позови его по-настойчивей!

Но тут вмешался Аристодем.

— Не нужно, — сказал он, — оставьте его в покое. Такая уж у него привычка — отойдет куда-нибудь в сторону и станет там. Я думаю, он скоро явится, не надо только его трогать...

Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался послать за ним, но Аристодем этому противился. Наконец Сократ все-таки явился, как раз к середине ужина, промешкав, против обыкновения, не так уж долго» (*Платон. Пир. 174d слл.*).

Как видим, философу, в общем-то, было безразлично, что о нем подумают окружающие. Он был воистину самодостаточен. Выше уже кратко упоминалось о крайней простоте, скромности, даже неприязнительности всего его образа жизни. Когда он шел на пир к Агафону, то решил приодеться. Но что это для него означало? Платон специально отмечает — надо полагать, не без доброго юмора, — что в тот день Аристодем «встретил Сократа — умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился» (*Платон. Пир. 174a*).

Итак, применительно к Сократу «вырядиться» — это всего лишь обуться и умыться. Припоминается сразу, как Аристофан называл Сократа «грязным» — тот самый Аристофан, который, между прочим, мирно и дружески беседовал с философом на вечеринке у Агафона.

Сандалии — обычную для греков обувь — Сократ надевал, как видим, только по особым случаям, а обычно обходился без них. Это известно из многочисленных упоминаний у античных авторов. Например, у того же Платона Сократ и Федр, прогуливаясь за городом, выходят к речке Илиссу и решают пойти прямо по воде. Федр говорит Сократу: «Видно, кстати я сейчас босиком. А ты-то всегда так» (*Платон. Федр. 229а*).

У Ксенофонта софист Антифонт в споре с Сократом осуждающе заявляет: «Живешь ты... так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина: еда у тебя и питье самые скверные; гиматий ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой; ходишь ты всегда босой и без хитона» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 6. 2*).

Здесь нужно пояснить, что гиматий — самый распространенный в античной Греции вид верхней одежды. Он представлял собой прямоугольный плащ-накидку простейшего покроя, без рукавов, застегивался пряжкой под правой рукой. Летние гиматии изготавливались из льна, зимние — из шерсти, но у Сократа, как тут сказано, был только один. Гиматий обычно носили (во всяком случае, когда выходили из дому) поверх хитона — нижней одежды, подобия рубахи без рукавов или с короткими рукавами. Сократ же надевал гиматий прямо на голое тело.

Возможно, кому-то из читателей сразу припомнится Антисфен — ученик Сократа, демонстративно ходивший чуть ли не в лохмотьях. Но то, что у Антисфена порождалось своеобразной гордыней, у Сократа было вызвано, несомненно, совсем иным — его действительно имевшей место абсолютной неприхотливостью, полным равнодушием к внешним условиям существования. Вот как рассказывает об этом Алкивиад, упоминая свое совместное с Сократом участие в одном из военных походов:

«...Выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато когда всего бывало вдоволь, он один бывал способен всем насладиться... Точно так же и зимний холод — а зимы там жестокие — он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напя-

лив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними...» (*Платон. Пир.* 219е сл.).

Сочетанием выносливости и воздержности отличалось и отношение Сократа к употреблению вина. Тот же Алкивиад говорит о нем так: «...До выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным» (*Платон. Пир.* 220а). И в другом месте: «Он выпьет, сколько ему ни прикажешь, и не опьянеет ничуть» (*Платон. Пир.* 214а). А ранее по ходу той же пирушки, когда обсуждается вопрос — пить ли в этот вечер «вволю» или умеренно, — другой участник, Эриксиммах, замечает: «Сократ не в счет: он способен и пить и не пить, так что, как бы мы ни поступили, он будет доволен» (*Платон. Пир.* 176с).

И чем же, кстати, кончается пир у Агафона? После прихода Алкивиада все разговоры об умеренности были забыты. «Пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой» (*Платон. Пир.* 223b). Следующая картинка — уже рассветные часы:

«...Одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще только Агафон, Аристофан и Сократ, которые пьют из большой чаши, передавая ее по кругу слева направо, причем Сократ ведет с ними беседу... Суть же беседы... состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим. Оба по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну, и сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже совсем рассвело, Агафон.

Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел... Придя в Ликей (роща в пригороде Афин, где был гимнасий. — *И. С.*) и умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть» (*Платон. Пир.* 223с сл.).

Как видим, Сократ опять вполне в своем духе. Почти все уже совершенно пьяны, а он, хоть не отставал от других, как ни в чем не бывало ведет свои беседы. Причем, по обыкновению, говорит о каком-нибудь занятии (в данном случае — о сочинении театральных драм) со специалистами именно в этом занятии, да еще и побеждает их. А потом идет заниматься своими делами, словно и не пил всю ночь вино... Воистину, не приходится удивляться, что «босоногий мудрец» сплошь и рядом озадачивал своих сограждан. Уж очень он был не похож на других людей.



Ясно, что такой человек, как Сократ, вряд ли мог быть идеальным семьянином. Он обладал совершенно другими качествами и достоинствами, не в его духе было бы — отдавать всего себя семье, дому. Да и смотрел он на семейную жизнь с присущей ему иронией. Когда кто-то попросил у него совета, жениться или не жениться, философ ответил: «Делай, что хочешь, — все равно расквасишься». Характерно, что сам он, напомним, женился на скандально знаменитой Ксантиппе довольно поздно, даже по греческим меркам — когда ему было уже под пятьдесят. Обычно мужчины вступали в брак примерно в тридцатилетнем возрасте. Может быть, Сократ и вовсе не хотел жениться, но в конце концов, так сказать, сделал уступку общественному мнению. На закоренелых холостяков смотрели косо.

Обстановка в семье Сократа и Ксантиппы стала притчей во языцех — из-за постоянно происходивших между супругами ссор. Обычно вину за напряженные отношения возлагают на Ксантиппу. И не приходится сомневаться: характер у нее действительно был не сахар. Но, с другой стороны, и ее тоже можно понять: не только ее, но и любую другую женщину, какая бы ни была на ее месте, наверняка порой не могло бы не вывести из себя то качество мужа, которое учениками воспринималось как философская невозмутимость, но в глазах жены выглядело полным равнодушием, бесчувственностью и нежеланием что-либо делать для близких.

Приведем несколько семейных сцен между Сократом и Ксантиппой в изложении Диогена Лаэртского. Нельзя быть уверенными, что все эти эпизоды вполне достоверны. Наверняка имеются среди них и чистой воды анекдоты, досужие сплетни. В конце концов, кто мог знать, что философ и его супруга говорили друг другу наедине, без свидетелей? Тем не менее материал в своей совокупности довольно показателен и, надо думать, в целом верно передает характер отношений.

«Однажды он (Сократ. — И. С.) позвал к обеду богатых гостей, и Ксантиппе было стыдно за свой обед. “Не бойся, — сказал он, — если они люди порядочные, то останутся довольны, а если пустые, то нам до них дела нет”» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 34*). Сократ, как всегда, смотрит на вещи философски. Однако любая женщина, даже современная, подтвердит, что в описанной здесь ситуации она точно так же чувствовала бы себя неловко, как и Ксантиппа.

«Однажды Ксантиппа сперва разругала его, а потом окатила водой. “Так я и говорил, — промолвил он, — у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь”. Алкивиад твердил ему, что ругань Ксантиппы непе-

реносима; он ответил: “А я к ней привык, как к вечному скрипу колеса. Переносишь ведь ты гусиный гогот?” — “Но от гусей я получаю яйца и птенцов к столу”, — сказал Алкивиад. “А Ксантиппа рождает мне детей”, — отвечал Сократ. Однажды среди рынка она стала рвать на нем плащ; друзья советовали ему защищаться кулаками, но он ответил: “Зачем? чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! Так его, Ксантиппа!”?» Он говорил, что сварливая жена для него — то же, что норовистые кони для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко управляют с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 36–37).

Невозможно избавиться от ощущения, что порой, может быть, Сократу и не следовало бы быть столь уж невозмутимым и хладнокровным в общении с женой: это должно было только сильнее бесить ее. Ведь Ксантиппа, чувствуется, обладала горячим темпераментом. В то же время вряд ли правомерно представлять ее какой-то сущей мегерой и фурией: была она, судя по всему, самой обычной женщиной. Да, конечно, она не понимала своего мужа, да даже и не пыталась. Ну, а понимал ли он ее и пытался ли понять? Думается, ответ тоже будет отрицательным.

Некоторые высказывания Сократа о Ксантиппе могут даже показаться несколько циничными, — например, когда он сравнивает ее с гусями или конями или когда дает понять, что она нужна ему, в общем-то, только для рождения детей. Но здесь нужно учитывать, что в этих словах отразилась не оригинальная позиция философа, а общепринятая в классических Афинах точка зрения на женщин и брак. Выше уже говорилось о подчеркнуто патриархальном характере древнегреческого общества, о приниженном, затворническом положении «слабого пола»; приводились слова Демосфена о том, что «жен мы берем для того, чтобы иметь от них законных детей, а также для того, чтобы иметь в доме верного стража своего имущества». Не более того.

Женщина для греков — существо, принадлежащее скорее к миру Хаоса, чем к упорядоченному мужскому Космосу. Она — игрушка страстей и эмоций, которые решительно преобладают у нее над разумом, между тем как в норме, по мнению греков, все должно быть наоборот. Женщина в чем-то даже сродни дикому животному, которое нужно укрощать, приручать.

И это не метафора. Уже знакомый нам «образцовый хозяин» Исихомах, добрый знакомый Сократа, вспоминает, что его жена спустя некоторое время после замужества «привыкла ко мне и была ручной, так что можно было говорить с ней» (*Ксенофонт*. Домострой. 7. 10).

Обратим внимание на сам способ выражения, на лексику: ведь так обычно выражаются именно о животных. Не приходится сомневаться в том, что юная супруга Исхомаха, скорее всего, впервые в своей жизни оказавшаяся один на один с чужим, раньше неизвестным ей мужчиной, действительно первое время «дичилась». Точно так же вели себя и все ее сверстницы.

Несомненно, играл свою роль и такой фактор, как большая разница в возрасте между вступающими в брак. Тот же Исхомах говорит о своей жене: «Когда она пришла ко мне, ей не было еще и пятнадцати лет, а до этого она жила под строгим присмотром, чтобы возможно меньше видеть, меньше слышать, меньше говорить» (*Ксенофонт. Домострой. 7. 5*). И столь ранние браки для девушек были нормой.

А что касается мужчины, напомним, что самым подходящим временем для вступления в брак считалось достижение тридцатилетия. Понятно, что при таких условиях семья строилась на заведомо неравных основах. Муж был уже вполне взрослым, самостоятельным человеком, а жена — совсем юной, не имеющей еще ровно никакого жизненного опыта.

Что же касается Сократа и его супруги, разница в возрасте у них была даже больше, чем обычно, — лет тридцать. Ксантиппа родилась около 440 г. до н. э., плюс-минус несколько лет¹. Брак был заключен около 425–420 гг. до н. э. (точная дата неизвестна), и после этого она еще примерно двадцать лет оставалась в детородном возрасте.

Выходя за Сократа, Ксантиппа была молодой девушкой, вполне возможно, красивой (хотя, строго говоря, о ее внешности ровно ничего не сообщается в источниках) и уж, во всяком случае, из состоятельной семьи: наиболее вероятно, что ее отцом был известный музыкант Лампрокл², а музыканты в античной Греции никогда не бедствовали. Муж же ей достался пожилой, неказистый и очень небогатый. Наверняка она считала, что имеет основание рассчитывать на его любовь или, по меньшей мере, внимание. А вместо этого встречала, — во всяком случае, так ей должно было казаться — безразличие. Мало у какой женщины в подобных условиях не сформируется комплекс «Он мне всю жизнь загубил».

Но детей Ксантиппа рожала Сократу исправно. У них было три сына; возможно, имелись в семье и дочери, но мы о них ничего не знаем, поскольку, как уже упоминалось выше, древнегреческие авторы предпочитали вообще ничего не говорить о женщинах и девочках, если только это было возможно.

Старший сын Сократа и Ксантиппы — Лампрокл — появился на свет около 416 г. до н. э.³ и, судя по всему, получил имя в честь деда по материнской линии. У греков чрезвычайно часто было принято

называть родившихся детей в честь дедов. Правда, обычно первенцу давали имя в честь деда по отцу, а второму сыну — в честь деда по матери. В данном случае этот порядок был почему-то изменен. Почему? У ученых нет однозначного ответа. Ведь можно высказывать различные точки зрения, и все они будут чисто гадательными.

Например: экспансивная и настойчивая Ксантиппа добилась того, чтобы старшего сына назвали в честь ее отца, а Сократ не стал спорить, потому что эти вещи были для него совершенно не принципиальны. Или: Ксантиппа принесла в бедный дом Сократа, надо полагать, хорошее приданое, которое дал ей ее отец Лампрокл, и его следовало за это «морально вознаградить». Или, наконец: первый сын у Сократа и Ксантиппы родился еще до Лампрокла, он-то и получил имя деда по отцу (Софрониск), но этот мальчик умер в раннем детстве, поэтому о нем ничего не сообщается в источниках. Последний вариант представляется лично нам наиболее вероятным. Известно, насколько огромной была в античности (да и во всех обществах вплоть до XIX века) детская и младенческая смертность. Далеко не каждому ребенку, увидевшему свет, суждено было дожить до взрослых лет и даже до юности.

Если наше предположение верно, то первый сын, о котором идет речь, скончался к 410 г. до н. э., потому что приблизительно на этот год⁴ падает рождение второго из выживших сыновей Сократа и Ксантиппы, а его звали как раз Софрониском. Наконец, около 402 г. до н. э.⁵ — совсем незадолго до казни философа — родился третий, Менексен.

Приведем сведения источников о детях «босоногого мудреца». Таких сведений очень немного. В своей защитительной речи на суде, как ее передает Платон, Сократ в числе прочего говорит: «...Есть у меня и родные, есть и сыновья, о мужи афиняне, целых трое, один уже взрослый, а двое — младенцы» (*Платон. Апология Сократа. 34d*).

Тот же Платон, рассказывая о последнем дне философа, упоминает, что Ксантиппа, пришедшая к нему в тюрьму, сидела «с ребенком на руках» (*Платон. Федон. 60a*). Несомненно, речь идет о Менексене, младшем сыне. Наконец, уже перед самой казнью к Сократу «привели сыновей — у него было двое маленьких и один побольше» (*Платон. Федон. 116b*).

Впоследствии сыновья философа ровно ничем не прославились. Сократ, сетуя на то, что мудрые люди, такие, как Перикл, почему-то не смогли передать эту свою мудрость детям, и те выросли вполне заурядными личностями (*Платон. Протагор. 319e* сл.), вполне мог бы адресовать этот упрек и себе самому.

* * *

Сократ и Ксантиппа были очень разными людьми, непонимание ими друг друга было велико, и неудивительно, что семейная атмосфера в целом была далека от идеальной. Весьма характерный в данном отношении эпизод приводит Ксенофонт.

Лампрокл, старший сын философа, едва подрос, уже начал ссориться с матерью. Сократ, заметив это, решил провести с подростком воспитательную беседу. Вот что он ему говорил:

«Так кто же и от кого... получает бóльшие благодеяния, как не дети от родителей? Им, не бывшим прежде, родители дали бытие, дали им возможность увидеть столько прекрасного и сделали их причастными стольких благ... Как всем известно, мы и то еще принимаем в соображение, от каких женщин могут родиться у нас самые лучшие дети: с этими женщинами мы и вступаем в союз для рождения детей. При этом мужчина содержит женщину, которая будет в союзе с ним рожать детей, и для будущих детей заранее готовит все, что, по его мнению, пригодится им в жизни, и притом в возможно большем количестве. А женщина после зачатия не только носит это бремя с отягощением для себя и с опасностью для жизни, — уделяя ребенку пищу, которой сама питается, но и по окончании ношения, с большим страданием родив ребенка, кормит его и заботится о нем, хотя еще не видала от него никакого добра; и хотя ребенок не знает, от кого он получает добро, и не может выразить свои нужды, но она сама старается удовлетворить его желания, долгое время она кормит его, и днем и ночью неся труды и не зная, какую получит за это благодарность...

В ответ на это молодой человек сказал: — Хоть она и сделала все это и другое, во много раз большее, но, право, никто не мог бы вынести ее тяжелого характера.

Тогда Сократ сказал: — Что же, по-твоему, труднее выносить — лютость зверя или матери?

— Я думаю, — отвечал он, — матери, по крайней мере такой.

— Так разве она когда причинила тебе какую-нибудь боль — укусила тебя или лягнула, вроде того, как это многим случается испытывать от животных?» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 2. 3 слл.*).

Прервем пока цитирование и задумаемся: те аргументы, которые здесь приводит Сократ сыну в пользу необходимости уважать мать, не слишком ли они сухи, рассудочны и как-то даже тривиальны? Сказал ли он Лампроклу что-нибудь такое, чего тот раньше не знал? Хотелось бы встретить какие-то более теплые, душевные слова — причем не об абстрактной «матери», а о живой, конкретной Ксантиппе...

Как будто Сократ произносит все это лишь по обязанности: ведь нужно же воспитывать сына!

Но, может быть, потом ему все-таки удастся найти те самые нужные слова, идущие от сердца? Нет, разговор продолжается в подобном же духе:

«А ты... мало, думаешь, доставлял ей хлопот и криком и поступками, и днем и ночью, капризная с детства, мало горя во время болезни?.. А ты прекрасно понимаешь, что когда мать говорит тебе что-нибудь, то у нее нет на уме никакого зла, а, напротив, она желает тебе добра, как никому другому, и все-таки сердись на нее?.. Значит, хоть она желает тебе добра и во время твоей болезни прилагает все заботы, чтобы ты выздоровел и не нуждался ни в чем необходимом, хоть она, кроме того, усердно молит богов за тебя и исполняет обеты, ты все-таки говоришь, что у нее тяжелый характер? Я думаю, что если ты не можешь выносить такой матери, то не можешь выносить счастья... Если кто не почитает родителей, того оно (государство. — И. С.) подвергает наказанию и, как оказавшегося при испытании недостойным, не допускает к занятию государственных должностей, находя, что он не может с надлежащим благочестием приносить жертв, приносимых за государство, и вообще ничего не может делать хорошо и справедливо?.. Так вот, сынок, если ты благодарен, у богов проси прощения за непочтительность к матери, как бы они, сочтя тебя неблагодарным, не отказали тебе в своих благодеяниях, а людей остерегайся, как бы они, узнав о твоём невнимании к родителям, не стали все презирать тебя и как бы тебе не оказаться лишенным друзей. Ведь если люди сочтут тебя неблагодарным к родителям, то никто не будет рассчитывать на благодарность от тебя за свое добро» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. II. 2. 8 слл.*).

Все это очень похоже на резонерские нравоучения отца, педантичного до занудства, и вряд ли могло произвести серьезный педагогический эффект. Думается, не случайно Ксенофонт ничего не сообщает о том, что в конечном счете ответил Лампрокл на эту лекцию и изменились ли в лучшую сторону его отношения с матерью.

А самое главное — чисто внешний характер доводов. Сократ, рационалист до мозга костей, и с сыном беседует так, как будто это его сотоварищ по занятиям философией. Апеллирует исключительно к здравому смыслу, а нужно бы — к чувствам.

Обратим внимание еще на то, что, согласно процитированному здесь сократовскому разъяснению, любить и почитать мать нужно, в общем-то, не как самоцель, а как средство достижения каких-то иных целей. В частности, кто не чтит родителей, тот может потерять друзей. Отсюда подспудно прочитывается, что в иерархии ценно-

стей, признаваемой Сократом, друзья стоят на более высоком месте, чем семья.

...А Ксантиппа, несмотря на весь свой тяжелый характер, все-таки любила Сократа. Просто любила. Это становится предельно ясно, когда читаешь рассказ о последнем дне философа. Федон, один из его учеников, вспоминает, как он с несколькими друзьями пришел к Сократу в тюрьму — проститься с ним и побеседовать перед казнью.

«Войдя, мы увидели Сократа, которого только что расковали, рядом сидела Ксантиппа — ты ведь ее знаешь — с ребенком на руках.

Увидев нас, Ксантиппа заголосила, запричитала, по женской привычке, и промолвила так:

— Ох, Сократ, нынче в последний раз беседуешь ты с друзьями, а друзья — с тобою.

Тогда Сократ взглянул на Критона и сказал:

— Критон, пусть кто-нибудь уведет ее домой.

И люди Критона повели ее, а она кричала и била себя в грудь» (Платон. Федон. 60a).

Ксантиппа покидает мужа, чтобы никогда больше его не увидеть⁶. А он, растирая отекавшие от оков ноги, тут же начинает с присутствующими очередную философскую беседу... Тут-то и становится видно (если это и без того было кому-нибудь непонятно), кто был для Сократа истинной семьей: не домашние, а друзья и ученики. С ними он и проводит все время, оставшееся до казни. А жене он даже не сказал «прощай».

К чести Ксантиппы, она, понимая, что занимает в жизни супруга далеко не первое место, во время этой последней встречи смирилась и не роптала. Обратим внимание на ее слова. Женщина горюет не о том, что она сама больше не увидит мужа, а о том, что его друзья больше не побеседуют с ним! Такое поведение нельзя назвать иначе как самоотверженным.

ИСКУССТВО ДИАЛОГА

Развернутое сравнение Сократа с силеном, внутри которого — изваяния божеств, сделанное Алкивиадом и приведенное в предыдущей главе, имеет, помимо всех прочих, еще и вот какую сторону: разительное противоречие между формой и содержанием. Все, что известно об обычном житейском поведении «босоногого мудреца», вроде бы однозначно характеризует его как человека очень спокойного, невозмутимого, несколько медлительного, — в общем, можно сказать, флегматичного. В наше время людей, которые способны вдруг надолго задуматься, встав на одном месте, даже уничижительно называют «заторможенными».

Но куда девалась вся эта сократовская флегматичность, как только он вступал с кем-нибудь в беседу! Философ чудесным образом преображался. На смену хладнокровной сдержанности немедленно и внезапно приходила самая буйная игра мысли. Не случайно все, кто проходил «школу» общения с Сократом, бывали им зачарованы. Причем «зачарованы» — здесь не метафора, не гипербола; слово употреблено в самом прямом смысле.

Приведем, например, слова Менона — аристократа из Фессалии, самой северной древнегреческой области, приехавшего в Афины и познакомившегося с Сократом. Поговорив с философом некоторое время, Менон вдруг заявляет: «Я, Сократ, еще до встречи с тобой слышал, будто ты только то и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и зачаровал до того, что в голове у меня полная путаница. А еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое — я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать... Ты, я думаю, прав, что никуда не выезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину: если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедля схватили бы как колдуна» (*Платон. Менон. 79е слл.*).

Итак, Сократа уподобляют самому настоящему колдуну. Причем Менон в этом отнюдь не одинок. Алкивиад, которому довелось пообщаться с «босоногим мудрецом» значительно больше, говорил, в сущности, то же самое. Выше уже отчасти приводились его слова — о том, что Сократ завораживает людей своими речами, что у самого Алкивиада, когда он его слушает, бьется сердце, из глаз льются

слезы, а душа страстно желает начать новую жизнь. Далее красавец-аристократ продолжает:

«Да и сейчас я отлично знаю, что стоит лишь мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние... Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не заподозрил, — чувство стыда. Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений... Да, да, я пускаюсь от него наутек, удираю, а когда вижу его, мне совестно, потому что ведь я был с ним согласен. И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Вот какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей флейты этот сатир» (*Платон. Пир.* 216а сл.).

Здесь, как видим, появляется еще одно сравнение — с сиренами. С теми самыми мифическими полудевами-полуптицами, волшебное пение которых было столь дивным, что никто не мог слушать его равнодушно: мореходы невольно направляли свои корабли к острову сирен и погибали на прибрежных рифах.

Притом, как отмечает сам же Алкивиад (об этом тоже говорилось выше), с внешней стороны в речах Сократа, казалось бы, не было ничего особенного. Философ рассуждал о «вьючных ослах, кузнецах, сапожниках и дубильщиках» — и действительно, мы уже знаем, что он больше всего любил приводить примеры из области различных ремесел. И только тем, кто слушал его внимательно, со временем раскрывалась вся глубина его слов.

В чем же секрет этого сократовского «колдовства»? Прямо скажем, порой невозможно избавиться от ощущения, что «босоногий мудрец» обладал некоторыми экстрасенсорными способностями, что он в прямом смысле слова гипнотизировал собеседников своими неподвижными выпуклыми глазами... Так или не так — ныне, по прошествии двух с половиной тысяч лет, уже вряд ли кто-нибудь сможет ответственно судить. Во всяком случае, ясно, что психологом Сократ был непревзойденным, что он с ходу мог заглянуть в человеческую душу и находил особый подход к каждому, с кем вступал в диалог.

Именно в диалог. Пришло время подробнее поговорить об этой особенности изложения Сократом своих взглядов. Он ужасно не любил длинных, выпретенных речей и всегда, при первой же возможности, старался перевести разговор в привычное для себя русло во-

просов и ответов, в которых он был особенно силен, вынудить оппонента играть не по своим, а по его, Сократа, «правилам». Не всем это нравилось.

В диалоге Платона «Протагор» заглавный герой, знаменитый софист, разглагольствует долго и красиво. Сократ, выслушав, для виду соглашается и даже хвалит, а потом вставляет замечание — на первый взгляд, по мелочи, а в действительности оно сводит на нет всю похвалу:

«...Разве только одна мелочь мешает мне, но ясно, что Протагор и ее без труда разъяснит, после того как разъяснил уже столь многое. Правда, если кто начнет беседу об этом же самом предмете с кем-нибудь из тех, кто умеет говорить перед народом, он, пожалуй, услышит речи, достойные Перикла или любого другого из мастеров красноречия, но стоит ему обратиться к ним с вопросом, они, словно книги, бывают не в состоянии вслух ни ответить, ни сами спросить; а когда кто-нибудь переспросит хоть какую-то мелочь из того, что они сказали, они отзываются, словно медные сосуды, которые, если по ним ударить, издают долгий протяжный звук, пока кто-нибудь не ухватится за них руками. Вот так бывает и с ораторами: даже когда их спрашивают о мелочах, они растягивают свою речь, как долгий пробег. А вот Протагор хоть и умеет, само собой ясно, говорить длинные и прекрасные речи, однако умеет и кратко отвечать на вопросы, а задавая вопросы сам, выжидать и выслушивать ответ; это дано лишь немногим» (*Платон. Протагор. 328е слл.*).

Это, конечно, вызов. Но при этом выраженный в такой мягкой и даже как бы льстивой форме, что Протагор не может его не принять и какое-то время пытается вести разговор в сократовском духе. Однако время от времени сбивается-таки на прежние пространные декларации. В конце концов Сократ не выдерживает:

«— Протагор! Я, на беду, человек забывчивый и, когда со мною говорят пространно, забываю, о чем речь. Вот случись мне быть тугим на ухо, ты бы ведь счел нужным, собираясь со мною разговаривать, громче произносить слова, чем когда говоришь с другими, так и теперь, имея дело с человеком забывчивым — ты расчленил для меня ответы и делай их покороче, чтобы я мог за тобой следить.

— Но как же прикажешь мне отвечать тебе кратко? Короче, чем нужно?

— Никоим образом, — сказал я.

— Значит, так, как нужно?

— Да.

— А насколько кратко я буду тебе отвечать: насколько мне кажется нужным или насколько тебе?

— Я слышал, — сказал я, — что ты и сам умеешь и другого можешь научить говорить об одном и том же по желанию либо так длинно, что речи твоей нет конца, либо так коротко, что никто не превзойдет тебя в краткости. Если хочешь со мною беседовать, применяя второй способ — немногословие.

— Сократ! — сказал Протагор. — Я уже со многими людьми состязался в речах, но если бы я поступал так, как ты требуешь, и беседовал бы так, как мне прикажет противник, я никого не превзошел бы столь явно, и имени Протагора не было бы меж эллинами.

А я... решил, что это уж не мое дело присутствовать при его беседах, и сказал:

— Но ведь я и не настаиваю, Протагор, на том, чтобы наша беседа шла вопреки твоим правилам. Если бы ты захотел вести беседу так, чтобы и я мог за тобою следить, тогда я стал бы ее поддерживать... Однако ты не хочешь, а у меня есть кое-какие дела, и я не могу оставаться, пока ты растягиваешь свои длинные речи. Я должен отсюда уйти и уйду, хотя, пожалуй, не без удовольствия выслушал бы тебя.

С этими словами я встал, как бы уходя...» (*Платон. Протагор. 334с слл.*).

Сократ, таким образом, идет «ва-банк», практически шантажирует Протагора. Их к этому моменту уже окружает группа слушателей, которым интересно узнать, чем кончится спор между двумя знаменитыми философами. И вдруг он обрывается. Хозяин дома Каллий начинает просить Сократа остаться. Тот отвечает:

«...Если ты желаешь слушать меня и Протагора, проси его, чтобы он и теперь отвечал мне так же кратко и прямо на вопросы, как сначала. Если же он не хочет, что это будет за беседа? Я по крайней мере полагал, что взаимное общение в беседе — это одно, а публичное выступление — совсем другое.

— Но видишь ли, Сократ, — сказал Каллий, — кажется, Протагор прав, считая, что ему разрешается разговаривать, как он хочет, а тебе — как ты хочешь.

Тут вмешался Алкивиад:

— Нехорошо ты говоришь, Каллий: Сократ ведь признается, что не умеет вести длинные речи и уступает в этом Протагору, что же касается ведения беседы и умения задавать вопросы и отвечать на них, то я бы удивился, если бы он в этом хоть кому-нибудь уступил. Если бы и Протагор признал, что он слабее Сократа в умении вести беседу, Сократу этого было бы довольно. Но раз Протагор этого не признает, пусть он беседует, спрашивая и отвечая, а не произносит в ответ на каждый вопрос длиннейшую речь, отрекаясь от своих утверждений, не желая их обосновывать и так распространяясь,

что большинство слушателей забывает даже, в чем состоит вопрос. Впрочем, за Сократа я ручаюсь: он-то не забудет, это он шутя говорит, будто забывчив. Итак, мне кажется, Сократ прав: нужно, чтобы каждый показал, к чему он склонен» (*Платон. Протагор. 336а слл.*).

Таким образом, мнения присутствующих расходятся: одни оказываются на стороне Протагора, другие — на стороне Сократа. Затем слово берут Критий, Продик, Гиппий (со всеми ими мы уже знакомы) и убеждают спорщиков пойти на взаимные уступки друг другу, придерживаться некой «золотой середины»:

«Тебе, Сократ, не надо, если это неприятно Протагору, стремиться к такому виду беседы, который ограничен чрезмерной краткостью: отпусти и ослабь поводья речей, дабы они явились перед нами в великолепном и благообразном обличье. Протагору же в свою очередь не надо натягивать все канаты и пускаться с попутным ветром в открытое море слов, потеряв из виду землю», — говорит Гиппий (*Платон. Протагор. 338а*).

Сократ же предлагает следующий выход из ситуации: «...Вот как прошу вас сделать, чтобы наше общение и беседа состоялись, как вы этого желаете: если Протагор не хочет отвечать, пусть он спрашивает, а я буду отвечать и вместе с тем попытаюсь ему показать, как, по моему мнению, это следует делать. Когда же я отвечу на все вопросы, которые ему угодно будет задать, пусть он обещает мне отвечать подобным же образом. Если же он не расположен будет отвечать именно на заданный ему вопрос, тогда и я, и вы будем сообщать его просить (как вы просили меня) не портить беседы» (*Платон. Протагор. 338cd*).

Все соглашаются. Но, получается, упорный Сократ, в сущности, все-таки настоял на своем. Далее беседа идет в основном в диалогической форме. Правда, в какой-то момент, когда затрагиваются сентенции некоторых древних поэтов, Гиппий заявляет: «...Есть, однако, и у меня хорошо составленная речь на этот предмет, и я произнесу вам ее, если хотите». Однако «босоногий мудрец», который уже вполне владеет нитью разговора и направляет его, куда хочет, категорично парирует: «Я предоставляю Протагору выбрать, что ему приятнее. Если ему угодно, прекратим говорить о песнях и стихотворениях, а вот то, о чем я тебя, Протагор, вначале спрашивал, я с удовольствием довел бы до конца, обсуждая это вместе с тобой... Мы с тобою... (должны), отложивши поэтов в сторону, сами собственными нашими силами вести беседу друг с другом, проверяя истину, да и себя самих. Если ты хочешь продолжить вопросы, я готов тебе отвечать, а если хочешь, отвечай ты мне, чтобы закончить то, что мы прервали на середине...

Протагор, пристыженный, как мне показалось, словами... почти всех присутствующих, наконец согласился беседовать и велел, чтобы его спрашивали, а он будет отвечать» (*Платон. Протагор. 347b слл.*).

* * *

Но откуда столь всеобъемлющая страсть к диалогу? А вкупе с ней — постоянное стремление к вящей немногословности, доходящее, кажется, до отвращения к любой сколько-нибудь пространной речи? Попробуем указать на несколько факторов, которые могли здесь оказать влияние.

Сам Сократ — напомним, об этом сообщалось в одной из предыдущих глав — намекал, по словам Платона, что он научился ведению беседы путем вопросов и ответов у Парменида. Проверить, так ли это было на самом деле, впрочем, не представляется никакой возможности. Во всяком случае, свои философские произведения Парменид писал отнюдь не в форме диалогов, а в форме стихотворных трактатов.

Нельзя не отметить: ради того, чтобы воспринять диалогический метод, Сократу вовсе не обязательно было вступать в общение с Парменидом, гостем из далеких мест. Источник диалогизма был здесь же, буквально под рукой, в родных Афинах. И источником этим являлись театральные представления, в которых в V в. до н. э. диалоги занимали очень большое место. А Сократ, бесспорно, посещал театр, о чем тоже уже говорилось.

Афинский театр вырос из ритуальных хоровых песнопений в честь Диониса. Однако на определенном этапе его развития из общей массы хора выделились актеры. Вначале был введен один актер, через несколько десятилетий — второй, еще позже — третий... Дальше этого дело не пошло. Но и трех актеров было вполне достаточно, чтобы они могли по сюжету пьес вступать в диалог друг с другом и с хором.

Причем, что интересно, чрезвычайно часто диалоги в произведениях великих афинских драматургов представляют собой именно серии довольно кратких вопросов и ответов. Приведем несколько примеров, чтобы высказанный тезис не казался голословным:

*Атосса*¹: Пресловутые Афины, — други, где тот град стоит?

Предводитель хора: Госпожа, в стране далекой, — там, где
Гелия закат.

Атосса: И тем дальним градом сын мой вожделеет завладеть?

Предводитель хора: Может быть, и вся Эллада им уже покорена.

Атосса: Силы воинской довольно ль в той стране, иль
недохват?

Предводитель хора: Сила та довлела — много причинить
мидянам бед.

Атосса: Чем другим земля богата? Есть достаток в их домах?

Предводитель хора: Есть серебряная жила в тайниках
глубоких недр.

Атосса: Лук тугой их руки держат, тучей прыщут метких
стрел?

Предводитель хора: Нет, уступчивые копья — их оружие,
да щиты.

Атосса: Кто ж тех ратей предводитель, самодержный
властелин?

Предводитель хора: Подданства они не знают и не служат
никому.

Атосса: Но пришельцев грозных силу как же встретят
без вождя?

Предводитель хора: Много с Дарием к ним вторглось удальцов:
погибли все.

(*Эсхил. Персы. 232 слл.*)

Или:

Эдип: По твоему ль совету — да, иль нет —

Послал я за пророком многотчимым?

Креонт: И ныне тот же дал бы я совет.

Эдип: Скажи тогда: давно ли царь ваш Лаий...

Креонт: При чем тут Лаий? Не пойму вопроса.

Эдип: Сраженный пал таинственной рукой?

Креонт: Давно успел состариться тот век.

Эдип: А ваш пророк — он был тогда при деле?

Креонт: Был так же мудр и так же всеми чтим.

Эдип: Назвал мое он имя в ту годину?

Креонт: Не доводилось слышать мне его.

Эдип: Вы не старались обнаружить дело?

Креонт: Как не старались? Все напрасно было.

Эдип: А он, мудрец, зачем вам не помог?

Креонт: Не знаю; и в неведение молчу.

(*Софокл. Царь Эдип. 555 слл.*)

Или:

Пенфей: Скажи, почтеннейший, откуда родом?

Дионис: Без пышных слов тебе отвечу я.

Ты, может быть, слышал про Тмол цветущий?

Пенфей: Что город Сарды охватил кольцом?

Дионис: Оттуда я Мне Лидия — отчизна.

Пенфей: А эти таинства, откуда ты их взял?

Дионис: Сам Дионис, сын Зевса, посвятил нас².

Пенфей: Что ж новых Зевс богов вам народил?

Дионис: Он здесь с Семелой сочелся браком.

Пенфей: Тебе внушал во сне иль наяву?

Дионис: Лицом к лицу, — и оргии преподавал.

Пенфей: В каком же роде оргии, скажи?

Дионис: Нет, для непосвященных это тайна.

Пенфей: А польза в чем поклонникам от них?

Дионис: Узнать тебе нельзя, а интересно.

(*Еврипид. Вакханки. 460 слл.*)

Мы специально подобрали отрывки из трагедий, во-первых, совершенно различных по тематике, во-вторых, отделенных друг от друга целыми десятилетиями («Персы» Эсхила были написаны в 470-х гг. до н. э., «Царь Эдип» Софокла — на рубеже 430–420-х, «Вакханки» Еврипида — в 400-е), чтобы показать, что этот способ выразительности — через диалог, через череду вопросов и ответов — был никогда не чужд аттической драме, всегда ей в высшей степени свойствен. Что же касается комедии, то и о ней можно сказать ровно то же самое. В начале книги мы приводили довольно большие отрывки из «Облаков» Аристофана, которыми и ограничимся, поскольку уже из них это можно увидеть.

Так не по стопам ли драматургов шел Сократ? Такое предположение столь же парадоксально, сколь — если вдуматься — естественно. Почему бы не мог подражать театральным пьесам человек, который был довольно-таки близок к миру театра, да к тому же находился в особых отношениях с богом, который театру покровительствовал, — с Дионисом.

Возьмем тот же неоднократно упоминавшийся и цитировавшийся платоновский «Пир». В его начале, как только Сократ приходит на вечеринку к Агафону — драматургу, автору трагедий, — тот говорит: «Немного погодя, взяв в судьи Диониса, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрее» (*Платон. Пир. 175е*). Между прочим, очень богатая метафора! С одной стороны, под «судом Диониса», естественно, подразумевается грядущая попойка (ведь Дионис — бог вина). Но, с другой стороны, поскольку произносит эту реплику драматург, вырисовывается явная аллюзия и на другую «ипостась» Диониса — бога театра, театрального судьи.

Есть мнение, что процитированные слова — реминисценция эпизода из «Лягушек» Аристофана, где Дионис судит Эсхила и Еврипи-

да³. Однако почему следует вести речь именно о «Лягушках», а не о какой-нибудь другой комедии? Например, о получившей широкую известность пьесе комедиографа Кратина «Дионисалександр», поставленной около 430 г. до н. э.? В последней Дионис тоже выведен в роли арбитра: он переоделся Парисом и судит знаменитый спор богинь о красоте.

Этот вариант, пожалуй, хронологически выглядел бы правдоподобнее⁴. «Лягушки» были написаны в 405 г. до н. э., а события, изображаемые в «Пире» Платона, имели место в 416 г. до н. э. Даже если допустить, что сюжетная канва диалога была от начала до конца выдумана Платоном (но это крайне маловероятно: ведь, во всяком случае, сам победный пир Агафона отнюдь не фиктивен, а вполне реален), зачем бы автору было идти на заведомый анахронизм? В принципе, нам представляется, что в данном случае уместнее говорить не о прямой реминисценции из какого-то конкретного произведения, а скорее об отражении некоего общего архетипического мотива «Дионис-судья». Сам же этот мотив, вероятно, был порожден представлением о Дионисе как незримом божественном судьбе состязаний драматургов на афинском театре.

Так вот, начинается пирушка с того, что Сократу предлагают предстать перед судом Диониса, а чем она заканчивается? Напомним: когда большинство гостей уже заснули, «босоногий мудрец» разъясняет драматургам Агафону и Аристофану, тоже уже полупьяным, что человек, хорошо сочиняющий трагедии, с необходимостью будет хорошо сочинять и комедии (хотя вообще-то в Афинах такое не практиковалось). Ну разве же после этого он не знаток театра — он, оказывающийся даже лучше в нем сведущим, чем авторы, всю жизнь писавшие для театра? Воистину, в этой последней сцене «Пира» он сам предстает каким-то Дионисом, мудрым судьей...

А в промежутке между двумя упомянутыми эпизодами, как известно, приходит Алкивиад и произносит свою речь о Сократе, целиком построенную на сравнении его с сатирами и силенами — этими мохноногими спутниками Диониса. Дионисийская, театральная тема, таким образом, постоянно подспудно присутствует в «Пире» — а не это ли произведение дает всего больше уникального материала о личности Сократа? Помнится, мы и цитировали его чаще, чем какой-либо другой источник.

Укажем в связи со сказанным на еще один интересный нюанс. Все хорошо знают о двух основных жанрах классического афинского театра — серьезной, глубокомысленной комедии, где сюжеты брались, как правило, из мифов, и веселой, разухабистой комедии, где фабулы пьес придумывали сами авторы. Но лишь специалистам

известно, что был и третий жанр — средний, промежуточный между этими двумя. Он назывался сатировой драмой (или сатировской драмой) и характеризовался следующими особенностями: с одной стороны, писались эти драмы на мифологические сюжеты (как трагедии), с другой — были не слишком-то серьезными, в них преобладали мотивы юмористические (как в комедиях).

В отличие от трагедии и комедии, о сатировой драме как жанре известно мало (полностью сохранился только один образчик, да еще несколько — фрагментарно). Однако с уверенностью можно утверждать, что во всех произведениях этого рода обязательно присутствовал хор сатиров и силенов (отсюда, собственно, и название). Мотив «Сократ — сатир», взятый теперь в этом, театральном контексте, получает новые обертоны, о которых с первого взгляда, без приведенных здесь намеков-соответствий, невозможно было и догадаться. Лишний повод восхищенно удивиться, насколько все-таки многоплановая, «много-слойная» вещь — этот гениальный платоновский «Пир»...

Поневоле задумаешься: а уж не сатирову ли драму имел в виду «сатир» Сократ, когда внушал Агафону и Аристофану мысль о глубинной близости трагедии и комедии?

Правда, вот еще о чем можно призадуматься, в порядке сомнения. Не случайно, что Дионис был в одном лице и богом театра, и богом вина. «Вино поэзии» — эта метафора, встречающаяся в литературе самых разных эпох и народов, была глубоко понятна и древнегреческой театральной аудитории. Что общего с этим у Сократа, человека, который, как мы видели, всегда оставался демонстративно трезвым — даже выпив?

Однако и среди афинских драматургов не было к этому единого подхода. Так, Эсхил, по некоторым сведениям, сочинял трагедии, находясь в состоянии опьянения; а вот Софокл, напротив, порицал его за это, а сам никогда так не поступал (*Афиней*. Пир мудрецов. X. 428f). И действительно, если вчитаться, драмы Софокла во всех отношениях куда более «трезвы», чем буйные творения Эсхила...

* * *

Остановимся еще на одном источнике пристрастия Сократа к обмену немногословными репликами. Немногословием, как известно, отличались спартанцы, и это настолько стало «притчей во языцех», что даже породило сами термины «лаконизм», «лаконичный». Лаконика — древнегреческая область, центром которой являлась Спарта, «лаконец» — синоним «спартанца».

Можно было бы привести море примеров спартанской краткости, но мы ограничимся одним. В Спарту прибыли послы с острова

Самоса. Они «явились к архонтам (здесь имеются в виду спартанские власти. — И. С.) и в длинной речи настоятельно просили о помощи. Архонты же дали на этом первом приеме ответ: они забыли начало речи и поэтому не понимают конца ее. После этого, явившись вторично, самосцы ничего не сказали, но принесли с собой только хлебную суму со словами: «Сума просит хлеба». Архонты же отвечали, что самосцы слишком перестарались с сумой. Впрочем, они все же решили помочь самосцам» (*Геродот. История. III. 46*).

Почему мы привели именно этот пример? Да потому, что он приходит в разительное соответствие с цитированными выше словами Сократа — когда он просит Протагора говорить короче, а то, дескать, он забудет, о чем шла речь. Совпадение столь полное, что оно вряд ли может быть случайным. Скорее всего, здесь можно говорить о совершенно сознательной аллюзии Платона (а может быть, и самого Сократа) на этот пассаж Геродота о любви спартанцев к краткости. Разговор Сократа и Протагора происходил в 432 г. до н. э.; «История» Геродота к тому моменту еще не была издана в окончательном варианте³, однако автор уже зачитывал перед публикой обширные отрывки из нее, в том числе и в Афинах.

Отношение Сократа к Спарте — отдельная большая тема. О ее политическом аспекте еще будет сказано ниже, когда придет время коснуться политических взглядов «босоногого мудреца». А пока отметим просто, что философ испытывал к спартанцам и их образу жизни самую теплую симпатию. Приведем хотя бы следующее его суждение из того же платоновского «Протагора»:

«Раньше и больше всего философия у эллинов была распространена на Крите и в Лакедемонии, и самое большое на Земле число софистов было там же; но критяне и лаконцы... отрицают это и делают вид, будто они невежественны, чтобы не обнаружилось, что они превосходят мудростью всех эллинов; они хотят, чтобы их считали самыми лучшими воинами и мужественными людьми, думая, что, если узнают, в чем именно их превосходство, все станут упражняться в том же, т. е. в мудрости. Теперь же, скрывши настоящее, они обманули тех, кто подражает лаконцам в других государствах... усердствуя в гимнастике и нося короткие плащи, как будто именно благодаря этому лаконцы властвуют над эллинами... Они, как и критяне, не позволяют своим юношам отправляться в другие земли, чтобы те не разучились тому, чему они учат их сами. И в этих двух государствах не только мужчины гордятся воспитанием, но и женщины.

А что я говорю правду и лаконцы действительно отлично воспитаны в философии и искусстве слова, это вы можете узнать вот из чего: если бы кто захотел сблизиться с самым никчемным

из лаконцев, то на первый взгляд нашел бы его довольно слабым в речах; но вдруг, в любом месте речи, метнет он, словно могучий стрелок, какое-нибудь точное изречение, краткое и сжатое, и собеседник кажется перед ним малым ребенком. Вот поэтому-то кое-кто из нынешних, да и из древних догадались, что подражать лаконцам — это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения; они поняли, что уметь произносить такие изречения свойственно человеку в совершенстве образованному» (*Платон. Протагор. 342а слл.*).

Разумеется, и в этих словах, как и почти всегда, сквозит знаменитая сократовская ирония, и, по обыкновению, трудно понять, что здесь следует воспринимать как шутку, а что — всерьез. Впрочем, у Сократа больше, чем у кого бы то ни было, в каждой шутке есть доля истины.

Во всяком случае, высказанная в процитированном месте мысль глубоко парадоксальна. Все знали, что в военном и политическом отношении Спарта — самое сильное государство Греции. Жесткое, иерархическое, закрытое, славившееся культом дисциплины.

Для многих греков спартанское государственное устройство и в целом спартанские порядки стали предметом настоящего обожания. Немало было людей, которые искренне считали Спарту образцовым полисом, достигшим наибольших успехов в государственном строительстве и сумевшим поэтому избежать междоусобных смут. Такое отношение в современной науке называют «спартанским миражом».

Интересно, однако, что на практике другие греческие государства отнюдь не спешили заимствовать те или иные элементы полисного устройства спартанцев, принятых у них нравов и обычаев. «Что удивительнее всего, ведь все хвалят эти порядки, а подражать им не хочет ни один полис», — пишет ученик Сократа Ксенофонт, сам горячий поклонник Спарты (*Ксенофонт. Лакедемонская политика. 10. 8*).

Итак, все бы согласились с тем, что спартанцы — первые на полях сражений. Но не более того! Никому бы и в голову не пришло считать спартанцев образованными, культурно развитыми людьми, — разбигающимися, скажем, в той же философии. Напротив, они имели общую репутацию могучих, но довольно грубых и невежественных воинов.

А вот Сократ заявляет, что, напротив, спартанцы-то и есть истинные философы и мудрецы, и именно поэтому, а не из-за воинских качеств они первенствуют в Элладе. А в качестве доказательства приводит ту самую краткость их изречений. И не скрывает того, что хочет им подражать.

Подражал он им, судя по всему, не только в этом. Мы выше уже упоминали о максимально простом и непритязательном стиле жизни Сократа. И подчеркивали, что философ жил так не только (наверное, даже не столько) из-за ограниченности материальных средств, но и по принципиальным соображениям. Он не любил роскошь, был равнодушен к ней.

А теперь самое время сказать, что спартанцы славились по всей Элладе также нарочитой непритязательностью своего жизненного обихода, даже, можно сказать, демонстративной неряшливостью. Они нисколько не смущались, скажем, ходить в сильно поношенных, дырявых плащах. Так уж их воспитывали. И, кто симпатизировал спартанцам, тот пытался в той или иной мере копировать и эту особенность их поведения.

В среде афинской элиты V в. до н.э. вообще конкурировали между собой два стиля жизни, ориентированных соответственно на персидскую роскошь и на спартанскую простоту. Эти стили обозначались терминами «мидизм» (Персидскую державу греки чаще называли Мидией) и «лаконизм»; они во многом согласовывались с политической линией того или иного гражданина.

Так, например, известно, что в связи со знаменитым Аристидом Справедливым в источниках постоянно отмечается его бедность, можно сказать, «благородная нищета»⁶. У античных авторов мы читаем о том, как Аристид, постоянно нуждающийся, при этом решительно отказывается от вспомоществования со стороны богатых родственников, о том, как его дочери после смерти отца оказываются бесприданницами и государство из уважения к его заслугам субсидирует их вступление в брак...

Несомненно, Аристид действительно не принадлежал к кругу самых богатых афинян. Но видеть в нем бедняка тоже нет никаких оснований. Он, в частности, занимал пост архонта-эпонима, а в его время доступ к этой должности был открыт только состоятельным людям. Да и в целом вращаться в высших эшелонах власти, принадлежать к самой верхушке политической элиты, к первым лицам государства (а именно такое положение в течение длительного времени занимал Аристид) бедняку было никак невозможно.

Одним словом, Аристид, скорее всего, принадлежал по размеру своего состояния к отнюдь не бедным людям. Что же касается его образа жизни, скромного и умеренного, то здесь перед нами не столько знак бедности в собственном смысле слова, сколько сознательная линия поведения, намеренный отказ от любой роскоши. Весьма вероятно, что Аристид воспроизводил на афинской почве именно простоту быта спартанцев; сообщается, что «среди государ-

ственных деятелей он более всего восхищался лакедемонянином Ликургом (легендарным спартанским законодателем. — *И. С.*) и стремился ему подражать» (*Плутарх*. Аристид. 2).

Напомним теперь о том, что между семьями Аристиды и Сократа на протяжении нескольких поколений сохранялась наследственная дружба. А это, помимо прочего, не может не свидетельствовать об определенной общности мировоззрения. Сократ избрал для себя вполне «спартанский» жизненный стиль, причем довел его до логического предела. Идти по этому пути еще дальше — это означало бы уже стать Антисфеном, который делал нищету предметом гордыни (как известно, от великого до смешного — один шаг). Такое для Сократа было, конечно, неприемлемо, поскольку никак не походило на суровую искренность граждан Спарты.

И все-таки была одна вещь, из-за которой спартанцы никогда не признали бы Сократа вполне «своим». Они говорили не только кратко, но к тому же еще и мало, редко. Сократа же его недоброжелатели, пожалуй, могли бы назвать самым болтливым человеком в Афинах. Он подходил к людям, даже малознакомым, где угодно — на улице, в лавке, в палестре, и начинал свой разговор — сперва вроде бы незамысловатый, но потом оказывавшийся таким, что из-за него порой даже совершенно менялась вся жизнь собеседника.

Именно так получилось, например, с Ксенофонтом. «Говорят, Сократ повстречал его в узком переулке, загородил ему посохом дорогу и спросил, где можно купить такую-то и такую-то снедь? Получив ответ, он продолжал: “А где можно человеку стать прекрасным и добрым?” И когда Ксенофонт не смог ответить, Сократ сказал: “Тогда ступай за мною и узнаешь”. С этих пор он стал слушателем Сократа...» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 48).

А разве не так же было и с самим великим Платоном? Тот хотел было избрать театральную стезю и уже написал трагедию. «Но потом... он услышал перед Дионисовым театром беседу Сократа и сжег свои стихи с такими словами:

Бог огня, поспеши: ты надобен нынче Платону!

И с этих пор (а было ему двадцать лет) стал он неизменным слушателем Сократа» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. III. 6). Между прочим, характернейший факт: опять, уже не в первый раз оказываются связанными друг с другом тема Сократа и тема театра...

Но, конечно, далеко не на всех беседы Сократа производили такой же эффект. Случались и противоположные результаты: вполне понятно, что среди афинян было более чем достаточно людей, которых настойчивые расспросы о каких-то странных вещах могли только привести в раздражение.

Анит, богатый владелец ремесленной мастерской и видный политик, был на рубеже V–IV вв. до н. э. одним из влиятельнейших афинских граждан, фактически вторым лицом в государстве. Так вот, он, послушав Сократовых вопросов и мнений, в конце концов гневно восклицает: «По-моему, слишком легко поносишь ты людей, Сократ. Если хочешь меня послушаться, я бы советовал тебе поостеречься. Может быть, в другом городе тоже легче делать людям зло, чем добро, а здесь и подавно. Впрочем, я думаю, ты и сам это знаешь» (*Платон. Менон. 94е — 95а*).

Пройдет немного времени — и Анит добьется суда над Сократом, запустит тот «спусковой механизм», который приведет к гибели философа...

* * *

Как разворачивается, как проходит типичная сократовская беседа? Считается, — и, насколько можно судить, справедливо, — что наилучшее понятие об этом дают диалоги Платона, правда, не все, а ранние, сократического периода. В них собеседниками «босоногого мудреца» выступают самые разные люди — софисты, полководцы, прорицатели, поэты, юноши, знатные чужеземцы... Но разговор по большей части идет по одной и той же схеме.

Вначале Сократ предлагает обсудить какой-нибудь вопрос, который с виду кажется несложным. Например, дать определение тому или иному качеству. Собеседник откликается и дает определение — такое, какое кажется наиболее резонным с точки зрения обычного житейского здравого смысла. Но Сократ с помощью серии кратких, метких вопросов заставляет собеседника самого прийти к мысли о неверности этого определения. Предлагается ряд новых определений той же вещи — но у каждого оказываются свои недостатки.

Так какое же определение все-таки будет верным? А вот на это подчас ответа не дается. Многие сократические диалоги Платона имеют открытую концовку, оставляют проблему нерешенной. Правда, у Ксенофонта не так: у него Сократ на всякий случай жизни имеет готовое предписание. Но Ксенофонт, думается, творил такого Сократа, какой был ближе и понятнее ему самому — человеку прямому, без особых интеллектуальных изысков. Картина, представляемая Платоном, явно ближе к истине. Потому-то и слыл Сократ возмути-

телем спокойствия, что он ставил вопросы, показывал всю их сложность, а потом оставлял собеседников с этими вопросами — думайте, думать, сами.

Проиллюстрируем сказанное примерами из нескольких конкретных диалогов. С фессалийцем Меноном Сократ разбирает вопрос о том, можно ли научиться добродетели. Но для этого, естественно, вначале нужно понять, что такое сама добродетель.

Сперва Сократ и Менон выясняют, что нет особой добродетели для мужчин и для женщин, для детей и для стариков, для свободных и для рабов. Добродетель — это некая единая сущность. Это — не способность повелевать людьми; это и не справедливость, поскольку справедливость — лишь один из видов добродетели. Неверно и определение добродетели как желания хорошего и способности его творить: ведь творящие зло тоже могут думать, что творят добро. Под тем же добром можно понимать и такие вещи, как приобретение денег, славы и т. п., а какое отношение все это имеет к справедливости? В общем, возникает какое-то уравнивание со многими неизвестными.

Именно на этом этапе, — так сказать, на «низшей точке» рассуждения, когда оно, кажется, заходит в тупик, — Менон и прибегает к цитированному выше сравнению Сократа с колдуном и с электрическим скотом, а потом растерянно произносит: «Но каким же образом, Сократ, ты будешь искать вещь, не зная даже, что она такое? Какую из неизвестных тебе вещей выберешь ты предметом исследования? Или если ты в лучшем случае даже натолкнешься на нее, откуда ты узнаешь, что она именно то, чего ты не знал?» (*Платон. Менон. 80d*).

Но вот тут-то под водительством Сократа и начинается постепенный выход из тупика. Философ вводит знаменитый принципиальный тезис: любое знание есть припоминание души о том, что она видела до своей земной жизни. Именно поэтому-то метод вопросов и ответов — самый лучший путь исследования: он способствует тому, что забытое душой восстанавливается в памяти. Тут же Сократ иллюстрирует это положение примером: подзывает мальчика-раба, естественно, никогда не получавшего никакого образования, тем более математического, и с помощью умело поставленных наводящих вопросов добивается того, что мальчик самостоятельно дает доказательство геометрической теоремы: если взять два квадрата, площадь одного из которых вдвое больше площади другого, то длина стороны большего квадрата будет равна длине диагонали меньшего. Откуда раб взял это знание, ведь его же этому никто не учил? Получается, оно хранилось в его душе еще до рождения.

Сократ делает вывод: добродетель есть знание, и, стало быть, ей можно научиться. Вопрос решен, тема закрыта? Отнюдь нет, на-

чинаются различные оговорки. Врачебному делу можно научиться у врачей, сапожному — у сапожников, но кто научит добродетели? Софисты, которые именно на это претендуют? Нет, они чаще только развращают своих учеников. Видные, прославленные в государстве люди, такие, как Фемистокл, Аристид, Перикл? Опять же нет: они, хоть сами и отличались добродетелью, но даже своим детям не смогли ее передать.

Добродетель как чистое знание труднодостижима, и добродетельные люди в большинстве своем добродетельны не из-за знания, а из-за «правильного мнения» (*Платон. Менон. 97b*), т. е., по сути дела, интуитивно. Те же крупные политики, «движимые и одержимые богом, своим словом совершают много великих дел, хотя и сами не ведают, что говорят» (*Платон. Менон. 99d*).

Сократ завершает беседу словами: «...Если нам достается добродетель, то достается она по божественному уделу, а узнаем мы это как следует тогда, когда, прежде чем искать, каким образом достается человеку добродетель, мы попробуем выяснить, что такое добродетель сама по себе. Теперь мне пора идти...» (*Платон. Менон. 100b*). Диалог вернулся фактически к той точке, из которой он вышел, а Сократ удаляется... И так всегда: по ходу разговора — настоящего «интеллектуального детектива» — высказано множество интереснейших идей, а вопрос так и не решен, «босоногий мудрец» как будто бы чего-то недоговаривает.

С Лисидом, подростком лет тринадцати, Сократ беседует о том, что такое любовь и дружба. Вначале появляется такое определение: это — стремление сделать человека счастливым, исполнять его желания. Но такая мысль легко опровергается философом (*Платон. Лисид. 207d* сл.): отец Лисида, безусловно, любит сына, но позволит ли он ему покататься на своей колеснице, если у того возникнет подобное желание? Конечно нет, потому что это для мальчика опасно.

Стало быть, исполнять нужно только те желания, которые являются разумными и полезными. Кроме того, любовь и дружба обязательно предполагают взаимность. Но и этого мало: следует говорить даже не о взаимности, а о подобии. Точнее, друзья, будучи изначально неподобными, должны стремиться к взаимному подобию, причем к подобию в добродетели.

Далее, однако, оказывается, что и эта мысль влечет за собой новые существенные трудности. А потом... беседа обрывается: Лисида уводит пришедший за ним воспитатель. Сократ говорит:

«— Вот видите, Лисид и Менексен (друг Лисида. — *И. С.*), я, старик, вместе с вами оказался в смешном положении. Ведь все, кто уходит отсюда, скажут, что мы, считая себя друзьями — я и себя отношу

к вашим друзьям, — оказались не в состоянии выяснить, что же это такое — друг» (*Платон. Лисид. 223b*). Опять проблема не решена, опять что-то недоговорено, и вновь как будто сам поиск оказался важнее, чем результат этого поиска.

Сократ — ему уже предъявлено обвинение — является на одно из предсудебных заседаний у архонта и встречает прорицателя Евтифрона. Тот пришел подать иск на собственного отца, который замучил до смерти батрака. Подобный поступок и в наше-то время выглядит несколько сомнительно (доносить на отца — это нечто в духе Павлика Морозова), а уж в классических Афинах и вовсе смотрелся дико. Тем не менее Евтифрон убежден, что поступает благочестиво.

Соответственно, о благочестии и заходит разговор у Евтифрона с Сократом. Что это такое? По общепринятому мнению, разделяемому, естественно, и прорицателем, благочестие — это то, что угодно богам. Сократ легко это опровергает: богов много, одним угодно одно, а другим другое, так что же благочестиво? Вероятно, благочестивое должно быть, как минимум, справедливым? Можно ли сказать, что благочестие — это справедливость? Данный вопрос тоже рассматривается в диалоге, но однозначного решения опять же не находит. Тождества не получается: все благочестивое, несомненно, справедливо, но не все справедливое есть обязательно благочестивое. Спор идет еще некоторое время, а чем кончается? В уже привычном для нас духе.

Сократ: «Значит, либо мы недавно пришли к неправильному решению, либо если тогда мы решили правильно, то сейчас мы не правы».

Евтифрон: «Да, похоже».

Сократ: «Следовательно, надо нам с самого начала пересмотреть, что такое благочестивое... Скажи же, любезнейший Евтифрон, что ты об этом думаешь, не таясь».

Евтифрон: «В другой раз, Сократ. Сейчас же я тороплюсь в одно место, и мне надо уходить».

Сократ: «Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом...» (*Платон. Евтифрон. 15с сл.*).

Впору и читателю раздосадоваться вместе с Сократом: да что ж это такое, ни одно рассуждение не заканчивается выводом! Все время вмешиваются злополучные случайности, какие-то дела... Впрочем, подозреваем, что не дела отвлекли Евтифрона, а терпение его истощилось. Кому это понравится: после долгого разговора вновь вернуться к начальной точке.

В диалоге «Лахет», о котором речь уже шла выше, разбирается понятие мужества. Рассматривается и отвергается самое расхожее

определение — «Если кто добровольно остается в строю, чтобы отразить врагов, и не бежит, знай, это и есть мужественный человек» (*Платон. Лахет. 190e*). Предлагаются еще несколько возможных определений: «Мужество — это некая стойкость души» (*Платон. Лахет. 192b*), или это — наука «о том, чего следует и чего не следует опасаться как на войне, так и во всех прочих делах» (*Платон. Лахет. 194e — 195a*). Но и они тоже опровергаются. А кончается, как обычно:

Сократ: «Значит, мой Никий, мы не выявили, что же такое мужество».

Никий: «Кажется, нет» (*Платон. Лахет. 199e*).

Встретившись с известным рапсодом Ионом (рапсоды — декламаторы эпических поэм), Сократ в беседе с ним поднимает вопрос о сущности художественного творчества. По словам философа, «рапсод должен стать для слушателей истолкователем замысла поэта» (*Платон. Ион. 530c*). Но для этого ведь нужно очень много знать! Но тут выясняется, что Ион ничего не знает, кроме произведений Гомера. Не вникал никогда даже в творчество других поэтов. Но при этом он действительно талантливый исполнитель.

Сократ делает вывод: Ион является таковым не в силу какого-то знания или выучки, а только в силу божественного вдохновения. Ион удивлен подобному ходу мысли и пытается его оспаривать: «Хорошо говоришь ты, Сократ, а все же я удивился бы, если бы тебе удалось убедить меня, что я восхваляю Гомера в состоянии одержимости и неистовства» (*Платон. Ион. 536d*).

Но Сократ побеждает, как всегда. Он показывает, что если Ион претендует быть не вдохновенным, а многознающим, то он просто обманщик. И ставит вопрос так: «Итак, вот тебе на выбор: кем ты хочешь у нас прослыть — несправедным человеком или божественным?».

Ион: «Большая разница, Сократ, ведь куда прекраснее прослыть божественным».

Сократ: «Вот это, более прекрасное, и останется у нас за тобою, Ион: ты божественный, а не искусный хвалитель Гомера» (*Платон. Ион. 542ab*).

Этот диалог — один из немногих, который все же заканчивается более или менее четко сформулированным выводом. Однако характерно, что и в этом выводе появляется нечто божественное, т. е. непостижимое для человеческого разума. Подобный ход мысли мы уже встречали чуть выше, говоря о «Меноне». Сократ вновь и вновь подчеркивает ограниченность чисто рационального знания, данного людям.

СОКРАТОВСКАЯ ИРОНИЯ

Рассказывая о Сократе, нам уже неоднократно приходилось упоминать об иронии. И неудивительно: это — одна из главных, определяющих черт всего жизненного и особенно речевого стиля героя нашей книги. Сократ насквозь ироничен.

Однако что именно следует понимать под сократовской иронией? Вопрос нуждается в специальном рассмотрении прежде всего потому, что античное, древнегреческое понятие иронии довольно существенно отличалось от современного¹.

Что ныне имеют в виду, когда говорят об иронии? Даем определение по одному из самых авторитетных словарей: «Ирония — тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме»².

А у античных греков? В их языке было существительное *eironeia* — именно от него, собственно, происходят слова, обозначающие иронию в новых европейских языках. Поэтому иногда древнегреческое *eironeia* так и переводят — «ирония». Однако из-за этого возникают некоторые несообразности.

Вот, например, фраза из труда философа Феофраста, ученика Аристотеля: «Ирония в широком смысле — это притворство, связанное с самоумалением в действиях и речах» (*Феофраст*. Характеристики. 1. 1). Читаешь такое в русском переводе и явственно ощущаешь: что-то здесь не так. Не имеет у нас слово «ирония» такого смысла. Или, во всяком случае, если и имеет — то редко, а в основном употребляется в другом значении. Так что в подобных случаях либо необходимо разъяснять, что речь идет о специфически античной иронии, либо же переводить слово *eironeia* как-то иначе.

Часто так и делают: преимущественно передают *eironeia* через «притворство»³. Но получается ли лучше? Попробуем проверить. Приведем для этого несколько классических суждений об *eironeia*, принадлежащих Аристотелю. Этот великий систематизатор, как известно, любил все «раскладывать по полочкам», всему давать определения (между прочим, это черта, перенятая им как раз у Сократа). И в своих этических трактатах он неоднократно возвращается к вопросу, что такое *eironeia*. В цитируемом академическом переводе⁴, который выполнила выдающийся филолог Н.В. Брагинская, *eironeia* повсюду передается именно через «притворство».

«Итак, что касается правды, то пусть, кто держится середины, называется, так сказать, правдивым, обладание серединой — правдивостью, и извращения [истины] в сторону преувеличения — хвостов-

ством и его носитель — хвастуном, а в сторону умаления — притворством и <его носитель> — притворой» (*Аристотель*. Никомахова этика. II. 1108a20 сл.).

«Принято считать, что хвастун склонен приписывать себе славное — то, чего у него нет, или большее, чем у него есть; а притвора, наоборот, отрицает, [что у него есть то], что у него есть, или преуменьшает [это]; тот же, кто держится середины, как [человек] «прямой», что ли, — и в поведении, и в речах правдивый, признающий, что владеет тем, что у него есть, не больше и не меньше. Все это можно делать и с определенной целью, и просто так. И если поступки не преследуют известную цель, то каков каждый [человек по складу], таковы его слова и поступки, так он и живет.

Обман сам по себе дурен и заслуживает осуждения, а правда прекрасна и заслуживает похвалы. Так и правдивый человек как держащийся середины, заслуживает похвалы, а обманивающий — безразлично, в какую сторону — заслуживает осуждения, но в большей степени — хвастун» (*Аристотель*. Никомахова этика. IV. 1127a22 сл.).

«Притворы, которые говорят о себе приниженно и на словах отклоняются в сторону преуменьшения, представляются людьми, скорее, обходительного нрава; кажется, что они говорят так не ради наживы, но избегая важничанья, и прежде всего они отказывают себе в славном, как делал, например, Сократ. Те, кто <притворяется> по ничтожным поводам, когда очевидно [обратное], называются лицемерами и вполне заслуживают презрения, а иногда это оказывается хвастовством, например одежда лаконян, ибо и излишек, и нарочитый недостаток [могут быть] хвастливыми. А кто умеренно прибегают к притворству и притворяются не в том, что слишком бросается в глаза, — те кажутся обходительными. Правдивому, по-видимому, противоположен хвастун, ибо он хуже притворы» (*Аристотель*. Никомахова этика. IV. 1127b22 сл.).

«Делать вид, что имеешь больше того, что имеешь, — это хвастовство, а меньше — это притворство; середина между ними и есть правдивость» (*Аристотель*. Большая этика. I. 1186a26 сл.).

«Хвастун выказывает себя имеющим больше того, что у него есть, или знающим то, чего не знает; притворщик, напротив, делает вид, что имеет меньше, чем на самом деле, и не говорит того, что знает, но скрывает свое знание» (*Аристотель*. Большая этика. I. 1193a28 сл.).

Как видим, в одном из процитированных пассажей прямо упоминается Сократ. Но все-таки — что же за качество здесь разбирается? Постоянно подчеркивается, что оно противоположно хвастовству, что оно есть как бы «хвастовство наоборот». Но, с другой стороны, указывается, что противоположности могут сходиться, и в качестве

примера приводятся спартанцы, для которых их рваные плащи были предметом своеобразного щегольства. Мы могли бы тут припомнить еще и об Антисфене, который тоже щеголял дырами на одежде.

Хвастовство, или бахвальство, определяется довольно просто, тут все ясно, проблема с переводом вообще не встает. А вот как все-таки передать противоположное качество, ту самую *eironeia*? Ясно, что значение «ирония» почти ни в одном из приведенных контекстов не подойдет. Но оптимально ли «притворство»? Тоже далеко не всегда — имеются явные минусы. И по двум причинам.

Во-первых, уж очень отчетливо негативные обертоны имеет русское слово «притворство». Оно однозначно вписывается в тот (довольно неблагоприятный) смысловой ряд, в котором стоят слова «ложь», «фальшь», «лицемерие»... А греческая *eironeia* далеко не всегда несет тот же отрицательный оттенок. Вот и у Аристотеля совершенно справедливо сказано, что Сократ прибежал к ней ради того, чтобы избегать важничанья.

Но этим при желании еще можно было как-то пренебречь. Не менее важно, однако, второе: русское слово «притворство» имеет более широкий смысл, чем греческое слово «ирония». В нашем словопотреблении притворяться — это совершенно необязательно делать вид, будто имеешь или знаешь меньше, чем на самом деле. Вполне возможен и противоположный вариант: притворяться, что имеешь или знаешь больше, чем на самом деле. Так сказать, блефовать.

О чем же на самом деле идет речь? Древнегреческая *eironeia*, если быть максимально точными, — это самоуничижение. Самоуничижение демонстративное, а к тому же, что бы ни говорить, все-таки искреннее, притворное. Тот же Сократ в действительности был вполне высокого мнения о себе, как мы еще увидим, но в обычных его беседах это никак не прочитывается.

Итак, притворное самоуничижение? Пожалуй. Есть в разговорном языке словечко «прибедняться». Вот оно как раз очень подходит к описываемым здесь ситуациям. Жаль, что от него нельзя образовывать термин, который при этом литературно звучал бы.

И еще одно русское слово приходит в голову, когда думаешь об *eironeia*: «лукавство». Точным переводом греческого термина оно, понятно, тоже быть не может, поскольку несет в себе ряд совершенно иных смысловых коннотаций. Но все же есть и что-то общее... По крайней мере, во многих случаях ту или иную реплику Сократа вполне можно охарактеризовать: «Сократ лукавит», — и это будет лучше, чем «Сократ иронизирует», или, тем более, чем «Сократ притворяется».

У *eironeia* и «лукавства» имеется еще и то сходство, что оба термина могут как нести негативный заряд, так и быть полностью сво-

бодными от него. Возьмем то же русское слово «лукавый». С одной стороны, в молитве «Отче наш» выражение «...и избави нас от лукавого» означает не кого иного, как самого дьявола. А с другой стороны — во фразах типа «Он посмотрел с лукавой улыбкой» то же слово имеет скорее положительный, чем отрицательный смысл.

* * *

Просим прощения у читателей за этот лингвистический экскурс; возможно, он не оказался совсем уж бесполезным и позволил что-то лучше понять. Во всяком случае, стало ясно, что сократовская ирония, ирония-лукавство противопоставляется античными авторами хвастовству, бахвальству. Два качества соотносятся друг с другом как литота и гипербола.

Но можно эту иронию противопоставлять также и чрезмерной серьезности. Много раз мы уже приводили слова Сократа по самым разным поводам, и постоянно приходилось замечать, что он даже о важнейших и сложнейших вещах говорит как бы не вполне серьезно, полушутя.

Вот еще один «водораздел», отграничивающий Сократа от софистов. Те как раз были чрезвычайно серьезными, до напыщенности. Чувство юмора, похоже, было им совершенно чуждо. Рука об руку с этой серьезностью шло у них как раз хвастовство, стремление преувеличивать собственные заслуги и достоинства. Особенно отличался этим Гиппий, который ничтоже сумняшеся был готов на такие, например, перлы самовосхваления:

«...Прибывая всякий раз с родины, из Элиды, в Олимпию на все-народные состязания эллинов, я предоставлял себя в храме в распоряжение всякого желающего послушать заготовленные мною образцы доказательств и отвечал любому на его вопросы... С тех пор, как я начал участвовать в олимпийских состязаниях, я никогда ни в чем не встречал никого мне равного» (*Платон. Гиппий меньший. 363d — 364a*).

«Всякий раз, как Элиде нужно бывает вести переговоры с каким-нибудь государством, она обращается ко мне прежде, чем к кому-нибудь другому из граждан, и выбирает меня послом, считая наиболее подходящим судьей и вестником тех речей, которые обычно произносятся от каждого из государств» (*Платон. Гиппий больший. 281a*).

Все это очень похоже на какую-то навязчивую саморекламу, да, по сути, и является таковой. Ведь софисты были в полном смысле слова торговцами собственной мудростью; и, похоже, они чуть не первыми в истории человечества открыли столь знакомую нам ныне максиму «Реклама — двигатель торговли». Тот же Гиппий и в этом

смысле наиболее откровенен, хвастливо открывая свой главный мотив — страсть к наживе:

«Если бы ты знал, сколько денег заработал я, ты бы изумился! Не говоря об остальном, когда я однажды прибыл в Сицилию, в то время как там находился Протагор, человек прославленный и старший меня по возрасту, я все-таки, будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше ста пятидесяти мин, да притом в одном только совсем маленьком местечке, Инике, больше двадцати мин. Прибыв с этими деньгами домой, я отдал их отцу, так что и он, и все остальные граждане удивлялись и были поражены. Я думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем любые два других софиста, вместе взятые» (*Платон. Гиппий больший. 282de*).

Правда, даже и в случае с Гиппием все не столь просто. Как мы видим, деньги ему нужны не ради денег, и он без сожаления отдает их отцу. «Капиталистической» мотивации у него нет. Он скорее гордится самым фактом своих высоких заработков, ибо это поднимает его престиж.

А что же Сократ? А он в ответ на подобные речи охотно потакает и поддакивает. Предоставляет Гиппию и другим софистам хвалиться — а сам над ними тонко подсмеивается. Беседы «босоногого мудреца» именно с представителями софистического движения наиболее ироничны. Причем мы встречаем в соответствующих диалогах иронию в обоих смыслах — как в античном (лукавое самоуничижение), так и в нашем современном (скрытая насмешка).

Он, например, говорит в ответ на словоизлияния Гиппия: «Вот что значит, Гиппий, быть поистине мудрым и совершенным человеком. Ведь ты умеешь и в частной жизни, беря с молодых людей большие деньги, приносить им пользу еще бóльшую, чем эти деньги; с другой стороны, ты и на общественном поприще умеешь оказывать благодеяния своему государству, как и должен поступать всякий, кто не желает, чтобы его презирали, а, напротив, хочет пользоваться доброй славой среди народа... Ты, Гиппий, по-моему, прекрасно говоришь и рассуждаешь, и я могу подтвердить правильность твоих слов. Действительно, ваше искусство сделало успехи в том, что дает возможность заниматься и общественными делами наряду с частными... Ты, Гиппий, приводишь прекрасное и важное доказательство мудрости и своей собственной, и вообще нынешних людей, — насколько же они отличаются ею от древних!» (*Платон. Гиппий больший. 281b сл.*).

На вид все это звучит обходительно до подобострастности. Но нелегко ведь принять подобные рассуждения за чистую монету! Воистину, нужно было быть чванным и надутым Гиппием, чтобы не раскусить «комплиментов» собеседника. Особенно под конец разго-

вора, когда Сократ заявляет: «Милый Гиппий, ты счастлив, потому что знаешь, чем следует заниматься человеку, и занимаешься этим как должно — ты сам говоришь. Мною же как будто владеет какая-то роковая сила, так как я вечно блуждаю и не нахожу выхода...» (Платон. Гиппий больший. 304bc).

Сократ тут очень метко оттеняет свой контраст с софистами — они все знают, он постоянно ищет. Примерно в таком же тоне, как с Гиппием, — разве что ирония еще более тонка — он беседует и с его «коллегами»: Протагором, Горгием и др. Каждый может легко в этом убедиться, просмотрев соответствующие диалоги Платона. А мы уж не будем чрезмерно перегружать текст новыми цитатами: они лишь подтвердят то, что уже было сказано.

Впрочем, конечно, не только с софистами Сократ разговаривал в ироническом духе, а и с другими людьми, даже с друзьями. Повторим снова и снова: почти никогда нельзя было понять (во всяком случае, с ходу, без тщательных размышлений), что в его словах следует воспринимать всерьез, а что — не следует. Да и следует ли хоть что-нибудь?

Нужно оговорить, что эта черта сократовских бесед с наибольшей выпуклостью выступает в передаче Платона, особенно в его произведениях раннего периода. В сочинениях Ксенофонта ирония Сократа не чтобы совсем не прослеживается — не заметить ее было невозможно, — но прослеживается в несравненно меньшей степени. У Ксенофонта Сократ почти всегда предельно серьезен. Хотя, конечно, встречаются и у него исключения, вспомним приводившийся в начале нашей книги юмористический диалог между Сократом и красавцем Критобулом о том, кто из них более хорош собою. Эпизод этот — из ксенофоновского, а не из платоновского «Пира».

А теперь уместно будет поставить вопрос: для чего нужна была Сократу эта его знаменитая ирония? И прежде всего — в смысле демонстративного самоуничижения? Для того, чтобы избегать важничанья, как считает Аристотель? Наверное, и в этом дело. Особенно учитывая, что «босоногий мудрец» постоянно выстраивал себе образ «антисофиста», «софиста наоборот». Коль скоро софисты были важными и вальяжными, то что же оставалось их принципиальному противнику, кроме как выстраивать принципиально противоположную стратегию поведения?

К тому же такая стратегия была удачной еще и тем, что легче приносила победу. Сократ как бы заманивал софиста в ловушку, тот с начала спора принимал «босоногого мудреца» за легкого, не опасного противника. Еще бы, ведь тот постоянно декларировал превосходство собеседника и свою слабость. И память-то у него плохая,

и философского образования он не имеет... Софист расслаблялся, а в результате бывал разбит по всем статьям.

Однако, повторим, аналогичное лукавое поведение проявлял Сократ не только в жестоких диспутах, но и в конструктивных беседах с целью нахождения истины, когда говорил не с врагами, а с единомышленниками. И с ними тоже он как-то двусмыслен: ставит вопросы, но не дает ответов, что-то недоговаривает... Эта незаконченность, открытая концовка многих диалогов, как нам кажется, напрямую связана с сократовской иронией. Это два средства, ведущие к одной цели: показать ограниченность человеческого знания, которое поэтому и не заслуживает к себе особо серьезного отношения.

При всем при том, как бы ни был Сократ в беседах ироничен и склонен к преуменьшению собственных достоинств, в действительности он имел весьма высокое мнение о себе. Но выяснилось это в полной мере уже на самом закате его дней — тогда, когда пришла ему пора давать перед согражданами отчет во всей своей жизни. Ибо именно так воспринимались в Афинах суд и выступления на нем⁷.

Многим афинянам доводилось по той или иной причине оказываться в качестве подсудимого и предстать перед огромной (пять сотен человек!) коллегией присяжных. Модели выступлений в такой ситуации были прекрасно отработаны. В частности, говоря перед судьями, старались воздействовать на их эмоции, вызвать жалость к себе. Рвали одежду на груди и показывали шрамы от ран, полученных в боях за отечество. Приводили маленьких детей, чтобы те плакали и умоляли пощадить родителя. Да и в целом вели себя крайне приниженно — «тише воды, ниже травы», заискивали перед судьями.

Прекрасно описывает это Аристофан устами одного из героев своих комедий, судьи-присяжного:

С ложа только я сполз, а меня уж давно у ограды суда
 Люди роста большого, преважный народ... Подойти я к суду
 Принимаю пожатия холеных рук, много денег покравших
 И с мольбой предо мной они гнутся в дугу, разливаются
 «Умоляю тебя, пожалей, мой отец! Может быть, ты и сам
 Когда должность имел или войско снабжал провиантом

поджидают
не успею,
народных,
в жалобных воплях:
поживился,
в военное время».

Я — ничто для него, но он знает меня потому, что
 оправдан был мною...
 Наконец, размягченный мольбами, вхожу, отряхнувши
 всю ярости пену,
 Но в суде никаких обещаний моих исполнять не имею
 привычки,
 Только слушаю я, как на все голоса у меня оправдания просят.
 И каких же, каких обольстительных слов в заседание судья
 не услышит?
 К нищете сострадания просит один и к несчастьям своим
 прибавляет
 Десять бедствий еще; до того он дойдет, что ко мне
 приравнять его можно.
 Тот нам сказку расскажет, исполнит другой из Эзопа
 забавную басню,
 А иные острят, чтобы нас рассмешить и смирить раздражение
 наше.
 Но, увидев, что мы не поддались ему, он ребят поскорее
 притащит,
 Приведет сыновей, приведет дочерей... Я сажу и внимаю
 защите,
 А они, сбившись в кучу, все вместе ревут, и опять их отец,
 точно бога,
 Умолять нас начнет, заклиная детьми, и пощады, трепещущий,
 просит:
 «Если криком ягнят веселится ваш слух, ради голоса мальчика
 сжальтесь!
 Если визг поросят больше радует вас, ради дочки меня
 пожалейте!»
 Ну, тогда мы чуть-чуть станем мягче к нему, раздражения
 струны ослабим...
 Или это не власть, не великая власть? Не глумимся ли мы
 над богатством?..
 А когда нам на суд попадется Эагр⁶, не дожидаться ему
 оправдания
 До тех пор, пока он не прочтет пред судом из «Ниобы»
 прекрасный отрывок;
 Коль в процессе победу одержит флейтист, то в награду
 за наше решение
 Он с ремнем на губах мелодичной игрой выходящих судей
 провожает...
 (Аристофан. Осы. 552 слл.)

Вполне мог бы при желании обратиться ко всему этому арсеналу приемов и Сократ. И шрамы показать — ибо воином он был великолепным. И продемонстрировать судьям плачущих детей — из его сыновей, как мы знаем, двое были на тот момент малышами. И попытаться добиться снисхождения заискиванием... Однако ничего этого он делать не стал.

Философ и на сей раз, как всегда, проявил себя подлинной «белой вороной» среди сограждан. В условиях, когда любой из них не считал бы для себя зазорным прибегнуть ради собственного спасения к самоуничтожению, Сократ — которому, казалось бы, это самое самоуничтожение было столь привычно — повел себя полярно противоположным образом, без всякого намека на скромность. Афиняне — чуть ли не впервые на своей памяти — увидели *гордого* Сократа. Даже чуточку надменного. Не только не скрывающего своих достоинств и заслуг, но и подчеркивающего их:

«Чему по справедливости подвергнуться или сколько должен я уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем стараются большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устройении, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не участвовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бывают в нашем городе, считая себя, право же, слишком порядочным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; за то, что я не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своим раньше, чем о себе самом, — как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо всем прочем таким же образом. Итак, чего же я заслуживаю, будучи таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уже в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии верхом, или на паре, или на тройке, потому что такой человек старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное,

то вот я что себе назначаю — даровой обед в Пританее» (*Платон. Апология Сократа. 36b* сл.).

Поясним. Пританей был одним из главных афинских общественных зданий, а право пожизненного ежедневного бесплатного обеда в нем считалось едва ли не высочайшей почестью, какую мог получить гражданин Афин. Давалась она за особо славные деяния, например, за победу на Олимпийских играх.

А теперь напомним о ситуации: идет суд, решается вопрос о наказании, а Сократ — подсудимый! — вместо того, чтобы постараться сделать это наказание по возможности более мягким, в полный голос заявляет, что он достоин не наказания, а... высшей награды.

«Босоногий мудрец» как будто бы снял впервые в жизни маску — ту самую «маску Силена» — и заговорил открыто, могло показаться, что и высокомерно. И уж во всяком случае без иронии. В целом «Апология Сократа» отличается от других сократических сочинений Платона не в последнюю очередь именно тем, что элементы иронии (говорить ли об иронии в античном или в нашем современном смысле слова) в ней выражены в значительно меньшей степени.

Возможно, это в числе прочего вызвано и вот каким обстоятельством. У Сократа неразрывно связаны между собой ирония и диалог. А «Апология» — речь на суде — имеет, естественно, не диалогическую, а монологическую форму. Таковы законы жанра, «иже не преидеши». Впрочем, Сократ даже и в эту свою речь вносит элементы диалогизма, вступая по ходу ее произнесения в разговор с обвинителем Мелетом (*Платон. Апология Сократа. 24c* сл.). Фактически учиняет ему вопрос — уж это-то он умел! — и, как водится, разбивает наголову.

В принципе, вопросы противнику как часть судебной речи вполне допускались процедурными нормами афинского судопроизводства. Однако из сохранившихся до нашего времени древнегреческих судебных речей (а до нас дошли десятки таких памятников, в том числе принадлежащих перу таких великих мастеров красноречия, как Демосфен, Лисий, Эсхин и др.) видно, что на практике они применялись крайне редко. Причину объясняет Аристотель, который разобрал в своем трактате об ораторском искусстве несколько (очень немного) конкретных случаев, когда уместен вопрос противнику — причем в качестве одного из главных примеров приводятся как раз слова Сократа из «Апологии», — далее резюмирует: «В других случаях не надо начинать: ведь если <противник> справится <с вопросом>, покажется, что сила у него; а много вопросов задавать нельзя по слабости слушателя» (*Аристотель. Риторика. III. 1419a17* сл.).

Иными словами, большинство тяжущихся избегали такого обоюдоострого оружия, как вопросы: ведь для того, чтобы оно не обрати-

лось против самого же спрашивающего, им нужно было пользоваться очень уж виртуозно. Этого почти никто из афинян не мог, а вот Сократ мог. Другое дело, что вопросов Мелету он задает действительно многовато, тем самым как бы нарушая предписание, сформулированное позже Аристотелем: слушателям — а судьи-присяжные были самыми обычными гражданами, в массе своей без сильно выдающихся интеллектуальных способностей — немудрено было запутаться, потерять нить рассуждения.

Сократ на этот раз, впрочем, и не намерен применяться к слушателям (опять в отличие от всей своей предыдущей жизни, когда он находил особые слова для каждого собеседника). Он не собирается говорить защитительную речь так, как принято в суде, т. е. выстраивать подходящую для случая речевую стратегию, и уже в самом начале оговаривает:

«Так вот, я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиняне: услышавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из вас слышали меня, и в других местах, не удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума. Дело-то вот в чем: в первый раз пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду; так ведь здешний-то язык просто оказывается для меня чужим...» (Платон. Апология Сократа. 17cd).

* * *

Есть, однако, и в «Апологии» место, которое может быть воспринято как проявление иронии (во всяком случае, в античном смысле притворного самоуничижения).

Изречение, которое едва ли не наиболее устойчиво связывается в обиходных представлениях с Сократом, — «Я знаю, что я ничего не знаю». На самом деле именно этих-то слов, если брать буквально, «босоногий мудрец» никогда не говорил; это — его мысль, истолкованная весьма вольно⁷, более того, ошибочно и нелогично.

Ведь если задуматься, кто действительно *ничего* не знает — тот никак не может знать и того, что он ничего не знает. Налицо логическое противоречие — примерно такое же, как, например, в известном в античности «критском софизме».

Суть последнего такова. Критянин говорит: «Все критяне — лжецы». Верить ему или не верить? Вопрос ответа не имеет, точнее, имеет одновременно два ответа, исключающих друг друга, — и да, и нет. Ибо если он говорит правду, то, значит, есть хоть один критянин, говорящий правду, и не все критяне — лжецы, т. е. говорящий лжет. Говорить правду и лгать одновременно нельзя. Вот так же нельзя одновременно ничего не знать и знать что-то.

Сократ любил точность определений и непротиворечивость формулировок, он не позволил бы себе выражение нечеткое, вводящее в заблуждение. На самом деле Сократ просто заявлял, что ничего не знает, без добавления «я знаю, что...». А мысль эта наиболее полно развивается им как раз в «Апологии».

Сократ вспоминает о том, как был озадачен, когда Дельфийский оракул признал его мудрейшим из людей. Он решил опровергнуть прорицание, найдя человека мудрее себя. И пошел для начала к кому-то из видных государственных деятелей, слышшему мудрецом (имени он не называет). «Когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет... Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я, коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидел то же самое... Ну и после этого стал я уже ходить по порядку» (*Платон. Апология Сократа. 21c-e*).

Далее Сократ описывает, как он общался с поэтами, с ремесленниками, — в общем, с представителями различных родов занятий — и повсюду встречал одно и то же: никто ничего не знал, однако все были убеждены, что что-то знают. Между прочим, в этом пассаже Платона как бы содержится программа всех его сократических диалогов. Ведь в них как раз «босоногий мудрец» выведен беседующим с самыми разными людьми — от полководца до рапсода — и всех их убеждающим, что их якобы твердые знания о том или ином предмете — на деле всего лишь ложные мнения.

Но как же понимать это сократовское незнание? Не являются ли соответствующие заявления философа ироническими, лукавыми? Если он был так уверен, что ничего не знает, то почему же учил других? А он учил. Причем учил не в духе какого-нибудь полного скептицизма и агностицизма, как, казалось бы, пристало человеку, считающему, что никто ничего не знает. Впоследствии в Греции возникла скептическая школа философии, представители которой именно так и высказывались: познание невозможно, поэтому необходимо воздерживаться от суждений.

Сократ же отнюдь не воздерживался от суждений; напротив, высказывал их, только оговаривал, что не настаивает на их абсолютной истинности, и предлагал искать, искать... Но ведь искать — это

и означает именно познавать. И коль скоро нужно искать, то, значит, есть шанс в конце концов отыскать (иначе зачем искать)? Агностиком наш философ, во всяком случае, не был. Этим как раз отличались его противники — софисты. Сократ же считал, что человек, постигнувший законы истины, будет обязательно следовать им в жизни и уже не сможет совершать дурные поступки.

Так что же, признание в незнании — очередная сократовская ирония? Он говорит о нем, чтобы эпатировать публику? Заметим еще, что он говорит, собственно, не о своем личном незнании, а о том, что люди в принципе ничего не знают, но скрывают это, и только он, Сократ, не стыдится в этом признаться.

Но нужно еще учитывать, что здесь содержится и намек на ничтожность любого человеческого знания перед знанием божественным (излюбленная, много раз уже нам встречавшаяся сократовская тема). Строго говоря, это даже не намек. Чуть ниже в той же «Апологии» Сократ говорит об этом открытым текстом:

«А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением (о Сократе как мудрейшем из людей. — *И. С.*) он желает показать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость» (*Платон. Апология Сократа. 23ab*).

ДЕМОНИЙ — БОЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС

Нам уже столь много раз — и по самым разным поводам — доводилось говорить о божественном в связи с Сократом, что теперь, наверное, самое время коснуться одного из самых загадочных феноменов, связанных с нашим героем. Речь идет о знаменитом сократовском демонию — божественном голосе, который Сократ регулярно слышал (во всяком случае, по его собственным словам).

Сразу оговорим некоторые вещи. Понятие, о котором сейчас будет идти речь, в литературе о Сократе (или об античной философии в целом) фигурирует как минимум под шестью названиями: «демоний», «даймоний», «демонион», «даймонион», «демон», «даймон». Подобная путаница способна только ввести в заблуждение неискушенного читателя. Поэтому подчеркнем: имеется в виду один и тот же древнегреческий термин, на языке оригинала — *daimonion*. Согласно устоявшимся нормам передачи древнегреческих слов русскими буквами, наиболее корректная форма — «демоний»; ее мы и ранее придерживались (как в этой, так и в других книгах), и впредь будем придерживаться. Все остальные вышеприведенные варианты — либо менее верны, либо просто ошибочны (так, нужно различать слова «демоний» и «демон», о чем мы еще скажем подробнее чуть ниже).

Путаница усугубляется тем, что иногда то же самое необычное явление в отечественных работах передают, пользуясь латинским (к тому же не оптимальным) эквивалентом соответствующего греческого слова — «гений». Это еще менее точно, тем более что само слово «гений» в нынешнем обиходном дискурсе имеет значение, уж очень отличающееся от того, какое придавали ему древние римляне. Для нас обычно (если, конечно, не брать специфически поэтических словоупотреблений вроде пушкинского «гений чистой красоты» и т. п.) гений — синоним очень талантливого человека. «Он гений» — говорят о том же Пушкине, или об Эйнштейне, или о Чайковском... А в римском понимании гений — это вообще не человек, а дух — хранитель человека.

Но вернемся к Сократу, а точнее — к его демонию. «Демоний», разумеется, — производное от «демон». В нашей христианской культуре «демон» звучит устрашающе. Демон — это бес, черт. А вот в языческой древнегреческой цивилизации демон — божество, бог. Причина подобной эволюции термина вполне ясна. Христианство,

особенно в первые века своего существования, постоянно боролось с язычеством, и естественно, что античные боги воспринимались ранними христианами как бесы.

Что же касается древних греков, «демон» — не единственное принятое у них обозначение божества. Другим, даже чаще встречающимся, было «теос» (в другой транскрипции — «феос»). Это последнее слово как раз вполне благожелательно было воспринято христианами, стало употребляться применительно к христианскому Богу. Отсюда, например, «теология» (богословие), а также некоторые имена, вошедшие, в том числе, и в русскую ономастику: Федор (= Феодор, «дар Божий»), Дорофей (абсолютно то же самое, только с перестановкой двух корней), Федот (= Феодот, «данный Богом»), Феодул (= Феодул, «раб Божий»), Феофан («Богоявленный»), Феофил («любящий Бога») и целый ряд других, менее известных.

Как же соотносятся друг с другом «теос» и «демон»?¹ Единого закона тут не вывести: часто два слова просто взаимозаменяемы². Либо иногда «теос» употребляют применительно к низшим богам, «демон» — к высшим. Но, поскольку у Сократа никаких подобных оттенков нет, под его «демоном» просто нужно понимать божество. Соответственно «демоний» (в оригинале слово среднего рода) — это нечто божественное. В данном случае — божественный голос.

Ну, а чтобы конкретнее объяснить суть рассматриваемой здесь проблемы, — по обыкновению предоставим слово свидетелям. То есть просто процитируем наиболее важные места о сократовском демони, встречающиеся в источниках. Обращать внимание в первую очередь будем, разумеется, на те сообщения, которые принадлежат современникам Сократа и самым авторитетным в этом отношении авторам — Платону и Ксенофону. И кстати, не будем удивляться тому, что — уже не в первый раз — увидим между ними определенные разногласия.

Начнем с Платона. В написанной им «Апологии Сократа» содержатся самые, можно сказать, классические пассажи о демони. Сократ говорит в речи перед судьями: «Мне бывает какое-то чудесное божественное знамение... Началось у меня это с детства: вдруг — какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься государственными делами. И кажется, прекрасно делает, что не допускает» (*Платон. Апология Сократа. 31cd*).

А уже после смертного приговора философ заявляет: «Со мною... случилось что-то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещий голос слышался мне посто-

янно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что-нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере так принято думать; тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, что бы я ни хотел сказать. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь поступка, от какого-нибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом» (*Платон. Апология Сократа. 40а-с*).

И еще спустя некоторое время: «...Для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и освободиться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало, и я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил меня к наказанию, и на моих обвинителей» (*Платон. Апология Сократа. 41d*).

Сделаем некоторые предварительные наблюдения. Во-первых, демоний — это некий голос. Во-вторых, «босоногий мудрец» был уверен в его божественном происхождении (или, во всяком случае, говорил так — из-за вездесущей сократовской иронии приходится делать подобную оговорку), считал, что демоний всегда направляет его, Сократа, к благу, и неукоснительно следовал этому голосу. В-третьих, согласно Платону, демоний действовал только, так сказать, в отрицательном смысле, т. е. отвращал философа от совершения тех или иных поступков, а вот рекомендаций, как поступать, не давал. Подчеркнем особенно это последнее обстоятельство: как мы увидим ниже, по этому вопросу были и иные мнения.

Информация о демонии, содержащаяся в «Апологии» Платона, подкрепляется и дополняется сведениями из других его сочинений. В них нередко Сократ заводит речь о демонии. Например:

«По воле некоего бога случилось так, что сидел я... в раздевальне, один и уже подумывал об уходе, как вдруг, только я встал, явилось мне мое привычное божественное знамение. Я снова сел, и немного спустя вошли они оба — Евтидем и Дионисодор...» (*Платон. Евтидем. 272е*). Имеются в виду софисты, беседа с которыми Сократа составляет главное содержание названного диалога. Заметим кстати, что в академических переводах Платона, которые мы цитируем, само

слово «демоний» никогда не употребляется. И это вполне естественно: переводчики стремились воспроизвести изящество литературного слога основателя Академии, а это изящество, конечно, пострадало бы от введения чуждых русскому языку терминов. Поэтому «демоний» всегда передается как «божественное знамение» и т. п.

Впервые вступая в беседу с молодым Алкивиадом, Сократ объясняет ему, почему он раньше не делал этого: «Милый сын Клиния и Диномахи, без меня невозможно осуществить... твои устремления: такова моя власть, как я думаю, над твоими делами и тобою самим. Потому-то, полагаю я, бог и запретил мне беседовать с тобой, и я ожидал на это его дозволения... Так как ты был очень юн и еще не обременен такими надеждами, то бог, как я думаю, и запрещал мне с тобой разговаривать, чтобы не сказать тебе что-то впустую. Ныне же он разрешил меня от запрета, и теперь ты меня слушаешь» (Платон. Алкивиад I. 105de).

В приведенных местах, как видим, функция демония та же, что и описанная в «Апологии», — отвращать Сократа от совершения каких-либо поступков. Правда, конец отрывка, процитированного последним, на первый взгляд способен создать впечатление, будто бы демоний что-то и предписывал философу. Комментаторы пишут в данной связи: «Это единственное место в диалогах Платона, где функция сократовского божества (гения) трактуется не как запрещающая, а, наоборот, как разрешающая приступить к действию»³. Однако здесь нам трудно согласиться. Кажется, из текста вполне ясно, что дело обстояло следующим образом: вначале демоний запрещал Сократу вступать в разговор с Алкивиадом, а потом просто перестал запрещать — «разрешил от запрета», как сказано в самом отрывке. Слово «разрешить» здесь употреблено не в смысле «позволить», а в смысле «освободить». Молчание демония и было воспринято Сократом в том смысле, что запрет снят и теперь можно начать общаться с Алкивиадом.

В беседе с другим своим юным другом — Федром — «босоногий мудрец» рассуждает в уже знакомом нам духе: «Лишь только собрался я, мой друг, переходить речку, мой гений подал мне обычное знамение, — а оно всегда удерживает меня от того, что я собираюсь сделать: мне будто послышался тотчас же какой-то голос, не разрешавший мне уйти, прежде чем я не искуплю некий свой проступок перед божеством. Я хоть и прорицатель, но довольно неважный, вроде как плохие грамотеи — лишь поскольку это достаточно для меня самого...» (Платон. Федр. 242bc). Порой нельзя избавиться от ощущения, что Платон в каких-то случаях использует мотив сократовского демония как художественный прием — для того, например, чтобы

ввести новую тему, объяснить перелом в ходе беседы, и для прочих подобных целей.

Разговаривая с Теэтетом, Сократ упоминает некоторых своих учеников, которые, увлеченные мирской суетой, уходили от него, но потом сожалели об этом решении. «Когда же они возвращались обратно и вновь просили принять их, то некоторым мой гений запрещал приходить, иным же позволял, и те опять делали успехи» (*Платон. Теэтет. 151a*). Получается, сократовский демоний мог воздействовать не только на своего непосредственного «адресата», но и на других людей? Вот это уже что-то новенькое. Нет ли тут какой-нибудь путаницы или натяжки со стороны автора диалога?

Нужно сказать, что этот вопрос — о воздействии демония на друзей Сократа — подробнее рассматривается в «Феаге» — другом диалоге платоновского корпуса. Но это произведение — кстати говоря, очень небольшое по размеру — является одним из тех, для которых авторство Платона наиболее сомнительно. Преобладает точка зрения о том, что «Феаг» был написан не самим основателем Академии, а «в академическом кругу», т. е. кем-то из учеников его школы⁴. Иными словами, человеком, который, в отличие от Платона, сам с Сократом знаком не был и о демонии знал лишь понаслышке, из вторых рук, — соответственно, мог исказить картину, написать вещи, не вполне соответствовавшие действительности. И вправду, описание демония в «Феаге» в чем-то похоже, но в чем-то и существенно отличается от характеристики того же явления в других сочинениях Платона.

Сократ говорит юноше Феагу: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений — это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступить, но никогда ни к чему меня не побуждает. И если, когда кто-нибудь из моих друзей советуется со мной, мне слышится этот голос, он точно таким же образом предупреждает меня и не разрешает действовать. Я могу вам представить тому свидетелей. Вы знаете ведь того красавца Хармида, сына Главкона; однажды он советовался со мной, стоит ли ему пробежать ристалище в Немее (то есть участвовать в общегреческих Немейских спортивных играх, в состязаниях в беге. — *И. С.*). И не успел он начать говорить о своем желании состязаться, как я услышал голос и стал удерживать его от этого намерения такими словами: «Когда ты говорил, — сказал я, — мне послышался голос моего гения: тебе не следует состязаться». «Быть может, — отвечал он, — голос указывает тебе, что я не одержу победу? Но даже если я не стану победителем, я использую время для упражнения». Как он сказал, так и сделал. Стоит послушать его

рассказ о том, чем для него эти упражнения кончились. А если желаете, спросите Клитодема, брата Тимарха, что сказал ему Тимарх, когда вопреки вещему голосу пошел на смерть он и бегун Еватл, принявший его — беглеца. Скажет вам Клитомах, что тот ему говорил... «Мой Клитомах, мне предстоит вот сейчас умереть, потому что я не захотел послушать Сократа». А почему так сказал Тимарх? Я объясню. Однажды во время пира поднялись со своего места Тимарх и Филемон, сын Филемонида, с намерением убить Никия, сына Героскамандра. Об этом замысле было ведомо лишь им двоим, но Тимарх, вставая, мне молвил: «Ну как, Сократ? Вы продолжайте пить, мне же нужно идти. Я приду попозже, если встречу удачу». А мне в это время был голос, и я ему отвечал: «Ни в коем случае не вставай! Мой гений подает мне обычный знак». И он остался. Но по прошествии некоторого времени он снова вскочил, чтобы идти, говоря: «Я все же иду, Сократ». И снова мне послышался голос, и я опять заставил его остаться. В третий раз, желая скрыть это от меня, он встал, не говоря мне ни слова, тайком, выждав, когда я был занят другими мыслями. И так он удалился и выполнил то, из-за чего должен был потом умереть. Потому-то он и сказал своему брату то, что я передал вам сейчас, — мол, он умрет оттого, что мне не поверил. А еще вы можете услышать от многих участников сицилийского дела, что я сказал по поводу гибели войска. Но дела, случившиеся когда-то, можно узнать от свидетелей; вы же имеете возможность испытать мое знамение в настоящем — значит ли оно что-то в действительности. Ведь оно явилось мне при выступлении в поход красавца Санниона, а воюет он теперь вместе с Фрасиллом против Ионии и Эфеса. И я думаю, что он либо умрет, либо испытает другую смертную муку, да и за все остальное войско я опасаюсь.

Все это я сказал тебе к тому, что великая сила этого божественного знамения распространяется и на тех людей, что постоянно со мною общаются. Ведь многим эта сила противится, и для таких от бесед со мной нет никакой пользы, ибо я не в силах с ними общаться. Многим же она не препятствует проводить со мной время, но они из этого не извлекают никакой пользы. А те, кому сила моего гения помогает со мною общаться, — их и ты знаешь — делают очень быстро успехи» (*Платон. Феаг. 128d слл.*).

Поневоле пришлось привести во всех подробностях этот очень, очень странный текст. Что бы ни говорить, а те сведения о демонии, которые в нем приводятся, как-то не вполне коррелируют с тем, что мы об этом явлении узнали ранее. Упоминаются какие-то непонятные лица — Тимарх, Саннион и прочие, — нам ни в какой связи не известные. Делаются некие неясные намеки на события, опять же нам

ни о чем не говорящие, — а некоторые из них явно имеют просто-таки кровавый характер. Детектив, да и только! Хорошо, если эти зловещие намеки были понятны хотя бы тому юному Феагу, которому Сократ здесь их делает. А суть всех намеков, в общем-то, одна, если пересказать своими словами: слушай, юноша, во всем меня (сиречь моего божественного голоса), иначе как бы не было тебе худо. Станный какой-то Сократ изображен в этом диалоге. Зловещий какой-то, даже демонический (вот сам собой подоспел каламбур, коль скоро рассуждаем о демонии).

Один намек в процитированной речи Сократа (кстати, бросается в глаза, что она еще и не по-сократовски длинная), впрочем, понятен. Это — там, где речь идет о злополучной экспедиции афинян на Сицилию 415–413 гг. до н. э. Этот грандиозный военно-морской поход⁵ возбудил в душе жителей «города Паллады» самые грандиозные надежды, завершился же катастрофическим, чудовищным провалом. О Сицилийской экспедиции еще будет упомянуто ниже, в контексте Пелопоннесской войны, а пока отметим лишь, что задумана она была по инициативе Алкивиада и вопреки яростному сопротивлению Никия⁶, но последний — по парадоксальной для нас, но вполне нормальной для демократических Афин логике — оказался в конечном счете командующим акцией вторжения.

И Алкивиад, и Никий, как мы уже знаем, — люди, близкие к Сократу. А каково было отношение самого «босоногого мудреца» к готовящемуся «великому плаванию»? В общих чертах мы видели это из цитированного «Феага»: философ, прислушавшись к своему демонию, предрек поражение. Ровно о том же, но более понятными словами, сообщает автор, живший на несколько веков позже, — Плутарх: «Мудрецу Сократу его гений обычным условным знаком возвестил, что морской поход затевается на гибель городу. Сократ рассказал об этом своим знакомым и друзьям, и слова его стали известны многим» (*Плутарх. Никий*. 13). Впрочем, далеко не факт, что мы должны слепо доверять писателю, хоть и эрудированному, но отделенному от описываемых событий слишком уж большим хронологическим промежуток...

* * *

Однако вернемся к людям, которые были знакомы с Сократом лично. Мы видели, как понимает сократовский демоний Платон. А как понимается то же явление его современником Ксенофонтом? Необходимо привести важнейшие свидетельства и с его стороны.

Собственно, свои «Воспоминания о Сократе» Ксенофонт начинает именно с рассуждения о демонии. Причем строит его явно в апо-

логетическом по отношению к учителю духе, желая оправдать «босоногого мудреца» от обвинений в нечестии по отношению к богам:

«По всему городу ходили слухи о рассказах Сократа, что божественный голос дает ему указания: это-то, мне кажется, и послужило главным основанием для обвинения его в том, что он вводит новые божества. На самом же деле он так же мало вводит нового, как и все другие, признающие искусство узнавать будущее, которые наблюдают птиц, голоса, приметы и жертвы: они предполагают, что не птицы и не встречные люди знают, что полезно для гадающих, но что боги через них указывают это; и Сократ думал так же. Но по большей части люди выражаются так, что птицы и встречные их отклоняют от чего-нибудь или побуждают; а Сократ, как думал, так и говорил: божественный голос, говорил он, дает указания. Многим друзьям своим он заранее советовал то-то делать, того-то не делать, ссылаясь на указание божественного голоса, и, кто следовал его совету, получал пользу, а кто не следовал, раскаивался. Однако кто не согласится, что он не хотел казаться друзьям ни дураком, ни хвастуном? А он казался бы и тем и другим, если бы, выдавая свои советы за божественные откровения, потом оказывался бы солгавшим. Отсюда видно, что он не стал бы предсказывать, если бы не был уверен в истине своих слов. А можно ли в этом поверить кому-либо другому, как не богу? Если же он верил богам, то как же он мог не признавать, что боги существуют?» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 1. 2–5*).

Сравним это все с тем, что мы узнали из Платона. Различия налицо. Платоновскому Сократу, как мы видели, демоний только запрещал что-либо делать. В толковании же Ксенофонта божественный голос вполне способен давать философу советы и в позитивном духе, подсказывать ему, как надлежит поступать. Далее, у Платона лишь в нескольких (да и то достаточно проблематичных) местах упоминается о том, что демоний помогал не только самому «босоному мудрецу», но и его друзьям; Ксенофонт же говорит об этом открытым текстом, не сомневаясь.

Да и в целом по этому первому, программному заявлению Ксенофонта о демонии можно составить впечатление, что этот ученик Сократа — прагматик и реалист, каким мы его уже хорошо знаем — вроде бы не очень-то уж и всерьез относится к самой идее божественного голоса. Похоже, он считал, что Сократ просто пользовался этим образом для доведения до собеседников правильных идей. Так сказать, прикрывался авторитетом божественного, как другие для вящей убедительности ссылаются на приметы, знамения и т. п. Делал, по сути, то же самое, но в несколько иной форме — более тонкой, что ли...

Как согласуются с этим мнением другие замечания Ксенофонта о демонии, разбросанные по его «Воспоминаниям»? Некий молодой человек Аристодем не желает почитать богов. Не то чтобы он в них не верит, а просто считает, что небожители не заботятся о людях, и желает, чтобы они дали ему несомненные свидетельства своего попечения о нем⁷.

Ксенофонтский Сократ, разумеется, увещевает юношу в противоположном смысле: боги не только существуют, но и делают людям добро и зло. Аристодем возражает: «Я признаю это, когда они будут посылать мне, как, ты говоришь, они посылают тебе, советников для указания, что делать и чего не делать» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 4. 15*).

Речь идет, разумеется, о том же демонии. Что же отвечает Сократ? Банальность: боги и другим тоже являют свою волю, но более привычными средствами — через гадания, предзнаменования и прочие подобные вещи, так чего же, дескать, тебе еще надо? Ксенофонт, как видим, верен себе. Он и тут тоже, — конечно, из благих целей, для оправдания учителя — старается затушевать уникальность сократовского демония, представить его как одно из вполне нормальных средств общения с высшими силами. И разумеется, ради этого вновь настаивает на том, что демоний не только отклонял, но и побуждал к поступкам.

А вот еще один пассаж в абсолютно аналогичном духе. Беседуют Сократ и некий Евтидем (не софист, фигурирующий у Платона, а его тезка, какой-то афинянин⁸). Тема разговора — опять боги. Сократ утверждает:

«Так как мы не можем предвидеть, что нам полезно в будущем, боги и в этом случае нам помогают, указывая вопрошающим их посредством гаданий, какой будет исход дела, и давая наставление, как лучше всего его сделать.

А к тебе, Сократ, сказал Евтидем, боги относятся, по-видимому, еще дружественнее, чем к другим: ты их даже не вопрошаешь, а они тебе дают указания, что делать и чего не делать» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. IV. 3. 12*).

Таким образом, концепция сократовского демония, предлагаемая Ксенофонтом, перед нами как на ладони. Главное ее отличие от толкования феномена Платоном, пожалуй, не столько даже в том, действовал ли демоний только в запретительном или также и в побудительном духе, сколько в другом: для Платона божественный внутренний голос Сократа — нечто невиданное, воистину чудесное, а для Ксенофонта — вещь вполне нормальная, которая, в общем-то, и не должна привлекать особенного внимания.

Один специальный случай действия демония Ксенофонт освещает в связи с судом над Сократом. Незадолго до начала процесса, в период, когда тяжущиеся обычно занимались тем, что тщательно готовили свои судебные речи, «босоногий мудрец» говорит своему ученику и другу Гермогену: «...Я уже пробовал обдумывать защиту перед судьями, но мне воспротивился божественный голос» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. IV. 8. 5).

В маленьком произведении Ксенофонта, специально посвященном сюжету суда над Сократом и являющемся как бы эпилогом «Воспоминаний» или приложением к ним, эпизод, по сути дела, дублируется, причем еще и интенсифицируется. Сократ заявляет Гермогену теперь уже следующее: «Дважды уже я пробовал обдумывать защиту, но мне противится бог» (*Ксенофонт*. Защита Сократа на суде. 4).

А в самой защитительной речи в передаче Ксенофонта философ говорит: «Мне является голос бога, указывающий, что следует делать». Но тут же поясняет: «Ведь и те, которые руководятся криком птиц и случайными словами людей, делают выводы, очевидно, на основании голосов. А гром? Неужели будет кто сомневаться, что он есть голос или великое предвещение? Жрица на треножнике в Дельфах разве не голосом тоже возвещает волю бога? Что бог знает наперед будущее и предвещает его, кому хочется, и об этом все говорят и думают так же, как я? Но они именуют тех, кто предвещает будущее, птицами, случайными словами, приметами, предсказателями, а я называю это божественным голосом и думаю, что, называя так, употребляю выражение более близкое к истине и более благочестивое, чем те, которые приписывают птицам силу богов. Что я не лгу на бога, у меня есть еще такое доказательство: многим друзьям я общал советы и ни разу не оказался лжецом» (*Ксенофонт*. Защита Сократа на суде. 12–13).

Ох, все это мы уже слышали... Нет, не заинтересован Ксенофонт сказать полную правду о демонии. И потому так не согласен с Платоном. Точка соприкосновения между двумя описателями суда над Сократом, в сущности, только одна — констатация того, что философ именно под влиянием демония не подготовил и не произнес защитительную речь традиционного типа, которая могла бы спасти его от смерти.

Кстати, Ксенофонт, который считал себя столь верным и преданным учеником Сократа, однажды не послушался учителя и не то чтобы обманул его, но все же схитрил. Об этом он сам и рассказывает в другом своем сочинении — «Анабасисе». Дело было так: как-то друг Ксенофонта пригласил его отправиться на Восток и принять участие в походе персидского царевича Кира Младшего на своего

старшего брата — царя Артаксеркса II. Ксенофонт загорелся этой идеей, тем более что ему не очень-то хотелось оставаться в Афинах, где в то время моральный климат был крайне неблагоприятен для аристократов и в целом лиц, не слишком симпатизировавших наркодвластию.

Внутри себя Ксенофонт уже принял решение, но следовало и посоветоваться с учителем. Сократ отнесся к намерению ученика не без сомнения — как бы это не повредило молодому человеку в будущем. И он порекомендовал Ксенофону обратиться с запросом к Дельфийскому оракулу. Тот отправился в Дельфы, но вопрос поставил следующим образом: кому из богов нужно приносить жертвы и молиться, чтобы задуманная им поездка оказалась успешной?

Чувствуете уловку? Каков вопрос — таков и ответ: Ксенофону были названы соответствующие божества. Вернувшись в Афины, он поведал обо всем учителю. Сократ с упреком сказал, что не о том нужно было спрашивать, а о другом — ехать ли ему вообще или не ехать. Но уж раз получилось так, как получилось, — то ничего не поделаешь, нужно поступать, как предписал Аполлон. Ксенофонт с радостью принес нужные жертвы и отправился к Киру (*Ксенофонт. Анабасис. III. 1. 5–7*). Сократа он больше никогда уже не увидел, это была его последняя встреча с «босоногим мудрецом».

Характерно, что, излагая весь этот эпизод, Ксенофонт ни словом не упоминает о сократовском демонии. Хотя без демония тут никак не могло обойтись, во всяком случае, если следовать логике самого же Ксенофонта в других его произведениях. Напомним: согласно этому автору, демоний всегда подсказывал Сократу, что ему делать, — и не только в отношении его самого, но и в отношении его друзей. И всегда такие божественные советы были полезны.

Получается, что не какого-то афинского чудака, а самого демония, гласа свыше ослушался благочестивейший Ксенофонт! И что же, пошло ему это во вред? Пожалуй, что нет. Судьба его, как мы знаем, сложилась нелегко, но очень интересно. В глубинах Востока он побывал, повоевал немало и в других местах, имел счастье быть знакомым и другом выдающимся, ярким людям... В целом не бедствовал, прожил долгий век, стал знаменитым писателем, заслужил посмертную славу. А останься он тогда в Афинах — что ждало бы его? Возможно, безвестность: знатному человеку нелегко было делать карьеру в демократических, подчеркнуто-эгалитарных Афинах IV в. до н. э. А могло получиться и хуже: вполне вероятно, что Ксенофонта привлекли бы к суду как сторонника олигархии и он подвергся бы какому-нибудь наказанию, а то и смертному приговору, как его учитель.

Одним словом, у Ксенофонта, думается, никогда в дальнейшем не было мысли раскаиваться в выборе, сделанном в юности, — несмотря на то, что выбор этот был сделан отчасти вопреки Сократу. Вот и вышло, что в данном случае в его рассказе выведен «Сократ без демония».

* * *

Обратимся теперь к некоторым другим свидетельствам о сократовском демонии, принадлежащим более поздним авторам. Специально оговорим: только к некоторым — к тем, которые представляются важнейшими и наиболее достоверными.

Аристотель, который сам знать Сократа не мог, но, вне всякого сомнения, много слышал о нем от Платона в Академии, пишет о демонии как о вещи, безусловно, существующей, но при этом загадочной, требующей и не находящей разъяснения. Разбирая в одном из своих сочинений вопрос об определении понятий, он в качестве первого примера приводит такой: «...что такое [сократовский] «демонион». Есть ли это божество или создание божества? Впрочем или однако, тот, кто думает, что демонион — создание божества, тот необходимо верит в существование богов» (*Аристотель*. Риторика. II. 1398a15 сл.).

Нетрудно заметить, что проблема демония ставится здесь в контекст, весьма волновавший учеников и последователей Сократа (да и не только их), — о смертном приговоре философу за религиозное преступление: был ли этот приговор справедлив? Придумал ли Сократ действительно какого-то нового, «собственного» бога? Или же его демоний имел своим источником богов вполне традиционных?

Знаменитый римский оратор, политик и мыслитель I в. до н. э. Марк Туллий Цицерон весьма интересовался делами божественными. И один из своих многочисленных трактатов («О дивинации»⁹) посвятил специально вопросам, связанным с божественными знаменьями в самых разных их проявлениях. Конечно, не мог он обойти вниманием и сократовский демоний. Приведем соответствующее место:

«Он сам (Сократ. — *И. С.*), как известно из книг, написанных его учениками, сократиками, говорил о себе, что есть нечто божественное, которое он называет «демоном» и которому он всегда повинует-ся, которое никогда не побуждает его, но часто удерживает... Пишут также, что Сократ, увидев своего друга Критона с завязанным глазом, спросил у него, что случилось. Критон ответил, что, прогуливаясь в деревне, он отвел ветку дерева, а когда отпустил ее, она ударила его в глаз. Тогда Сократ сказал: «Это потому, что ты не послушался, когда я, руководствуясь, как обычно, божественным предчувствием,

отговаривал тебя от этой прогулки». Тот же Сократ, когда афиняне под командованием Лахета потерпели поражение при Делии, бежал вместе с самим Лахетом. Но добежав до места, где пересекались три дороги, он отказался следовать той, по которой направились остальные. А спрашивавшим у него, почему он так поступает, Сократ ответил, что бог его удерживает. И вот те, которые побежали по другой дороге, нарвались на вражескую конницу.

Антипатр собрал еще много примеров чудесного предвидения Сократа, но я их обойду, потому что тебе они известны, и мне нет необходимости напоминать о них. Но вот черта в этом философе, которая представляется не только возвышенной, но и почти божественной. Когда он был осужден по обвинению в нечестии, то сказал, что встретит смерть со спокойнейшим духом, потому что ни когда он выходил из дома, ни когда поднимался на помост, с которого произносил речь в свое оправдание, бог не подал ему никакого знака о предстоящем несчастье, обычно ведь бог это делал» (*Цицерон. О дивинации. I. 122–124*).

В трактовке сократовского демония Цицерон, таким образом, примыкает к Платону, а не к Ксенофону: божественный голос только отклоняет от поступков, но не склоняет к ним. С сократическими произведениями Платона великий римлянин, бесспорно, был прекрасно знаком. Но, что интересно, в процитированном пассаже он опирается не только на них: приведено несколько таких примеров «демония в действии», которые у Платона не обнаруживаются. Значит, источник сведений — какой-то другой. Цицерон упоминает, что о демонии писали сократики в целом; но вряд ли он непосредственно штудировал наследие этих многочисленных мыслителей. По сути, он сам выдает, откуда берет информацию, называя имя Антипатра. Имеется в виду Антипатр Тарсийский — достаточно известный философ II в. до н. э., написавший, в числе прочего, труд о божественных знамениях (*Цицерон. О дивинации. I. 6*).

Этот Антипатр принадлежал к стоической школе, что в данном случае особенно важно. Стоики (их учение возникло примерно через век после смерти Сократа) выдвигали в качестве одной из своих важнейших идей абсолютную неизбежность судьбы. В мире нет вообще ничего случайного, будущее заранее предопределено. А если так, то почему невозможно его предсказывать? Потому-то стоики особенно любили писать книги с перечнями примеров удачных предсказаний: ведь это подтверждало их тезис.

Из других поздних авторов Диогена Лаэртского, чувствуется, демоний не особенно интересовал: в своей биографии Сократа он ограничивается лишь кратчайшим замечанием: «Он говорил, что его

демоний предсказывает ему будущее» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 32). А вот Плутарх и Апулей, напротив, посвятили этому явлению по целому сочинению, о чем мы уже упоминали в одной из первых глав. Однако разбирать их трактаты мы здесь не будем. Во-первых, о демонии сказано уже достаточно, — пожалуй, более чем достаточно. Во всяком случае, все основное сказано. Ничего принципиально нового Плутарх и Апулей, в сущности, не прибавляют.

Во-вторых, эти два писателя жили в эпоху Римской империи, в века, когда уже народилось христианство, — одним словом, в совершенно иной духовно-религиозной атмосфере, ни в малейшей мере не напоминавшей ту, которая была в демократическом афинском полисе V в. до н. э., в период жизни Сократа. Само понятие божественного к их времени коренным образом изменилось, и от них не приходится ожидать правильного понимания сократовского демония. Люди стали несравненно более легковерны на разного рода чудеса, чем рационалистичные греки классической эпохи.

Приведем хотя бы такой пример из Плутарха. Якобы однажды Сократ шел куда-то по улице с друзьями. Вдруг он по обыкновению остановился, задумался, а потом объявил, что демоний велит ему свернуть на другую улицу. Философ так и сделал, и некоторые из спутников последовали за ним, хотя из-за этого им пришлось добираться до цели кружным путем. Однако несколько юношей, бывших с Сократом, не послушали его и продолжали идти прямой, краткой дорогой. Вроде бы они даже хотели таким способом показать лживость демония. И что же? Вдруг навстречу им попало стадо покрытых грязью свиней. Афинские улицы были узки, на них выходили глухие стены домов, не оставляя промежутков. Ни разминуться с животными, ни спрятаться не было никакой возможности. Одних свиньи опрокинули, других вымазали грязью, — те, кто желал посрамить Сократа, сами оказались посрамлены (*Плутарх*. Моралии. 580d-f).

Вся эта красочная история совершенно не производит впечатления правдоподобной. Платон или Ксенофонт над ней бы только посмеялись. Странно даже подумать, что божественный голос, звучавший в душе Сократа и руководивший им в серьезнейшие, ответственные минуты, — например, тогда, когда вопрос стоял о жизни и смерти, как на суде над философом, — стал бы размениваться на такие мелочи, как здесь описано: по какой улице пойти, чтобы не натолкнуться на грязных свиней... Перед нами явно поздний анекдот, может быть, и придуманный кем-то специально с юмористической целью.



Вполне понятно, что и в современной исследовательской литературе проблема демония отнюдь не обделена вниманием. Практически каждый ученый, писавший о Сократе, упоминал и о его демонии. Диапазон точек зрения на сей предмет необъятен, и не имеет ровно никакого смысла пересказывать их полностью или хотя бы частично¹⁰. Лучше попытаться поразмыслить над странным (или не странным?) явлением самостоятельно.

Прежде всего, представляется, что чрезмерное, преувеличенное значение придается в современных научных спорах различию между платоновским и ксенофоновским пониманием демония. То есть: запрещал ли только «божественный голос» Сократу делать что-либо или также и побуждал его к поступкам?

Нам этот вопрос представляется если не надуманным, то, во всяком случае, не имеющим принципиального значения. Стоит ли проводить столь уж жесткую грань между запрещением и приказом? Ведь, в сущности, запрещение есть тоже приказ — приказ *не делать* того или иного.

Хотелось бы поговорить о другом. Хотелось бы употребить простенькое, кажется, словечко «совесть». Простенькое, подчеркнем, для нас — именно потому, что нам оно предельно хорошо знакомо и понятно. И потому кажется, что так было всегда. Ничего подобного!

Специалисты по исторической этиологии — науке, изучающей моральные ценности различных эпох и народов, — делят все человеческие культуры на «культуры вины» и «культуры стыда». В первом случае регулятором поведения людей служит некое внутреннее чувство нравственно должного — как раз то, что в христианской цивилизации называют совестью. Во втором же случае человек действует всецело с оглядкой на то, как его оценят другие. Главное — не «ударить в грязь лицом», чтобы не пришлось испытывать стыд.

Античная греческая культура довольно долго оставалась типичной «культурой стыда»¹¹. Интересно, что само понятие «совесть», судя по всему, эллинам архаической и классической эпох было еще вполне чуждо, даже и слова такого в языке не существовало¹².

Для «нормального» грека суждение общины, суждение окружающих — превыше всего. Именно таковы герои Гомера. Им абсолютно чужды те нравственные ценности, которые столь близки нам и которые сопряжены именно с внутренней самооценкой: доброта, милосердие, сострадание... Все это — порождение более поздних эпох, тесно связанное с возникновением христианства. Зато среди витязей, изображенных в эпосе, очень высоко котируются воинская доблесть, величественность, щедрость — словом, то, что характери-

зует человека с «внешней стороны». А ведь именно эти гомеровские герои служили образцом для греков последующих эпох, особенно для аристократов.

Согласно мифам, в греческом войске под Троей вторым по силе и мужеству после Ахилла был могучий герой Аякс. Когда Ахилл погиб, был объявлен конкурс на то, кому достанутся его великолепные доспехи. Аякс не без основания претендовал на них. Но хитроумный Одиссей, убедив своим красноречием главу «жюри» — верховного главнокомандующего Агамемнона, — сумел «обойти» Аякса и получить этот приз. Разгневанный Аякс пылал жаждой мщения. Он решил ночью убить и Одиссея, и Агамемнона, и других вождей греков. Но богиня Афина наслала на него безумие, и вместо врагов он перебил стадо овец. Утром, придя в себя и увидев, что он натворил, Аякс покончил самоубийством, бросился на меч. Его терзали отнюдь не угрызения совести за то, что он хотел убить людей, причем своих же соратников. Совсем наоборот: он сгорал от страшного стыда именно от того, что *не сделал* этого, от того, что совершил промашку и опозорился. Аякс буквально опустошен, жизнь стала ему не мила. Он горестно восклицает:

Увы!
 Ночь, что дня милей, мрак, что солнца свет
 Для меня затмил!
 Я к вам, я к вам всей душой стремлюсь!
 Да, к вам. Не в силах я
 Видеть богов, видеть людей:
 Ни радости, ни пользы нет
 В моем для ближних взоре.
 Дева сильная, Зевса дочь меня
 В смерть позором гонит.
 О, куда бежать? Где приют найти,
 Если родовая рухнула слава?..
 Что ж дальше будет? Явно ненавистен
 Я стал богам; все войско мне враждебно,
 Враждебна Троя и земля кругом...
 С каким лицом пред очи я предстану
 Родителя, без славы, без наград,
 Которых он венец стяжал великий?
 Невыносима эта мысль...
 Нет, нет, не то. Исход найти я должен.
 Пусть твердо знает старый мой отец,
 Что не трусливого родил он сына.

Не стыдно ли желать продленья жизни,
 Когда просвета в горе не видать?..
 Прекрасно жить, иль умереть прекрасно —
 Вот благодетства путь. Я все сказал.
 (Софокл. Аякс. 395 слл., 458 слл., 470 слл., 479 сл.)

Этот довольно длинный трагический монолог (хотя все-таки с сокращениями — на самом деле он еще пространнее) мы привели единственно с той целью, чтобы показать: ничего нет более чуждого всей системе ценностей Сократа, чем то мировоззрение, которое проявляется в словах Аякса. Причем не забудем, что это — Аякс Софокла, поэта, который был современником Сократа, всего-то на полпоколения старше.

Не хотелось бы в связи с Сократом и его демонием утверждать категорично и прямолинейно, что мы впервые в античной и европейской истории сталкиваемся с понятием совести. До этого еще очень далеко; само слово «совесть», повторим, еще не выковалось. Однако же можно, кажется, говорить с определенным основанием о некоем предвосхищении (может быть, чрезмерно раннем) этой категории. И носитель этой «прото-совести» (позволим себе неологизм) — именно Сократ.

Напомним, согласно христианскому пониманию совесть — не что иное, как глас Божий в человеке (как тут не припомнить, что сократовский демоний был именно божественным *голосом!*). Конечно, согласно современному атеистическому определению, совесть — «категория этики, характеризующая способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков...». И т. д.¹³ Но тут все только искусственно усложнено и запутано. Лишнее доказательство того, что автономная светская этика в новой Европе выросла из религиозной, христианской, но стыдливо чурается своего истинного происхождения.

Вернемся к Сократу. Мы уже и видели и в дальнейшем не раз увидим, что, хоть он и жил в классической Греции, его никак нельзя считать типичным образцом классического грека. Напротив того, он был для подавляющего большинства сограждан «белой вороной», сильно опередил свое время.

Сократ, повторим, — грек необычный: он мог — и неоднократно делал это — смело пойти против воли всей общины, всех граждан, если считал, что они не правы. Истина для него даже дороже, чем жизнь, более того — дороже, чем честь.

Сократ был очень уж не похож на современников и эту непохожесть не скрывал. Собственно, именно за то, что он был не таким, как другие, философ в конце концов попал под суд и ему вынесли смертный приговор. Один из главных пунктов обвинительного акта заключался именно в том, что Сократ «вводит новые божества» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 40).

Что же здесь имеется в виду? Да именно сократовский «демоний», «божественный голос». Что это за голос такой странный? — рассуждали афиняне. Ни у кого его нет, а у Сократа есть. Получается, что он общается с какими-то собственными богами, которых больше никто не знает. А это запрещено: полисная религия предписывает чтить только тех богов, которых почитает весь полис¹⁴. В общем, хотим мы того или не хотим, но выходит — Сократ был казнен именно за то, что у него была совесть. Точнее, то, что потом назовут этим словом.

Ответственные тезисы нужно аргументировать. Выверим некоторые нюансы. Можно ли сказать, что демоний пробуждался в душе Сократа тогда, когда имели место ситуации *нравственного* выбора? На наш взгляд — можно. Правда, вроде бы, встречаются в источниках упоминания и о действии демония в случаях совершенно иного рода. То Сократ советует другу Критону не прогуливаться в деревне, а тот поступает по-своему — и в результате получает травму глаза. То он предлагает идти по кружной дороге, а не по прямой — и те, кто его послушался, натываются на свиней... Но легко заметить, что все подобные упоминания содержатся в текстах либо очень поздних, либо сомнительных. Есть все основания не считать достоверными те сообщения о демонии, которые не имеют отношения к нравственности, а описывают какие-то чисто житейские ситуации.

Далее, совесть — это всегда *личный* выбор. В результате камнем преткновения, на первый взгляд, становятся те свидетельства, в которых демоний воздействует не только на самого Сократа, но и на его друзей. Такие места, как мы видели, имеются и у Ксенофонта, и у Платона. Но Ксенофонт — в этом у нас была возможность убедиться — вообще несколько «темнит», заводя речь о демонии. Платон же куда более искренен. Но у него (если не считать проблематичного диалога «Феаг») дело обстоит следующим образом: если к Сократу пытались возвратиться какие-то из отпавших учеников, одних из них демоний разрешал философу принять обратно, других же — запрещал. Иными словами, демоний «беседовал» все-таки напрямую с Сократом, а не с другими людьми.

Подведем итог: сократовский демоний — личный нравственный выбор, облеченный, разумеется, в религиозную форму — воспринимаемый как вещий «божественный» голос. Иначе и не могла в ту эпоху, в Греции V в. до н. э., проявиться идея совести.

НАД ПРОПАСТЬЮ СФИНКСА

Парадоксальным образом, рассказывая о Сократе, постоянно приходится сравнивать его с различными мифологическими персонажами. Причем не очень-то похожими на людей. Уже Алкивиад, прекрасно знавший «босоногого мудреца», говорил, как мы видели, что он больше напоминает не обычного человека, а силена или сатира.

А теперь поговорим об еще одном знаменитом герое эллинских мифов — о Сфинксе. По преданию, сидел он у пропасти и всем проходящим-проезжим загадывал загадку. И долго никто не мог ее разгадать — до тех пор, пока не появился Эдип.

Сфинкс как в восприятии античных греков, так и для нас был и остается символом загадочности. «Загадка Сфинкса» — одно из устойчивых выражений, в пояснениях не нуждающихся. А разве Сократ — не воплощенная загадка? В этом смысле он — самый настоящий Сфинкс.

Как известно, в мифе Сфинкс гибнет, бросается в пропасть, когда загадка его разгадана. Кстати, напомним саму эту загадку: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех?» (а имя победителя, Эдипа, кстати, может быть переведено как «знающий о ногах»). Ответ же на вопрос — «Человек». Ну как тут не задуматься о том, что в древней легенде дано как бы предвосхищение главного предмета интересов Сократа. Ведь именно человек и только человек занимал его мысли, — во всяком случае, в зрелый период его философской деятельности. Излюбленным его лозунгом было, повторим, старинное дельфийское изречение «Познай самого себя!», которому он придал новый смысл: познай самого себя *как человека*. Эдип, разгадав загадку Сфинкса, сказав сакраментальное «Человек», как бы сделал то же самое — познал самого себя. Так что же, Сократ — Сфинкс и Эдип в одном лице? Сам загадывающий загадки и сам же их разгадывающий?

Это верно лишь отчасти. Сократ постоянно ищет определения различных предметов и качеств. А что такое определение? В сущности, ответ на загадку. На простейшую по структуре загадку типа «Что есть добродетель (или мужество, или любовь, или благочестие...)?». Но ведь главный-то парадокс заключается в том, что он эти определения ищет, спорит по этому поводу с собеседниками, но в конце концов, опровергнув их определения как ошибочные, своих-то собственных, верных, он по большей части не дает! Во всяком слу-

чае, такое впечатление остается от сократических диалогов Платона, в которых, можно не без основания утверждать, личность и мысли его учителя отражены наиболее адекватно.

Сократ всегда что-то оставляет нераскрытым, не до конца объясненным. Как будто бы он — действительно тот самый Сфинкс, не желающий, чтобы загадка была полностью разгадана: пусть какая-то пелена тайны все же останется над ней...

Мы напрямую выходим на одну из ключевых проблем, связанных с Сократом: каков же его вклад в развитие философской мысли? В чем он заключается? И, соответственно, в чем суть его учения? Уже только поднять этот вопрос — как броситься в бушующее море. Море самых различных, порой противоположных мнений. На некоторых из таких мнений мы вскоре еще остановимся. А пока процитируем полностью знаменитое место из Аристотеля, которое, как справедливо считается, является ключевым для понимания пресловутого «вклада Сократа».

«...Сократ исследовал нравственные добродетели и первый пытался давать их общие определения (ведь из рассуждавших о природе только Демокрит немного касался этого и некоторым образом дал определения теплого и холодного; а пифагорейцы — раньше его — делали это для немногого, определения чего они сводили к числам, указывая, например, что такое удобный случай, или справедливость, или супружество. Между тем Сократ с полным основанием искал суть вещи, так как он стремился делать умозакключения, а начало умозакключения — это суть вещи: ведь тогда еще не было диалектического искусства, чтобы можно было, даже не касаясь сути, рассматривать противоположности, а также познает ли одна и та же наука противоположности; и в самом деле, две вещи можно по справедливости приписывать Сократу — доказательства через наведение и общие определения: и то и другое касается начала знания). Но Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни определения» (*Аристотель. Метафизика. XIII. 4. 1078b17–32*).

Последнее сказано, несомненно, в пику Платону — ученику Сократа и учителю Аристотеля. Платон, как известно, признавал особый мир идей, существующий отдельно от нашего материального мира и, более того, первичный по отношению к нему. Аристотель же считал, что дискуссия о том, что первично — идея (форма) или материя, — не более плодотворна, чем спор «о курице и яйце», поскольку эти два начала есть в каждой вещи — не отдельно, а неотрывно друг от друга. Неудивительно, что он хочет и в Сократе видеть своего союзника. Впрочем, «босоногого мудреца» стремились задним числом сделать союзником все мыслители, которые с ним не враждовали, будь то тот

же Платон или Ксенофонт, Аристипп или Антисфен... О позиции самого Сократа это еще ничего не говорит.

Но нужно подробнее рассмотреть и истолковать процитированный отрывок из Аристотеля, поскольку без комментария он довольно сложен для понимания. Итак, что же следует из слов Стагирита?¹

Сократ исследовал нравственные добродетели. Действительно, сказанное никакому сомнению не подлежит. Если не считать исканий времен своей молодости, он не испытывал интереса к натурфилософским проблемам, не пытался раскрыть тайну происхождения мира, а всецело посвятил себя изучению человека как существа, обладающего нравственностью, что означало почти исключительное внимание мыслителя к проблемам этическим. Это нам уже прекрасно известно.

Далее, Сократ, согласно Аристотелю, стремился делать умозаключения. Речь идет о так называемых силлогизмах — дедуктивных рассуждениях, состоящих из двух посылок (их принято называть большей и меньшей) и вывода, который из них делается. Пример простейшего силлогизма, приводившийся еще в дореволюционных гимназических учебниках: «Все люди смертны. Гай — человек. Следовательно, Гай смертен». В этом примере первая фраза — большая посылка, вторая — меньшая, третья — вывод.

Огромное достоинство силлогизма заключается в том, что, если его правильно построить, умозаключение обязательно будет верным; какие-либо ошибки в выводе совершенно исключены. Силлогизм — основа любой дедукции, да и в целом важнейший, неотъемлемый элемент классической формальной логики. «Отцом» этой философской дисциплины традиционно считается сам Аристотель. И действительно, его трактаты по логике (их цикл известен под названием «Органон») довели ее разработку до такой степени совершенства, которая вряд ли кем была превзойдена в последующие века. Однако, как видим, Аристотель готов поделить честь первооткрывателя, причем именно с Сократом, с которым он связывает обращение к силлогизмам.

Далее, Аристотель приписывает Сократу и изобретение доказательств через наведение. А здесь имеются в виду индуктивные доказательства. Индукция, наряду с дедукцией, — второй главный способ аргументации в логике. В отличие от дедукции, которая представляет собой путь от общего к частному, индукция — это, напротив, путь от частного к общему: на основании ряда конкретных, отдельных, но аналогичных случаев делается принципиальный вывод общего характера. Индуктивный метод, в отличие от дедуктивного, не гарантирует безошибочности. Зато с его помощью можно получить новое знание,

а с помощью дедуктивного — фактически нет: в силлогизме вывод не содержит в себе чего-то такого, что уже не содержалось бы в посылаках. Поэтому для наиболее полного постижения действительности дедукция и индукция должны применяться в сочетании. А мы здесь подчеркнем, что Аристотель, получается, считает Сократа основателем не только дедуктивных, но и индуктивных умозаключений, т. е., по сути, делает его, а не себя, «отцом логики», себе оставляя более скромную роль продолжателя, развивающего и совершенствующего уже открытое.

Аристотель отмечает еще — и это очень важно! — что Сократ давал общие определения. Но давал ли? Во всяком случае, если верить раннему Платону, от этого-то он как раз и уходил: развенчав и отвергнув традиционные, не-философские определения того или иного предмета, в конце концов оставлял собеседников в недоумении. Все та же нарочитая загадочность, позволившая нам чуть выше сравнить Сократа со Сфинксом. Однако ведь точка зрения Платона — не единственная. Согласно Ксенофону, в Сократе вовсе не было этой пресловутой загадочности; если уж он хотел что-то определить, то определял. Сократовские беседы в изложении Ксенофонта не имеют «открытых концовок», в отличие от многих диалогов Платона. Похоже, Аристотель разделяет именно эту традицию понимания специфики мышления Сократа.

Наконец, укажем и вот на какую аристотелевскую характеристику: Сократ искал суть вещи. Эта категория — одна из важнейших для древнегреческой философии, особенно для самого Аристотеля. «Суть вещи» — один из относительно удачных вариантов русского перевода соответствующего термина, который в оригинале означает дословно «что это?». Есть и другие варианты перевода; например, предлагалось для наилучшей передачи смысла выражения ввести специальный неологизм «чтойность». Но это вряд ли чем-то помогает, скорее, только запутывает. Во всяком случае, ясно, что имеется в виду тоже определение, причем не формальное, а по существу предмета. Определение-характеристика, которое включало бы в себя все основные свойства определяемого предмета или качества. Такие определения могут быть весьма подробными и пространными, растянувшимися на многие строки.

* * *

О том, что загадка Сократа-Сфинкса не была в полной мере разгадана не только в античности, но и учеными Нового времени, даже и по сей день, можно судить хотя бы в высшей степени характерному обстоятельству: в исследовательской литературе по истории

философии встречаются самые разнообразные, порой противоречащие друг другу суждения о сущности его учения. Это верный знак того, что что-то недопонято. Все существующие мнения мы, конечно, привести, не можем. Уже самое краткое изложение потребовало бы толстого тома. Да и кто может похвастаться, что ему знакомо *всё*, что когда-либо было написано о Сократе? Однако некоторые важнейшие точки зрения необходимо охарактеризовать. У них, конечно, обнаружатся и общие черты, — как-никак, речь идет об одном и том же человеке, — но не меньше будет черт отличительных. А на некоторые вопросы, связанные со взглядами «босоногого мудреца», у современных исследователей просто нет ответа — только недоумение.

Эдуард Целлер, выдающийся немецкий ученый XIX века, автор одного из лучших общих очерков истории древнегреческой философии, до сих пор остающегося классическим: «Сократ хотел ограничиться этическими исследованиями... Средоточие сократовой этики лежит, в соответствии с основным направлением ее автора, в сведении добродетели к знанию. По мнению Сократа, невозможно не только делать надлежащее, если не знаешь, но и не делать его, если знаешь. Ибо так как добро есть не что иное, как то, что полезно действующему, а всякий желает своего собственного блага, то, как полагает Сократ, немыслимо, чтобы кто-либо делал что-либо иное, чем то, что он считает благом: никто не может быть добровольно дурным... Все добродетели, таким образом, сводятся к одной: знанию, или мудрости... Но что такое есть то добро, знание которого делает добродетельным, определить это тем труднее для Сократа, что его этика лишена всякого антропологического или метафизического основания. Поэтому он, с одной стороны, объявляет, что справедливо то, что соответствует законам государства и неписаным законам богов; с другой стороны, однако — и это есть более обычное и более последовательное у него, — он пытается открыть основание нравственных законов в успехе соответствующих им действий, в их пользе для человека... Как на нечто безусловно полезное и прежде всего необходимое Сократ, впрочем, указывает... на заботу о душе и ее совершенствовании: но его несистематическое трактование этических вопросов не позволяет ему строго проводить эту точку зрения... Правда, содержание сократовой морали, даже там, где ее научное обоснование недостаточно, оказывается всегда чрезвычайно благородным и чистым»².

Интересуют Сократа и вопросы религиозные, проблема отношений между людьми и богами. «...Он должен отдать себе отчет в основаниях веры; и, пытаясь сделать это, он, вопреки своему принци-

альному уклонению от всякого чисто теоретического умозрения, почти против воли становится зачинателем того понимания природы и Божества, которое до нынешнего дня оказывало определяющее влияние... Устройство мира может проистекать только от мудрости и благости миротворящего разума, а последний мы можем искать лишь у богов»³.

Таким образом, Целлер отмечает у Сократа и прагматизм в этике, и — одновременно — высокое благородство, искреннюю религиозность. Не можем, впрочем, не оговорить, что характеристика этим ученым сократовским взглядам несколько отдает типично немецким филистерством. Самое главное — неприятно бросается в глаза высокомерно-снисходительное отношение Целлера к Сократу, этакое «похлопывание по плечу». Вот, дескать, Сократ что-то недопонял, что-то недостаточно продумал... Подразумевается: зато уж мы-то, дети просвещенного века, все в полной мере поняли и все должным образом продумали. Куда уж до нас Сократу!

Нам такая позиция предельно не близка. Правильно сказал кто-то: если мы и видим дальше людей предшествующих поколений, то только потому, что мы — карлики, стоящие на плечах гигантов. Да и вообще следовало бы задуматься: а действительно ли мы видим дальше таких мыслителей, как Сократ, Платон, Аристотель? Но оставим сантименты. Констатируем только, что мнение Э. Целлера стало очень авторитетным и, по сути, определило понимание сократовской философии для многих.

Теодор Гомперц, соотечественник и современник Целлера, автор известной книги «Греческие мыслители»: «Никто не делает ошибок добровольно — эти слова выражают суть сократизма... Иными словами, кто знает, что правильно, тот так и поступит: недостаток понимания есть единственный источник всякого морального несовершенства. Теперь нам понятно, почему Сократ придавал такое огромное значение прояснению понятий... Сократ рассуждает так, как если бы, говоря словами Аристотеля, неразумной части души не существовало вовсе. Все поведение определяется интеллектом... Для Сократа совершенно несомненна тесная связь между моральным совершенством и счастьем, с одной стороны, и моральным несовершенством и несчастьем — с другой; поэтому только ослепление, граничащее с безумием, может заставить избрать последнее и отказаться от первого... Правила индивидуального поведения идут рука об руку с правилами общественной практики... Утилитарную мораль или, как мы предпочитаем называть ее, мораль последствий мы вполне уверенно можем приписать Сократу... Он хотел только принципиального признания верховенства разума...»⁴.

Как видим, в целом — все ровно то же, что и у Целлера. Разве что сказано несколько более цветисто и многословно (места, отличающиеся особыми длиннотами, мы опустили). Интеллектуализм и этический утилитаризм — то, что выделяет Гомперц у Сократа. И как и у Целлера, мимоходом, рассматривается еще один компонент воззрений «босоногого мудреца» — его религиозность. «Сократ вообще в вопросах веры держался середины. Он не был ни атеистом, ни верующим на старый образец... Он считал, что служит Божеству и находится под его защитой. Это, однако, еще не решает вопроса о природе его теологической веры»⁵.

Все-таки бросается в глаза, что эти немецкие ученые были протестантами до мозга костей. Протестантизм — религия предельно рациональная. И несомненно, Целлера и Гомперца приводило в глубокое недоумение то, что Сократ, — казалось бы, такой рационалист, что дальше уж некуда, — в области религиозной позволял себе какие-то иррациональные суждения. Утверждал, что божественный голос — демоний — дает ему советы; признавал авторитет Дельфийского оракула... Позитивистская точка зрения, на которой стояли названные исследователи, неизбежно порождала внутренние противоречия в их концепциях философии Сократа. И подобная позиция не могла не вызвать реакцию.

Князь С. Н. Трубецкой, видный представитель русского философского ренессанса «Серебряного века», друг Владимира Соловьева, в конце жизни — ректор Московского университета (1905 г.): «Личность в высшей степени оригинальная, загадочная в самой своей цельности и многогранности, Сократ умел совмещать в себе трезвую рассудочность с духовной прозорливостью, скептический рационализм с религиозностью...»⁶. То, что для специалистов из Германии выступает неразрешимым противоречием, камнем преткновения, — для отечественного мыслителя нормальная диалектика живой, многогранной личности.

Трубецкой спорит с Целлером, подчеркивает нюансы, которые от того ускользнули, например: «Душа, разумный дух, его превосходство, его красота и доблесть — вот единственная истинная ценность (для Сократа. — И. С.), по которой расцениваются все прочие ценности. Путь к ее познанию есть нравственный опыт — новая область, открываемая Сократом. Этот путь заключается в самопознании или самоиспытании и в разумном нравственном общении с ближними... Сократ ставил требование — найти объективные теоретические и практические, логические и этические нормы... Чтобы правильно поступать, правильно жить, нужно прежде всего *знать* правду, знать добро, знать истинное благо человека. Но чтобы *знать* что бы то

ни было, нужно уметь отличать истину от лжи, истинное знание от ложного или мнимого... Знание нельзя передавать или преподавать внешним образом — можно лишь будить стремление к нему. Каждый должен *черпать его из самого себя* посредством самоиспытания и самопознания... Все добродетели сводятся к знанию. Понимаемая таким образом, этика Сократа получает интеллектуалистический, мало того, рассудочный характер и является крайне односторонней, заслуживая упреки Аристотеля. Но надо помнить, что Сократ не противопоставлял знания добра — доброму действию; мудрость являлась ему практической, действенной: правда и сила добра столь велики, что нельзя *знать добро и не делать его*»⁷.

Трубецкой не может признать постулировавшуюся предшествующими учеными наибольшую важность чисто утилитарных воззрений в этике «босоногого мудреца». «Утилитаризм Сократа... является лишь подчиненным моментом его учения. Превращение всей философии в этику и сведение всякой добродетели к всеобщему по природе “знанию” достаточно указывают, что Сократ не мог полагать всеобщей цели нравственной деятельности в совокупности удовольствий или внешних выгод, ею доставляемых... Сократ ищет абсолютного, безотносительного блага человека, т. е. такого, которое составляет цель само по себе, без отношения к другой высшей цели... *Высшее благо человека есть благо его разумного духа*... Таким образом, добродетель не основывается на счастье, а счастье основывается на истинном знании правды, законного в отношении к богам и к людям, и знание добра не основывается на действующих человеческих законах, но самые эти законы должны основываться на знании истинного добра, соотносываться с вселенским законом»⁸.

Признавая душу, дух, духовность главными для Сократа ценностями, Трубецкой, соответственно, не видит и в религиозных элементах сократовских воззрений чего-либо не соответствующего общему, казалось бы, рационалистическому настрою его мышления. Напротив, один из разделов своей главы о герое нашей книги он озаглавливает «Богословие Сократа» и пишет в нем: «Богословие вытекает из всей философии Сократа. Как сам он указывает в своей апологии, человек, сознающий ничтожество своего знания, тем самым признает бесконечность и безусловность знания совершенного, божественного»⁹. На наш личный взгляд, позиция русского философа в целом глубоко верна, хотя все-таки несколько идеализирует Сократа.

Не будем, впрочем, думать, что только в рамках отечественной религиозно-философской мысли предлагались более удачные (по сравнению с Целлером) трактовки сократовской философии. Предоставим слово еще одному немцу — Вернеру Йегеру, одному из

крупнейших в первой половине XX века исследователей древнегреческой культуры. Он знакомит читателей с основными точками зрения об учении Сократа, с «двумя противоположными взглядами на этот вопрос. Одни полагают, что Сократ был не философом, а только создателем новой нравственности. Другие, наоборот, считают его родоначальником спекулятивной философии...»¹⁰.

Какова же позиция самого Йегера в этой дискуссии? Он считает Сократа прежде всего «величайшим учителем, самой яркой фигурой в истории воспитания западного человека... Для определения места Сократа с его антропоцентризмом в истории греческой философии необходимо обратить внимание на его интерес к той великой духовной силе, какой была в древности медицина»¹¹. Таким образом налицо совершенно новые ракурсы в сократовской мысли, которые хочет осветить исследователь.

Йегер указывает на предельную важность для Сократа понятия души. «Сократ произносит это слово как заклинание — страстно и проникновенно. Здесь впервые в литературе Западного мира мы встречаемся с понятием “души”... Что было нового в мировоззрении Сократа — так это его вера в то, что человек не может достигнуть гармонии с Бытием, угождая своим чувствам и удовлетворяя плотские потребности... Только сознательным ограничением человек может обрести свою душу... Представление Сократа о душе как величайшей человеческой ценности придало всему его существованию иной смысл: основным становится обращение к внутренней жизни человека... Забота о душе — это богослужение»¹². Еще один мостик между сократовской этической философией и сократовской религиозностью, который не склонны были замечать ученые XIX века.

В те годы, когда писал В. Йегер, уже в полной мере созрел талант А.Ф. Лосева — мыслителя, которого многие называют завершителем русского «Серебряного века» и который в то же время был еще нашим современником. Античная философская мысль на протяжении многих десятилетий была главным предметом интересов Лосева. Разумеется, неоднократно обращался он и к проблеме Сократа, прекрасно осознавая всю сложность этой проблемы:

«Сократа трудно уложить в какую-нибудь ясную и простую характеристику. В нем все бурлило и не меньше бурлило, чем у софистов, и притом бурлило гораздо глубже, принципиальнее, опаснее. Сократ — ироник, эротик, майевтик. В нем какая-то нелепая, но бездонная по глубине наивность, вполне родственная его безобразной наружности... *Этот человек хотел понять и оценить жизнь...* Сократ — поставил проблему жизни, набросился на жизнь как на *проблему*... Сущность сократовской эстетики... — это то, перед чем

остановился бы всякий Гомер, всякий Пиндар и Эсхил, даже всякий Софокл: *прекрасное то, что разумно, что имеет смысл*. Это какой-то необычайно трезвый греческий ум... Он... старается все единичное обязательно возвести при помощи рассудка во всеобщее и тем самым уже перейти от пестрой смены жизненных переживаний к их обобщенной проблематике. Вот почему в плане декаданса Сократ идет гораздо дальше, чем шли софисты»¹³.

Итак, для А.Ф. Лосева Сократ — в некотором смысле «декадент». Однако ученый оговаривает, что взгляды Сократа «вовсе не обязательно понимать узкорационалистически... Вместо обычного навязывания Сократу узкоутилитарного подхода к проблеме прекрасного последнюю нужно понимать именно как проблему целесообразности вообще. О полезности можно говорить *только как о развитии телеологии*»¹⁴.

Поясним: телеология — философское учение о цели и целесообразности. Согласно телеологическому принципу, главное в ходе вещей — не причина, а цель, не «почему», а «зачем, для чего» что-либо совершается. Венцом античного телеологизма является, бесспорно, учение Аристотеля. Ведь, согласно Аристотелю, цель — это тоже своего рода причина («конечная причина», как он выражается), оказывающая объективное воздействие на ход процесса. Телеологическое мышление в целом характерно для античности, и Сократ — не исключение.

А.Ф. Лосев считает, что для Сократа характерно «выдвигание интересов реального живого тела... У него (и у Ксенофонта) одно решение вопроса все же безусловно берет верх над другим, и это решение — в плоскости общеантичного преклонения перед здоровым и хорошо сложенным человеческим телом»¹⁵. Позвольте, все тело и тело, а как же душа, о которой столь часто упоминали, как мы видели выше, Трубецкой, Йегер (да и не только они)? Нет, Лосев и об этом не забывает. «Главным предметом его (Сократа. — И. С.) философствования является человеческое сознание, душа, дух...»¹⁶. Перед нами противоречие? Не большее, чем в учении самого Сократа (если таковое было).

В своей заключительной характеристике «босоногого мудреца» Лосев высказывает ряд замечательных суждений об общем облике его как мыслителя, не можем удержаться от того, чтобы процитировать некоторые из этих суждений:

«Этот общий облик — загадочный и страшноватый. В особенности не ухватишь этого человека в его постоянном иронизировании, в его лукавом подмигивании, когда речь идет о великих проблемах жизни и духа. Нельзя же вечно быть добродушным. А Сократ был

вечно добродушен и жизнерадостен. И не тем бесплодным стариковским добродушием он отличался, которое многие принимают за духовную высоту и внутреннее совершенство. Нет, он был как-то особенно ехидно добродушен, саркастически добродушен. Он мстил своим добродушием. Он что-то сокровенное и секретное знал о каждом человеке, и знал особенно скверное в нем. Правда, он не пользовался этим, а, наоборот, покрывал это своим добродушием. Но это — тягостное добродушие...

У Сократа именно все это было, эта имитация истины, не приказывающей, но аргументирующей, эта вульгаризация и демократизация истины, этот дурной тон базарных словесных турниров, эти усмешки и сатировские улыбочки, все это было у Сократа, и все это было его силой... Его улыбки приводили в бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язвительного, ничем не побежденного, для большинства даже просто отвратительного (ну, уж тут-то явный перебор! — И. С.) старикашку можно было только убить. Его и убили...

Сократ — отсутствие всякой системы и науки. Он весь плавает, млеет, дурачится, сюсюкает, хихикает, залезает в глубину человеческих душ, чтобы потом незаметно выпрыгнуть, как рыба из открытого садка... Сократ — тонкий, насмешливый, причудливый, свирепый, прошедший всякие огни и воды декадент. Около него держи ухо востро... Что-то такое знал этот гениальный клоун, чего не знают люди... Жуткий человек! Холод разума и декадентская возбужденность ощущений сливались в нем в одно великое, поражающее, захватывающее, даже величественное и трагическое, но и в смешное, комическое, легкомысленное, порхающее и софистическое. Сократ — это, может быть, самая волнующая, самая беспокойная проблема во всей истории античной философии»¹⁷.

* * *

Прекратим пока цитирование, сделаем небольшое отступление. Таких ярких, можно сказать — вдохновенных слов о Сократе, какие только что были приведены, пожалуй, больше вообще никто не сказал. А между тем за этими словами скрывается недоумение, и А.Ф. Лосев его не скрывает, не претендует на то, что ему удалось разгадать «загадку Сократа». Нет, даже для этого выдающегося спе-

циалиста над «босоногим мудрецом» остается покров тайны — беспокойщей, тревожащей...

Нам такая позиция представляется более честной и поэтому более правильной, чем попытки описать учение Сократа путем его упрощения и затушевывания противоречий. А именно подобный подход преобладает в научной литературе. Суждения Лосева — крайни (порой до такой степени, что с ними трудно согласиться), изобилуют противоречиями и парадоксами. Но именно поэтому они особенно конгенциальны «сократовскому духу», в наибольшей степени передают его. Разве не был сам Сократ вдохновенным парадоксалистом, сотканным из противоречий и несоединимых крайностей, которые он как-то сумел примирить себе, сделав то, что никому больше не удавалось?

Рассмотрим теперь еще некоторые точки зрения на Сократа как мыслителя, предлагавшиеся в последние десятилетия. Ф.Х. Кессиди, исследователь античной философии, написавший о Сократе книгу, на ее протяжении аргументирует свои представления о взглядах афинского мудреца, а в заключении кратко излагает ту точку зрения, которой он придерживается. Сделаем ряд выписок.

Сократ придерживался «идеи о том, что добродетель при всем ее многообразии и при всей противоречивости ее проявлений едина и одна... Выдвинув духовные ценности на первый план, Сократ считал их создание главной целью человеческой жизни... Область идеального, открытая Сократом, не выступила в его учении как самостоятельная сфера деятельности... Этот шаг был сделан Платоном»¹⁸. Итак, Сократ прежде всего как предтеча Платона (следовательно, и Аристотеля) — мнение, весьма распространенное в науке. Хотя, строго говоря, есть в нем, во-первых, определенный телеологизм (мы уже знаем, что это такое): как будто Сократ заранее знал, что за ним придут Платон и Аристотель. При всей своей прозорливости об этом, конечно, он не мог догадываться. Во-вторых, налицо односторонность: берется один аспект из многогранной сократовской философии и объявляется главным. А как мы можем априорно знать, что у Сократа было главное, а что — не главное? Кроме того, он в этой картине обрекается на второстепенную роль «предшественника», «подготовителя». Получается, если Платон не появился бы, то деятельность Сократа не имела бы самостоятельной ценности? А как же множество философских школ, возводивших свое происхождение к Сократу — даже если не учитывать Платона? По сути, почти все последующие античные философские учения (кроме разве что эпикуреизма) растут из Сократа, как из общего корня.

«Сократ провозгласил: добродетель есть знание. Но не всякое вообще знание, а лишь добра и зла, знание, которое ведет к правильным,

добродетельным поступкам. На этом основании он пришел к выводу о том, что никто не зол по своей воле, а лишь по неведению»¹⁹. Этот тезис — один из главных сократовских парадоксов, и мы на нем еще остановимся, — подмечается, естественно, каждым, кто когда-либо писал о философе. Разница заключается в том, что одни осознают данный ход мысли именно как парадокс, другим же он кажется чем-то нормальным и логичным. Ф.Х. Кессиди, как видим, принадлежит к последним.

«С этическим интеллектуализмом Сократа связано индивидуалистическое решение им вопроса о нравственном совершенствовании. По Сократу, добродетель приобретается в результате самопознания, «заботы о душе», самосовершенствования»²⁰. Так-то оно так, однако две процитированные фразы, хотя вторая из них сразу следует за первой, противоречат друг другу. При этом вторая верна: Сократ действительно в каких-то случаях утверждал, что добродетели можно научиться. Да и первая фраза тоже верна: совершенствование каждой души чисто индивидуально, и в этом смысле добродетели нельзя научиться, это Сократ тоже утверждал — в каких-то других случаях. Случалось, что оба тезиса звучали из его уст даже в ходе одного и того же разговора (как в «Протагоре» Платона). И то, и другое высказывание рисуют нам какие-то детали представлений Сократа, а будучи поставлены рядом — порождают диссонанс.

В.С. Нерсисянц, юрист, специалист по правовым и политическим учениям античности. В его книге о Сократе собственно философской стороне уделено не столь уж и много места: в основном разбираются, как и следовало ожидать, воззрения философа на государство, а также перипетии его биографии. Впрочем, несколько страниц все-таки посвящено и особенностям сократовского философского учения.

«В центре всего сократовского философствования стоят вопросы о нравственных добродетелях, моральных качествах человека. По существу своему учение Сократа — это философия морали, этика. Этически сориентирована и его теория познания, гносеология»²¹. Да, все это охарактеризовал уже Аристотель, причем не столь многословно.

«Истоки и знания, и нравственности восходят, по Сократу, к богам. Мерой человеческой добродетели оказывается мера его приобщения к божественной мудрости, и процесс познания приобретает характер морального действия, нравственного акта. Обозначенный Сократом путь познания и есть путь добродетели»²². А вот это, между прочим, на самом деле тонко и хорошо сказано. Нам предлагается некий ключ, разгадка наболевшего вопроса о том, почему для Сократа добродетель совпадает со знанием и человек, познавший, что есть добро, не сможет уже творить зло. Если считать связующим

звеном религию, то все становится на свои места. Но... такое простое решение проблемы будет истинным только в том случае, если мы уподобим религиозные верования античных греков какой-нибудь из современных мировых религий с их отчетливым приоритетом морали. Но как раз вот этим-то древние религии и не отличались. Для них характерно не только несовпадение религии и этики, но, более того, их коллизия²³.

«Истинное познание — познание посредством понятий — доступно, по сократовской концепции, лишь немногим, мудрецам, философам. Но и им доступна не вся мудрость, но лишь незначительная часть ее... Человек, по Сократу, был бы вообще лишен разума и знания, если бы в нем, наряду со смертным телом, не было бы бессмертной души... Положение о бессмертии души занимает ведущее место в моральной философии Сократа, определяя смысл и цели человеческого бытия в мире, его жизни и смерти»²⁴. А между тем многие известные специалисты по Сократу вообще отрицают, что он имел сколько-нибудь развитое учение о душе (в одной из предыдущих глав приводилось, например, подобное мнение, принадлежащее Г. Властосу), и считают, что вся эта проблематика была приписана ему Платоном, чей интерес к душе несомненен.

«Моральная философия Сократа исходит из ясности и решенности того, как должно жить. Поэтому человек в ней не стоит в мучительной и темной ситуации этического выбора. Можно даже сказать, что Сократ не оставляет человеку морального выбора: выбор предопределяется знанием, поскольку добродетель — это знание, а пороки и зло творятся по незнанию, неведению»²⁵. Какой-либо коллизии, парадокса автор и этой книги, похоже, здесь тоже не видит, хотя, как мы знаем, именно этот сократовский тезис особенно часто смущал исследователей. Да и в целом сказано слишком категорично, не можем согласиться с такой трактовкой представлений Сократа о нравственности. Между мыслью «Умышленное зло невозможно»²⁶ и мыслью «Выбора нет», как говорится, дистанция огромного размера. Ведь в сократовском философском арсенале, помимо понятия знания, есть еще и понятие правильного мнения.

В.С. Нерсисянц утверждает, что, согласно Сократу, «добродетели научиться нельзя»²⁷. И опять перед нами некоторое преувеличение. Знание — если говорить об истинном знании, — в понимании «босоногого мудреца», действительно недоступно человеку, оно относится к сфере божественного. Однако возможно ведь достигнуть добродетели и посредством опоры на правильные мнения; иначе никакой добродетели вообще не существовало бы в нашем мире, а это не так.

Э.Д. Фролов, известный историк античности, посвятивший ряд работ интеллектуальным исканиям древних греков, пишет о Сократе: «Его внимание сосредоточилось на главном в этой жизни — на самом человеке, на постижении его судьбы, его предназначения, смысла его жизни... Знание открывает человеку путь к добродетельному образу жизни, посредством которого человек реализуется как личность... Замечательным было это соединение зрелого рационализма и возвышенной этики — оно доставляло сократовской проповеди силу необоримой убежденности»²⁸. Если бы так! Если бы взгляды Сократа казались безусловно убедительными всем его собеседникам, а не только кругу учеников-последователей...

«Исходным моментом в этой (сократовской. — И. С.) системе служит своего рода аксиома — наивное и чистое, вполне в духе классического оптимизма убеждение в целесообразности человеческой жизни»²⁹. Коснувшись хорошо известного положения Сократа о том, что никто не делает зла добровольно, Э.Д. Фролов дает следующую характеристику: «Эту позицию Сократа можно было бы определить как своего рода интеллектуальный детерминизм, доведший рано развившееся у греков представление о первостепенном значении разума до крайних пределов... Но если одной из причин этого интеллектуального детерминизма был собственно рационализм... то другая причина была уже чисто нравственная. В эпоху начавшегося политического и морального разложения необходимо было противопоставить модным скептическим и нигилистическим концепциям веру в положительные ценности жизни, в нравственный идеал, в добродетель, — веру, которую, однако, в эту эпоху нельзя было с успехом обосновать иначе, как средствами логики»³⁰.

Здесь не можем не упомянуть, во-первых, что, когда Сократ начинал учить — а это «Периклов век», период высшего расцвета классической Греции, — ни о каком политическом разложении не могло еще быть и речи. Афины гордо претендовали на то, чтобы быть гегмоном эллинов, и их силы казались неисчерпаемыми. Да и моральное разложение (хоть оно и коренилось действительно в движении софистов, зачавших к афинянам при Перикле) в полной мере проявилось уже позже, в Пелопоннесскую войну, и роль Протагора со товарищи стала понятна лишь «задним числом». Не в первый раз Сократу приписывается какое-то сверхчеловеческое предвидение, умение угадать, во что выльется та или иная только что наметившаяся тенденция. От подобной чести «пророка» он, думается, и сам бы отказался, поскольку был человеком безусловно здравым.

Во-вторых, называть Сократа детерминистом (хотя бы и интеллектуальным) тоже, нам кажется, неверно. Детерминизм признает

предопределенность, отрицает свободу. Но повернется ли язык называть Сократа — известного своим свободомыслием борца с любой традиционной косностью — врагом свободы?

Историк философии А.С. Богомолов в книге об античной диалектике дает о Сократе следующий отзыв: «Очевидно, что Сократ... критикует вовсе не общепринятые оценки и взгляды на жизнь, но, наоборот, те, которые общепринятыми не были... Сумел ли сам Сократ "просто и коротко"³¹ ответить на вопросы о сущности справедливости, или прекрасного, или мужества?.. Сократ убежден в существовании одного-единственного верного определения общего понятия. А как его достичь? Ответ Сократа или достаточно поверхностен, как в сократических произведениях Ксенофонта, где справедливое определено как соответствующее законам, а прекрасное — как полезное, или сугубо мистичен, как у Сократа платоновского»³².

Итак, наличие парадоксов в сократовских взглядах ученый, бесспорно, признает, более того, указывает, что эти парадоксы были замечены уже Аристотелем и даже Платоном³³. Имеется в виду, например, «Протагор» Платона, где Сократ вначале утверждает, что добродетели нельзя научить, а к концу диалога приходит к выводу, что все-таки можно.

«Сократ все же слишком уж уповаet на знание, как будто не замечая того, что ни он сам, ни кто-либо из его собеседников не в состоянии дать достоверное определение добродетели, справедливости, прекрасного. Тем самым его моральная концепция оказывается неспособной отразить живые реалии греческого общества, порожденную им личность... И тем не менее концепция Сократа необычайно привлекает своей убежденностью в разумно-нравственном характере людей, в возможности и необходимости сочетания разумного проникновения в природу человека и природу добродетели с превращением полученного знания в убеждение и в руководство к действию»³⁴. Впечатление, что вновь читаем Целлера, только изложенного другими словами.

«Фактически Сократ «открыл» не более как философски осмысленные и прорефлектированные традиционные представления, но в глазах афинян они представляли собой опасные и вредные фантазии, абстракции и блуждания в облаках. Иначе говоря, нравственный и гносеологический абсолютизм Сократа обернулся в глазах афинян моральным и познавательным скептицизмом. И здесь своя диалектика — *противоположности сходятся*»³⁵. Интересное высказывание. Хотя, впрочем, разве был когда-нибудь строго доказан известный тезис гегелевской (не сократовской) диалектики о единстве противоположностей — тезис, которым не раз грубо злоупотребляли. На-

пример, марксисты, которые все, по определению, являются гегельянами, поскольку гегельянец — сам Маркс.

И наконец, проиллюстрируем цитатами то, что писал о Сократе М. К. Мамардашвили, философ, который в советские времена замалчивался из-за своих немарксистских взглядов и стал по-настоящему широко известен только после своей кончины в 1990 г. В посмертно изданных лекциях по античной философии он выражается, как всегда, оригинально:

«Сократ... показал, что если правильно выбрать ограниченное число доступных человеку сознательных явлений, или явлений, доступных его сознанию, и знать, как их продумать и раскрутить в мысли до конца, то мы сможем выйти к таким глубинам, к которым другие стараются выйти через наблюдения звезд, Солнца и т. п., т. е. вещей очень далеких от нас»³⁶. Речь идет о том же предельном приоритете этических интересов в сократовском философствовании.

«Сократ... никогда в конце диалогов не говорит: а в чем, собственно, дело? Что такое, собственно, мужество? Или — что такое «красиво»? Читать его диалоги с ожиданием содержательного ответа на эти вопросы — бессмысленно... Сократ говорит: особый, невидимый порядок или упорядоченность души. Иными словами, когда Сократу приходится самому отвечать на вопрос, что же такое мужество, то он отвечает следующее: это не это и не это, и вообще — никакое не состояние, а порядок души... Красота, мужество — ведь этого ничего как бы нет. Все, что бы мы ни сказали о них, вступает в противоречие с самим собой. Порядок! Особая упорядоченность души. Короче говоря, в действительности Сократ считает, что ответ все же есть, но он гласит, что нет содержательного ответа, а есть некая формальная упорядоченность души, которая доступна нам в нашей каждый раз конкретно решающей интуиции, и, тем не менее, не являющаяся никаким определенным содержанием. Вот это и есть форма — в случае мужества, в случае красоты. Потому что, высказывая что-нибудь конкретное, мы каждый раз будем впадать в противоречие»³⁷.

Сказано достаточно сложно. Речь идет о том, что общие понятия, открытые Сократом, относятся к сфере формы, а не содержания. Здесь самое время указать на то, что в древнегреческом языке «форма» и «идея» — это один и тот же термин (*эйдос*). Просто так уж традиционно принято — в одних случаях (например, перевода Платона) передавать это греческое слово через русское «идея», а в других случаях (например, перевода Аристотеля) — через русское «форма». Из сказанного ясно, что сократовские общие понятия, безусловно, проторили путь учению Платона о мире идей.



Перед нами прошел ряд мнений о философии Сократа, высказанных различными исследователями XIX–XX веков. Многие из этих исследователей — фигуры первой величины в своих научных дисциплинах. Цитирование же мнений можно было продолжать и продолжать, увеличить их количество в десятки, сотни раз, но что бы это дало?

Общая картина и так уже ясна. Есть, разумеется, вопросы, в трактовке которых едины все. Например: Сократ сделал главным предметом своего размышления этические ценности. Или: он занимался общими понятиями, определениями. Но здесь никакого открытия нет. Все эти особенности сократовского учения подметил уже Аристотель почти два с половиной тысячелетия назад.

При попытке же большей конкретизации и детализации уже начинается разноречие. Для кого-то этика Сократа не имеет никакого метафизического основания и является чисто утилитарной — для кого-то она напрямую связана с религией. Кто-то считает, что для Сократа ключевыми были понятия души, духовности, — кто-то, напротив, подчеркивает «телесность» его умозрений...

Пожалуй, то сократовское положение, которое в наибольшей степени приводило ученых в недоумение и даже замешательство, поражало, шокировало их, — это тезис о тождестве добродетели со знанием: тот, кто знает, что такое добро, уже не сможет совершать дурных поступков, никто не делает зло добровольно³⁸. Знающий человек обязательно будет добродетельным.

Парадоксальность данного утверждения заключается прежде всего в том, что оно, на первый взгляд, слишком уж резко противоречит действительности. Сколько угодно случаев, когда зло совершается отнюдь не по неведению, а вполне намеренно и сознательно! Однако нам представляется, что противоречие можно устранить, если вспомнить, как Сократ понимал знание.

Он даже и о себе-то заявлял, что ничего не знает, — что уж тут говорить о других людях! Они в своем поведении руководствуются не знанием, а мнением, оттого и погрязли в порочности. Знающим является только божество, а вот оно-то, в понимании Сократа, является абсолютно благим и безгрешным. Если когда-нибудь появится человек, обладающий знанием в этом смысле слова, он и сам уподобится божеству. Зная, что такое добро и зло, он всегда последует только нормам добра. Но среди нас пока таких людей нет...

Можно, таким образом, ответственно утверждать, что этика Сократа имела трансцендентные основания. Ее корни — не в человеческом обществе, а в религиозных началах.

Связь определения Сократа добродетели как знания с его пониманием знания как такового — вещь, казалось бы, довольно простая, лежащая на поверхности. Но ее практически никогда не учитывают. При столь невнимательном отношении неудивительно, что Сократ как мыслитель остается (и, не сомневаемся, долго еще останется) загадкой.

В любом случае главное в его философии все-таки не в том, *что* он думал о том или ином предмете, а *о чем и как* он учил думать. «Босоногий мудрец» не столько дает ответы на вопросы, сколько показывает способ искать эти ответы.

СОКРАТ И ГОСУДАРСТВО

Сократ формировался как личность и мыслитель в условиях поступательной демократизации афинского полиса. Детство его и, может быть, ранняя юность пришлось еще на период умеренной, «патерналистской» демократии, как она сформировалась при Кимоне. Но большая часть жизни «босоногого мудреца» — никак не менее полувека! — протекла уже после реформ Перикла 450-х гг. до н. э., в ходе которых народовластие в Афинах стало куда более радикальным.

Для того, чтобы понять отношение Сократа к этой классической афинской демократии, необходимо прежде всего охарактеризовать — хотя бы кратко — ее как политическую систему, указать на основополагающие черты, в наибольшей степени ей свойственные¹.

Один из важнейших принципов любой античной демократии — суверенитет демоса, т. е. его верховная власть, что предполагало реальное, полномасштабное и непосредственное участие всего коллектива граждан в управлении государством. Органом, воплощавшим в себе этот коллектив, было, естественно, народное собрание (экклесия). А значит — властные полномочия народного собрания были ничем не ограничены: оно распоряжалось всем, а остальные государственные структуры оказывались ему подчиненными и подотчетными.

Демократические государства, существующие в наше время, относятся к типу так называемых представительных демократий. Это означает, что граждане страны выбирают путем голосования своих представителей (депутатов) в орган, который может называться по-разному (парламент, конгресс, дума, бундестаг и т. д.), но сущность которого везде примерно одинакова. Именно этот выборный орган в промежутках между голосованиями (а проходят они, как известно, раз в несколько лет) сосредоточивает в своих руках полноту законодательной власти. Формально эта власть находится в руках всех граждан, но на деле граждане как бы передают, делегируют ее своим представителям. Парламент представляет народ. Во многих странах (но не во всех) граждане избирают еще и своего верховного представителя — президента, главу государства.

Античная же демократия, возникшая в полисных условиях, была, в отличие от демократий современности, не представительной, а прямой. Иными словами, коллектив граждан в лице народного собрания осуществлял высшую власть реально и постоянно. Не существовало

ни парламента, ни президента — подобно тому, как в современных государствах не существует никакого народного собрания. В сущности, античная демократия была даже не столько формой государственного устройства и организации государственного аппарата, сколько формой полного и всестороннего вовлечения граждан в систему власти и управления государством.

Чрезвычайно значимым принципом античной демократии было равенство всех граждан перед законом (исономия). Никакая группа гражданского населения не имела привилегий по принципу знатности и богатства. Правда, из этого принципа имелись некоторые исключения. Так, на высшие финансовые должности дозволялось избирать только богатых людей. Считалось, что бедняк, став казначеем и получив в свое распоряжение крупные денежные суммы, может не удержаться от соблазна незаконно присвоить часть этих денег. Но подобные исключения были незначительными и не играли сколько-нибудь заметной роли. Высший в полисе пост стратега мог занять любой гражданин — аристократ и представитель простолюдов, состоятельный и почти нищий: учитывались только личные достоинства и способности.

В целом каждый член гражданского коллектива имел равное право на активное участие в политической жизни. Это обеспечивалось рядом эффективных механизмов. Одним из таких механизмов было свободное обсуждение всех вопросов — от важнейших до мелких, рутинных — в народном собрании: каждый афинянин имел право взять слово и выступить в дискуссии. Очень многие этим правом активно пользовались.

Власть в условиях полисной демократии обязательно должна была быть коллективной, коллегиальной. Так, архонтов ежегодно избиралось девять, стратегов — десять и т. п. Все должностные лица Афин составляли коллегии. Никакую должность нельзя было занимать единолично: это вело бы к концентрации полномочий в одних руках, к подрыву верховенства народного собрания, в конечном счете, как считала масса граждан, могло бы породить монархические порядки. А этого опасались больше всего. Вот почему в Афинах не существовало поста президента — единоличного главы государства.

Тому же «распылению» власти по всему гражданскому коллективу, невозможности ее концентрации способствовала постоянная ротация кадров во властных органах. На любой пост в афинском полисе (будь то пост стратега, архонта, казначея, члена Совета Пятисот) избирали не на четыре, пять или более лет, как в современных демократических государствах, а на год и только на год. Покомандовал — дай покомандовать другому: так в несколько упрощенной

форме можно объяснить стоящую за этим порядком социальную психологию. Демос не желал, чтобы магистраты (должностные лица) «привыкали» быть у власти: ведь это опять же могло бы привести к рождению монархических тенденций.

А самое главное — подавляющее большинство должностей нельзя было занимать повторно. Исключения, конечно, имелись и здесь. На военные должности, например, можно было избирать одних и тех же людей раз за разом, без ограничения количества сроков. Это вполне рационально: если человек имеет полководческие способности, то пусть он как можно чаще применяет их на благо города! Перикл становился стратегом не менее пятнадцати лет подряд. Позже, в IV в. до н. э., военачальник Фокион оставался на том же посту почти 50 лет — от молодости до глубокой старости.

И все же это исключения. В норме же старались, чтобы как можно больше афинян (в идеале — практически каждый афинянин) хотя бы раз в своей жизни, а если возможно — то и чаще, побывали в роли какого-нибудь из должностных лиц. Иными словами, стремились обеспечить наиболее полное, широкое и реальное вовлечение граждан в управление государством. Тому же служило и очень широкое применение жеребьевки при любых выборах. Жребий, как известно, слеп и может указать в полном смысле слова на любого.

Неизбежен вопрос: получается, граждане чуть ли не принуждались к власти, даже если кто-то из них ее вовсе не хотел? В какой-то мере это действительно так. В полисных условиях политическая активность представлялась не только правом, но и обязанностью — если не юридической, то, во всяком случае, моральной. Уклонение от государственных мероприятий, демонстративный уход в частную жизнь служили предметом порицания.

При этом демос не боялся, что непрофессионалы у власти, лица, не имеющие никакой специальной подготовки и берущиеся управлять, приведут полис к кризису. Считалось, что любой афинянин достаточно образован, развит и компетентен, чтобы решать самые сложные политические вопросы. Поневоле вспоминаются слова Ленина о том, что каждая кухарка сможет управлять государством...

Говоря о принципах античной демократии, нельзя не упомянуть слова «свобода». Свобода и демократия всегда были и, наверное, всегда останутся понятиями неразрывными. Но, говоря о классических Афинах, необходимо все-таки сделать ряд важных оговорок. Во-первых, свобода мыслилась только в рамках закона. Это — принцип, характерный вообще для любого античного полиса.

Во-вторых — это очень важно, — в отличие от современных демократий, которые ставят во главу угла права и свободы отдельной

личности, демократия в Древней Греции, в том числе и в Афинах, была коллективистской. Это означает, что она в первую очередь принимала во внимание интересы целого — всего государства, коллектива граждан. А отдельные индивиды всегда должны были быть готовы на жертвы во имя этих общественных интересов.

Характерно, что свобода ограничивалась в основном рамками частной жизни. При переходе же в сферу общественной, политической деятельности принцип свободы отодвигался на второй план перед принципом ответственности. Даже самые высокие должностные лица не могли творить что-либо по собственному произволу. Они были полностью подконтрольны афинскому народному собранию. Казавшийся всесильным Перикл каждый год давал демосу полнейший отчет в своей деятельности. Точно так же, разумеется, должны были поступать и все остальные магистраты. Если отчет по какой-то причине признавался неудовлетворительным (например, если выяснялось, что магистрат без необходимости израсходовал денежные суммы или превысил свои полномочия), «проштрафившийся» политик отдавался под суд. Впрочем, любое должностное лицо могло быть смещено и привлечено к судебной ответственности даже и до истечения срока своего пребывания у власти.

Откровенно говоря, здесь и нам есть чему поучиться у античных демократий, особенно вот этому сочетанию принципов свободы и ответственности. Афиняне, например, ни за что не допустили бы, чтобы политический лидер, нанесящий своей деятельностью государству огромный ущерб, после этого избежал наказания и спокойно доживал свой век «на пенсии», огражденный неким юридическим иммунитетом. Кара за проступки была неизбежна.

Демократия во многих древнегреческих полисах классической эпохи, и особенно в Афинах, оказалась чрезвычайно эффективной формой государственного устройства. Она лучше всего соответствовала структуре гражданской общины и поэтому позволяла в полной мере учитывать интересы различных слоев граждан, динамично реагировать на различные вызовы — как внешнего, так и внутреннего характера.

Эту эффективность афинской демократии признавали даже многие ее противники. В 420-х гг. до н. э. по рукам читающей публики в Афинах ходил небольшой анонимный памфлет «Афинская политика». Его не следует путать с более известной «Афинской политией» Аристотеля. Произведение, о котором сейчас идет речь, в науке условно называют «Афинской политией» Псевдо-Ксенофонта, потому что позже оно по ошибке попало в сборник трудов писателя и историка Ксенофонта.

Автор этого памфлета, пожелавший остаться неизвестным, принадлежал, видимо, к кругу аристократии, причем придерживался олигархических политических воззрений. Ему была отнюдь не по душе власть «корабельной черни». Он прямо писал об этом: «Что касается государственного устройства афинян, то, если они выбрали свой теперешний строй, я не одобряю этого по той причине, что избрав себе его, они тем самым избрали такой порядок, чтобы просто-му народу жилось лучше, чем благородным» (*Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития. 1. 1*).

Однако чуть дальше олигарх, — можно сказать, вопреки самому себе — продолжал: «Но, раз уж они решили иметь демократическое правление, мне кажется, что они удачно сохраняют демократию» (*Псевдо-Ксенофонт. Афинская полития. 3. 1*). Иными словами, автор памфлета поневоле вынужден был согласиться: как бы ни было нелюбезно ему народовластие, лучшей альтернативы для Афин не существовало — демократия периода расцвета справлялась со всеми своими задачами прекрасно.

* * *

Разумеется, классическую афинскую демократию ни в коей мере не следует идеализировать. Этой политической системе был присущ ряд органических, неискоренимых пороков. Впрочем, бывает ли в реальной жизни (а не в утопических трактатах) государственное устройство вообще без недостатков?

Так, отмечается — и во многом совершенно справедливо, — что афинская демократия, да и любая античная демократия была, в сущности, демократией для меньшинства. Она распространялась далеко не на все население, живущее на территории государства. Никаких политических прав не имели метэки — лица, перебравшиеся на жительство в Афины из других полисов. О рабах и говорить нечего: они просто не воспринимались как личности. Женщины, хотя и считались гражданками, участия в управлении полисом тоже не принимали.

Фактически из жителей Аттики — а их количество в классическую эпоху составляло 250–350 тысяч человек (цифра колебалась в зависимости от разных факторов — военных потерь, эпидемий, экономического состояния и т. д.) — всей полнотой гражданских и политических прав пользовались лишь взрослые свободные мужчины, принадлежавшие к урожденным афинянам. Иными словами, те, кто входил в состав коллектива граждан, из кого комплектовалось народное собрание. А их было 35–45 тысяч, иными словами, не более одной восьмой населения. Бесспорно, это была демократия для меньшинства!

Однако во всем нужно следовать принципу историзма. Недопустимо подходить к античным политическим системам с нашими современными мерками, предъявлять им завышенные требования, которым они соответствовать заведомо не могут. Можно сколько угодно упрекать афинян за то, что они не предоставили гражданских прав женщинам и рабам. Но иная ситуация в те времена была просто немыслимой! Ведь еще не прозвучала проповедь христианства, не раздались знаменитые слова апостола Павла (Послание к Галатам. 3. 28): «Нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе».

Собственно, потому и только потому, что две тысячи лет назад родилась христианская религия, ныне женщины в цивилизованных странах полностью равноправны с мужчинами. А в дохристианские времена даже мысль о таком равноправии никому и в голову бы не пришла. То же самое можно сказать и о рабах. Кстати, в США вплоть до середины XIX в., несмотря на вполне демократическую конституцию, сохранялось, как известно, плантационное рабство в южных штатах. И обращались хозяева с привезенными из Африки рабами куда более жестоко, чем афиняне — со своими. Попробовал бы кто-нибудь предложить плантатору дать рабам хоть какой-то минимум человеческих прав — тот в ответ только рассмеялся бы. Да и женщины в рамках американской демократии долгое время не были допущены к участию в выборах. Тем более несерьезно ждать чего-то большего от древних обществ.

А что касается метэков... В этом пункте упреки по адресу афинской демократии выглядят особенно лицемерными. В сущности, в любом современном государстве имеются свои метэки. Только называют их более презрительно — мигрантами. Это — люди, приехавшие из других стран. Естественно, на своем новом месте жительства они не располагают политическими правами. Скажем, выходец из Армении, Украины или Таджикистана, поселившийся в России, не сможет принимать участия ни в каких выборах и голосованиях. Более того, меры по отношению к ним постоянно ужесточаются. Пожалуй, в Афинах метэкам жилось лучше, свободнее. Во всяком случае, им не приходилось бояться, что их в любой момент остановит полицейский-скиф и подвергнет унижительной процедуре проверки документов (да и документов-то никаких не было).

Очень серьезным и отнюдь не голословным выглядит следующее обвинение, делаемое афинской демократии. Блеск и процветание классических Афин в «золотой век» Перикла во многом зиждились на беспощадной эксплуатации городов, входивших в Афинскую морскую державу. Этот мощнейший военно-политический союз,

включавший десятки, а затем и сотни полисов в бассейне Эгейского моря и в других регионах, был создан еще при Аристиде и Кимоне для борьбы с персами, но после окончания Греко-персидских войн в 449 г. до н. э. отнюдь не распущен, напротив, Перикл еще более расширял, укреплял его, упрочивал лидирующее положение Афин в объединении, а остальных союзников фактически низвел до статуса бесправных подданных.

Демократия — весьма дорогая политическая система, и ее реальное осуществление в любую историческую эпоху доступно далеко не всякому государству, а только богатому. Афиняне смогли воплотить в жизнь основные принципы демократического устройства не в последнюю очередь потому, что форос (подать), ежегодно присылаемый союзными полисами, представлял собой неиссякаемый источник доходов. Эти доходы можно было направлять и на оплату работы должностных лиц, и на возведение монументальных зданий, и на иные порождаемые народовластием расходы.

И опять же — все сказанное, конечно, верно. Но слишком строго судить афинян за их «империализм» — значит применять двойные стандарты, как говорится, видеть соринку в чужом глазу, не замечая бревна в собственном. И поныне сильнейшие демократические государства во внутренних делах, для собственных граждан, руководствуясь принципами свободы и равенства, на внешнеполитической арене движимы совсем иными мотивами. Для них точно так же характерны империалистические тенденции, борьба за зоны своего влияния и интересов, а в конечном счете — за достижение гегемонии.

Перед нами — реальность, с которой ничего не поделаешь. Во все времена любое нормальное государство стремится не только к тому, чтобы быть демократическим, но и к тому, чтобы быть сильным и уважаемым. Это естественно. Почему же античные Афины должны были вести себя иначе? Конечно, средства, которыми достигается влияние на окружающий мир, далеко не всегда достойны одобрения. Цинизм? Бесспорно. Но политика — вообще циничная, грязная вещь; ее не делают в белых перчатках.

Подчеркнем: не следует слишком строго судить древних греков за то, что они не могли предотвратить появление этих негативных черт. Ведь демократическое устройство полисов Эллады, прежде всего классических Афин, было первым в человеческой истории образцом подобной политической системы. Пробы и ошибки в самом начале пути были неизбежны.

Одной из наиболее известных и часто порицавшихся негативных черт афинской демократии являлось нередко проявлявшееся в ее условиях засилье демагогов. Надо сказать, что слово это изначально

не несло в себе ничего обидного или уничижительного. «Демагог» в переводе с древнегреческого — «вождь народа». Так могли называть любых политиков демократической ориентации. Так и называли, например, Фемистокла, Перикла. Но со временем, ближе к концу V в. до н. э., т. е. как раз в сократовские времена, слово изменило свое значение и приобрело эмоциональную окраску.

Теперь демагогами обычно именовались деятели «низкого» происхождения (то есть не принадлежавшие к аристократии), использующие свой авторитет у демоса зачастую в личных корыстных целях. Демагоги были, как правило, ловкими и умелыми ораторами. Выступая с речами в народном собрании, в судах и других органах власти, они умели направить эмоции народа в нужное для себя русло и получить от этого политические (а порой — и вполне материальные) дивиденды. Ведомая демагогами демократия нередко принимала решения, на вид перспективные и заманчивые, но в действительности авантюрные и вредные для государства.

Чем же было вызвано засилье демагогов в общественной жизни афинского полиса? Несколькими обстоятельствами. Во-первых, вплоть до Пелопоннесской войны политическими лидерами демократии в Афинах были исключительно аристократы. Перикл стал последним из государственных мужей этого «старого» типа.

А затем демос, пройдя долгий путь «политического воспитания» — в народном собрании, в судах присяжных, в театре, созрел наконец для того, чтобы реально взять полноту власти в полисе в собственные руки. Разумеется, речь здесь идет не обо всем демосе, а о его верхушке. Не рядовые крестьяне становились новыми вождями государства, а граждане весьма состоятельные, как правило, хозяева крупных ремесленных мастерских. Клеон, владелец кожевенной мастерской; Гипербол, владелец мастерской ламп; Клеофонт, владелец мастерской музыкальных инструментов... Такие люди теперь задавали тон в общественной жизни Афин. В науке их часто называют «новыми политиками».

Во-вторых, в прямой связи с только что описанным процессом находилось резкое усиление радикальных тенденций в афинской демократии. Порой начинало создаваться впечатление, что она перерождается в настоящую охлократию — власть толпы, эгоистичной, легковозбудимой и безответственной массы, склонной поддаваться больше эмоциям, чем голосу разума, и принимать непродуманные решения.

Этому во многом способствовал уже знакомый нам непрофессионализм, характерный для прямого народоправства. Провозглашаемые идеалы подчас существенно расходились с действительным

положением дел. Считалось, что народное собрание представляет верховную власть именно потому, что оно объединяет в себе демос во всей его совокупности. Однако все без исключения граждане, несомненно, даже физически не могли собираться на частые заседания экклесии. Кто-то жил в далекой деревне, кто-то был в отъезде, кому-то мешали дела... А ведь еще и шли почти постоянные войны, которые тоже отрывали людей от их нормальной жизни.

В этих условиях непропорционально большую роль в управлении государством могли (конечно, при неблагоприятных условиях) начать играть люди, ничем не занятые и, более того, не желающие ничем заниматься, иными словами, далеко не лучшая часть общества. Такие граждане просто от безделья становились завсегдатаями народного собрания и нередко определяли результаты голосований в нем. Они-то и попадали под влияние демагогов, становились питательной средой для этих «вождей народа».

* * *

Достаточно подробная характеристика демократии, при которой жил Сократ, ее «плюсов» и «минусов» потребовалась для того, чтобы в дальнейшем лучше понять отношение героя нашей книги к этому государственному устройству.

Кстати, нужно сказать, что восприятие классической афинской демократии не было одинаковым на протяжении последующих исторических эпох, оно менялось. В средние века и в начале Нового времени демократические идеи вообще не были актуальны, не пришло еще время для их повторного усвоения — общество не созрело для этого. Характерно, что самый авторитетный политический трактат эпохи Возрождения, написанный Николо Макиавелли, назывался «Государь». Уже из этого видно: власть воспринималась не иначе как воплощенной в персоне правителя, о суверенитете народа речи отнюдь не шло.

Положение начало меняться во второй половине XVIII в., когда как в Старом, так и в Новом Свете произошли буржуазно-демократические революции глобального значения. Однако интересно, что их творцы обращались в своей деятельности к модели не классических Афин, а Римской республики. У вождей Великой французской революции на устах были имена Брута, Гракхов, Цицерона, а отнюдь не Перикла или Демосфена.

Тогда же «отцы-основатели» Соединенных Штатов Америки, одержав победу в войне за независимость от Англии — а она тоже несомненно имела революционный характер — и составляя конституцию, которая должна была лечь в основу устройства нового го-

сударства (кстати, по этой конституции американцы живут и ныне, внося в нее за двести с лишним лет очень незначительное число поправок), точно так же ориентировались на римские образцы. Всем известно, что, например, верхняя палата высшего законодательного органа США получила название Сенат — как в Древнем Риме. Более того, здание в котором она заседает, именуется Капитолием, тоже на римский манер.

В чем же дело? Почему афинским опытом пренебрегали, а римский брали за основу? И это при том, что в Риме, даже в лучшие времена республиканского правления, никогда не было реальной, полномасштабной демократии, всегда решительно преобладали олигархические элементы.

Главная причина здесь в том, что афинское народовластие считали слишком крайним и радикальным, слишком подверженным тенденциям охлократии — «власти толпы» — и засилью демагогов. Ведь сведения о демократических Афинах и, главное, их оценки черпали в основном из античных философских трактатов. А философы, как правило, ни в коей мере не относились к восторженным приверженцам демократии «афинской чеканки», напротив, жестко критиковали ее. Более того, занимали по отношению к ней позицию неприятия, причем неприятия полного и безоговорочного: отвергали не какие-нибудь отдельные недостатки этой системы, предлагая их исправить, а всю систему как целое, полагая ее в принципе порочной и неисправимой².

Чисто тенденциозными (и даже, не побоимся этого слова, конъюнктурными) выглядят попытки некоторых современных ученых объявить, скажем, Аристотеля или тем более Платона сторонниками демократии³. Синтия Фаррар в известной книге «Происхождение древнегреческой мысли»⁴ полемизирует с распространенным мнением, согласно которому влиятельные политические мыслители классической Греции были, все как один, противниками народовластия, и указывает на три исключения, трех идеологов демократии, которыми считает философов Протагора и Демокрита, а также историка Фукидида.

Третий пример исследовательницей явно выбран неудачно: уж очень сильной натяжкой будет называть демократом Фукидида. Великий историк идеального государственного деятеля видел в Перикле⁵ — а ведь при нем «по названию... было правление народа, а на деле власть первого гражданина» (*Фукидид. История. II. 65. 9*); оптимальным же государственным устройством для Фукидида являлась умеренная олигархия «Пяти тысяч», установившаяся в 411 г. до н. э. (*Фукидид. История. VIII. 97. 2*)⁶. Остаются Протагор и Демокрит. Вы-

рисовывается, кстати говоря, несколько пикантная ситуация: самая развитая демократия была в Афинах, а главным (по сути, единственным) центром демократического мышления оказываются Абдеры. Тут еще, как нарочно, припоминается, что абдериты в Греции слыли людьми крайне тупыми и несообразительными, попросту дурачками; они были излюбленными героями анекдотов, как у нас — пошехонцы и т. п.

Вернемся к Сократу. В его учении также были налицо элитарные, даже антидемократические элементы⁷. С симпатией, как мы видели, относился он к Спарте и спартанским порядкам, которые не имели ничего общего с радикальной демократией. Правда, в западной историографии периодически повторяются попытки «обелить» Сократа от этого антидемократизма. Так, например, по мнению Г. Властоса⁸, это-де Платон, причем только в своих зрелых трудах, сделал из своего учителя элитистского философа, а на самом деле взгляды того были вполне демократическими, эгалитарными. В данном случае — как и в упоминавшихся выше примерах с Платоном и Аристотелем, — конечно, априорные идеологические установки торжествуют над научной акрибией. Уж очень хочется сделать великого мыслителя прошлого, одного из «учителей человечества» нашим единомышленником. Причем сделать вопреки всякой очевидности.

Политические взгляды Сократа стояли в тесной связи с его общемировоззренческими принципами, сформировавшимися в полемике «босоногого мудреца» с софистами.

Напомним, практически все представители софистического движения (кто-то в большей, кто-то в меньшей степени) придерживались релятивизма, прежде всего гносеологического, но имевшего тенденцию также проникать в сферу, с одной стороны, онтологии, с другой — этики и политики. В противовес им Сократ, решительный противник релятивистских идей, доказывал существование объективной истины, которую к тому же можно, хотя и трудно, отыскать. Он учил, что есть обязательные для всех, неписанные моральные законы — законы добра и истины. Тот, кто их постигнет, не сможет уже совершать дурные поступки. Вот только дано это далеко не каждому: научиться нравственности могут лишь немногие, ибо это требует большой самоотдачи и искреннего стремления.

Упомянем теперь о том, что в античности этика и политика не мыслились как две отдельные, изолированные друг от друга сферы бытия, а фактически отождествлялись. Любое этическое учение было тем самым одновременно политическим и, наоборот, любое политическое учение — этическим. Справедливо подчеркивается, например, что «этика и политика Аристотеля изучают один и тот же вопрос...

Этика великого Стагирита... переходит в политику»⁹. Знаменитые этические трактаты этого мыслителя («Никомахова этика» и др.) одновременно являются трактатами политическими.

Так и у Сократа этические взгляды определяли политическую позицию. В отличие от софистов, многие из которых были сторонниками демократии, он находил более чем достаточно пороков в этой форме правления и не боялся критиковать их. Особенное его неприятие вызывали непрофессионализм и некомпетентность полисного народоправства. Он говорил: «Глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов (то есть с помощью жребия. — И. С.), тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. I. 2. 9).

Итак, столь характерная для античных демократий жеребьевка¹⁰, по мнению Сократа, порочна по своей сути. Управлять полисом должен не кто угодно, а специалисты, люди знающие и тем самым «избранные». О массе же демоса это сказать никак нельзя. Не случайно афинский философ с некоторым презрением относился к простонародью. Вот как наставлял он одного из своих собеседников: «Неужели ты стесняешься валяльщиков, башмачников, плотников, кузнецов, земледельцев, купцов, рыночных торговцев, думающих только о том, чтоб им купить что-нибудь подешевле и продать подороже? А ведь из всех их и состоит народное собрание» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. III. 7. 6).

Наиболее фундаментальный анализ политических взглядов Сократа содержится в монографии Р. Краута «Сократ и государство»¹¹, и поэтому на взглядах ее автора необходимо остановиться подробнее. Краут, стараясь взвешенно подходить к проблеме, утверждает, что Сократ относился к афинской демократии отчасти позитивно, а отчасти негативно, т. е. что-то в ней принимал, а что-то не принимал.

А именно: афинская демократия характеризовалась двумя главными чертами: свободой и равенством. Из этих двух принципиальных характеристик свобода была Сократу, естественно, симпатична (поскольку она позволяла ему беспрепятственно высказывать свои идеи), а вот равенства он не одобрял, ибо оно приводило к автоматическому господству большинства, т. е. к власти некомпетентной толпы, которую столь часто критиковал философ. Перед нами весьма интересная точка зрения, имеющая право на существование. Однако если мы ее примем, то окажемся перед противоречием. Краут и сам

не может не признать, что Сократ с большой похвалой отзывался о спартанском государственном устройстве. Однако в Спарте-то как раз из двух вышеназванных черт *свобода* отсутствовала, а *равенство* граждан всячески насаждалось.

Должны ли мы видеть здесь непоследовательность в сократовской мысли? Или же лаконофильство Сократа (равно как и его ученика Платона) преувеличено? Вопрос, несомненно, нуждается в дальнейшем изучении. Во всяком случае, было сделано вот какое интересное наблюдение: моделью идеального государства у Платона скорее является не Спарта или Крит, как обычно считают¹², а те режимы, которые установили пифагорейцы в полисах Великой Греции (например, Архит в Таренте¹³): во главе стоят правители-философы, под началом у них находится войско («стражи»), ниже следует простонародье¹⁴.

* * *

Отметим еще вот какой нюанс. Сократ очень высоко ставил законность, строгое соблюдение законов, считал, что без этого невозможна нормальная жизнь в полисе. А соответствовала ли реальная афинская демократия его времени (особенно во вторую половину жизни философа) предъявляемым им высоким требованиям? Мягко говоря, не очень. Чем дальше, тем больше державный демос, осознавая свою силу, начинал ставить себя выше закона, считать себя полным и единственным господином дел в государстве.

В IV веке до н. э. Аристотель посвятил часть одного из главных своих трудов — трактата «Политика» — классификации различных форм демократии. Он выделил несколько типов демократического государственного устройства, а среди них особенно подробно остановился на демократии крайней, или радикальной. Какие же основные черты этой политической системы отмечает великий мыслитель?

По словам Аристотеля, при крайней демократии «верховная власть принадлежит не закону, а простому народу. Это бывает в том случае, когда решающее значение будут иметь постановления народного собрания (такие постановления назывались псефисмами. — И. С.), а не закон. Достигается это через посредство демагогов. В тех демократических государствах, где решающее значение имеет закон, демагогам нет места, там на первом месте стоят лучшие граждане; но там, где верховная власть основана не на законах, появляются демагоги. Народ становится тогда единодержавным... В этом случае простой народ, являясь монархом, стремится и управлять по-монаршему (ибо в этом случае закон им не управляет) и становится деспотом (почему и льстецы у него в почете), и этот демократический строй больше

всего напоминает из отдельных видов монархии тиранию, поэтому и характер у них один и тот же: и крайняя демократия, и тирания поступают деспотически с лучшими гражданами; постановления такой демократии имеют то же значение, что в тирании распоряжения... Решающее значение предоставляется не законам, а постановлениям народа, так как демагоги отдают на его решение все. И выходит так, что демагоги становятся могущественными вследствие сосредоточения верховной власти в руках народа, а они властвуют над его мнениями, так как народная масса находится у них в послушании. Сверх того, они, возводя обвинения на должностных лиц, говорят, что этих последних должен судить народ, а он охотно принимает обвинения, так что значение всех должностных лиц сводится на нет.

По-видимому, такого рода демократии можно сделать вполне основательный упрек, что она не представляет собой государственного устройства: там, где отсутствует власть закона, нет и государственного устройства. Закон должен властвовать над всем... Таким образом, если демократия есть один из видов государственного устройства, то, очевидно, такое состояние, при котором все управляется постановлениями народного собрания, не может быть признано демократией в собственном смысле» (*Аристотель*. Политика. IV. 1292a5 сл.).

«Водораздел» между крайней демократией и любой другой для Аристотеля пролегает в следующей точке: во всех остальных видах демократического устройства верховная власть принадлежит закону, а в крайней демократии — народу. В другом месте «Политики» встречаем еще одну важную характеристику: «Если перевес будет на стороне массы земледельцев, то возникнет первый из видов демократического строя (то есть умеренная демократия. — *И. С.*), а где перевес на стороне ремесленников и поденщиков, там образуется крайний из видов демократического строя» (*Аристотель*. Политика. IV. 1296b28 сл.).

Создается полное впечатление, что, описывая радикальную демократию, философ имел в виду конкретный полис и конкретную эпоху. Перед нами — как будто живая картинка Афин второй половины V в. до н. э. Совпадает буквально все. И преобладание беднейшей части граждан («корабельной черни») над крестьянами среднего достатка. И засилье демагогов, которые манипулируют волей народа по своему усмотрению. И беспричинные расправы над людьми достойными...

Что и говорить, Аристотель дает крайней демократии очень низкую, негативную оценку. По его мнению, это даже и не демократия вовсе. Более того, ее вообще нельзя назвать государственным

устройством. А ближе всего она к тирании. Разница только в том, что в роли тирана, монарха выступает не одна личность, а весь демос; в остальном же способ правления один и тот же: бесчинство, произвол, деспотизм.

Что же в глазах мыслителя роднило крайнюю форму демократии с тиранией — с той политической системой, которая в классическую эпоху уже повсеместно вызывала неприязнь? Главное сходство подчеркивается в «Политике» снова и снова: в обоих случаях отсутствует власть закона. Закон — не во главе всего, как следовало бы; выше него стоит при тирании — единоличный правитель, при демократии — демос. Демос управляет государством, принимая в народном собрании псефисмы, которые оказываются выше самих законов.

Для Аристотеля это было принципиально. Но вот в реальной политической жизни Афин V в. до н. э. строгое различие между законом и псефисмой вообще не проводилось. Всякая псефисма, если за нее проголосовало большинство, обретала силу закона. Всякий новый закон, если его нужно было ввести, мог быть введен только в форме псефисмы.

Это, конечно, порождало различные неудобства. Получалось, что один и тот же статус имело и решение самого принципиального характера (например, закон о том, кто может, а кто не может быть афинским гражданином), и постановление, принятое по какому-нибудь самому частному поводу (скажем, награждение того или иного политика почетным золотым венком за заслуги перед полисом). Кроме того, количество таких законов-псефисм все нарастало и нарастало. Экклесия буквально «штамповала» их на каждом своем заседании. Они вырезались на каменных плитах и выставлялись на публичное обозрение в общественных местах города, чаще всего на Агоре. Но кто мог прочесть все эти документы, кто мог их хорошо знать? Тем более что профессиональных юристов в Афинах не существовало.

А ведь там, где нет хорошего знания законов, не может быть и эффективного управления. Народное собрание принимает псефисму; где гарантия, что она не вступает в прямое противоречие с какой-нибудь из принятых раньше? А если вступает, то окажется, что в государстве отныне будут действовать два законодательных акта противоположного содержания, и какому же из них следовать?

Строго говоря, в Афинах имелся государственный орган, который должен был за этим следить, — суд присяжных (гелиея). В нем можно было опротестовать псефисму, противоречащую существующему законодательству, и тогда судьи отменяли такое постановление. Но ведь афинские присяжные — самые обычные граждане — знали за-

коны и право ничуть не лучше, чем остальные их соотечественники. Им просто не под силу была возложенная на них задача — обеспечить, чтобы все законы согласовывались друг с другом. И в результате многие никак не согласовывались... В Афинах, по сути дела, не было единого законодательного свода, который мог бы стать основой дальнейшего правотворчества.

Нередко находились в небрежении даже древние, освященные опытом поколений законы Драконта и Солона. Конечно, такая ситуация была ненормальной, но только со временем, пройдя череду бед и потрясений, афиняне это осознали. В самом конце жизни Сократа, в 403 г. до н. э. приняли декрет, в котором были следующие слова: «Ни одному постановлению ни Совета, ни народа (то есть ни одной псефисме. — *И. С.*) не иметь большей силы, чем закон» (*Андокид*. I. 83–87).

Этим словам нужно уделить самое пристальное внимание. Они показывают, что теперь афиняне уже понимали разницу между законом и псефисмой. Закон имеет общий характер, действует одновременно и прилагается к различным ситуациям. Псефисма — постановление, выражающее волю демоса по конкретному вопросу. В восстановленной демократии закон был решительно поставлен над псефисмой. Закону обязаны подчиняться все; именно он, а не демос — истинный господин государства. К этой идее «власти закона» Афины пришли долгим, выстраданным путем, через невзгоды на полях сражений, через внутренние смуты и кровопролития. Полагаем, впрочем, что и сократовская критика сыграла свою роль.

Сократ активно размышлял над типологией форм государственного устройства. Вот его наиболее характерное высказывание об этом предмете, переданное Ксенофонтом:

«Царскую власть и тиранию Сократ считал формами правления, но находил между ними разницу: правление при добровольном согласии народа и на основании законов государства он считал царской властью, а правление против воли народа и не на основании законов, а по произволу правителя — тиранией. Где должностные лица выбираются из людей, исполняющих предписания законов, такой государственный строй он считал аристократией, где на основании ценза — плутократией, где из всех граждан — демократией» (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. IV. 6. 12)¹⁵.

Подобная рефлексия относительно различных политических систем была впоследствии в высшей степени свойственна философам, являвшимся учениками Сократа и учениками его учеников. Среди них — и Платон, и Аристотель. И, несомненно, они многое почерпнули у «босоногого» мудреца¹⁶, в частности, в основном позаимст-

вовали и его терминологию. Правда, кое-какие изменения все-таки внесли: например, не прибегали к понятию «плутократия», а с другой стороны, вводили кое-какие новые.

Так, Платон делил реально существующие, современные ему государственные устройства на «правильные» и «отклоняющиеся» или «искаженные». К правильным он относил только монархию (законную царскую власть, уходящую корнями в глубины древности) и аристократию (власть «лучших», причем лучших не столько в смысле знатного происхождения, сколько выдающихся своими нравственными достоинствами). Все же остальные типы государственного устройства попадают в число отклоняющихся: и демократия, и олигархия, и тирания. Как видим, народовластие в этой схеме отведено отнюдь не самое почетное место — рядом с правлением кучки богачей и незаконной властью тирана.

Строго говоря, взгляды Платона на рассматриваемый сюжет не оставались неизменными. В период работы над главным своим шедевром — трактатом «Государство» — он придерживался следующих взглядов на историческую эволюцию государственности. Наряду с идеальным или совершенным государственным устройством (которое может быть монархией или аристократией) существуют четыре «порочные» формы: тимократия, олигархия, демократия, тирания. Они перерождаются друг в друга по нисходящей, т. е. идет постепенный регресс.

Приведем соответствующую цитату: «Имеется четыре вида порочного государственного устройства... Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство. На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия: это государственное устройство, преисполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия. Прославленная тирания отлична от них всех — это четвертое и крайнее заболевание государства...» (*Платон. Государство. VIII. 544а слл.*). Именно для обозначения строя, характерного для полисов Крита и Спарты (Лакедемона), автор употребляет новый термин «тимократия»; в переводе это означает «господство чести», и мыслитель считает данную форму наилучшей из «порочных».

Ко времени написания более позднего диалога «Политик» классификация Платона несколько изменилась. Теперь он выделял семь видов государственного устройства: идеальное и шесть реальных. Из числа этих последних исчезла тимократия, зато появилась олигархия.

«Монархия, власть немногих и власть большинства — это три вида государственного правления... Если мы разделим каждое из этих трех надвое, у нас получится шесть видов, правильное же государственное правление будет стоять особняком и будет седьмым по

счету... Из монархии мы выделим царскую власть и тиранию, из владычества немногих — аристократию (славное имя!) и олигархию. Что касается власти большинства, то раньше мы ее называли односложным именем демократии, теперь же и ее надо расчленить надвое. — Каким же образом мы ее расчленим? — Точно так же, как остальные, несмотря на то, что пока для нее не существует второго имени. Но и при ней, как при других видах государственной власти, бывает управление согласное с законами и противозаконное (*Платон. Политик. 302с слл.*).

Наконец, в совсем позднем труде «Законы» Платон ввел еще новый термин «династия» для обозначения «первичной», наиболее примитивной формы государственного (по нашим современным критериям, скорее, протогосударственного) устройства (*Платон. Законы. III. 680b*).

Более четкой и, так сказать, красивой (поэтому она и стала классической) стала типология Аристотеля, разработке которой он целиком посвятил свое сочинение «Политика». Типы политических систем Аристотель вслед за Платоном делил на «правильные» и «отклоняющиеся». Демократия у него опять же оказывается в числе отклоняющихся наряду с олигархией и тиранией. К правильным же он относит монархию, аристократию, а также — здесь мы тоже встречаем нечто новое — так называемую политику. Этот термин, похоже, является изобретением самого Аристотеля. Им философ обозначил «средний» государственный строй, промежуточный между «чистой» демократией и «чистой» олигархией, объединяющий в себе положительные черты той и другой.

Легко можно заметить, что охарактеризованные системы зигзуют в конечном счете на сократовской, растут из нее, как из общего корня. Не приходится сомневаться, что и лежащая в их основе неприязнь к демократии тоже унаследована Платоном и Аристотелем от Сократа. Даже на пороге насильственной смерти он решительно утверждает в разговоре с другом Критоном: «...Уже не так-то должны мы заботиться о том, что скажет о нас большинство, мой милый, а должны заботиться о том, что скажет о нас тот, кто понимает, что справедливо и что несправедливо, — он один, да еще сама истина» (*Платон. Критон. 48a*).

Слова эти более чем органичны для всего мировоззрения Сократа, если понимать его как целостность. «Босоногий мудрец» просто не мог быть демократом, иначе его взгляды содержали бы внутреннее противоречие. А противоречия, конечно, не допустил бы человек, привыкший каждую мысль продумывать до самых ее последних глубин, осознавая все вытекающие из нее последствия.

Нет, не стоит делать из Сократа сторонника демократии, хотя бы даже и умеренного сторонника умеренной демократии, хотя так достаточно часто поступают¹⁷, ссылаясь, в частности, на то, что философ не призывал к свержению демократического строя. Да, действительно не призывал и в заговорах с целью государственного переворота не участвовал. Он ведь был мыслителем, а не политиком. Но достаточно ли этого для того, чтобы записывать его в приверженцы народовластия? Вряд ли.

Как раз афинский демос очень хорошо понимал, что Сократ — не на его стороне. Классическая полисная демократия однозначно исходила из приоритета воли большинства. Большинство не может ошибаться, оно всегда право и всегда справедливо уже потому, что оно — большинство. А Сократ, как мы только что видели, утверждал прямо противоположное: мнение одного, но понимающего важнее, чем мнение большинства. «Антидемократический смысл подобных высказываний Сократа был понятен массе его современников»¹⁸.

Вот еще одно, не менее характерное из высказываний такого же рода. Сократ упоминает «те качества, которые делают человека способным заниматься государственными делами и домашним хозяйством, быть правителем и приносить пользу другим и себе». И характеризует эти качества так: «...Прекрасные качества и искусство первостепенной важности: ведь такие качества — принадлежность царей и называются царскими» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. IV. 2. 11*).

Обратим внимание на эпитеты в последнем предложении. «Цари», «царский» — менее популярные слова, чем эти, в условиях современной Сократу афинской демократии, пожалуй, трудно даже и найти. Правит демос — так какой еще может быть царь?! Могут ли подобные выражения, в которых так и сквозит любовь к монархии, исходить от друга народа?

Платон опять же унаследовал сократовское словоупотребление. На всем протяжении диалога «Политик», например, он называет политику царственным искусством, политика — царственным мужем. Поневоле вспоминается сентенция, куда более распространенная в наши дни: «Политика — грязное дело». Как меняются времена...

* * *

В любом случае, неудивительно, что к «босоногому мудрецу» тянулись, казалось бы, столь непохожие на него представители аристократической молодежи, не слишком-то симпатизировавшие классическому народовластию. Хрестоматийные факты, касающиеся этого, уже изложены выше. Так, Алкивиад, никогда в своей жизни отнюдь

не делавший из демократии кумира, в юности очень тесно общался с Сократом, да и впоследствии Алкивиад всегда сохранял теплые и даже восторженные чувства к учителю. При этом следует помнить, что Алкивиада привлекали в учении Сократа не в последнюю очередь именно его элитарные, аристократические и даже антидемократические стороны, в частности, настояние философа на том, что управление государством должно принадлежать не «совершенно невежественным» представителям демоса, а «знающим», «лучшим» людям. Нет надобности говорить, что к этим «лучшим» Алкивиад в первую очередь причислял себя.

Но Алкивиад, во всяком случае на словах, был сторонником демократии. А были среди сократовских учеников и собеседников и более откровенные олигархи. Выше говорилось о Критии, упоминалось о Ферамене — эти люди в той или иной мере прошли выучку у Сократа. Они еще заявят о себе, попытаются воплотить свои идеи в жизнь. И на судьбе «босоногого мудреца» эти события скажутся самым непосредственным образом. Мы уже близки к новому этапу его биографии. Наступало грозное время...

В ТРУДНУЮ ПОРУ

Почти до пятидесятилетнего рубежа жизнь Сократа, столь насыщенная интеллектуально и духовно, с внешней стороны, в общем-то, не являла собой ничего особо достопримечательного. Постоянные беседы с согражданами и гостями Афин — на улицах, в лавках, да и где угодно, — задорные стычки с софистами, напряженный поиск истины в кругу преданных друзей. Никаких громких событий...

Это, в общем-то, естественно и даже типично для человека, который был не полководцем, не политиком, а мыслителем. Согласно распространенному представлению, философ вообще должен быть затворником-домоседом, и надо сказать, что в подавляющем большинстве случаев подобное представление вполне соответствует действительности. Был ли так уж богат событиями жизненный путь Декарта или Канта, Гегеля или даже Ницше? Да нет, конечно. Биография философа — это прежде всего история не его жизни, а его мысли.

Сказанное относится и к мыслителям античности, хотя, может быть, в несколько меньшей степени и с определенными оговорками — учитывая, что общая мобильность людей, особенно представителей интеллектуальной элиты, была в древнегреческом полисном мире более высока, чем в последующие эпохи¹.

Так, Платон и Аристотель по своему характеру, бесспорно, являлись затворниками, хотя, что интересно, при этом не были домоседами. Платон неоднократно совершал дальние, трудные и даже опасные поездки на Сицилию. Аристотель родился в Стагирах, учился в Афинах, подвизался несколько лет в городке Асс (в Малой Азии), в македонской столице Пелле был наставником будущего Александра Великого, потом опять возвратился в Афины, а скончался в Халкиде на острове Эвбея. Однако идеалом для обоих была все-таки мирная, спокойно текущая жизнь исследователя и преподавателя в стенах своей философской школы (роль которой для Платона играла Академия, для Аристотеля — Ликей). И, когда позволяли условия, они именно такой жизни и предавались.

У Сократа же парадоксальным образом все было в известном смысле наоборот. Затворником никак нельзя назвать человека, который почти никогда не появлялся дома — разве что ночевать приходил, да и то не всякий раз. Но, с другой стороны, он был домоседом — в том смысле, что терпеть не мог покидать родной город. Как мы видели выше, он крайне редко выходил из Афин даже в ближайшие окрестности. Что уж тут говорить о более далеких «вояжах»...

В данном отношении «босоногий мудрец» действительно резко контрастирует с большинством своих современников. Античные эллины — народ путешественников, а что можно сказать о путешествиях Сократа? Практически ничего. Окружающий мир, похоже, совсем не интересовал его; ему не хотелось знакомиться с новыми местами, осматривать достопримечательности и т. п. — настолько глубоко он был погружен в изучение внутреннего мира человека.

Впрочем, в юные годы, в пору ученичества Сократ, судя по всему, был еще более или менее легок на подъем. Позднеантичный биограф, ссылаясь на весьма авторитетных авторов, пишет о нем: «В молодости он с Архелаем ездил на Самос (так пишет Ион Хиосский), был и в Дельфах (так пишет Аристотель), а также на Истме (так пишет Фаворин в I книге “Записок”）」 (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 23).

Как обычно, требуются некоторые пояснения. Визит Сократа в Дельфы, как видим, засвидетельствован самим Аристотелем, который, конечно, не стал бы придумывать факты из головы. Да мы и априорно должны были бы предположить, что Сократ — при его-то искренней религиозности — просто не мог хоть раз не побывать в главном сакральном центре Греции, в священном городе Аполлона и (подчеркнем) Диониса. Да, хоть об этом далеко не все знают, в Дельфах на самом деле почитались два божества. На протяжении большей части года, девяти месяцев — Аполлон. А вот в течение трех зимних месяцев, когда, как считалось, Феб покидал свой храм и отправлялся на далекий север, в край гипербореев, Дельфы становились центром поклонения Дионису.

Мы уже знаем, что образы обоих этих богов занимают весьма важное место в сюжете, связанной с Сократом. С дионисийским началом, с колоритной «свитой» Вакха — всеми этими силами и сатирами — он постоянно ассоциировался, что подмечали уже современники. С Аполлоном он тоже был тесно связан. Напомним, что, согласно античной традиции, он даже родился в день праздника Аполлона. А потом было знакомство мыслителя с типично «аполлоновским», дельфийским изречением «Познай самого себя», которое он сделал одним из главных своих лозунгов. А потом — знаменитый запрос Херефонта к оракулу Аполлона и не менее знаменитый ответ от имени бога: Сократ-де всех мудрее. Некие незримые нити между Аполлоном и Сократом, порой оставляющие впечатление чего-то мистического, существовали вплоть до самой кончины «босоногого мудреца».

Далее, Истм, упомянутый в цитате из Диогена Лаэртского, — это соединявший Среднюю и Южную Грецию узкий перешеек, тот

самый, на котором находился богатый Коринф. А поблизости, в местечке Истмии, было крупное святилище Посейдона и, как и в Дельфах, регулярно проводилось общегреческое религиозное празднество со спортивными играми. Эти Истмийские игры, наряду с дельфийскими Пифийскими играми, по статусу и известности уступали только Олимпийским. Возможно, Сократ побывал на Истме как раз в связи с одним из таких торжеств, всегда привлекавших большое количество зрителей? Благо, от Афин до этих мест совсем недалеко. Во всяком случае, факт посещения «босоногим мудрецом» Истма следует считать безусловно достоверным. О нем пишет не только Фаворин, философствующий ритор II в. н. э. (от Сократа этого автора отделял целый ряд столетий, и за истинность его сведений ручаться было бы трудно), но также и Платон (Критон. 52b) — а уж ему-то не доверять нельзя.

А вот встречающееся иногда в научной литературе утверждение, согласно которому «босоногий мудрец» бывал также и в Олимпии, на тамошних знаменитейших в Элладе играх², очевидно, следует считать недоразумением. Оно исходит из той посылки, что действие платоновского диалога «Гиппий меньший» (беседа Сократа с софистом Гиппием) происходит именно в Олимпии. А сама эта посылка ложна и ни на чем не основывается.

Наконец, о плавании Сократа на Самос говорит писатель, являвшийся его современником и, судя по всему, знакомым, — Ион Хиосский, поэт V в. до н. э., а также один из первых в мировой истории мемуаристов. Видимо, именно в своих воспоминаниях (темой которых были его встречи со знаменитыми людьми) Ион и заводит речь о Сократе³. Причем, обратим внимание, приводит ряд подробностей, которые производят впечатление вполне достоверных и тем самым увеличивают возможность того, что свидетельство соответствует действительности: Сократ ездил на Самос в молодости, в компании своего учителя Архелая.

Это путешествие, если оно имело место, можно назвать уже довольно дальним. Плыть из Афин пришлось через все Эгейское море, к побережью Малой Азии, близ которого лежал крупный, богатый остров Самос, прославленный в истории и обладавший давними культурными традициями. Какова была цель поездки? Архелай и Сократ явно отправились в путь не как досужие туристы. Но и предположить какой-то практический интерес тоже вряд ли можно: не торговцы же они. Философы... Стало быть, всего вероятнее — допустить, что они хотели встретиться с кем-нибудь из коллег.

Вывод напрашивается сам собой. Как раз в это время на Самосе жил Мелисс — последний крупный представитель элейской фило-

софской школы, ученик Парменида (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. IX. 24). Мы уже упоминали, сколь большую роль сыграл сам Парменид в формировании мировоззрения Сократа. Так удивительно ли, что будущий «босоногий мудрец» пожелал, — очевидно, после знакомства с Парменидом — пообщаться и с его выдающимся последователем?

Мелисс был не только мыслителем, но и влиятельным политическим деятелем; одно время он даже, судя по всему, возглавлял самосский полис, был в нем высшим должностным лицом — стратегом (*Плутарх*. Перикл. 26–27). Подобный статус «правителя-философа» скорее соответствовал традициям западной части эллинского мира, греческих полисов Южной Италии. Но Мелисс, элейский выученик, и был ведь наследником именно этих традиций.

Позже, в 440 г. до н. э., Самос, входивший в состав Афинской морской державы и являвшийся в ней вторым по могуществу и значению членом после самих Афин, объявил о своем выходе из этого объединения, что в «городе Паллады» было воспринято как наглый бунт и мятеж. К острову отправилась афинская эскадра во главе с самим Периклом! Уже из этого видно, насколько большое значение придавали афиняне подавлению недовольных самосцев.

Мелисс, командовавший их вооруженными силами, правильно организовал оборону. Но Афины были банально сильнее. На первых порах Перикл терпел поражения, но после девятимесячной осады сумел покорить Самос и подвергнуть его суровой каре. Дальнейшая судьба Мелисса неизвестна. Скорее всего — казнь...

* * *

Жизнь Сократа была долгое время вполне спокойной, бедной событиями еще и потому, что такой же была в те годы жизнь всех его сограждан. Афины переживали несколько десятилетий стабильности (как с внутривнутриполитической, так и с внешнеполитической точки зрения), которые были также эпохой их наивысшего процветания, «пика» классической демократии. Наступил знаменитый «Периклов век».

Греко-персидские войны, потребовавшие немалых жертв, закончились. Локальные вооруженные конфликты, разумеется, продолжали сплошь и рядом вспыхивать, едва ли не ежегодно (такова уж была особенность греческого полисного мира), но безопасности Афин они не наносили серьезного ущерба. Город постоянно богател: форос, ежегодно собираемый с союзных полисов, позволял делать в казне на Акрополе колоссальные накопления денежных средств и, так сказать, жить, не тревожась. Помимо прочего, это дало возмож-

ность Периклу провести в жизнь великолепную строительную программу, подразумевавшую в первую очередь полную реконструкцию того же Акрополя — зримого символа афинской мощи. Руководил работами Фидий — великий скульптор и личный друг Перикла. Центральный городской холм, лежавший в запустении с поры Ксерксова разорения, украсился монументальными зданиями, среди которых первое место занимал Парфенон — главный отныне храм Афинской морской державы, непревзойденный шедевр архитектуры всех времен и народов.

Резко усилившиеся при Перикле Афины стали претендовать на достижение положения гегемона, полиса-вождя всего эллинского мира. А это означало вызов Спарте: ведь именно она традиционно признавалась сильнейшим и наиболее авторитетным из греческих государств. Не случайно в пору отражения персидской агрессии она стояла во главе созданного для этой цели Эллинского союза. Ближайшим союзником Спарты был процветающий торговый Коринф, в котором тоже чем дальше, тем больше нарастала неприязнь к Афинам — как к опасному конкуренту.

Нарастало «великое противостояние». Эллада постепенно разделялась на два враждующих лагеря. В какой-то степени это даже имело оттенок «борьбы систем». В Спарте, с ее жестким, военизированным государственным устройством, не было никаких условий для формирования развитой демократии, в Афинах же, напротив, народовластие приобретало все более радикальные формы. Ясно, что в подобной обстановке и в других греческих полисах демократы симпатизировали афинским порядкам, а их оппоненты — спартанским. Вполне справедливо суждение Фукидида (относящееся, правда, к несколько более позднему времени): «В каждом городе вожди народной партии призывали на помощь афинян, а главы олигархов — лакедемонян» (*Фукидид. История. III. 82. 1*).

Правда, афино-спартанские взаимоотношения развивались неоднозначно. Чередовались периоды относительного сближения и жесткого конфликта. Пока самым влиятельным лидером в Афинах был Кимон, симпатизировавший спартанцам и не желавший вражды с ними, кроме того, понимавший, что такая вражда отвлекла бы от главной цели — войны против Персии, — между двумя полисами сохранялись дружественные и доброжелательные контакты. Но после того, как Кимон оказался в опале, ситуация резко изменилась.

Афинские планы становились все более экспансионистскими. Город уже несколько десятилетий стоял во главе мощного морского союза. А теперь афиняне замыслили создание еще и сильного союза на суше под своим руководством. Спарта реагировала ответными не-

дружественными шагами, и в результате между враждующими сторонами была развязана война, которую в науке обычно называют Первой, или Малой Пелопоннесской войной (460–446 гг. до н. э.). Война была не слишком крупномасштабной и скорее относилась к разряду вялотекущих: периоды острых стычек чередовались с длительными мирными передышками. Ни одна сторона не могла добиться решающего перевеса: в сухопутных сражениях, как правило, одолевали спартанцы, а на море, естественно, были сильнее афиняне.

В 446 г. до н. э. война завершилась мирным договором, который должен был сохранять силу в течение 30 лет и поэтому обычно называется «Тридцатилетним миром». Он закреплял равновесие сил между двумя ведущими греческими полисами и разграничивал их сферы влияния. В афинскую сферу отошел почти весь бассейн Эгейского моря, Черноморские проливы — в общем, все, что находилось к востоку от Эллады. Но зато к западу от нее простиралась зона влияния Пелопоннесского союза (объединения, лидером которого являлась Спарта). Она включала в себя прежде всего Великую Грецию. Это не очень обычное название носили колонизованные греками побережья Южной Италии и прилегающего к ней большого острова Сицилии. В Великой Греции находился целый ряд крупных и сильных полисов, в числе которых особенно выделялись сицилийские Сиракузы.

«Тридцатилетний мир» стал своего рода компромиссом. Однако он не мог оказаться прочным. Ведь причины противоречий, существовавших между враждующими сторонами, так и не были ликвидированы. Осталось невыясненным, кто же сильнее — Афины или Спарта. А значит, рано или поздно должна была начаться новая, решающая схватка за лидерство в греческом мире.

После закрепления системы афино-спартанского дуализма Перикл обратился к другим методам достижения господства Афин в греческом мире — методам более неспешным, но зато более тонким и верным. Он стремился интенсивно расширять Афинскую морскую державу, включая в нее новые города (например, те, которые лежали на побережьях Черного моря), а уже находящиеся в составе державы полисы он крепко, порой даже жестоко удерживал в ней, пресекая любые попытки отпадения союзников. Достаточно вспомнить расправу над Самосом.

А какую линию следовало проводить по отношению к главному геополитическому противнику Афин — Пелопоннесскому союзу под руководством Спарты? Этот союз, по планам Перикла, должен был быть постепенно изолирован, а его влияние уменьшено. Лучше всего это можно было сделать, незаметно для пелопоннессцев проникнув

в их сферу влияния, подорвав позиции, которые они там имели. Взять Спарту «в клещи», окружить ее и с востока и с запада — это сулило большие успехи.

И афиняне начали вести все более энергичную политику в Великой Греции (то есть в населенной греками Южной Италии и Сицилии). Этот регион изобиловал полисами разной величины и силы, постоянно враждовавшими друг с другом. Тем легче было внедряться в их среду, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Афины заключали договоры о дружбе и союзе то с одним, то с другим из сицилийских и италийских городов: с Эгестой, Регием, Леонтинами и др.⁴ И вот уже эскадры афинских кораблей, как у себя дома, курсируют в западных водах...

В 443 г. до н. э. Перикл приступил к реализации новаторского, почти невиданного до того в античной истории внешнеполитического проекта. В Южной Италии был основан город Фурии — колония панэллинского (т. е. общегреческого) типа: в ее создании приняли участие выходцы из Афин, городов Пелопоннеса, ряда других греческих полисов. По просьбе Перикла в Фурии переехали даже некоторые из его друзей — деятелей культуры, известных всей Элладе людей: «отец истории» Геродот, архитектор Гипподам, разработавший план застройки города, философ Протагор, написавший для фурийцев законы.

Перикл надеялся, что афиняне займут лидирующее положение в новой колонии и это сделает ее форпостом влияния «города Паллады» на западном направлении. А дальше можно было делать следующие шаги, все прочнее осваиваться в Великой Греции, оттеснять Пелопоннесский союз. Однако его ожиданиям не суждено было сбыться.

Дело в том, что в 430-е годы до н. э. межгосударственные отношения в Элладе начали резко обостряться. И едва ли не главную лепту в это обострение внесла как раз активная политика афинян на западе. Она вызывала все большее недовольство Коринфа. Коринфяне, прежде безраздельно доминировавшие на западных морских путях, давно привыкли рассматривать греческие полисы Южной Италии и особенно Сицилии как своих торговых партнеров и экономических союзников. Самый крупный город региона — Сиракузы — был коринфской колонией и поддерживал со своей метрополией тесные связи. А теперь между Коринфом и Великой Грецией вставали Афины, становясь неожиданным и крайне нежелательным конкурентом.

Между афинским и коринфским полисами нарастала враждебность. А ведь Коринф, не забудем, был вторым по значению после Спарты членом Пелопоннесского союза. Вполне естественно, что ко-

ринфяне стали оказывать все большее давление на спартанцев, убеждая их пресечь «наглость» Афин. Спартанские власти вначале были не склонны излишне драматизировать ситуации и не видели серьезных причин для разрыва «Тридцатилетнего мира».

Но со временем и в самой Спарте возникло недовольство возрастанием афинского могущества. Могущество это увеличивалось и увеличивалось, и становилось ясно: еще немного — и никто уже не сможет на равных соперничать с «городом Паллады».

Тут нужно еще учитывать вещь, которая на первый взгляд кажется странной: спартанцы были великолепными, лучшими в Греции воинами, но воевали они в V в. до н. э. очень нечасто, только тогда, когда другого выбора не было. Спарта была в это время в основном озабочена сохранением существующего порядка вещей и к дальнейшей экспансии не стремилась. Она действовала осторожно, порой даже медлительно. Очень непросто было «раскачать» спартанские власти, чтобы они объявили кому-нибудь войну. И находящийся под спартанской гегемонией Пелопоннесский союз был, в общем-то, организацией оборонительной, а не наступательной, в отличие от Афинской морской державы.

Фукидид приводит речь, которую произнесли коринфские послы, убеждая спартанцев дать отпор усилению Афин. В этой речи бросается в глаза очень яркое сравнение двух ведущих полисов Эллады и их граждан. «Вероятно, вам еще никогда не приходилось задумываться, — говорят коринфяне в Спарте, — о том, что за люди афиняне, с которыми вам предстоит борьба, и до какой степени они во всем несхожи с вами. Ведь они сторонники новшеств, скоры на выдумки и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, держитесь за старое, не признаете перемен, и даже необходимых. Они отважны свыше сил, способны рисковать свыше меры благоразумия, не теряют надежды в опасностях. А вы всегда отстаєте от ваших возможностей, не доверяете надежным доводам рассудка и, попав в трудное положение, не усматриваете выхода. Они подвижны, вы — медлительны. Они странники, вы — домоседы. Они рассчитывают в отъезде что-то приобрести, вы же опасаетесь потерять и то, что у вас есть. Победив врага, они идут далеко вперед, а в случае поражения не падают духом. Жизни своей для родного города афиняне не щадят, а свои духовные силы отдают всецело на его защиту» (Фукидид. История. I. 70. 1–6).

Великий историк, как всегда, смог найти меткие и точные слова, нарисовать запоминающийся образ афинян, а главное — глубоко проникнуть в корни и причины явлений. Связь демократии и агрессии — не случайное совпадение, а закономерность. Жители свободного, демократического государства более предприимчивы, они

всегда готовы к новшествам и переменам, не удовлетворены существующим положением вещей, а стремятся ко все большему и большему. Они не знают покоя. Кроме того, убежденность в том, что их политический строй — самый лучший, заставляет их и другим нести тот же строй, пусть даже понадобится навязать его силой.

Такой способ поведения спартанцы презрительно называли «суетливостью». Афиняне, чтобы не остаться в долгу, именовали спартанцев праздными бездельниками. Одним словом, назревавшая в Элладе война была не только столкновением двух военно-политических сил, не только схваткой за гегемонию, за первенство. В той же мере можно говорить о конфликте двух систем ценностей, двух мировоззрений.

* * *

Итак, самым явным образом все шло к крупномасштабному вооруженному конфликту между двумя крупнейшими военно-политическими блоками Греции V в. до н. э. — Пелопоннесским союзом и Афинской морской державой — конфликту из-за гегемонии, который, очевидно, был объективно неизбежен и назревал долго, на протяжении десятилетий.

На союзных собраниях пелопоннессцев представители Коринфа оказывали постоянное давление на спартанские власти, побуждая их положить предел росту афинского могущества. Сама Спарта более осторожно относилась к перспективе крупной войны. Спартанцы, обладая лучшим в греческом мире сухопутным войском, тем не менее прекрасно сознавали, какая тяжесть ляжет на их плечи в случае, если вооруженный конфликт окажется трудным и затяжным, а это казалось (и оказалось) неизбежным. Постоянная внутренняя опасность, исходившая от илотов (зависимого населения, спартанских «крепостных», которых было в несколько раз больше, чем полноправных граждан полиса — спартиатов), тоже была фактором, который Спарта должна была принимать во внимание: война с Афинами означала отправку крупных воинских контингентов за пределы государства, чем илоты вполне могли воспользоваться и восстать. Тем не менее и спартанцы, напуганные продолжающимся возвышением Афин, со временем стали склоняться к решительным действиям.

К концу 430-х годов до н. э. внешнеполитическая обстановка в Элладе была предельно накалена. Страна, если воспользоваться популярной метафорой, напоминала пороховой погреб, который мог вспыхнуть от малейшей искры. Иными словами, непосредственным поводом к началу военных действий между Афинами и Спартой мог

послужить любой, даже незначительный, локальный пограничный инцидент.

Это не заставило долго себя ждать, и в течение одного-двух лет произошло сразу несколько инцидентов такого рода. Один из них был связан с Керкирой — островом в Ионическом море, у северного побережья Греции. Керкира, располагавшая сильным военным флотом и занимавшая чрезвычайно важное стратегическое положение на морских путях, ведущих к Италии и Сицилии, являлась колонией Коринфа, но к рассматриваемому здесь времени рассорилась со своей метрополией и даже вела с ней войну. В поисках сильного союзника керкиряне обратились в Афины; афинское народное собрание в высшей степени благосклонно восприняло их просьбу о помощи и установило с Керкирой союзные отношения. Коринфяне не без оснований рассматривали поведение афинян как вмешательство в свои внутренние дела и были крайне возмущены.

Тогда же Афины ужесточили политику по отношению к городу Потидее на полуострове Халкидика, входившему в состав Афинской морской державы. Потидея тоже была колонией Коринфа и традиционно поддерживала с ним политические связи. Когда же афиняне приказали Потидее разорвать эти связи, она предпочла поднять восстание и заявить о своем выходе из союза. На усмирение отпавшего полиса была направлена афинская эскадра с отрядом гоплитов, который осадил Потидею. Эти события послужили для Коринфа новым поводом для агитации за войну против Афин.

Примерно в то же время, в конце 430-х гг. до н. э. Афины ввели жестокие экономические санкции против Мегар — соседнего с ними полиса, входившего в Пелопоннесский союз. Любым мегарским товарам был отныне закрыт доступ на рынки Афин и всех союзных с ними полисов; торговцы-мегаряне были под страхом смерти изгнаны оттуда. Экономика Мегар, в очень большой степени ориентированная именно на торговлю с Афинами, в кратчайший срок пришла в бедственное положение.

Большая война становилась совершенно неизбежной. В этих условиях в 432 г. до н. э. в Спарте состоялся очередной конгресс государств — членов Пелопоннесского союза. Союзники во главе с Коринфом стали дружно оказывать давление на спартанцев, убеждая их наказать наконец «распоясавшиеся» Афины, положить предел их усилению. Спартанские власти неохотно склонялись на уговоры.

На конгрессе было решено использовать вначале все возможные мирные средства и попытаться снять напряженность путем переговоров. После этого в Афины несколько раз прибывали спартанские послы и то в относительно мягкой, то в более угрожающей форме

предлагали афинянам разорвать союз с Керкирой, снять осаду с Потидеи и отменить санкции против Мегар. В принципе, на этом этапе война еще могла быть предотвращена: спартанцы ее по-прежнему не слишком хотели и удовлетворились бы, если бы Афины пошли на некоторые, даже небольшие уступки.

Однако стоявший по-прежнему во главе афинского полиса Перикл был убежденным противником каких бы то ни было уступок противостоящей стороне. Он считал, что Афины уже достаточно сильны и готовы к решающей схватке за гегемонию в Греции.

Сыграл свою роль и внутривластный фактор. К концу 430-х гг. до н. э. положение Перикла в Афинах несколько пошатнулось. «Первый гражданин» старел — ему пошел седьмой десяток — и не мог уже так же эффективно, как прежде, держать все под своим контролем. Кроме того, возрастало недовольство единоличным характером его власти. Попросту говоря, афинянам надоело, что один и тот же человек так долго бессменно находится у руля государства.

Падением популярности Перикла не преминули воспользоваться его внутривластные соперники. Они, объединившись, повели против него борьбу. Правда, сам он пока еще казался неуязвимой мишенью: его авторитет у сограждан был, несмотря ни на что, очень высок. Поэтому был избран окольный путь, чтобы со временем «свалить» Перикла. К нему стали подбираться постепенно, исподволь, для начала организуя нападки на его друзей и соратников, особенно на деятелей культуры из перикловского кружка.

В кружке этом царило полное свободомыслие; входившие в него умные и просвещенные люди не боялись высказывать самые смелые идеи. Это не нравилось многим афинянам, особенно представителям старшего поколения, воспитанным в духе традиционных ценностей. В городе стали поговаривать, что Перикл поощряет безбожие, неуважение к полисной религии.

Учитель Перикла, философ Анаксагор, много размышлявший о природных явлениях и учивший, что Солнце — огромная каменная глыба, а не бог Гелиос, как рассказывалось в старинных мифах, — был предан суду и как нечестивец приговорен к изгнанию из Афин. Еще более тяжелая судьба ждала Фидию. Гениального скульптора тоже обвинили в религиозном преступлении. Создавая статую Афины-Девы для Парфенона, он изваял на щите богини битву греков с амазонками. И, как говорили недоброжелатели, среди сражающихся героев Фидий поместил свой собственный портрет, а рядом изобразил своего друга Перикла.

Создавать скульптурные изображения живых людей в классической Греции строго-настрого запрещалось (исключение делали

только для победителей в Олимпийских играх, которых считали героями-полубогами). С точки зрения традиционной религии, такие изображения были кощунством, издевательством над святынями. За это-то теперь и должны были судить Фидия. Но великий ваятель умер в тюрьме, не дождавшись процесса. Не исключено, что он был тайно отравлен врагами Перикла.

Даже Аспасия — тогдашняя жена «первого гражданина», образованнейшая женщина своего времени — предстала перед судом. Как рассказывает Плутарх, «Перикл вымолил ей пощаду, очень много слез пролив за нее во время разбирательства дела... и упросив судей» (*Плутарх*. Перикл. 32). Лидер афинского полиса не мог не понимать: атаки на членов его кружка ведутся с одной-единственной целью — скомпрометировать и в конечном счете устранить с политической арены его самого. Цель эта казалась не столь уж и далекой...

Почему мы так подробно говорим обо всех этих перипетиях? Прямо или косвенно, с какой бы то ни было целью, — в Афинах разжигали религиозную истерию, подозрения по отношению к инакомыслящим. В душах граждан пробуждали довольно низменные чувства, а главное — подспудно склоняли к поиску «врагов», «виноватых»... Сократу — а уж кто среди афинян был инакомыслящим, если не он? — еще предстоит почувствовать на себе тяжелую руку державного демоса.

Перикл же, опасаясь за свое положение, решил форсировать начало войны, чтобы побудить народ вновь сплотиться вокруг своего испытанного руководителя. Как известно, в военную годину не до внутренних распрей. Потому-то по его инициативе афинская экклесия отвечала на все требования спартанских послов самым решительным отказом. В результате Спарта склонилась-таки к активным действиям. Пелопоннесский союз, собравшись на новый конгресс и заручившись поддержкой авторитетного Дельфийского оракула, официально объявил Афинам войну.

Эта, так называемая Пелопоннесская война растянулась на 27 лет (431–404 гг. до н. э.) и стала не только самым продолжительным, но также самым крупномасштабным и кровопролитным межполисным вооруженным конфликтом в истории Древней Греции. В борьбу вступили два сильнейших в эллинском мире политических объединения — Пелопоннесский союз и Афинская морская держава. А со временем в военное столкновение оказались втянутыми не только полисы — члены этих объединений, но и почти все греческие государства, потому что каждое из них в той или иной мере тяготело либо к Спарте, либо к Афинам. «Нейтральных» почти не осталось.

Начиная с 431 г. до н. э. и на протяжении ряда лет мощное шестидесятитысячное сухопутное войско Пелопоннесского союза почти

ежегодно вторгалось в Аттику и опустошало сельскохозяйственные угодья. Главной целью пелопоннесцев было вызвать противника на генеральное сражение, разгромить его (а разгром в битве на суше был неминуем, ибо афиняне, сильные на море, заведомо уступали спартамцам в количестве и качестве сухопутных вооруженных сил) и таким образом сразу решить исход войны в свою пользу.

Однако Перикл, руководивший обороной Афин, понимал, что ни в коем случае не следует поддаваться на подобного рода провокации. По его распоряжению при получении известия о подходе вражеской армии все сельское население Аттики заблаговременно эвакуировалось с хоры (сельской местности) в город, под надежную защиту стен.

Отметим тут, что, в отличие от Спарты, которая вообще не имела оборонительных укреплений, Афины были окружены мощной системой фортификационных сооружений, включавшей в себя стены вокруг самого города, стены вокруг Пирея и соединявший их коридор «Длинных стен». Надежно связанный с морем, по которому всегда могли поступать подкрепления и продовольствие, «город Паллады» был совершенно неуязвим для сколь угодно длительной осады, пока его флот господствовал в Эгейде.

Хоть крестьянам и было не по душе смотреть на то, как враги разоряют их земельные наделы, все же от голода они не страдали: в Пирее на кораблях постоянно подвозилось продовольствие. А тем временем выжидательная тактика Перикла приносила свои плоды: пелопоннесское войско, не добившись своего, с наступлением осени возвращалось на родину (воевать зимой в античном мире было не принято), и крестьяне имели возможность на зиму разойтись по домам, с тем чтобы весной вновь эвакуироваться в город. Боевые же действия атакующего характера афиняне проводили там, где они были особенно сильны, — на море. Афинский флот совершал рейды вокруг Пелопоннеса и пытался наносить неожиданные удары по прибрежным поселениям противника.

Первые годы войны не приносили решающего успеха ни одной из сторон: надежды Спарты на «блицкриг» не оправдались, жители подвергавшихся осаде Афин вели себя спокойно и выдержанно. Однако переполнение города эвакуированными крестьянами породило антисанитарные условия, что привело к мощной вспышке эпидемии неизвестной болезни (современные ученые определяют ее как чуму или сыпной тиф). Эпидемия, разразившаяся летом 430 г. до н. э., спутала все планы Перикла; она продолжалась около четырех лет, и жертвами ее стали до четверти всех афинян. Все это привело к окончательному падению популярности Перикла. Лидер афинского полиса был смещен с должности стратега, отдан под суд и при-

говорен к крупному денежному штрафу. Правда, в следующем году он вновь был избран стратегом, но вскоре после этого сам умер от охватившей город болезни.

* * *

Достойного преемника Периклу долгое время не находилось. После его смерти на ведущую роль в городе претендовали два политика — Клеон и Никий. Клеон, незнатный, но состоятельный владелец кожевенной мастерской, являлся типичным демагогом и пользовался авторитетом у низших слоев демоса благодаря постоянно проводившимся им мерам популистского характера. Клеон призывал к войне «до победного конца» и выступал против любых попыток установить мирные отношения со Спартой. Никий — мы с ним уже знакомы, — считавшийся одним из богатейших граждан Афин (он был крупным землевладельцем и имел в собственности до тысячи рабов), прославился в первые годы войны как мудрый и осторожный военачальник. При этом он был склонен к заключению мира со спартанцами, — естественно, на приемлемых для Афин условиях. Умеренный по своим политическим взглядам Никий пользовался поддержкой афинского крестьянства, страдавшего от все более затягивавшейся войны.

Эпидемия, бесспорно, ослабила Афины. Но они стремились продемонстрировать, что, несмотря на обрушившиеся на них несчастья, еще очень сильны и готовы к продолжению военных действий со Спартой на равных. В 429 г. до н. э. пала давно осаждавшаяся афинянами Потидея. В целях улучшения финансового положения афинское народное собрание в 425 г. до н. э. по инициативе Клеона резко — более чем в два раза — увеличило суммы фороса, взимаемого с союзных полисов. Надо полагать, граждане голосовали за это постановление с энтузиазмом (еще бы, доходы государства сразу возрастут!), совершенно не задумываясь о том, по какому губительному пути ведет их Клеон. Стоило ли в тяжелые военные годы еще сильнее раздражать союзников, которые и без того роптали на афинское засилье? Сиюминутные выгоды заслоняли в умах людей очень опасные последствия.

А в союзных полисах, действительно, все росло и росло недовольство. Правда, большинство их опасалось открыто протестовать: Афины, несмотря на обрушившиеся на них несчастья, были еще очень сильны, их флот по-прежнему безраздельно господствовал в Эгейде.

Начав оправляться от последствий эпидемии, Афины перешли к более активному ведению войны; политическая линия Клеона имела значительный перевес. В 425 г. до н. э. они захватили город Пилос на юго-западном побережье Пелопоннеса и превратили его

в свой опорный плацдарм. При этом были захвачены в плен несколько сот спартанских воинов (в том числе 120 спартиатов из знатных родов). Их в окопах переправили в Афины и оставили там в качестве заложников. Дело при Пилосе было весьма крупной победой Афин, важной как в военно-стратегическом, так и в моральном отношении. История Спарты до того практически не знала случаев, когда спартиаты сдавались бы в плен; был, таким образом, развеян миф о непобедимости этого военного сословия спартанского полиса, что было для него неслыханным позором. После этого пелопоннесское войско больше не осуществляло нашествий на Аттику, поскольку спартанские власти боялись, что заложники в таком случае будут казнены.

Пилос продолжал оставаться военной базой Афин на территории противника. В 424 г. до н. э., развивая достигнутые успехи, афинская эскадра под командованием Никия овладела островом Кифера, лежавшим к югу от Лаконики и использовавшимся спартанцами в качестве морского порта. Спарта как бы зажималась в «клещи» со всех сторон.

Нельзя сказать, чтобы все афинские военные кампании этих лет были только удачными. Так, в том же 424 г. до н. э. союзники Спарты — беотийцы — нанесли афинскому сухопутному войску тяжелое поражение при местечке Делий (на границе между Аттикой и Беотией). Тем не менее перевес в войне явным образом переходил на сторону Афин. В этих условиях спартанские власти пришли к мысли о необходимости смены общей стратегии: рутинная практика ежегодных вторжений в Аттику совершенно не оправдала себя.

В 424 г. до н. э. отборный отряд пелопоннесцев под командованием лучшего спартанского военачальника, молодого и энергичного Брасида, совершил стремительный бросок через всю Балканскую Грецию на северное побережье Эгейского моря. В этом регионе Афины издавна имели сильные позиции, оттуда они получали строевой лес для своих триер, золото и серебро, добывавшиеся в расположенных там рудниках, а также немалые суммы форо́са от находившихся там союзных полисов. После прибытия Брасида многие из этих полисов стали добровольно переходить на сторону Спарты, другие он взял силой.

В частности, в его руках оказалась чрезвычайно важная афинская колония Амфиполь на фракийском побережье Эгеиды. Для афинян все это было полной неожиданностью. Лишь в 422 г. до н. э. они смогли направить в район Амфиполя свой флот и войско под командованием Клеона. Битва при Амфиполе принесла победу спартанцам, однако в ней погибли вожди обеих сражавшихся армий — и Клеон, и Брасид.

Итак, на протяжении своего первого десятилетия Пелопоннесская война шла с переменным успехом. Обе враждующие стороны нуждались в мирной передышке. Нарастанию мирных настроений в Афинах способствовала гибель главы «военной» группировки Клеона. Никию, влияние которого усилилось, удалось склонить афинское народное собрание к ведению мирных переговоров со Спартой, в которой после гибели сторонника войны Брасида тоже возобладала стремившаяся к миру группировка.

В результате переговоров в 421 г. до н. э. был подписан мирный договор (так называемый «Никиев мир»), возвращавший стороны к положению, существовавшему до начала войны. Таким образом, ни одно из имевшихся между Афинами и Спартой противоречий не было устранено. Договор был рассчитан на 50 лет, но на деле мир не мог быть долгим и прочным, и это все понимали. Он лишь завершил собой первый период Пелопоннесской войны. По сути дела, Элладе была дарована небольшая мирная передышка. Продолжалась она только несколько лет, да и в это время как Афинская морская держава, так и Пелопоннесский союз готовились к новым военным кампаниям. Под прикрытием Никиева мира начинали уже происходить стычки, вначале небольшие, потом все более интенсивные; однако официально афино-спартанский договор пока отменен не был.

* * *

Напомним, что среди афинских граждан имелось немало лиц, симпатизировавших Спарте и тамошним порядкам. Да и сам Сократ, кстати, был в их числе. Но особенно отличалась этим аристократическая молодежь. Как восприняла она войну с государством, которое считала образцовым и достойным подражания?

Многое здесь пояснит вот такая историческая параллель. В России начала XIX в. представители знати в подавляющем большинстве просто-таки бредили Францией. На светских раутах в Санкт-Петербурге и Москве звучала преимущественно французская речь; считалось не просто хорошим тоном, а чем-то совершенно необходимым нанять для воспитания детей гувернера-француза. В Наполеоне же однозначно видели великого человека, непревзойденного гения всех времен и народов...

Но вот он вторгается с армией на территорию России, начинается Отечественная война 1812 года. Какова была в ней позиция русского дворянства? Всем известно: оно грудью встало на защиту страны. Преклонение — преклонением, но когда твой кумир становится врагом твоей родины, о личных чувствах нужно забыть. Вот так же

и афинская аристократия. Не переставая уважать Спарту и спартанцев, она мужественно шла сражаться с ними и гибла на полях битв. Как говорится, «на войне как на войне». Случаи коллаборационизма с противником были буквально единичными. Наиболее известный пример такого рода связан с Алкивиадом; но там ситуация осложнялась тем, что этого политика и полководца в Афинах заочно приговорили к смертной казни, и пути на родину ему не было.

Но что же Сократ? Изменилась ли его жизнь после начала вооруженного конфликта со спартанцами? Да, разумеется. Правда, повезло ему уже в том, что страшная эпидемия первых военных лет его никак не коснулась. Позднеантичный автор утверждает даже, что якобы, «когда Афины охватила чума, он (Сократ. — И. С.) один остался невредим» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 25), но это, разумеется, преувеличение.

Однако в целом большая война не могла не повлиять самым непосредственным образом на жизнь каждого афинянина, и «босоногий мудрец», конечно, не был исключением. Продолжать привычную жизнь домоседа, не покидающего родной город, теперь уже не было никакой возможности. На протяжении более чем десятилетия военные действия шли ежегодно, причем были крупномасштабными. Воевать приходилось и на море, и на суше. Афинскому государству требовалась значительно бóльшая армия, нежели в обычное мирное время. А армии древнегреческих полисов, как прекрасно известно, представляли собой ополчения граждан. Теперь в такое ополчение приходилось призывать не только молодежь, как бывало в более спокойной обстановке, но и людей старшего возраста. Неоднократно подпадал под призыв и Сократ, которому в первый период Пелопоннесской войны было между 40 и 50 годами.

Служил он, как мы знаем, в рядах гоплитов (тяжеловооруженных пехотинцев) и несколько раз в их числе участвовал в походах и битвах. В источниках в связи с биографией Сократа упоминаются три кампании. «...Он участвовал в походе под Амфиполь, а в битве при Делии спас жизнь Ксенофону, подхватив его, когда тот упал с коня. Среди повального бегства афинян он отступал, не смешиваясь с ними, и спокойно оборачивался, готовый отразить любое нападение. Воевал он и при Потидее (поход был морской, потому что пеший путь закрыла война); это там, говорят, он простоял, не шевельнувшись, целую ночь, и это там он получил награду за доблесть, но уступил ее Алкивиаду» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 22–23).

Сведений о других случаях участия Сократа в военных действиях античные авторы не дают. Приходилось ли ему воевать раньше?

В принципе, это вполне возможно и даже вероятно. Афиняне и до начала Пелопоннесской войны редкий год не выступали в какой-нибудь поход. А ведь и Сократ когда-то был молодым, у молодого же человека, естественно, было гораздо больше шансов оказаться в составе войска. Но не будем гадать, коль скоро никакой информации в нашем распоряжении нет. Сосредоточимся на тех трех эпизодах, о которых мы знаем твердо. Кстати говоря, данные о них у Диогена Лаэртского — автора позднего, из числа тех, которых порой и заподозривают в недостоверности, — вполне совпадают с упоминанием более кратким, но зато содержащимся в таком надежном источнике, как защитительная речь Сократа на суде в пересказе Платона: «...Я оставался в строю, как и всякий другой, и подвергался опасности умереть тогда, когда меня ставили начальники, вами выбранные для начальства надо мною, — под Потидеей, Амфиполем и Делием» (Платон. Апология Сократа. 28е).

Поскольку выше была приведена краткая сводка основных событий первого периода Пелопоннесской войны, читатель может легко заметить: кампании с участием Сократа перечислены Диогеном Лаэртским не в правильном хронологическом порядке. Впрочем, первым по времени и действительно был поход к Потидее. Осада этого города началась еще до официального объявления Спартой войны Афинам, в 432 г. до н. э.

В одном из ранних сократических диалогов Платона — «Хармиде» — действие разворачивается непосредственно после того, как Сократ возвратился из этого похода. Сочинение (в нем рассказ ведется от имени самого Сократа) начинается именно с этого:

«Вернулся я вчера вечером из лагеря под Потидеей, и так как я долго отсутствовал, то с радостью пошел к привычным местам бесед... Херефонт с присущей ему восторженностью, вырвавшись вперед, подбежал ко мне и, схватив за руку, воскликнул: “Сократ мой, так ты уцелел в битве?” (В самом деле, незадолго до моего отбытия из Потидеи там произошла битва, о которой собравшиеся здесь узнали лишь недавно.) А я ему в ответ: “Как видишь, уцелел”.

— Да ведь сюда дошли вести, — сказал он, — что битва была очень жестокой и в ней пали многие люди, которых мы знаем.

— Пожалуй, — отвечал я, — это правдивые вести.

— Значит, — спросил он, — ты участвовал в битве?

— Участвовал.

— Садись же сюда, — сказал он, — и расскажи нам, ведь не обо всем мы точно осведомлены.

...Сев рядом, я... стал рассказывать им о войске все, что каждого интересовало; вопросы же сыпались со всех сторон.

А когда мы вдоволь наговорились об этом, я в свою очередь стал расспрашивать их о здешних делах: о философии — в каком она сейчас состоянии, и о молодежи — есть ли среди них кто-либо, выдающийся своим разумом, красотой или тем и другим вместе» (*Платон. Хармид. 153b–d*).

Итак, Сократ совсем недавно участвовал в серьезном и трудном сражении, в котором вполне мог встретить свою смерть, как встретили ее многие другие. Но об этом ли он думает? Отнюдь нет. Больше всего он рвется вернуться к привычной для него жизни — вести разговоры о философии, о красавцах и пр.

Именно в ходе потидейской операции имели место некоторые вышеописанные случаи. Например, уже шла речь о том, как легко Сократ переносил холод на походе, и о том, как он однажды простоял на одном месте, задумавшись, чуть не целые сутки. А повествует об этом Алкивиад, который знал о подобных вещах не понаслышке — сам был участником той же кампании. Как он сам говорит: «...нам довелось отправиться с ним (с Сократом. — *И. С.*) в поход на Потидею и вместе там столоваться» (*Платон. Пир. 219e*). Последнее означает, что они жили в одной палатке.

А далее Алкивиад возносит хвалу Сократу как воину: «А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, — тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя» (*Платон. Пир. 220de*).

Есть здесь что-то, что заставляет усомниться: не столкнулись ли мы с путаницей или даже сознательным художественным вымыслом Платона? На момент дела при Потидее Алкивиаду было всего-то восемнадцать лет, это был первый в его жизни поход — и ему сразу оказали такую высокую честь, как присуждение первой награды за доблесть? У греков было принято сразу после битвы проводить своеобразный «конкурс», выявлять лучшего, наиболее отличившегося воина или полководца и награждать его. Почему в данном случае выбор пал на Алкивиада? Конечно, он происходил из знатного рода и был известен в городе, но известен-то в основном своей красотой и скандальным поведением. На полях сражений ему только предстояло отличиться.

Подозрение вызывает и то, что, по другой версии (вспомним цитировавшийся чуть выше отрывок из Диогена Лаэртского), Сократ

спас не Алкивиада, а Ксенофонта, и не при Потидее, а при Делии. Или оба эпизода действительно имели место? Как-то странно это: уж слишком они схожи, поневоле задумаешься о возможности «дубликата» — ошибочного раздвоения одного и того же события, превращения его в два разных.

Правда, об эпизоде с Сократом и Алкивиадом повествует также Плутарх, причем даже подробнее, чем Платон: «Еще подростком он (Алкивиад. — И. С.) участвовал в походе на Потидею, и его соседом в палатке и в строю был Сократ. В одной жаркой схватке оба сражались с отменным мужеством, но Алкивиад был ранен, и тогда Сократ прикрыл его своим телом, отразил нападавших и таким образом спас от врагов и самого Алкивиادا и его оружие. Это было вполне очевидно для каждого, и Сократу по всей справедливости причиталась награда за храбрость. Но оказалось, что военачальники, из уважения к знатному роду Алкивиادا, хотят присудить почетный дар ему, и Сократ, который всегда старался умножить в юноше жажду доброй славы, первым высказался в его пользу, предложив наградить его венком и полным доспехом» (*Плутарх*. Алкивиад. 7).

Но, строго говоря, Плутарх здесь не может считаться независимым свидетелем. Ведь совершенно очевидно, что рассказ он почерпнул не от кого иного, как от того же Платона, и просто пересказал его, уснастив разными риторическими красотами, но практически никакой новой информации не добавив. Одним словом, вопрос об историчности рассматривавшегося события приходится оставить открытым. Как говорится, есть вещи слишком уж красивые, чтобы быть истиной.

* * *

Поход на Делий имел место восемь лет спустя после потидейского — Пелопоннесская война была уже в полном разгаре — и ознаменовался одним из самых тяжелых для Афин поражений за весь первый период этого вооруженного конфликта. Афинская армия отступила с тяжелыми потерями, в числе которых был и командующий — стратег Гиппократ (кстати говоря, племянник Перикла).

Сократ, однако, и в подобной — далеко не самой выигрышной ситуации проявил мужество высшей пробы. Подтверждает это, во-первых, Лахет — полководец, сражавшийся при Делии бок о бок с Сократом и имевший возможность оценить его поведение (*Платон*. Лахет. 181b). Подтверждает, во-вторых, и Алкивиад, тоже участник битвы:

«Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья, когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от Делия. Я был тогда

в коннице, а он в тяжелой пехоте. Он уходил вместе с Лахетом, когда наши уже разбрелись. И вот я встречаю обоих и, едва их заведев, призываю их не падать духом и говорю, что не брошу их. Вот тут-то Сократ и показал мне себя с еще лучшей стороны, чем в Потидее, — сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. Насколько, прежде всего, было у него больше самообладания, чем у Лахета. Кроме того, мне казалось, что и там, так же как здесь, он шагал, говоря твоими, Аристофан, словами, «чинно глядя то влево, то вправо», т. е. спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому оба они благополучно завершили отход. Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки» (*Платон. Пир. 220е слл.*).

Напомним, что среди участников диалога Платона «Пир» — комедиограф Аристофан, осмеявший Сократа в своих «Облаках». В речи Алкивиада присутствует даже цитата из этой пьесы, но, разумеется, приведены эти слова с противоположной целью — восхвалить «босоногого мудреца».

Тут, возможно, необходимы некоторые пояснения относительно специфики боя в античности. Сила гоплитских армий была в их сплоченности. Если такое войско обращалось в бегство, то строй, естественно, ломался, и перед противником открывалась прекрасная возможность для преследования и резни. Гоплит в своем тяжелом вооружении не мог передвигаться быстро и был прекрасной мишенью для нападения. Большая часть жертв в гоплитских сражениях приходилась именно на такие случаи. Единственным способом уцелеть было не поддаваться панике, сохранять выдержку, но как раз это-то и трудно! Сократу же с его невозмутимым спокойствием это вполне удалось, и враги не решились атаковать его.

Плутарх, излагая тот же эпизод, вновь следует Платону: «...После битвы при Делии, когда афиняне обратились в бегство, Алкивиад, верхом на коне, заметил Сократа, отступившего с несколькими товарищами пешком, и не проскакал мимо, но поехал рядом, защищая его, хотя неприятель жестоко теснил отходивших, производя в их рядах тяжелые опустошения» (*Плутарх. Алкивиад. 7*).

Что же касается третьей кампании, в которой участвовал Сократ, она имела место в 422 г. до н. э. Это — известная битва при Амфиполе, та самая, в которой пали Клеон и Брасид. О каких-либо эпизодах сражения, связанных с Сократом, в источниках не сообщается, упоминается лишь сам факт его присутствия в афинском войске в это время. В исследовательской литературе, надо сказать, порой высказывается мнение, согласно которому сам факт вымышлен и Сократ

под Амфиполем не был. Однако для подобного скептицизма нет серьезных оснований⁵. Как мы видели, сам Сократ в своей защитительной речи упоминает о своем участии именно в трех походах; Амфиполь в его перечне фигурирует вместе с Потидеей и Делием. Какой бы смысл ему было вдруг сказать неправду? Особенно учитывая, что выступал он перед своими соотечественниками и современниками, перед людьми, на глазах которых проходила его жизнь. Ими была бы немедленно уличена попытка приписать себе несуществующие заслуги. Да и зачем было предпринимать такую попытку? У Сократа вполне хватало заслуг реальных.

После Никиева мира, насколько можно судить, Сократа больше не призывали в армию. Удивляться не приходится: он уже перешагнул полувековой рубеж.

Дела же в полисе развивались следующим образом. Все выше поднималась звезда Алкивиада. Теперь именно он стал главным противником умеренного и осторожного Никия. Никий выступал как миротворец — Алкивиад, наоборот, призывал к возобновлению войны.

В 415 г. до н. э. Алкивиад выдвинул инициативу самой крупномасштабной за все время Пелопоннесской войны операции Афин — морской экспедиции на Сицилию. Планы полководца предусматривали не больше и не меньше как полное завоевание этого огромного острова и прежде всего взятие крупнейшего из сицилийских городов — Сиракуз. Сиракузы были сильным демократическим полисом, по величине и военной мощи лишь немного уступали самим Афинам, при этом поддерживали тесные связи со своей метрополией — Коринфом.

Овладение Сицилией, как считал Алкивиад, решит все стратегические задачи афинян: обеспечит им гегемонию в Греции, обезвредит Пелопоннесский союз. При этом казалось, что операцию удастся осуществить, избежав вмешательства Спарты. Ведь условия Никиева мира непосредственно не нарушались: сицилийские полисы не были членами Пелопоннесского союза.

Тщетно пытался Никий противодействовать замыслам Алкивиада, убеждая афинский демос в том, что попытка захвата Сицилии — авантюра, обреченная на провал. Доводы его соперника звучали убедительнее. Ведь молодой полководец обещал согражданам, победив на Сицилии, повести их дальше — и на Карфаген, и на Италию...

В конце концов народное собрание приняло постановление о начале экспедиции, о подготовке для нее мощного флота и армии вторжения. Во главе вооруженных сил были поставлены в ранге стратегов инициатор всего предприятия Алкивиад, а также — решение парадоксальное, но вполне в духе афинской демократии — его главный

оппонент Никий, который, очевидно, должен был сдерживать чрезмерное рвение своего энергичного коллеги.

Сократ же, как упоминалось выше в связи с проблемой демония, занимал в «сицилийском вопросе», насколько можно судить, более чем осторожную позицию, предсказывая грядущее поражение. Дни, предшествовавшие великому походу, были наполнены и другими неблагоприятными предзнаменованиями.

Незадолго до отплытия флота в Афинах было совершено религиозное преступление, омрачившее всеобщую эйфорию. Как-то ночью неизвестные лица изуродовали гермы — стоявшие на улицах и перекрестках города изображения бога Гермеса. Враги Алкивиада — в основном это были завидовавшие ему демагоги — обвиняли его и его сторонников в этом кощунстве. Кроме того, поступил донос, что в доме Алкивиада и под его руководством совершалось еще одно нечестивое деяние — пародировались Элевсинские мистерии, глубоко чтимый священный обряд.

Алкивиад настаивал на своей невиновности и требовал немедленного разбирательства дела в суде. Однако следствие затянулось, а тем временем огромная афинская армада, состоявшая из 136 кораблей, отбыла на запад. Но как только флот прибыл к сицилийским берегам и начал там военные действия, Алкивиад был отозван в Афины на судебный процесс по делу о пародировании мистерий. Понимая, что его ожидает наказание и, возможно, даже казнь (поддерживавшее его войско было далеко, на Сицилии, а в городе набрали силу его недоброжелатели), самый талантливый и энергичный из афинских полководцев предпочел не возвращаться на родину. Он бежал и вскоре перешел на сторону Спарты. В Афинах его заочно приговорили к смерти, а имя его было проклято жрецами.

Сицилийская экспедиция продолжалась, но потеря Алкивиада фактически обезглавила ее. По иронии судьбы командующим афинскими силами остался Никий, убежденный в неизбежном провале всей операции. Что он мог сделать при таких пораженческих настроениях? Около двух лет Никий безуспешно и чрезмерно вяло осаждал Сиракузы. Сиракузяне обратились за содействием в Спарту, и лакедемонские власти, разорвав мир с Афинами, прислали на помощь осажденным отряд под командованием спартиата Гилиппа.

Гилипп проявил себя блестящим организатором. Он укрепил обороноспособность Сиракуз, поднял боевой дух их жителей и сумел нанести поражение пошедшему на штурм города афинскому войску. Не поправило дела Никия и прибывшее к нему подкрепление — еще 65 кораблей. После нескольких битв на суше и на море в 413 г. до н. э. флот афинян оказался полностью разгромлен, а сухопутная

армия, начавшая отступление от Сиракуз, настигнута и уничтожена. Сам Никий был взят в плен и казнен.

Поражение на Сицилии стало страшной катастрофой для Афин, подорвавшей их силы. Было потеряно около 200 военных судов, 10 тысяч гоплитов, т. е. треть всего полисного ополчения. Часть афинских воинов погибли в сражениях, других обратили в рабство и отправили на сиракузские каменоломни. Кроме того, на окончившуюся полным крахом авантюру были напрасно потрачены огромные денежные средства.

Полностью оправиться от перенесенного потрясения «город Паллады» так и не смог. Сицилийская экспедиция стала переломным пунктом в ходе Пелопоннесской войны: отныне стратегическая инициатива перешла к Спарте. Внутренний голос Сократа опять не подвел его...

* * *

Участившиеся военные неудачи, бесспорно, вели к внутреннему кризису в Афинах, к кризису демократии. Особенно после страшного поражения на Сицилии многие граждане начали ощущать, насколько вредно засилье демагогов, по инициативе которых зачастую принимались опасные для полиса решения. Нарастание элементов охлократии, авантюристическая внешняя политика вождей государства — все это стало вызывать отторжение. Дошло до того, что от демократических принципов отшатнулись те слои населения, которые не столь давно были их главной опорой, — среднезажиточные крестьяне, служившие в войске в качестве гоплитов. В первой половине V в. до н. э. именно эти люди внесли основной вклад в становление демократии, а теперь они видели, что от них мало что зависит, что тон в полисе задает «корабельная чернь». Да и перспективы продолжающейся войны представлялись безрадостными.

В Афинах нарастали олигархические настроения. Начали набирать силу сторонники примирения со Спартой. Да и вообще в идейной жизни царили растерянность и сумятица.

Спартанцы же после победы под Сиракузами ощутили радикальное изменение ситуации и принялись развивать свой успех. По совету перешедшего к ним на службу Алкивиада, который, естественно, прекрасно знал все слабые места афинян, они сменили тактику военных действий на суше. Периодические вторжения в Аттику оказались совершенно неэффективными, и поэтому в 413 г. до н. э. войска Пелопоннесского союза захватили и укрепили на ее территории постоянный плацдарм — крепость Декелею к северу от Афин. Там был размещен спартанский гарнизон, и тем самым в Афинах поддержи-

валось постоянное напряжение. Ведь теперь эвакуированные в город крестьяне не могли на зиму возвращаться в свои деревни, как раньше.

Однако Спарта начала осознавать: в конечном счете исход войны будет решен не на суше, а на море. Им не удастся одержать окончательной победы, пока у них не появится флот, сопоставимый по размерам с афинским. А для создания такого флота спартамцам были необходимы очень большие денежные средства, которыми они, естественно, не располагали. За финансовыми субсидиями, которые требовались для постройки кораблей и содержания их экипажей, спартанские власти обратились к давним врагам эллинов — персидскому царю Дарию II и его сатрапам.

Персы, не сумевшие в свое время одолеть греческие государства открытым военным натиском, теперь действовали по отношению к ним, руководствуясь принципом «Разделяй и властвуй». Естественно, Дарию была только на руку распря между Афинами и Спартой, которые ослабляли друг друга. Персия с готовностью предоставила Спарте значительную денежную помощь. В казну лакедемонян полилось персидское серебро, и уже в 412 г. до н. э. сильный спартанский флот вышел в Эгейское море. Одним из его командиров был Алкивиад, который должен был обучать спартиатов тактике морской войны — ведь те были совсем неопытны в таких делах.

Алкивиад показал удивительное умение приспосабливаться к любым обстоятельствам. Куда девалась его бывшая любовь к роскоши! Он совершенно преобразился. Как рассказывает Плутарх, «чисто спартанскими привычками и замашками он окончательно пленил народ, который, видя, как коротко он острижен, как купается в холодной воде, ест ячменные лепешки и черную похлебку, просто не мог поверить, что этот человек держал когда-то в доме повара, ходил к торговцу благовониями или хоть пальцем касался милетского плаща» (*Плутарх. Алкивиад. 23*).

Однако и со спартамцами Алкивиад не ужился. Уже вскоре многие из них стали его завистниками и недоброжелателями. Случайно узнав, что в Лакедемонии зреют замыслы его физического устранения, Алкивиад бежал из спартанского флота. Некоторое время он подвизался при дворе персидского сатрапа Тиссаферна, управлявшего частью Малой Азии.

Тем временем полисы, входившие в Афинскую морскую державу, почувствовали резкое ослабление своего гегемона и стали один за другим поднимать восстание и переходить на сторону пелопоннессцев. Вышли из союза с Афинами Хиос, Милет, города Эвбеи... Растерянные после сицилийской катастрофы, афиняне ничего не могли поделать. Нужно было время, чтобы восполнить понесенные потери.

К тому же ведь теперь в Эгейде действовал спартанский флот, поддерживавший отпавших афинских союзников.

К 411 г. до н. э. держава почти полностью распалась, поступления флороса прекратились, а это серьезно ударило по финансам Афин. Кроме того, был утрачен контроль над Черноморскими проливами, по которым в Аттику поступал хлеб. Однако «город Паллады» был еще достаточно силен, чтобы снарядить новый флот взамен погибшего при Сиракузах и направить его на усмирение непокорных союзников. Афиняне отнюдь не собирались сдаваться; они настраивались на продолжение борьбы.

Но тут в дополнение к внешним трудностям пришли внутренние. Зашатались сами основы афинской демократии. Пошли разговоры о том, что народовластие приобрело слишком уж крайний, радикальный характер, что не худо было бы ограничить его, отодвинуть от управления беднейших граждан, «корабельную чернь». Спарта потому и одерживает победу за победой, говорили сторонники этой точки зрения, что в ней нет такой свободы и распушенности, как в Афинах...

Подняли голову антидемократические политические группировки — гетерии. Они существовали в Афинах и раньше, но теперь они взяли прямой курс на свержение существующего государственного устройства и на установление олигархии. Кроме того, несколько десятков действовавших в Афинах небольших гетерий начали объединяться, чтобы успешнее бороться с демагогами. А вместе они представляли собой серьезную силу.

Первый шаг к ограничению демократии был сделан сразу после поражения на Сицилии. Афиняне учредили чрезвычайную коллегию, состоявшую из десяти специальных должностных лиц — пробулов. Пробулами стали самые авторитетные граждане, в основном пожилого возраста (в их числе, например, драматург Софокл, которому было в то время более 70 лет), причем, как видим, необязательно профессиональные политики. Их полномочия были очень широки. Новые магистраты рассматривали все государственные дела перед их представлением в Совет Пятисот и народное собрание. Тем самым демос уже не был столь же полновластен и бесконтролен, как раньше.

В 411 г. до н. э. при содействии пробулов олигархические гетерии осуществили в Афинах государственный переворот. Произошло это следующим образом. Афинский флот под командованием стратегов находился на военной базе на острове Самос. Стратеги, узнав, что Алкивиад больше не со спартанцами, решили вновь переманить этого выдающегося полководца на свою сторону. В условиях дефицита

талантливых лидеров это и действительно было бы хорошим подспорьем для Афин.

Алкивиад соглашался возвратиться, но ставил условие: в государстве должна быть ликвидирована та «охлократия», которая приговорила его к смерти. Эмиссары от флота отправились в Афины и стали вести там агитацию за изменение политической системы, за отмену демократического правления. Они призывали к восстановлению «отеческого» государственного устройства, т. е. такого, которое было до всех демократических реформ.

Олигархи всячески склоняли граждан на свою сторону, не останавливались перед запугиванием и даже перед устранением противников. Так, был тайно убит демагог Андрокл, возглавлявший в ту пору демократическую группировку. Такая же судьба постигла и другого видного демагога — Гипербола, который в тот момент находился во временной опале и жил на Самосе.

В конце концов народное собрание под давлением гетерий приняло официальное решение об уничтожении демократии. Таким образом, переворот свершился мирным путем, без кровопролитий. Был создан новый высший орган управления — олигархический совет, состоявший из четырехсот человек. Поэтому утвердившийся в 411 г. до н. э. в Афинах режим в науке обычно называют «режимом Четырехсот».

Все было сделано для того, чтобы отстранить самых бедных граждан от управления полисом. Отменили столь типичную для демократии плату за исполнение должностей, так что теперь их могли занимать только состоятельные граждане, как и во всех олигархических государствах. А самое главное — гражданский коллектив Афин был ограничен до пяти тысяч человек. Много это или мало? В «Периклов век» жителей Аттики, пользующихся гражданскими правами, было более 40 тысяч. После потерь в ходе Пелопоннесской войны их количество, естественно, значительно уменьшилось, но и теперь составляло около 25–30 тысяч. Иными словами, при новом строе большинство граждан было лишено своего статуса. В число пяти тысяч вошли богатые и зажиточные афиняне, не ниже средних крестьян, служивших в войске как гоплиты. Только они могли отныне участвовать в работе народного собрания. А те, кто был беднее, кто составлял собой ту самую «корабельную чернь», оказались полностью отсечены от политической жизни.

В каких-то отношениях как будто бы претворялась в жизнь сократовская политическая программа. Отношение самого Сократа к новому режиму неизвестно; не похоже, что оно было резко отрицательным. Во всяком случае, одним из организаторов и видных

лидеров переворота 411 г. до н. э. являлся Ферамен, близкий к Сократу человек. Впрочем, в правительстве «Четырехсот» вскоре стали играть «первую скрипку» более радикальные олигархи во главе с софистом Антифонтом.

«Урезанную» экклесию из пяти тысяч они не спешили собирать, предпочитая решать все дела собственной властью. Ферамену, стороннику умеренной олигархии, установившиеся порядки представлялись слишком жесткими и суровыми, близкими к тирании, и он пытался бороться с особенно экстремистскими действиями «Четырехсот».

Олигархи вовсе не были намерены продолжать войну со спартамцами. Напротив, вскоре после своего прихода к власти они направили в Спарту посольство и повели переговоры о скорейшем заключении мира, причем изъявляли готовность идти на очень серьезные уступки. Эта откровенно проспартанская направленность «режима Четырехсот» очень быстро полностью подорвала его популярность в среде афинян.

С самого начала олигархическому правительству решительно отказался подчиняться афинский флот, стоявший на Самосе. Моряки отстранили от власти своих стратегов, признавших «режим Четырехсот», и избрали на их место новых, из своей среды, среди которых самую видную роль играл Фрасибул — решительный сторонник народовластия. Получилось так, что существовало одновременно два афинских правительства, враждебных друг другу: олигархическое в самом городе и демократическое на Самосе.

Очень интересный факт: первое, что сделали демократы, руководившие флотом, — вступили в переговоры... с тем же Алкивиадом. Очевидно, все понимали, что в сложившихся тяжелых условиях только его таланты смогут спасти государство. Алкивиад, поняв, что с олигархами договориться ему не удастся, принял сторону демократии и прибыл на Самос. Моряки тут же избрали его стратегом, и он возглавил военно-морские силы Афин. При этом официально он по-прежнему считался преступником, приговоренным к смерти!

Да и в самой Аттике «режим Четырехсот», просуществовав лишь четыре месяца, утратил всякую поддержку гражданского коллектива. Этим воспользовался Ферамен, возглавив движение за свержение этого режима. Его усилия увенчались успехом: в ходе нового переворота «Четыреста» были отстранены от власти, их главари (и прежде всего Антифонт) преданы суду и казнены. Власть реально перешла в руки пяти тысяч граждан: на смену крайней олигархии пришла умеренная.

Тот строй, который утвердился теперь в Афинах, заслужил одобрение со стороны многих древнегреческих политических теоретиков. Фукидид характеризует его так: «Этот государственный

строй (по крайней мере в ранний период) представляется самым лучшим у афинян (во всяком случае на моей памяти). Действительно, это было благоразумное смешение олигархии и демократии. Таким образом, это государственное устройство впервые вывело афинское государство из того тяжелого состояния, в котором оно находилось» (*Фукидид*. История. VIII. 97. 2). С Фукидидом согласен и Аристотель: «В эту пору, по-видимому, у афинян было действительно хорошее управление: шла непрерывно война, и руководство государством принадлежало тем, кто обладал тяжелым вооружением» (*Аристотель*. Афинская полития. 33. 2). Напомним, что к кругу тех, кто обладал тяжелым вооружением, т. е. гоплитов, принадлежал и Сократ. Не приходится сомневаться в том, что он симпатизировал новому политическому порядку. Тем более что тот ставил перед собой две типично «сократовских» цели: минимизировать непрофессионализм в управлении и укрепить законность.

Однако уже в следующем, 410 г. до н. э. и эта умеренная олигархия тоже прекратила существование. Классическим Афинам явно была более свойственна демократия, и она была восстановлена в полном объеме. Надолго ли? Ведь демагоги, вновь обретшие силу, как говорится, «ничего не забыли и ничему не научились».

* * *

Восстановление демократии совпало по времени с серьезными переменами на фронтах Пелопоннесской войны. Позиции Афин резко улучшились. И прежде всего потому, что благодаря полководческому таланту Алкивиада афинский флот на протяжении нескольких лет смог одержать целый ряд блестящих побед над спартанским в разных регионах Эгеиды — в районе Черноморских проливов, у побережий Ионии и Фракии. Справедливости ради надо сказать, что Алкивиаду содействовали и другие полководцы — Фрасибул и избранный стратегом Ферамен. Но все-таки главный вклад в военные успехи, бесспорно, внес именно тот военачальник, который еще недавно считался врагом государства.

Многие полисы, отпавшие от Афинской морской державы, были вновь возвращены в ее состав. Создавалось впечатление, что в войне вновь происходит перелом. Шансы «города Паллады» на конечную победу начали значительно возрастать.

В 407 г. до н. э. Алкивиад во всем блеске славы, во главе победоносного флота триумфально возвратился в родной город, где он не был уже восемь лет, со дня своего отплытия на Сицилию. Все граждане вышли встречать его в Пирейскую гавань. Как рассказывает Плутарх (Алкивиад, 32), «все бежали к нему, выкрикивали его имя, приветство-

вали его, шли за ним следом, увенчивали венками, если удавалось протиснуться поближе, те же, кому этого не удавалось, старались разглядеть его издали; люди постарше показывали его молодым» (*Плутарх. Алкивиад. 32*). Торжество и ликование было полное.

Алкивиаду были, конечно же, прощены все его былые прегрешения, смертный приговор отменен. Более того, афиняне вопреки всем своим обычаям, забыв о демократической коллегиальности, избрали его стратегом-автократом, т. е. единоличным командующим вооруженными силами, и дали право самому назначать себе помощников по собственному усмотрению.

Алкивиад находился на вершине своей политической карьеры. Он был ближе, чем когда-либо, к положению фактического тирана Афин. Оставалось сделать последний шаг: официально установить тиранию. Но вот на это Алкивиад не пошел, не воспользовался удобными обстоятельствами. Вероятно, у него — как-никак родственника Перикла и ученика Сократа — оставались еще некоторые моральные «тормоза», не позволявшие открыто попирать существующие законы. Демократия и на этот раз устояла.

Вскоре Алкивиад вновь повел флот в Эгейское море для продолжения борьбы со Спартой. И тут-то в очередной раз выяснилось, насколько переменчив и непостоянен в своих симпатиях и антипатиях афинский демос. Недавнего кумира почти немедленно ждала новая опала. Сograждане считали его после одержанных побед каким-то полубогом, думали, что для него нет ничего невозможного. А он был всего лишь человеком, не застрахованным от ошибок, как и любой другой.

После первого же, причем незначительного поражения афинян, в котором к тому же Алкивиад не был повинен (его не было в тот момент при флоте), народное собрание тут же вынесло решение об отстранении стратега-автократора от должности. Какой-то злой рок, казалось, тяготел над героем: вопреки всем своим стараниям, он всюду приобретал себе только врагов. Глубоко уязвленный, Алкивиад не вернулся больше в Афины, а удалился на Херсонес Фракийский, где у него были родовые владения.

Афинский демос в последние годы Пелопоннесской войны вообще вел себя в высшей степени нервно и невыдержанно. Опять начали нарастать элементы охлократии в управлении государством. Демагоги, ободренные победами, по-прежнему настаивали на борьбе с врагами «до победного конца», снова и снова толкали полис на принятие авантюрных, недостаточно взвешенных решений.

Когда Спарта, видя свои неудачи, возобновила мирные переговоры и предлагала выгодные для Афин условия, они были отвергну-

ты с порога: самый влиятельный из тогдашних демагогов — Клеонфонт, — по рассказу Аристотеля, «явился в народное собрание пьяный и одетый в панцирь (вообще-то приходило в экклесию при доспехе и оружии строго запрещалось) и помешал заключению мира, говоря, что не допустит этого иначе как при условии, чтобы лакедемоняне вернули все города» (*Аристотель*. Афинская политика. 34. 1). И так вел себя фактический лидер государства, руководитель его политики!

Какая обстановка сложилась в Афинах — очень хорошо видно на примере инцидента, случившегося в 406 г. до н. э. Тогда была одержана последняя крупная морская победа над спартамцами — в сражении при Аргинусских островах, недалеко от берегов Малой Азии. Однако стратегов, выигравших бой и возвратившихся на родину, ожидали не слава и почести, а... суд. Их обвинили в том, что они не подобрали тела погибших афинских воинов для подобающего погребения. Это считалось тяжелым религиозным преступлением. Тщетно стратеги доказывали, что сделать это не удалось из-за бури, которая разыгралась сразу после сражения. Народное собрание, не вникая в суть дела, единым приговором осудило их на смерть. Кстати, среди казненных был Перикл-младший, сын знаменитого Перикла и Аспасии.

Суд над стратегами-победителями — эпизод, напрямую связанный с биографией Сократа, и, нужно сказать по справедливости, эпизод, в котором философ повел себя достойно, как никто⁶. Вот как он сам рассказывал об этом позже:

«Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должности, но в Совете я был. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать в то время, когда вы желали судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении, — судить незаконно, как вы сами признали это впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму и вы сами этого требовали и кричали, — в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмой или смертью быть заодно с вами, желающими несправедливого» (*Платон*. Апология Сократа. 32bc).

Вновь требуются некоторые пояснения. В отличие от большинства афинских граждан Сократ не рвался к активному участию в политических делах. Напомним, что демократия в античных Афинах была прямой, а это означало, что от каждого члена гражданского коллектива ожидался непосредственный вклад в управление государством.

Сократ в этом отношении (как и во многих других) смотрелся «белой вороной» на фоне своих земляков, усердно стремившихся занимать многочисленные полисные должности.

Однако совсем уж никак не включиться в государственную жизнь, постоянно оставаться только частным лицом было в тогдашних Афинах практически невозможно. И Сократ, пусть один раз в жизни, но побывал-таки членом Совета Пятисот. Этот орган (численность его видна из названия) комплектовался из афинян путем ежегодной жеребьевки. Он, собираясь практически ежедневно, занимался текущими делами — из-за того, что народное собрание ввиду своего большого размера не могло созываться постоянно.

Важнейшей же функцией Совета была подготовка заседаний экклесии. Совет обсуждал их повестку дня, вырабатывал предложения, которые надлежало поставить на дискуссию и голосование. Иными словами, этот орган обладал законодательной инициативой. Любой закон или постановление принимало народное собрание, но поступали туда проекты этих законов и постановлений только из Совета Пятисот. Ни одна мера не могла быть рассмотрена экклесией, если предварительно она не прошла через Совет.

Совет Пятисот для большей эффективности своей работы был разбит на десять отделений — по количеству афинских фил (крупных территориальных подразделений афинского полиса). В каждое отделение входило 50 человек, избранных от одной филы. Отделения поочередно являлись дежурными — для этого и афинский гражданский год был разбит на десять частей. Члены дежурного отделения Совета назывались пританами, а период их дежурства — пританией. Пританы, сменяя друг друга, несли круглосуточную вахту в круглом Толосе на Агоре — чтобы ни одно мгновение полис не оставался без управления. По жребию из числа пританов избирался их глава — эпистат. Он находился в этой должности лишь одни сутки, а затем сменялся следующим. На этот краткий срок эпистат становился как бы временным главой государства, хотя, конечно, его никак нельзя уподобить президентам в современных демократиях: слишком малы были его полномочия, он, по сути дела, являлся чисто техническим сотрудником.

Именно пританы во главе с эпистатом председательствовали в народном собрании. И в день, когда рассматривался вопрос о стратегах, среди этих пританов был Сократ — просто так уж случайно совпало. Ксенофонт, который в то время тоже еще был в Афинах, даже говорит, что Сократ на тот момент являлся самым эпистатом:

«Однажды, сделавшись членом Совета и принеся присягу, которые приносят члены Совета, в том, что они будут при исполнении

этой должности руководиться законами, он попал в председатели народного собрания. Когда народу захотелось осудить на смертную казнь стратегов Фрасилла и Эрасинида с их коллегами, всех одним голосованием, вопреки закону, Сократ отказался поставить это предложение на голосование, несмотря на раздражение народа против него, несмотря на угрозы многих влиятельных лиц: соблюдение присяги он поставил выше, чем угождение народу вопреки справедливости и охрану себя от угроз» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 1. 18*).

Некоторые современные ученые⁷ склонны доверять этому известию, согласно которому Сократ в день суда являлся не просто одним из пританов, а их главой и, по сути дела, верховным должностным лицом государства. Однако закрадываются сомнения: действительно ли так оно было? Во-первых, ни из каких других источников мы ни о чем подобном не узнаем. Во-вторых, если Сократ, будучи эпистатом, отказался ставить противозаконное предложение на голосование, то кто-то все-таки это сделал? Но кто? Ведь предложение судить стратегов было в конечном счете проголосовано и принято демосом. Но никто, кроме эпистата, не имел права вести собрание, ставить проекты постановлений на голосование и т. п. Что же, получается, было допущено еще одно беззаконие: Сократа отстранили от председательства, и кто-то другой взял дело в свои руки? Странно, что в таком случае об этом не говорит ни один античный автор⁸. А имеем ли мы право пускаться в собственные домыслы?

Допускает ошибку В.С. Нерсисянц, когда пишет: «В день, когда он (Сократ. — И. С.) был дежурным главою Совета (эпистатом), нарушение законности было пресечено. Но на следующий день, при другом эпистате, все стратеги были огульно приговорены к смерти одним поднятием рук на народном собрании»⁹. Если бы это было так, то, конечно, все сразу вставало бы на свои места и никаких объяснений не требовалось бы. Однако, увы, сказанное не соответствует действительности.

Наиболее подробно, со всеми деталями, рассказывает о процессе стратегов-победителей тот же Ксенофонт, но в другом своем сочинении — «Греческой истории». В его изложении дело предстает следующим образом. Вскоре после прибытия в Афины флотоводцев арестовали, и было решено подвергнуть их суду народного собрания (что, заметим, делалось только в очень редких, экстраординарных случаях — обычно судила гелия). Состоялось первое заседание; на нем среди обвинителей особенно усердствовал Ферамен. Надо сказать, что он тоже участвовал в Аргинусском сражении в качестве триерарха (капитана одного из кораблей). Именно ему и нескольким

другим триерархам стратеги после битвы дали поручение подобрать тела погибших, а сами с основной частью флота отправились преследовать отступившего противника. Теперь Ферамен боялся сам стать подсудимым и решил, очевидно, «сыграть на опережение», взвалив вину на своих начальников.

Стратеги защищались достойно, приводили весомые доводы в свою защиту, и народное собрание стало уже склоняться к их оправданию. Однако заседание затянулось, и, когда пришла пора переходить к голосованию, оказалось, что уже стемнело: трудно было бы пересчитать руки, поднятые «за» и «против». Решили отложить процесс и продолжить его через несколько дней. А за это время противники подсудимых сумели хорошенько «обработать» народную массу, и на следующем заседании экклесии отношение к флотоводцам было уже неприкрыто враждебным.

С энтузиазмом было воспринято предложение демагога Калликсена — немедленно, не разобрав толком дела, судить огулом всех стратегов и выносить единый приговор (разумеется, смертный). Это означало грубейшее попрание всех норм законности и судопроизводства. «Евриптолем, сын Писианакта, и несколько других лиц выступили против Калликсена с обвинением во внесении противозаконного предложения. Но их выступление встретило в народном собрании одобрение лишь немногих; толпа же кричала и возмущалась тем, что суверенному народу не дают возможности поступать, как ему угодно. Вслед за тем Ликиск предложил, чтобы приговор относительно стратегов распространялся и на тех, которые подняли вопрос о законности предложения Калликсена, если они не примут назад своих протестов; толпа подняла сочувственный шум, и протестовавшие должны были отказаться от своих возражений. Когда же и некоторые из пританов заявили, что они не могут предлагать народу противозаконное голосование, Калликсен, взойдя на трибуну, предложил включить и их в число обвиняемых. Народ громко закричал, чтобы отказывающиеся ставить на голосование были тоже привлечены к суду, и тогда все пританы, уstraшенные этим, согласились поставить предложение на голосование — все, кроме Сократа, сына Софронискова. Последний заявил, что он во всем будет поступать только по закону» (*Ксенофонт. Греческая история. I. 7. 12–16*).

Эпизод говорит сам за себя и вряд ли нуждается в комментариях. Полный триумф беззакония, звериный оскал охлократии... Один из самых позорных инцидентов во всей афинской истории. Правда, судя по всему, упорство Сократа все-таки не осталось без последствий. Было позволено сказать еще одну речь в защиту стратегов. Затем поставили на голосование вопрос: судить ли каждого обвиня-

емого по отдельности или же всех вместе? И вначале большинство оказалось на стороне первого предложения. Но, сославшись на несоблюдение каких-то формальностей, результаты этого первого голосования тут же отменили и назначили второе! Фарс продолжался... Создается впечатление, что стратегов хотели «убрать» во что бы то ни стало. И добились своего: повторное голосование принесло перевес Калликсену и его единомышленникам. Тут же народное собрание и вынесло общий приговор: флотоводцы, как и следовало ожидать, обречались на казнь, каковая сразу была приведена в исполнение.

Как видим, все эти драматические события разворачивались в один день, а не в два разных, как пишет В.С. Нерсисянц. Обратим внимание еще и на то, что в данном рассказе Ксенофонт, в отличие от своего же свидетельства в «Воспоминаниях о Сократе» ни словом не упоминает о том, что Сократ в день суда был эпистатом; философ выступает только как один из пританов. Налицо внутреннее противоречие, и, несомненно, доверять нужно именно сообщению Ксенофонта в «Греческой истории». Дело в том, что его сократические сочинения — это факт общеизвестный, о котором и нам доводилось упоминать, — всецело проникнуты апологетической тенденцией по отношению к учителю. А принимая во внимание тот факт, что Ксенофонт и вообще не слишком-то скрупулезно относился к исторической истине, при необходимости даже и искажал ее¹⁰, не приходится удивляться, что он и в рассматриваемом случае мог придумать что-то «от себя» — что-то украшающее образ Сократа. В высшей степени характерно, что в «Воспоминаниях» не рассказано, чем же в конце концов завершился суд над стратегами; и от этой «фигуры умолчания» проистекает даже впечатление победы Сократа — победы, которой, увы, на самом деле не было, да и не могло быть: не мог же один гражданин, будь он хоть тысячу раз прав, одержать верх над всем демосом.

Поздний биограф, Диоген Лаэртский, о том же эпизоде сообщает буквально в двух словах, да к тому же еще и несколько недопонимая ситуацию: «Он (Сократ. — И. С.) один голосовал за оправдание десяти стратегов» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 24). В действительности, как вытекает из ранее приведенных свидетельств, дело обстояло не вполне так. Какую позицию занял философ в непосредственном голосовании-приговоре — мы не знаем, об этом ни один из античных авторов не сообщает. Его роль была связана с более ранним этапом процесса, с решением процедурного вопроса о том, как судить флотоводцев. Он не голосовал за их оправдание или осуждение; он не хотел, чтобы состоялось само это голосование, вопиюще противоречившее суще-

ствующим процессуальным нормам. Строго говоря, не обвиняемых как таковых защищал «босоногий мудрец»: он грудью вставал на защиту *закона*, против любых его нарушений. И уж тут его не смущали и не останавливали никакие нападки, угрозы, опасность и самому оказаться вместе со стратегами на скамье подсудимых (раздавались ведь, как мы помним, и такие голоса). В этом — весь Сократ!

Он проиграл. Но бывают такие поражения, которые — выше победы. Проиграл, но не сдался, до конца настаивал на своем. И — один против всех! В этом рисуется уже какое-то предчувствие суда над ним, который прошел в том же роде: по форме — поражение, по сути — победа.

Обратим еще внимание, что в эпизоде со стратегами Сократ и, в общем-то, обычно близкий к нему Ферамен оказались, так сказать, по разную сторону баррикад. Обычная коллизия оппортуниста-политика и нонконформиста-философа. Впрочем, пройдет какая-нибудь пара лет — и все, все пойдет совершенно иначе.

СОКРАТ И «ТРИДЦАТЬ ТИРАНОВ»

Процесс стратегов-победителей — типичный образчик религиозной истерии в Афинах, столь характерной для последних лет Пелопоннесской войны. Афинский демос собственными руками лишал себя тех военачальников, которые у него еще были, обезглавливал вооруженные силы полиса. Рано или поздно все это не могло не кончиться очень плохо. Так в конце концов и получилось.

Главную роль на завершающем этапе войны сыграл командующий спартанским флотом (наварх) Лисандр, выдающийся полководец. Он добился того, чтобы персы стали более активно поддерживать Спарту. А в 405 г. до н. э. он нанес афинянам решающее поражение в битве при речке Эгоспотама, на побережье пролива Геллеспонт (к северо-востоку от Эгеиды). Применив военную хитрость и воспользовавшись тем, что командиры противника были по большей части совершенно некомпетентны (иных в Афинах уже не осталось), Лисандр внезапным ударом захватил врагов врасплох прямо на корабельной стоянке и наголову разгромил их. Лишь одному из афинских стратегов — Конону — удалось с несколькими триерами спастись бегством. Всех остальных — и флотоводцев, и капитанов, и моряков — спартанцы взяли в плен и казнили. Погибли несколько тысяч человек.

Но главное было даже не в этом. Дело при Эгоспотамах стало событием, предрешившим исход всего многолетнего военного столкновения. На море теперь всецело господствовала Спарта, и у афинян не было сил, чтобы противостоять ей. У Лисандра впервые появилась возможность осадить Афины не только с суши, но и с моря, полностью блокировать их и отрезать доступ продовольствия. Нечего и говорить, что он этой возможностью немедленно воспользовался.

Флот спартанского наварха встал у Пирейской гавани. В это же время сухопутное пелопоннесское войско, выйдя из Декелеи, окружило Афины. Теперь для «города Паллады» были бесполезны даже «Длинные стены». Осада продолжалась несколько месяцев. Начался голод. В среде афинских граждан вновь росло недовольство демагогами, которые довели государство до такого состояния. Клеофонта предали суду и казнили. Возобновили свою подрывную деятельность антидемократические гетерии.

Возросло влияние «умеренного» Ферамена, который убеждал афинян в невозможности дальнейшего сопротивления. Сам же он и отправился послом к Лисандру — вести переговоры. В 404 г. до н. э. «город Паллады», изнуренный осадой, вынужден был капитулировать. Победители-спартанцы продиктовали очень жесткие и суровые условия мира.

Согласно этим условиям Афинская морская держава распускалась. Афинский флот (точнее, то, что от него еще оставалось) подлежал уничтожению. Должна была быть скрыта наиболее важная часть оборонительных укреплений, в том числе «Длинные стены». Афины обязывались признать гегемонию Спарты в Греции. Город, который еще недавно блистал как «школа Эллады», ее крупнейший политический центр, столица обширного союза, превратился в рядовой полис.

Таков был исход Пелопоннесской войны. Каковы же причины конечного (и полного) поражения Афин в этом межэллинском конфликте? Ведь военные действия по большей части шли, в общем-то, на равных.

Главной из этих причин была, конечно, внутренняя непрочность Афинской морской державы. Непомерная эксплуатация союзников порождала в их среде сепаратистские устремления, и эти устремления не замедлили открыто проявиться при первых же признаках ослабления Афин. Пелопоннесский союз был построен на более мягких началах. На первый взгляд, его структура казалась рыхлой, но именно добровольное членство полисов в этом объединении делало его по-настоящему прочным.

Далее, афинский демос был настолько вдохновлен большими успехами, достигнутыми в предвоенный период, что явно переоценил свои силы. В ходе войны Афины допустили ряд серьезнейших стратегических и тактических ошибок; зачастую давали о себе знать авантюризм и излишняя нервозность. Внешним успехам, бесспорно, не способствовали постоянные внутривнутриполитические кризисы, вспышки гражданской распри. Нельзя не отметить еще и то, что известную роль в победе Спарты сыграла финансовая помощь, оказанная ей персами.

Но и после поражения в Пелопоннесской войне мытарства Афин не закончились. Вскоре после заключения мира в город прибыл Лисандр. Выступая в народном собрании, суровый наварх обвинил афинян в том, что условия мирного договора выполняются недостаточно быстро, и потребовал ликвидации демократического устройства полиса. Взявший слово после него Ферамен убеждал сограждан в том, что у них не остается другого выхода, кроме как подчиниться. Так

афинская демократия во второй раз менее чем за десятилетие временно прекратила существование.

Вся полнота власти была передана коллегии из тридцати олигархов, ярых приверженцев Лакедемона. Ее поддерживали антидемократические гетерии, но главной опорой олигархического режима стал размещенный в Афинах спартанский гарнизон.

В коллегии «Тридцати» вначале ведущую роль играл Ферамен, но со временем на первое место в нем выдвинулся Критий. Последний был, как мы уже знаем, учеником Сократа, но, впрочем, потом отошел от своего учителя, хотя и не поссорился с ним. Умный и образованный человек, талантливый писатель и философ, Критий в то же время являлся жестоким и циничным политиком, убежденным «идейным» противником любой формы народовластия и горячим поклонником спартанских порядков.

Новые правители, по словам Аристотеля, «первое время... проявляли умеренность по отношению к гражданам... С самого начала они держались такого образа действий, устраняли сикофантов (доносчиков-шантажистов, распространившихся в худшие времена афинской демократии. — И. С.) и людей, подлаживавшихся в речах своих к народу вопреки его настоящим интересам, аферистов и негодяев, и государство радовалось этому, думая, что они делают это из высших интересов» (*Аристотель*. Афинская полития. 35. 2–3). Но со временем всем стала ясна истинная сущность режима, по сравнению с которым правление «Четырехсот» в 411 г. до н. э. показалось «цветочками». «Тридцать» перешли к террору и репрессиям; вскоре они по справедливости получили от сограждан прозвище «Тридцать тиранов».

Переломным моментом стал конфликт между двумя лидерами олигархов — Фераменом и Критием. Ферамен, враг любых крайностей, был возмущен экстремистскими мерами правящей коллегии и открыто протестовал. В ответ на это Критий приказал схватить и казнить своего оппонента. Теперь он стал фактическим главой полиса, и никто не мешал ему всеми силами мстить демократии, к которой он, помимо прочего, имел и личные счеты: несколько лет назад демос приговорил его к изгнанию из Афин.

Политика «Тридцати тиранов» являлась откровенно проспартанской и олигархической, даже без малейшего намерения маскироваться под народовластие. Вновь были лишены гражданских прав небогатые афиняне. Количество граждан было сокращено на этот раз даже не до пяти, а до трех тысяч человек. У тех, кто не вошел в это число, было отнято оружие, а сами они высланы из города в сельскую местность.

Но самым страшным была, конечно, чередка казней. Стремясь запугать своих противников, олигархи убивали, порой без суда и следствия, всех неугодных им лиц, в первую очередь тех, кто придерживался демократических убеждений. По инициативе Крития руками наемных убийц был устранен Алкивиад, живший в это время в персидских владениях. Многие демократы, пытаясь сохранить жизнь и продолжать борьбу, бежали из Аттики. Такими беженцами переполнились соседние полисы — Фивы и Мегары.

Коллегия «Тридцати» расправлялась не только с теми, в ком видела врагов. Нередко олигархи избирали своими жертвами ни в чем не повинных людей в надежде поживиться их богатством. Так, однажды было принято решение казнить некоторое количество самых богатых метэков — просто для того, чтобы конфисковать их имущество в казну. На случай, если их все-таки выдворят из города, «Тридцать тиранов» подготовили себе убежище в Элевсине. Этот маленький городок на западе Аттики был укреплен, а все его жители отведены в Афины и опять же перебиты, естественно, без всякой вины с их стороны, а просто чтобы «расчистить место». Всего за время правления новой олигархии — а оно не продолжалось и года — лишились жизни, по некоторым сведениям, более полутора тысяч человек.

* * *

Сократ и в античных источниках, и в восприятии современных исследователей выступает как бесстрашный враг кровавого террора, критик экстремистского режима, не боящийся в связи с этим и сам подвергнуться опасности. Не то чтобы этот взгляд неверен, но это, так сказать, «одна сторона медали». На самом же деле, как мы попробуем продемонстрировать, ситуация была несколько сложнее.

...Однажды «Тридцать» вызвали в Толос на Агоре, где они заседали, пятерых афинян из числа включенных в составленный ими привилегированный список трех тысяч полноправных граждан и дали им поручение: отправиться на остров Саламин, арестовать проживавшего там некоего Леонта, очевидно, заподозренного в нелояльности, и привезти его в город. Четверо из пяти двинулись выполнять приказ, а пятый развернулся и пошел домой. Это был, естественно, Сократ. Данный поступок обычно рассматривается как заслуживающий подражания образец гражданского неповиновения антигуманному режиму¹. Так и биограф Сократа констатирует: «Он (Сократ. — *И. С.*) отличался твердостью убеждений и приверженностью к демократии. Это видно из того, что он ослушался Крития с товарищами, когда они велели привести к ним на казнь Леонта Саламинского, богатого че-

ловека» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 24). Однако посмотрим на происшедшее с несколько другой стороны.

Если бы столь демонстративное непослушание всесильным правителям проявил любой другой афинянин, какая судьба ждала бы его? Вопрос представляется риторическим: он сам был бы немедленно схвачен и казнен. Уж перед этим «Тридцать» не остановились бы: расправляться с людьми им было не впервой, и одно лишнее убийство их бы никоим образом не смутило. Сократу же, тем не менее, все «сошло с рук», он не подвергся никаким преследованиям. Видимо, осознавая некоторую двусмысленность ситуации, он впоследствии передает эпизод так (в пересказе Платона):

«...А когда наступила олигархия, то и Тридцать в свою очередь призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели нам привезти из Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его. Многое в этом роде приказывали они делать и многим другим, желая отыскать как можно больше виновных. Только и на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться, — самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего незаконного и безбожного — это для меня самое главное. Таким образом, как ни могущественно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать что-нибудь несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправились в Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. *И по всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось в самом скором времени* (курсив наш. — И. С.)» (*Платон*. Апология Сократа. 32cd).

Как правило, этому последнему заявлению верят и считают, что Сократа спасло лишь восстановление демократии. Однако нельзя не отметить, что философ здесь несколько кривит душой. Казнь Леонта отнюдь не принадлежит к событиям самых последних дней правления «Тридцати». Известно, что она имела место даже до конфликта между Критием и Фераменом. Последний в своей предсмертной защитительной речи говорит, обличая Крития: «Когда был казнен Леонт Саламинец, который не только считался, но и действительно был вполне добропорядочным человеком и решительно ни в чем не был повинен, я понял, что эта казнь не может не привести в ужас всех подобных ему добрых граждан и что эти граждане силою вещей должны будут стать врагами существующему государственному порядку» (*Ксенофонт*. Греческая история. II. 3. 39).

Когда же Ферамен был казнен, Критий еще несколько месяцев держал полисные дела полностью под своим контролем; нет сомне-

ния, что он изыскал бы за это время возможность уничтожить и Сократа, если бы действительно хотел. А хотел ли?

Бесспорно, независимая позиция философа при «режиме Тридцати» — налицо. Ксенофонт, находившийся в то время в Афинах и также входивший в число трех тысяч, сохранил следующее изречение учителя по поводу репрессивных действий этого правительства: «Странным было бы, мне кажется, если бы человек, ставши пастухом стада коров и уменьшая число и качество коров, не признавал себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши правителем государства и уменьшая число и качество граждан, не стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 32*).

Данная сентенция производит впечатление вполне аутентичной. Она очень хорошо согласуется с тем, что мы из самых разных источников знаем о политических взглядах Сократа. В частности, рассуждения о «качестве граждан» — вполне в духе элитистских представлений «босоногого мудреца», отнюдь не выступавшего адептом всеобщего равенства. Собственно, осуждает-то он здесь Крития со товарищи не за то, что они установили «правление немногих», а за то, что это — не те «немногие», которым надлежало бы стоять у руля, люди, не являющиеся реально лучшими.

Тем не менее сократовская критика, как видим, была достаточно строгой и жесткой (Критий открыто назван плохим правителем) — и это в условиях, когда казнь следовала за казнью, когда за куда более безобидные высказывания можно было лишиться жизни. Ну, и как же реагировали «Тридцать» на подобное свободомыслие?

По словам Ксенофонта, Критий «внес в законы статью, воспреещающую преподавать искусство слова» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 31*), причем якобы имея в виду именно Сократа. Но здесь в лучшем случае ошибка, в худшем — сознательное искажение мотивации. Имеется в виду явным образом преподавание риторического искусства, а им Сократ никогда не занимался. Само введение нового закона отрицать нет оснований, но направлен он был, скорее всего, против раторов демократической ориентации.

Далее, Критий и бывший в то время его ближайшим сподвижником Харикл вызвали Сократа к себе для «беседы». Последняя известна опять же в пересказе Ксенофонта, но он никак не мог быть ее свидетелем (разговор происходил с глазу на глаз) и знал ее содержание, естественно, опять же только со слов своего учителя. В любом случае, процитируем изложение этого разговора Ксенофонтом:

«Они (Критий и Харикл. — *И. С.*) призвали Сократа, показывали ему закон и запретили разговаривать с молодыми людьми. Сократ

спросил их, можно ли предложить им вопрос по поводу того, что ему непонятно в этом объявлении. Они отвечали, что можно.

Хорошо, сказал Сократ, я готов повиноваться законам; но, чтобы незаметно для себя, по неведению, не нарушить в чем-нибудь закона, я хочу получить от вас точные указания вот о чем: почему вы приказываете воздерживаться от искусства слова, — потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно или неправильно? Если — говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно; если же — говорить неправильно, то, очевидно, надо стараться говорить правильно.

Харикл рассердился и сказал ему: Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то мы объявляем тебе вот что, для тебя более понятное, — чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал.

На это Сократ сказал: Так, чтобы не было сомнения, определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми.

Харикл отвечал: До тех пор, пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще неразумным; и ты не разговаривай с людьми моложе тридцати лет.

И когда я покупаю что-нибудь, спросил Сократ, если продает человек моложе тридцати лет, тоже не надо спрашивать, за сколько он продает?

О подобных вещах можно, отвечал Харикл, но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что знаешь; так вот об этом не спрашивай.

Так, и не должен я отвечать, сказал Сократ, если меня спросит молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий?

О подобных вещах можно, отвечал Харикл.

Тут Критий сказал: Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем уж истрепались оттого, что вечно у тебя на языке.

Значит, отвечал Сократ, и от того, что следует за ними, — от справедливости, благочестия и всего подобного?

Да, клянусь Зевсом, сказал Харикл, и от пастухов; а то смотри, как бы и тебе не уменьшить числа коров.

Тут-то и стало ясно, что им сообщили рассуждение о коровах и что они сердились за него на Сократа» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2. 33–38*).

В этой версии (восходящей, напомним и подчеркнем, к самому «босоногому мудрецу» — не к Критию же!) Сократ, выслушивая упрёки лидеров «Тридцати», ведет себя, как обычно, — очень мягко, иронично, даже несколько «юродствуя», делая вид, что не понимает,

чего от него хотят, — одним словом, фактически издевается над властителями. И в результате в конце концов он слышит из уст Харикла (что характерно, не Крития) всего лишь не очень конкретную угрозу: «Смотри, как бы и тебе не пришлось уменьшить числа коров». Акцентируем еще раз: с такой «беседы» и при таком поведении ни один другой афинянин живым бы не вышел.

Бросается, кстати, в глаза, насколько по-разному охарактеризованы Ксенофонтом в этом эпизоде Критий и Харикл. Разговор с Сократом ведет в основном последний; он груб, прямолинеен, да и попросту откровенно туповат — ведь он никогда не был учеником Сократа. Харикл явно не понимает сократовской иронии — а если понял бы, разозлился бы еще больше.

Совсем другое дело — Критий. Этот-то, конечно, все понимает: уроки Сократа не прошли даром. И именно потому глава «Тридцати» предпочитает отмалчиваться, никаких угроз Сократу не бросает. Единственное, что не по душе этому рафинированному аристократу и ненавистнику демоса, — пресловутые «сапожники, плотники, кузнецы», те образы ремесленников, которыми, как мы прекрасно знаем, Сократ постоянно пользовался для разъяснения своих идей. Только по этому поводу Критий, не вытерпев, высказывается, скорее укоризненно, чем гневно.

Сократ, безусловно, не боялся тогда смерти — как не боялся он ее и за несколько лет до того, когда народное собрание расправлялось со стратегами-победителями, и несколько лет спустя, на судебном процессе в демократической гелиее. Во всех трех случаях, как и постоянно, он ставил истину выше жизни и смело говорил то, что думал. Но следует задуматься о том, почему кровавые олигархии как бы боялись тронуть именно этого своего обличителя — и только его?

* * *

Следует отметить еще один нюанс, связанный с самим фактом включения Сократа «Тридцатью» в список трех тысяч полноправных граждан. В афинских олигархических переворотах конца V в. до н. э. участвовали политические группировки довольно разнообразной направленности — от умеренных до крайних. Но все эти группировки сходились в том, что радикальная демократия в том ее виде, какой она приобрела в период Пелопоннесской войны, является безусловным злом, а для его ликвидации необходимо прежде всего отрезать от управления «корабельную чернь», неимущих.

Иными словами, речь шла об ограничении количества полноправных граждан, которое позволило бы оставить в составе гражданского коллектива только их средние и высшие слои, а низшие — исключить.

Если позже, в IV в. до н. э.² такое исключение мыслилось достижимым путем введения имущественного ценза (2000 драхм при Демаде и Фокионе, 1000 драхм при Деметрии Фалерском)³, то в конце V в. до н. э. олигархические и союзные с ними силы предлагали идти по другому пути: установить конкретный лимит численности гражданской общины (обычно выдвигалась какая-нибудь «круглая» цифра — 5000 в 411 г. до н. э., 3000 в 404 г. до н. э.), что опять-таки оставляло за ее пределами беднейших афинян. Но эта мера, впрочем, давала властям больше возможностей для произвола, поскольку включение или невключение лица в число граждан не увязывалось напрямую с размером его материального достатка.

В частности, совершенно не похоже, что гражданская община «трех тысяч»⁴ была сформирована «Тридцатью» на основе имущественного ценза, как в «нормальных» олигархиях. Так, с одной стороны, целый ряд достаточно состоятельных и даже богатых людей (как Алкивиад, Фрасибул, Архин, Анит) подпал под «секвестр» и был лишен статуса граждан — явно по чисто политическим мотивам. С другой же стороны, Сократ, который, судя по всему, что мы о нем знаем, был очень небогат, тем не менее в список «трех тысяч» вошел⁵, в течение всего правления «Тридцати тиранов» оставался в Афинах и пользовался всей полнотой гражданских прав. Несомненно, олигархи, составляя список, исходили не из социальных, а из чисто политико-идеологических соображений; за единственный критерий принадлежности к гражданам принималась их потенциальная лояльность режиму. В их число не должны были попасть лица, от которых можно было ожидать недовольства, противодействия. Во всем подобном подходе чувствуется твердая рука Крития.

Для правильного понимания взаимоотношений правительства «Тридцати» и Сократа необходимым оказывается вспомнить о политических взглядах философа, в которых, как мы неоднократно имели возможность убедиться, наличествовали элитарные и антидемократические элементы. Не случайно, что (опять же это уже отмечалось выше) близки к «босоному мудрецу» были в свое время и Критий, и Ферамен.

В связи со сказанным неудивительно, что, когда происходила расправа над Фераменом, единственным из афинян, пытавшимся защищать его (хотя и безуспешно), был Сократ. Правда, этот факт часто ставят под сомнение, поскольку он отражен только у одного античного автора, к тому же довольно позднего — Диодора Сицилийского (I в. до н. э.). Прочитируем это свидетельство: «Ферамен мужественно переносил несчастье, так как он усвоил от Сократа глубоко-философский взгляд на вещи, но вся остальная толпа страдала несча-

стью Ферамена. Однако никто не решился ему помочь, так как со всех сторон его окружала масса вооруженных. Только философ Сократ с двумя из своих учеников подбежал к нему и пытался вырвать его из рук слугителей. Ферамен просил его не делать этого. «Конечно, — заметил он, — я глубоко тронут вашей дружбой и мужеством; но для меня самого будет величайшим несчастьем, если я окажусь виновником смерти столь преданных мне людей». Сократ и его ученики, видя, что никто не приходит к ним на помощь и что надменность их торжествующих противников увеличивается, прекратили свою попытку» (*Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XIV. 5*).

Соответственно, вопрос ставят так: почему современники событий, ученики Сократа — Платон и Ксенофонт, — когда они рассказывают о мужественных, независимых поступках философа в правление «Тридцати тиранов», ни словом не упоминают о данном эпизоде? Ведь, казалось бы, защита Ферамена прекрасно ложилась в подобный контекст.

Однако, как нам представляется, дело в следующем. Сократики, стремясь в своих сочинениях сделать из Сократа едва ли не святого, тщательно отмежевывали его от любых проявлений «зла» и его носителей. А Ферамен в представлениях большинства афинян первой половины IV в. до н. э. был все-таки воплощением зла, пусть и не в такой степени, как Критий. Как-никак, он участвовал в двух олигархических переворотах, свергал демократию... Сторонники радикального народовластия никак не могли признать его своим. Соответственно, попытка Сократа уберечь Ферамена от произвола Крития никак не рисовала философа в позитивном свете в глазах демократов, для которых распря между лидерами «Тридцати» выглядела попросту как «разборка» в среде правящей олигархии, и не более того, — конфликт, ни один из участников которого не вызывал к себе симпатии.

Небезопасным для посмертной репутации Сократа было бы подчеркивать его близость к Ферамену в то время, когда последнему давались крайне уничижительные характеристики. Вот, например, филиппика Лисия: по словам этого оратора-демократа, Ферамен погиб «не за вас (афинян. — *И. С.*), а за свою собственную подлость, ...справедливо понес кару при олигархии, — он раз уже ее уничтожил, — и справедливо понес бы ее и при демократии, — он дважды вас предавал в рабство, потому что не дорожил тем, что есть, а гнался за тем, чего нет, и, прикрываясь самым благородным именем, сделался учителем самых возмутительных деяний» (*Лисий. XII. 78*). Ведь только по прошествии многих десятилетий, когда страсти улеглись, Аристотель мог позволить себе дать Ферамену объективную харак-

теристику: «...Что же касается Ферамена, то вследствие смут, наступивших в его время в государственной жизни, в оценке его существует разногласие. Но все-таки люди, серьезно судящие о деле, находят, что он не только не ниспровергал, как его обвиняют, все виды государственного строя, а наоборот, направлял всякий строй, пока в нем соблюдалась законность. Этим он показывал, что может трудиться на пользу государства при всяком устройстве, как и подобает доброму гражданину, но если этот строй допускает противозаконие, он не потворствует ему, а готов навлечь на себя ненависть» (*Аристотель*. Афинская полития. 28. 5). Все сказанное здесь рисует прямого последователя Сократа. Итак, мы не видим действительно серьезных оснований для того, чтобы отрицать попытку «босоногого мудреца» вступить за Ферамена.

* * *

Теперь можно попытаться высказать общее суждение по поводу позиции «Тридцати» по отношению к Сократу. Насколько нам представляется, лидеры этого режима очень желали бы сделать такого известного в Афинах и за их пределами человека, как Сократ, «знаменем» своего движения. Не будем забывать о том, что многие из руководителей олигархического правительства 404 г. до н. э. в молодости слушали Сократа (кроме Крития и Ферамена, можно упомянуть еще Хармида), да, собственно, и стали врагами демократии и лаконофилами во многом *именно под его влиянием*. Теперь им казалось, что они претворяют в жизнь сократовские заветы, и однозначно представлялось, что Сократ должен быть на их стороне. За философом, похоже, резервировалась роль идеологического вождя нового режима, т. е. примерно такая роль, какую в олигархии 411 г. до н. э. играл другой видный интеллектуал — оратор и софист Антифонт.

Можно себе представить, какое разочарование и растерянность постигли Крития и прочих, когда выяснилось, что «босоногий мудрец» — отнюдь не сторонник, а, напротив, критик их деятельности. Им было действительно непонятно, как же с ним в таком случае поступать. Казнить своего наставника? На это они, конечно, пойти не могли и поэтому не прекращали попыток все-таки найти с ним общий язык, каким-то образом связать его с собой. Включение Сократа в число лиц, посланных арестовывать Леонта Саламинского, скорее всего, служило этой цели, но Сократ и тут воспротивился. Впрочем, обратим внимание, воспротивился довольно пассивно: не попытался предотвратить казнь, не стал убеждать Крития оставить в покое авторитетного гражданина, а просто не поплыл на Саламин, а пошел

домой. Иными словами, сделал все для того, чтобы его собственные руки остались чистыми, — и только.

В связи со сделанными выше наблюдениями уже не кажется удивительным, что восстановленная после свержения «Тридцати» демократия видела в Сократе одного из своих главных врагов⁶ и довольно скоро нашла способ расправиться с ним. О суде над Сократом (399 г. до н. э.), о котором знает, наверное, каждый, речь, разумеется, еще пойдет ниже. Пока только констатируем, что процесс, безусловно, имел политическую подоплеку⁷. Что бы ни говорить, Сократ в афинском общественном мнении рубежа V–IV вв. до н. э. все-таки косвенно ассоциировался с беспощадными «Тридцатью тиранами».

Что же касается этих последних, понятно, что допущенный ими разгул беззакония не мог длиться долго. Неизбежно было возмездие. В 403 г. до н. э. бежавшие из Афин сторонники демократии сумели сплотиться в сильный вооруженный отряд и со стороны Фив вступили в Аттику. Ими командовал полководец Фрасибул, прославившийся еще во времена Пелопоннесской войны. Едва ли не вторым по значению после Фрасибула человеком в этом лагере был Анит. Анит! Снова и снова каким-то зловещим рефреном звучит в нашей книге это имя — имя будущего обвинителя Сократа...

Вначале повстанцы укрепились в небольшой крепости Фила на границе области, а вскоре внезапным ударом захватили такой важный стратегический пункт, как Пирей. «Тридцать тиранов», ощущая, что их власть пошатнулась, решили разгромить демократов в открытом бою и вывели против них войско. Но первая же битва закончилась полным поражением олигархов и гибелью Крития. Остальные главари режима, видя, что их дело полностью проиграно, ушли в Элевсин. Даже спартанцы, шокированные террористическим правлением «Тридцати», перестали их поддерживать и вывели свой гарнизон из Афин.

Фрасибул при ликовании демоса вступил в город; демократия была торжественно восстановлена. Для того, чтобы немедленно прекратить гражданские смуты, народное собрание приняло закон о всеобщей амнистии. Граждане обязывались не держать друг на друга зла за то, что одни из них совсем недавно защищали олигархию, а другие боролись против нее. Категорически воспрещалось «искать возмездия за прошлое», т. е. вчинять политические иски в связи с любыми событиями, имевшими место до амнистии.

Амнистия не распространялась только на самих «Тридцать тиранов» и на их ближайших приспешников. Они засели в Элевсине. Туда же было разрешено переселиться тем из афинян, которые никак не могли примириться с возрождением народовластия (Сократ, обра-

тим внимание, не оказался в числе этих лиц — он остался в Афинах). Таким образом, Аттика на некоторое время разделилась на два полиса: демократический — Афины и олигархический — Элевсин. Но через два года Элевсин был воссоединен с государством; при этом владевшие им олигархи частью были убиты, частью скрылись.

Таким образом, и вторая попытка свержения демократии тоже оказалась безуспешной, хотя на этот раз, казалось бы, олигархам многое благоприятствовало. Демократический политический строй, несмотря на все беды и невзгоды, оказался по-настоящему прочным и сильным, продолжал пользоваться поддержкой в широких слоях гражданского коллектива. Кровопролитная внутренняя борьба в Афинах надолго прекратилась.

СУД НАД ВОЗМУТИТЕЛЕМ СПОКОЙСТВИЯ

Вышеупомянутая амнистия 403 г. до н. э. немало способствовала смягчению политической борьбы в Афинах¹. Напомним: гражданам законом предписывалось забыть о недавней борьбе между сторонниками демократии и олигархии, не мстить своим бывшим противникам. Особенно настаивал на неукоснительном соблюдении амнистии видный государственный деятель Архин. Как рассказывает Аристотель, «когда кто-то из возвратившихся (то есть из возвратившихся из Пирея в город демократов. — И. С.) начал искать возмездия за прошлое, он (Архин. — И. С.) велел арестовать его и, приведя в Совет, убедил казнить без суда» (*Аристотель*. Афинская политика. 40. 2). Бывает, что и незаконная по форме мера способствует укреплению законности...

Однако добиться истинного, не показного примирения было не так-то просто. Слишком много озлобления накопилось за время смут внутри гражданского коллектива. И теперь это озлобление выплескивалось самыми различными «обходными» путями.

В 399 г. до н. э. все Афины облетела весть: судят Сократа! Нет сомнения, что многие афиняне с радостью потирали руки: наконец-то этот «возмутитель общественного спокойствия» получит по заслугам. Давно уже было прекрасно известно, что Сократ отнюдь не принадлежит к преданным сторонникам демократии, что он критикует ее недостатки. Кроме того, на философа упала тень преступлений его бывших учеников. Одним из этих учеников был, как мы знаем, Алкивиад, а ведь он принес столько невзгод государству в период Пелопоннесской войны.

Учился когда-то у Сократа и Критий — кровавый глава «Тридцати тиранов». Как мы видели, придя к власти, Критий пытался привлечь своего бывшего учителя к злодеяниям «Тридцати», более того — сделать его как бы знаменем олигархического движения. К чести Сократа, он решительно отказался сотрудничать с этим экстремистским режимом, демонстративно не подчинялся его приказам и... остался безнаказанным. Будь на месте философа любой другой гражданин, подобная независимость во взглядах и действиях немед-

ленно стояла бы ему головы. Сократа, судя по всему, олигархи все-таки уважали и щадили.

Неудивительно, что восстановленная демократия считала «босоногого мудреца» своим врагом. И возбужденный против него судебный процесс явно имел политическую подоплеку, но просто, поскольку закон об амнистии открыто нарушать было нельзя, то его решили обойти. Сократа не обвинили напрямую в связях с Критием и «Тридцатью», а в поданном иске фигурировали преступления религиозно-этического характера. Но, как говорится, «все всё понимали»; бросалось в глаза уже то, что одним из обвинителей философа выступал Анит — богатый владелец кожевенной мастерской, ведущий политик демократической ориентации, который вместе с Фрасибулом и Архином составлял тройку самых влиятельных афинских государственных деятелей первых послевоенных лет. Привлечение к процессу фигуры такого масштаба, конечно, было не чем иным, как использованием «тяжелой артиллерии» для борьбы против опасного противника.

Политические мотивы суда нельзя было выставить открыто — их искусно затушевали, а на первый план выдвинули религиозные моменты. Ход, придуманный обвинителями, был совершенно безоснователен. И неважно, что обвинение, если вдуматься, звучало голословно: Сократ неукоснительно соблюдал все положенные законами религиозные обряды, да и вообще отличался благочестием, а отнюдь не безбожием. Да, он действительно утверждал — и мы это уже знаем, — что внутри него есть некий божественный голос, демоний, который в минуту трудного выбора направляет его на верный путь. Но почему он не имел права так считать? Ведь античная религия в принципе не сковывала свободу мысли.

Однако разве стали бы вникать в эти тонкости афинские судьи-присяжные, которые, как прекрасно известно, не отличались хорошим знанием законов, а судили часто под влиянием эмоций? Уже далеко не в первый раз в среде демоса разжигали религиозную истерию. Главное — указать легковозбудимой толпе на врага: вот он, судите его, казните... Время, конечно, расставит все на свои места, но дело-то к этому времени будет уже сделано.

Да, суд над Сократом был отнюдь не первым в череде знаменитых афинских религиозно-политических процессов. Преследовали, в числе прочих, и философов — по обвинению в «нечестии», т. е. в религиозном кощунстве, недостаточной почтительности по отношению к богам. Накануне Пелопоннесской войны подобным образом судили Анаксагора; уже в период самого этого вооруженного конфликта, по некоторым сведениям, жертвой подобного же процесса стал Про-

тагор. Особенно памятен был случай (относящийся к тому же времени) с мыслителем Диагором, проповедовавшим полный атеизм. Его не просто приговорили к смерти, но и, поскольку он успел скрыться, объявили в розыск и — трудно поверить, что речь идет о демократических, свободных Афинах! — объявили награду за его голову². Да что там говорить, еще и почти век спустя традиция аналогичных процессов о «нечестии» философов продолжалась. Аристотель — ученик ученика Сократа — был обвиняемым в одном из них, и для него тоже все могло бы кончиться очень плохо, но он, что называется, заблаговременно принял меры (называя вещи своими именами, попросту бежал из Афин).

* * *

Итак, суд над Сократом. Трудно, чудовищно трудно (как найти свежие слова?!) писать о событии, о котором рассказывалось тысячи и тысячи раз — вначале современниками «босоногого мудреца», его учениками (сохранились, как известно, соответствующие произведения Платона и Ксенофонта, но имелись и другие), затем — античными писателями более поздних эпох, далее, уже в новое время — авторами, наверное, всех без исключения книг о Сократе, какими бы они ни были — научными, научно-популярными, чисто художественными...

Приведем для начала — как некую основу — максимально краткий, простенький и незамысловатый рассказ, принадлежащий Диогену Лаэртскому (ценный, впрочем, уже тем, что в нем дословно приведена формулировка обвинения). Цитируя, впрочем, исключим заведомо недостоверные сведения:

«...Обвинителей было трое — Анит, Ликон и Мелет: Анит был в обиде за ремесленников и политиков, Ликон — за риторов, Мелет — за поэтов, ибо Сократ высмеивал и тех, и других, и третьих... Вот как было дело. Клятвенное заявление перед судом (т. е. собственно обвинение. — *И. С.*) было такое (Фаворин говорит, что оно и посейчас сохраняется в Метрооне [афинский государственный архив. — *И. С.*]): «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета, из Питфа против Сократа, сына Софрониска, из Алопеки: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то — смерть». Защитительную речь для Сократа написал Лисий; философ, прочитав ее, сказал: «Отличная у тебя речь, Лисий, да мне она не к лицу», — ибо слишком явно речь эта была скорее судебная, чем философская. «Если речь отличная, — спросил Лисий, — то как же она тебе не к лицу?» — «Ну, а богатый плащ или сандалии раз-

ве были бы мне к лицу?» — ответил Сократ» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 39–41*).

Первым на секунду цитирование — просто для того, чтобы пояснить: Лисий был самым талантливым, знаменитым и модным в Афинах той поры логографом — составителем речей для граждан, которым по той или иной причине предстояло предстать перед судом (профессия логографа была необходима, ибо института адвокатуры не существовало, каждый должен был говорить в свою защиту сам — а ведь не все же наделены ораторскими способностями, поэтому услуги логографов были весьма востребованы).

Продолжаем. «...Сократ... был осужден большинством в 281 голос. Судьи стали определять ему кару или пеню: Сократ предложил уплатить двадцать пять драхм... Судьи зашумели, а он сказал: «По заслугам моим я бы себе назначил вместо всякого наказания обед в Пританее». Его приговорили к смерти, и теперь за осуждение было подано еще на 80 голосов больше» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 41–42*).

В приведенном рассказе немало неясностей? Да, это так, и нашей задачей уже через несколько строк будет пояснить эти сложные места. А пока отметим еще, что гораздо более пространны, разумеется, свидетельства Ксенофонта и Платона. Но при этом — весьма расходятся друг с другом, хоть кое в чем и совпадают. И сразу приходится ставить вопрос так: кому больше доверять из двух слушателей «босогого мудреца», чье повествование брать за основу?

Впечатление первое. Платон — великий фантазер, более того, может быть, величайший мастер вымысла во всей мировой истории. Такие титаны, как Данте, Шекспир или Гете, вторичны по отношению к нему. Платону ничего не стоило придумать, скажем, рассказ о странствиях человека в загробном мире (в трактате «Государство») или знаменитый миф об Атлантиде (в диалогах «Тимей» и «Критий») и изложить его настолько ярко и достоверно, что даже и поныне есть, как минимум, тысячи людей, твердо верящих в историчность Атлантиды, занимающихся ее поисками, несмотря на то, что она — не более, чем вымысел Платона³. Вот какую власть имел он над умами!

Ксенофонт же — трезвый реалист, человек несколько узкий по взглядам, как уже выше и говорилось. Не точнее ли он воспроизвел событие? Платона ведь могло, что называется, «понести» — с его-то страстью воспарять над презренной действительностью...

Впечатление второе, согласующееся с первым. В «Апологии Сократа», написанной Платоном, куда больше всяческой риторики, чем в соответствующем произведении Ксенофонта. Платоновский текст,

прежде всего, больше по размерам. Далее, он и более яркий, запоминающийся, а Ксенофоновский — суше. Наконец, встречаются у Платона и очевидные несообразности: так, у него Сократ продолжает еще говорить речь даже после того, как ему уже вынесен приговор, в то время как известно, что по нормам афинского процессуального права такое не практиковалось (да и зачем бы)?

Не очередное ли перед нами доказательство того, что Платон увлекся, «воспарил», а менее талантливый Ксенофонт точнее и вернее передал то, что говорилось на том злополучном процессе?

Впечатление третье, приходящее в полное противоречие с предыдущими двумя, но притом зиждущееся на твердо известном факте. Ксенофонт на момент суда над Сократом отсутствовал в Афинах. Он покинул их за несколько лет до того и так потом и не вернулся в родной полис. Стало быть, о суде мог знать только из чужих уст.

Платон же — это доподлинно известно — не только находился в «городе Паллады» в 399 г. до н. э., но и присутствовал на процессе. Правда, апокрифическим, не соответствующим действительности считается следующее предание: «Во время суда... Платон взобрался на помост и начал говорить: “Граждане афиняне, я — самый молодой из всех, кто сюда всходил...”, но судьи закричали: “Долой! долой!”» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 41). Хотя, строго говоря, ничего уж совсем противоречащего действительности в этом эпизоде нет, а поведение афинских присяжных изображено весьма правдоподобно. Как бы то ни было, даже если Платон на трибуну не выходил, то уж среди пришедших на суд он точно был (*Платон*. Апология Сократа. 34a); более того, входил в число тех, кто вызвался (безуспешно) стать поручителями подсудимого (*Платон*. Апология Сократа. 38b).

Итак, волей-неволей приходится исходить из того, что Платон — свидетель события, а Ксенофонт — не свидетель. Как видно, не всегда верно расхожее суждение, согласно которому где меньше риторики — там больше истины. Примем поэтому принцип, которому, собственно, верны в подавляющем большинстве те, кто писал о суде над Сократом: за основу нужно брать версию Платона. Но и версию Ксенофонта тоже, конечно, нельзя не учитывать. Кстати, упомянем уж: в этой последней версии Сократ тоже продолжает свою речь и после вынесения приговора. Когда у двух независимо друг от друга писавших авторов встречается совпадение, оно вряд ли может быть случайным. Да, юридически это никак не мотивировано, и, надо полагать, кроме Сократа, никто так не делал. Но на то ведь он и Сократ — афинянин, отличавшийся от своих сограждан чуть ли не во всех без исключения отношениях...



Проходя по Агоре, главной площади античных Афин, нельзя было не заметить на ее южной стороне обширной, квадратной в плане постройки. В центре ее очень большой зал без крыши, а в нем — ряды скамей и ораторская трибуна. Это — не что иное, как Гелиея, главное здание афинского суда присяжных. Есть помещения для работы судей и в других частях города⁴. Коль скоро мы в нашей прогулке по «городу Паллады» натолкнулись на Гелиею, самое время поговорить о судебной системе Афин.

С древнейших времен верховным судом полиса считался Совет Ареопага. Продолжал этот орган существовать и в эпоху демократии. Но после того, как реформой Эфиальта 461 г. до н. э. его полномочия были значительно урезаны, на рассмотрение Ареопага стали поступать лишь некоторые судебные дела, прежде всего связанные с обвинениями в умышленном убийстве. Зато уж ареопагиты, стараясь сохранить свой высокий авторитет, обставляли проходящие в своем судилище процессы как можно более торжественно и даже таинственно. Человеку, попавшему на суд Ареопага, казалось, что он предстал перед святыней. Еще бы: ведь, по преданию, сама богиня Афина Паллада, покровительница и благодетельница города, основала древний совет на холме Ареса.

Ареопаг разбирал также дела о некоторых преступлениях против религии. Однако не он теперь являлся главным судебным органом полиса. В период, о котором идет речь, эту роль всецело взяла на себя созданная еще Солоном гелиея — суд присяжных. Она постепенно превратилась в один из важнейших элементов демократической политической системы и сконцентрировала в своем ведении подавляющее большинство судебных дел.

По своему размеру гелиея была огромна. Ведь судьей-присяжным имел право быть любой афинский гражданин не моложе 30 лет. Для этого он должен был только раз в год принести с другими судьями присягу, получить именную табличку и в назначенные дни являться к зданию суда для участия в процессах. За свою работу судьи (дикасты), подобно магистратам и членам Совета Пятисот, получали жалованье.

Разумеется, далеко не все афиняне пользовались возможностью стать присяжными. Не все — но многие. Судя по сообщениям античных авторов, большинство дикастов были небогатыми гражданами пожилого возраста. Для них разбирательство судебных дел подчас становилось едва ли не основным видом деятельности. Психологию такого старика-судьи прекрасно изобразил драматург Аристофан в комедии «Осы», высмеивающей склонность афинского демоса к сутяжничеству:

Есть ли большее счастье, надежней судьба в наши дни, чем
судейская доля?
Кто роскошней живет, кто гроза для людей, не смотря на
преклонные годы?..
Или это не власть, не великая власть? Не глумимся ли мы
над богатством?
И отчета мы в том никому не даем, не в пример остальным
учреждениям...
Но приятнее всех мне судейских утех, — я сказать позабыл, —
вот такая:
Только я ворочусь с триоболом⁵ домой, домочадцы гурьбою
обступят
И начнут лебезить, знают: деньги принес...
Наша власть неужели ничтожна?
Только Зевсу такая доступна,
Только с ним наравне ставят нас.
В самом деле, когда зашумим мы в суде,
То прохожий народ, услышав, говорит:
«Слышишь, гром-то какой раздается в суде!
Царь наш Зевс!»

(Аристофан. Осы. 550 слл.)

В целом гелиея в классических Афинах насчитывала около 6000 членов. Даже в современных крупных государствах такого большого органа власти, пожалуй, не найти. А в небольшом по нашим меркам афинском полисе столь колоссальная численность по контрасту особенно бросается в глаза. Чем же она была обусловлена? Во-первых, считалось, что чем больше дикастов, тем лучше обеспечивается демократический характер судопроизводства. Во-вторых, с помощью той же меры надеялись избежать подкупа со стороны тяжущихся сторон. И действительно, подкупить одного судью довольно просто. Десять судей — труднее, но тоже можно. Сто судей? Ну что ж, очень богатый человек, поднаторевший, может подкупить и их. Но подкупить 6000 судей, конечно, считалось невыполнимым.

Однако такому огромному органу крайне затруднительно было работать в полном составе. Лишь очень редко, в исключительных обстоятельствах, для рассмотрения самых важных дел (за всю историю античных Афин известно всего несколько таких случаев) все 6000 присяжных заседали вместе. А обычно гелиея для своей работы разбивалась на дикастерии — отделения или коллегии судей, которые расходились по разным местам и там разбирали тяжбы. Чаще всего в состав одной коллегии входили 500 человек. Впоследствии это

число было изменено до 501 — во избежание «ничейного» результата при голосовании. Впрочем, была возможна и меньшая (по 200 или 300 членов), и бóльшая (по 1000 или 1500 членов) численность дикастериев, но это случалось реже.

Судопроизводство в демократических Афинах было публичным, гласным и состязательным. Опишем вкратце процедуру, по которой проходил типовой судебный процесс. Истец или обвинитель подавал в суд иск и оповещал об этом ответчика или обвиняемого. Назначался день рассмотрения дела, и объявление об этом помещалось в специальном месте на Агоре, чтобы каждый желающий мог посетить процесс.

И вот назначенный срок наступил. Утром к зданию, избранному для проведения судебного заседания (таких зданий в Афинах было несколько, потому что в один день могло проходить несколько процессов), собираются присяжные, которым выпал жребий судить именно это дело. Стягивается публика, которая будет наблюдать за происходящим снаружи, из-за загородок. Являются истец и ответчик. Приходит магистрат, председательствующий на суде: на каждом процессе председательствовало какое-либо должностное лицо, но оно только руководило ходом рассмотрения тяжбы, а права голоса при вынесении приговора не имело. Магистрату помогал секретарь, который зачитывал текст обвинения, необходимые документы, свидетельские показания.

Суд начинается. Дикасты дают клятву судить справедливо и беспристрастно. Слово для речи предоставляется обвинителю, затем обвиняемому. Строго следят за тем, чтобы оба говорили равное количество времени. Для контроля над этим используются водяные часы (клепсидра): из одного сосуда в другой бежит струйка воды, и когда она иссякнет, выступающий должен заканчивать речь. Потом сосуды меняют местами, и процесс продолжается.

Задачей истца было убедить судей в том, что его противник виновен. Этого оратор старался добиться всеми допустимыми и недопустимыми средствами: сгущал краски, воздействовал на эмоции слушателей, подчас не гнушался грязными ругательствами, прибегал к откровенной подтасовке фактов, как только мог, доказывал, что ответчик — дурной человек и гражданин, что он заслуживает наказания. Даже если он говорил явную ложь, уличить его было непросто: никакого предварительного следствия суд не проводил, улики не собирал, приходилось принимать на веру слова обвинителя. Реакция дикастов была очень живой: они шумели, прерывали оратора вопросами и замечаниями.

Наступал черед выступать обвиняемому — и его цель, естественно, была полярно противоположной: доказать, что он ни в чем не виноват, а следовательно, заслуживает оправдания. Ему тоже

приходилось прибегать к средствам эмоционального воздействия. Присяжных нужно было разжалобить, и добивались этого разными способами; в одной из предыдущих глав нами была приведена про странная цитата из Аристофана, ярко иллюстрирующая некоторые из таких способов.

После первой пары речей истец и ответчик говорили еще по одной, стараясь опровергнуть доводы друг друга. Обратим внимание на характерное обстоятельство: в афинской гелиее не было прокуроров. Даже по государственным преступлениям обвинителями выступали не назначенные полисом официальные лица, а частные граждане по собственной инициативе. Не было также и адвокатов: каждая из тяжущихся сторон должна была самостоятельно отстаивать свою правоту. Самое большее — позволялось пригласить с собой в суд одного-двух друзей или родственников, чтобы они выступали в роли дополнительных ораторов (синегоров) и помогали основному выступающему, приводя те доводы, которые он упустит.

Но что, если гражданин абсолютно не одарен даром ярко и убедительно говорить, да и среди его близких нет мастеров красноречия? Ведь таких людей, наверное, во все эпохи было большинство. А выступить перед дикастами плохо — значит вовлечь себя в опасность проиграть процесс. Чтобы этого избежать, прибегали, как упоминалось выше, к услугам специальных писателей, поднаторевших в ораторском искусстве и знании законов, — логографов («составителей речей»). Афинянин, готовящийся к суду, заказывал логографу речь. Когда она была готова, клиент заучивал ее наизусть и произносил на заседании дикастерия. Подчеркнем: именно наизусть, ибо чтение речи «по бумажке» в полисных условиях категорически не допускалось — ни в суде, ни в каком-либо другом месте.

Итак, выступления сторон закончились. Присяжные сразу, не совещаясь друг с другом, не обосновывая мотивы своего решения, приступают к голосованию. В помещение суда вносят и ставят рядом друг с другом два сосуда: один символизирует собой защиту, а другой — обвинение. Дикасты по очереди подходят к этим урнам; в руке у каждого обычный камешек, который судья должен бросить по желанию в ту или другую из них. Чтобы волеизъявление носило действительно тайный характер, чтобы нельзя было подсмотреть, как голосует каждый член гелиеи, горлышки обоих сосудов накрыты сверху одной большой воронкой, расширяющейся частью вниз. Присяжный просовывает руку в узкий проем воронки, и куда он после этого опустит камешек, никто, кроме него, не знает.

Затем камешки высыпают и подсчитывают. Большинство голосов определяет приговор. Если обвиняемый оправдан, его отпускают

и процесс завершается. Но если признана его виновность — суд будет продолжаться. Теперь, на его второй стадии, предстоит определить меру наказания. Ведь по большинству преступлений эта мера не предписана в законах, а оставлена на усмотрение гелиеи.

И все начинается заново. Говорит речь истец, призывая дикастов наказать преступника как можно суровее. Чаще всего он предлагает смертную казнь. Выступает с речью ответчик. Теперь ему тоже приходится выбирать для себя наказание, но он просит что-нибудь помягче, например, денежный штраф. И опять голосуют судьи. На этот раз у них в руках — не камешки, а покрытые воском деревянные дощечки. Каждый из присяжных должен провести по воску ногтем длинную черту, если он поддерживает кару, предложенную обвинителем, или короткую — если он на стороне обвиняемого. Справедливости ради следует сказать, что чаще члены гелиеи поступали гуманно, выбирая более мягкое наказание.

Только теперь заседание подошло к концу. Судьи получают свою заработную плату и расходятся. А приговор тут же приводится в исполнение коллегией Одиннадцати — специальным органом, на котором лежала именно эта неприятная функция. Здесь уместно сказать несколько слов о том, какие виды наказаний существовали в классических Афинах. Самым тяжелым из них была, конечно, смертная казнь. Казнили либо ударом дубины по голове, либо сбрасывая осужденного в пропасть. Ближе к концу V в. до н. э. ввели менее мучительный способ: приговоренному стали давать чашу с ядом (цикутой), который приносил быструю и почти безболезненную смерть.

Вторым по тяжести наказанием было изгнание из полиса. Ведь за пределами родного государства, гражданином которого он был, грек, как правило, становился изгоем, лишенным всякой защиты закона. Тяжела была судьба такого изгнанника. Далее следовало лишение гражданских прав (атимия): афинянин оставался в полисе, но не мог больше принимать участия в общественной и политической жизни. Атимия — в зависимости от преступления — могла быть пожизненной или временной, полной или частичной (например, осужденному запрещалось занимать государственные должности, но разрешалось голосовать в народном собрании).

Наконец, широко применялись различные денежные штрафы — от огромных до совсем маленьких. Интересно, что совершенно не применялась такая мера наказания, как тюремное заключение. Афиняне резонно рассуждали, что невыгодно держать граждан в тюрьме, кормя их за государственный счет. Тюрьма в Афинах существовала, но в нее заключали только преступников, ожидающих суда, или еще тех лиц, в отношении которых приговор был уже вынесен, но по

какой-нибудь причине не сразу приведен в исполнение (в частности, из-за религиозных праздников, во время которых нельзя было никого казнить).

Приговор гелиеи был окончательным и не подлежал никакому пересмотру. В Афинах не существовало высшей апелляционной инстанции, в которой гражданин мог бы опротестовать несправедливое, по его мнению, решение присяжных. Даже всесильное народное собрание не контролировало дикастерии и никогда не отменяло их приговоры.

Нужно сказать, что дикасты в массе своей не отличались хорошим знанием правовых норм. Это и неудивительно: ведь присяжные были самыми обычными гражданами и не имели никакого специального юридического образования. Вынося приговоры, они руководствовались не столько тщательным рассмотрением всех деталей тяжбы и применением к ней существующих законов, сколько своей «гражданской совестью». В основном они обращали внимание на то, доводы какой из сторон — обвинения или защиты — покажутся более убедительными. И еще очень большое значение играла общая репутация человека, находящегося под судом. Если он ранее зарекомендовал себя как достойный член гражданского коллектива, отличился в хорошую сторону на полях сражений или в государственной деятельности, — велик был шанс, что его оправдают, даже если доказательства его виновности будут убедительными и неопровержимыми. И наоборот — если афинянин был по какой-нибудь причине несимпатичен своим согражданам, его могли осудить на наказание даже без всякой вины.

Главным бичом афинского суда присяжных был, конечно, именно этот непрофессионализм, доходящий до некомпетентности. Неизбежным в таких условиях было обилие несправедливых приговоров (а обжаловать такой приговор, как мы помним, было нельзя!). Отсюда же — и клеветнические доносы, которые буквально рекой текли в гелиею со стороны недобросовестных граждан.

Распространенными фигурами в демократических Афинах стали сикофанты — профессиональные доносчики, сделавшие шантаж своим ремеслом. Сикофант действовал так: приходил к какому-нибудь богачу и вымогал у него взятку, угрожая в случае отказа возбудить против него судебное дело по ложному обвинению. Богач начинал размышлять: «Если я ему не заплачу, он действительно подаст на меня в суд. Процесс я, скорее всего, проиграю. Во-первых, доносчик поднаторел в судебном крючкотворстве. Во-вторых, я состоятелен, а большинство присяжных — бедняки; понятно, что они будут не на моей стороне, хоть я и не совершал никакого преступления. Так не лучше ли откупиться?». Сикофант торжествовал.

* * *

Итак, обвинителей — трое. По нормам афинского права основным должен был быть один: именно он официально вчинял иск, говорил на суде основную речь. В данном случае таковым был Мелет. Остальные — Анит и Ликон, — получается, выступали в роли синегоров.

Небезынтересно присмотреться ко всем трем. Что за люди стали непосредственными выразителями недовольства Сократом со стороны гражданского коллектива, так сказать «рупором народного гнева»?

Мелет. Человек к моменту процесса еще довольно молодой — вряд ли возраст его сильно превышал 30 лет. Именно так и описывает его Сократ в беседе с одним из сограждан, незадолго до суда: «Я и сам не очень-то знаю этого человека; мне представляется, он из молодых и малоизвестных... Можешь ты представить себе такого питфейца (т. е. из дема Питф. — *И. С.*) Мелета — длинноволосого и жидкобородого, да к тому же еще и курносого?» (*Платон. Евтифрон. 2b*). Это, заметим, одно из весьма редких у Платона описаний внешности человека, причем поданное явно в ироническом ключе.

Ну, насчет «курносого» — не Сократу бы, отличавшемуся той же чертой, попрекать ею других... В остальном же облик Мелета, похоже, был, так сказать, «богемно-артистическим». Сразу припоминается, что Еврипида в античности изображали с длинными, но жидкими волосами.

Мелет ведь и сам по основному роду деятельности тоже был поэтом, сочинителем трагедий. Причем потомственным: на том же поприще подвизался и его отец, тоже Мелет. Впрочем, ни один из двух своими произведениями в памяти потомства не остался. Перед нами даже не «случай Сальери»: Сальери-то, во всяком случае, был видным композитором, пусть и не четой Моцарту, а обоих Мелетов, похоже, нельзя назвать иначе, как полными ничтожествами в искусстве⁶.

Авторитетным гражданином, понятное дело, Мелет-младший явным образом не был. Сократ в своей речи на суде иронически указывает на то, что, если бы не поддержка более влиятельных афинян, этот обвинитель потерпел бы полное фиаско: «...Вот что очевидно для всякого: если бы Анит и Ликон не пришли сюда, чтобы обвинять меня, то он (Мелет. — *И. С.*) был бы принужден уплатить тысячу драхм как не получивший пятой части голосов» (*Платон. Апология Сократа. 36ab*).

В афинском праве действительно была такая норма: если обвинитель при голосовании присяжных набирал очень уж малое коли-

чество голосов в свою пользу, его самого наказывали — подвергали денежному штрафу. Подобная мера была, скорее всего, направлена на борьбу с сикофантами, возбуждавшими обычные процессы против добропорядочных граждан.

А не являлся ли действительно Мелет сикофантом, так сказать, в дополнение к своей основной профессии? Многое говорит о том, что, пожалуй, так оно и было. С Сократом до суда они, как видим, были практически незнакомы, ничем вроде бы философ не «насоллил» молодому поэту. С чего же обвинение? В Афинах вообще не очень-то уважительно относились к ситуациям, когда человек вчинял иск другому, не будучи лично им обижен. Считалось, что так поступают именно сикофанты.

Интересно, что в том же 399 г. до н. э. какой-то Мелет выступал обвинителем на другом громком религиозно-политическом процессе — против известного оратора Андокида. Последний, оказавшись в роли обвиняемого, повел свою защиту очень тонко и грамотно и сумел дело выиграть. Невозможно, конечно, со всей категоричностью доказать, что в обоих случаях речь следует вести об одном и том же Мелете. Но если это все-таки одно лицо — то уже не приходится сомневаться, что перед нами чистой воды сикофант — и, что называется, «прожженный». Такой, каких привлекали, в частности, видные политики, чтобы, с одной стороны, добиться своей цели, а с другой — не слишком-то афишировать свою истинную роль. В данном случае, несомненно, речь идет об Аните — истинном вдохновителе обвинения, который предпочел, однако, остаться на «втором плане».

Итак, Анит. Ему в то время, о котором идет речь, было уже около пятидесяти. Он принадлежал к типичнейшим представителям когорты так называемых «новых политиков»⁷, выдвинувшихся в Афинах ближе к концу V в. до н. э. и властно взявших бразды правления в свои руки. Не раз упоминавшийся выше Клеон был первым и самым знаменитым из них. Черты, объединявшие этих людей, — незнатное происхождение, быстро нажитое богатство, амбициозное стремление к лидерству и, как правило, радикально-демократическая ориентация.

Об Аните Сократ (разумеется, в изложении Платона) говорит следующее: «Анит прежде всего сын Анфемииона, человека мудрого и богатого, который разбогател не случайно и не благодаря чьему-нибудь подарку... но благодаря собственной мудрости и усердию» (*Платон. Менон. 90а*). Типичная карьера нувориша. Весьма вероятно⁸, что отец Анита Анфемиион — тот самый человек, который в озна-

менование «внезапно привалившего» счастья поставил на Акрополе статую, изображавшую его с конем, и присовокупил надпись:

Дифилов (т. е. сын Дифила) Анфемиион дар сей богам посвятил,
Как из простых батраков всадником сделался он.
(*Аристотель*. Афинская полития. 7. 4)

Имеется в виду, что Анфемиион, разбогатея, перешел из низшего имущественного разряда — фетов (батраков) — в разряд всадников, второй сверху.

В молодости Анит, по некоторым сведениям, входил в окружение Алкивиада. В период Пелопоннесской войны избирался стратегом, но нельзя сказать, чтобы отличился как военачальник — скорее напротив. Весьма пикантный эпизод относится к 409 г. до н. э. Напомним, к тому моменту афиняне уже лет пятнадцать владели Пилосом — плацдармом на территории спартанского государства, исключительно выгодным в стратегическом отношении. Именно Анит Пилос утратил, хотя ему было дано поручение его удерживать. Город опять возвратился под контроль Спарты.

После столь большой неудачи Анита, естественно, привлекли в Афинах к суду. А дальше случилось нечто странное и необычное. Вообще-то афинская гелиея, при всех своих других многочисленных грехах, не страдала коррупцией — этому препятствовали сами огромные размеры коллегий присяжных. Но все ж редко-редко, а и их удавалось подкупать. Если верить Аристотелю, первым, кто успешно провернул такую «операцию», был именно Анит.

«Начался после этого и подкуп, причем первым подал пример этого Анит, после того как был стратегом в походе на Пилос. Будучи привлечен некоторыми к суду за потерю Пилоса, он подкупил суд и добился оправдания» (*Аристотель*. Афинская полития. 27. 5). Больших, должно быть, денег это ему стоило!

Впоследствии, впрочем, Анит как-то сумел восстановить свою репутацию как добропорядочного гражданина. Впрочем, почему «как-то»? Мы ведь уже знаем, как это было. В злополучные времена «Тридцати тиранов» Анит, лишенный гражданских прав и изгнанный из полиса, стал одним из главных и активнейших оппозиционеров. Рука об руку с Фрасибулом он организовывал отряд сопротивления, вторгался в Аттику, воевал против репрессивного олигархического режима... И победил. Так не стоит удивляться, что в условиях восстановленной демократии он стал одним из самых авторитетных деятелей.

Тут получилось так (об этом тоже упоминалось выше), что в ходе какой-то из, казалось бы, чисто философских бесед Анит, что-то

недопоняв, вдруг почувствовал себя оскорбленным, стал говорить угрозы по адресу Сократа... Впрочем, вряд ли стоит думать, что причина всему — один случайный инцидент. Нет, Сократ должен был раздражать Анита в принципе. И по самым разным основаниям.

В политическом плане Сократ для Анита, безусловно, враг. И такой враг, с которым примириться невозможно. Учился у него Критий, кровавый тиран? Учился. Оставался Сократ в правление «Тридцати» в Афинах, в то время как сам Анит подвергся изгнанию? Оставался и не предпринимал попыток перебраться в лагерь повстанцев; получается, был в целом лоялен по отношению к олигархам. Позволял себе антидемократические высказывания? Позволял, и неоднократно.

В плане общемировоззренческом... Мало что мы знаем об Аните с этой точки зрения. Но можно с полным основанием предположить, что он вполне солидаризировался бы с известным высказыванием другого видного демагога, Клеона: «Необразованность при наличии благонамеренности полезнее умственности, связанной с вольномыслием. Действительно, более простые и немудрящие люди, как правило, гораздо лучшие граждане, чем люди более образованные... Простые люди не приписывают себе исключительных способностей и поэтому не считают себя умнее законов. Они не берутся критиковать то, что правильно сказал другой» (*Фукидид*. История. III. 37. 3–4). Так невежество возводилось в принцип...

А Сократ всем своим поведением представлял вопиющее противоречие этому принципу. Уж точно его меньше, чем кого-либо, можно было отнести к «простым и немудрящим людям», не склонным к критике, — идеальным гражданам для демократии клеоно-анитовского толка. Можно ли было допустить, чтобы подобный «внутренний враг» остался безнаказанным?

Необязательно доводить дело до казни, можно, так сказать, и просто попугать. Но обвинение должно звучать максимально сурово! И в нем, разумеется, следует требовать смерти, а не какой-либо иной кары. Так уж повелось среди обвинителей, что ничего другого они по большей части не требуют. Очевидно, ориентируются на то, что дикасты, в общем-то, при всех своих капризах люди добрые и берут более мягкую меру наказания.

Ведь действительно, положив руку на сердце, никому же и в голову не могло прийти — даже накануне суда, — что Сократ повинен в чем-то таком, за что полагается смерть. Ведь не убил же он никого (да, кстати говоря, по афинским законам и за убийство-то далеко не всегда казнили⁹⁾), не изменял отечеству, не участвовал в государственном перевороте...

Наконец, Ликон, третий обвинитель (и, возможно, самый интересный как личность). Человек уже немолодой, по возрасту приближающийся к самому Сократу. И, кстати, давно уже с ним знакомый: еще в 422 г. до н. э. оба, как показывает Ксенофонт в диалоге «Пир», участвовали в пиршестве у богатого Каллия. Был там с Ликоном и сын его — юноша Автолик (изображенный Ксенофонтом в особенно теплых тонах), впоследствии ставший известным борцом и в конце концов погибший в ходе репрессий «Тридцати тиранов». Уж не за это ли скорбящий отец обратил свой гнев на «босоногого мудреца», которого, как писалось в предыдущей главе, многие могли считать соучастником или, по крайней мере, единомышленником кровавых олигархов? Во всяком случае, такое мнение высказывалось¹⁰.

Ликон, напомним, был оратором и ритором, т. е. человеком, заведомо больше, чем Анит или Мелет, поднаторевшим в деле составления речей. Можно предположить, что в «троице» обвинителей он играл роль логографа, т. е. написал (за деньги или по убеждению) выступления своим коллегам.

Вернемся к основному официальному обвинителю — Мелету. Выше мы охарактеризовали его как продажного сикофанта, и в целом эта оценка, не сомневаемся, верна. Но исходила она, напомним, из того предположения, что Мелет, обвинявший Сократа, и Мелет, обвинявший оратора Андокида, — одно и то же лицо. А если придерживаться этой гипотезы, то не может не обратить на себя внимания следующий отрывок из защитительной речи Андокида: «...Вот этот Мелет, как вы все знаете, при Тридцати привел к властям Леонта, и тот был казнен без всякого суда» (*Андокид*. I. 94).

Так-так, многое становится на свои места. Напомним, пятеро афинян были направлены Критием и его присными для ареста и доставки в Афины Леонта Саламинского. Один из пятерых — Сократ — вернулся и пошел домой, но остальные-то поручение выполнили, что и повело к казни Леонта. Выходит, Мелет был в числе этих «законопослушных»! Некрасивая, конечно, получилась история. Хоть после амнистии 403 г. до н. э. и было запрещено упоминать о таких вещах, но не помнить-то о них не могли. И в первую очередь сам Мелет — надо полагать, что после инцидента с Леонтом он просто не мог не возненавидеть Сократа, который в его глазах предпочел остаться «чистеньким», в то время как сам он, Мелет, покорно отправился задерживать невинного человека. Согласно известной латинской пословице, *quod licet Iovi, non licet bovi*, «что позволено Юпитеру, то не позволено быку». И вот «бык» становится обвинителем «Юпитера». Таким образом, со стороны всех трех представителей обвиняющей стороны налицо, помимо всех прочих, и личные мотивы. А иначе в Афинах и не могло быть...

* * *

Итак, иск Мелетом вчинен. Перед тем, как начнется сам процесс, необходимы несколько встреч организационного характера между истцом и ответчиком у одного из афинских архонтов. Поскольку в случае Сократа дело шло не о чем ином, как нечестии, нарушении религиозных норм, архонтом, который должен председательствовать на суде, был так называемый архонт-царь, отвечавший за сакральные вопросы в полисе. К нему и нужно было являться. И уж это волей-неволей приходилось делать, иначе могли и судебное заседание провести в отсутствие ответчика, что для него, понятно, ни к чему хорошему не могло привести.

В ходе одного из таких предварительных посещений архонта Сократ столкнулся с прорицателем Евтифроном, который пришел к тому же магистрату по другому делу и с совершенно противоположной целью: он сам выступал в качестве истца. Между двумя афинянами — они, конечно, были знакомы — завязался разговор. Евтифрон поинтересовался:

«Кто-то вчинил тебе иск? Ведь не могу же я поверить, что, наоборот, ты сам обвиняешь кого-то» (*Платон. Евтифрон. 2b*). Весьма характерное замечание!

Сократ объясняет, в чем заключается его дело, описывает Мелета, а на дальнейшие недоуменные вопросы Евтифрона отвечает словами, полными столь характерной для него иронии:

«Какой иск? Да, на мой взгляд, нешуточный. Ведь это не пустяк — в молодые годы распознать подобное дело. Ему-де известно, говорит он, почему развращаются молодые люди и кто именно их развращает. Выходит, что он-де мудрец, а я, как он усмотрел, невежда и развращаю его сверстников, потому-то он и выступает перед городом-матерью с обвинением против меня. Мне мнится, что среди всех государственных мужей он единственный действует правильно: в самом деле, ведь правильно прежде всего проявить заботу о молодых людях, чтобы они были как можно лучше, как хорошему земледельцу подобает прежде всего позаботиться о молодых побегах, а уж после обо всем остальном. Подобным же образом и Мелет, возможно, сначала хочет выполоть нас, из-за которых гибнут ростки юности, — так он говорит, — а уж затем, как это ясно, он позаботится и о старших и учинит для города множество величайших благ: по крайней мере так обычно бывает с теми, кто выступает с подобными начинаниями» (*Платон. Евтифрон. 2с слл.*).

Подобный пассаж, кажется, говорит сам за себя и не нуждается в каких-либо комментариях. Кто не распознает здесь даже не иронию, а более того — едкий, язвительный сарказм? Но Евтиф-

рон, как и большинство собеседников Сократа в описании Платона, предельно прост и недогадлив. То ли Платон сгущает краски (что с ним, вообще говоря, часто бывает), то ли и вправду этими качествами отличались античные афиняне (некоторые намеки, например, у Геродота, отчасти свидетельствуют, что именно так и могло быть). Одним словом, Евтифрон вообще не замечает довольно слабо скрытой насмешки и реагирует, что называется, на полном серьезе:

«Хотел бы я, Сократ, чтобы было так. Однако боюсь, как бы не вышло прямо противоположное: ведь мне решительно кажется, что, замыслив неправо дело против тебя, он начинает разрушать свой дом с очага» (*Платон. Евтифрон. За*).

Заметим здесь, что для элинов очаг — ключевое, основополагающее понятие. Очаг имелся, естественно, в каждом доме, но, что самое важное, он был не просто местом, где готовили пищу, но средоточием всех и всяческих культов и священнодействий, основным сакральным центром. И не только на уровне отдельно взятого жилища, но и на уровне полиса в целом. Главный общегосударственный очаг находился в Пританее — одном из общественных зданий Афин, где, как мы знаем, бесплатно кормили прославленных героев, и, вне сомнения, пищей, приготовленной на том самом очаге. Огонь на нем должен был быть постоянным, неугасающим (из этой глубокой древности идет, кстати, само понятие Вечного огня, столь знакомое нам и символичное). Очаг у греков воплощался в фигуре богини Гестии — одной из двенадцати олимпийских божеств, старшей сестре самого Зевса. Неспециалисту имя Гестии, пожалуй, знакомо меньше, чем, допустим, имена Зевса или Аполлона, Афины или Диониса, которые у всех на слуху, но это просто потому, что о Гестии греки как-то мало рассказывали мифов. Но тем не менее глубоко и искренне почитали¹¹.

Сравнивая — весьма почетно — Сократа с очагом, Евтифрон тем самым рекомендует себя как единомышленник «босоногого мудреца». Но единомышленник, как видим, немудрящий. Пока речь идет о том, чтобы выразить сочувствие на словах, он вполне доброжелателен. Но ведь пройдет всего несколько дней — и он вполне может оказаться в числе присяжных, судящих философа (напомним, присяжным мог быть любой афинский гражданин, достигший тридцати лет, а прорицатели, равно как и жрецы, были совершенно обычными гражданами, не составляли какое-либо отдельное сословие и привилегиями не пользовались). А как уж он там проголосует — за Сократа или за обвинителей, чья речь его больше убедит — это заранее предсказать невозможно.

Неудивительно, что Сократ не доверяет Евтифрону и расстается с ним на той же иронической ноте: «Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом и избежать Мелетова иска, доказав ему, что я стал мудрым в божественных вопросах благодаря Евтифрону и никогда уже не буду заниматься невежественной болтовней и вводить в этом деле различные новшества, но впредь стану жить самой достойной жизнью!» (*Платон. Евтифрон. 15е сл.*).

* * *

А теперь перенесемся мысленно в судебное присутствие. Решающий день настал. На скамьях разместилась вся коллегия дикастов — 501 человек. На трибуну поднимаются вначале те, кто будет вести заседание, — архонт-царь и секретарь. Оглашается обвинение и затем лицам, его выдвинувшим, предоставляется слово. Речи Мелета, Ани-та и Ликона до нас не дошли, да и не могли дойти; об этом, пожалуй, стоит слегка пожалеть. Но, впрочем, то, о чем говорили обвинители, достаточно прозрачно прочитывается из ответа, который был дан им Сократом и который как раз известен. Они просто более подробно развивали те мысли, которые и так уже были озвучены в формулировке иска: Сократ-де является безбожником и развратителем молодежи.

Наступает время говорить обвиняемому. Что нам теперь делать? Не можем же мы здесь целиком воспроизвести «Апологию Сократа», написанную Платоном, т. е. пересказ его защитительной речи. Это текст на несколько десятков страниц. Да и каждый желающий может самостоятельно обратиться, открыв первый том собрания сочинений Платона, к названному нами замечательному памятнику¹² в прекрасном переводе М.С. Соловьева — сына знаменитого русского историка С.М. Соловьева и брата чуть ли не еще более знаменитого религиозного философа В.С. Соловьева.

Остается самый неблагоприятный путь: передавать содержание «Апологии» (разные отрывки из которой мы по тому или иному поводу и так уж неоднократно цитировали) своими словами. А пересказывать великого Платона — это ровно то же самое, что пересказывать Данте, Шекспира или Достоевского: толка мало, конфуза много. Но куда ж деваться? Приступим.

Мы уже отмечали, что в «Апологии Сократа» в целом меньше иронии, чем в большинстве других сократических сочинений Платона. «Босоногий мудрец» в данном случае скорее горделив, чем склонен к лукавому самоуничтожению. Но начинается речь все-таки на довольно ироничной ноте:

«Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили» (*Платон. Апология Сократа. 17b*). Но тут же тональность полностью меняется: «Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. Но сколько они ни лгали...». Тут и цитату можно прервать — и так ясно, насколько иной язык начинается здесь звучать. Сократ, повторим, снимает маску.

Он подчеркивает, что не собирается говорить красивую, риторически изукрашенную речь, а будет заботиться только об истине. Далее напоминает, что он — не сутяга, к тяжбам не привык, а потому будет выражаться без всяких ухищрений.

Затем (зри в корень!) Сократ оговаривает, что не столько ему страшны Анит со товарищи, сколько более ранние «обвинители», подспудно сформировавшие его негативный облик в глазах масс, — такие, например, как комедиографы, утверждавшие уже много лет назад, «что существует некий Сократ, мудрый муж, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду» (*Платон. Апология Сократа. 19b*). Припоминает, разумеется, комедию Аристофана «Облака», в которой «какой-то Сократ болтается... в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху, и несет еще много разного вздору, в котором я ничего не смыслю» (Там же. 19c).

Все серьезнее и серьезнее становится тон речи философа. Обвиняемый говорит о собственной мудрости, о том, как Дельфийский оракул признал его мудрейшим из людей, и о том, что эта пресловутая мудрость — не что иное, как четкое осознание и признание собственного неведения, чуждое большинству людей. В рядах слушателей-судей уже назревает недовольство, слышен ропот, и философ вынужден сделать замечание: «И вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно» (*Платон. Апология Сократа. 20e*).

Затем Сократ долго беседует с обвинителем Мелетом, тут и там ловит его на логических ошибках и, по своему обыкновению, совершенно запутывает. Ведь это его последний разговор с врагом, дальше — в тот месяц, который остается ему до чаши цикуты — будут только беседы с друзьями.

Мелет, в философии явно не поднаторевший, по большей части с трудом понимает, о чем спрашивает его оппонент, и отвечает совершенно наугад. Но присяжные в своем большинстве — они-то лучше ли понимают вопросы Сократа? Нет, конечно. А непонятное всегда неприятно. Неудивительно, что дикасты опять поднимают шум,

и «босоногий мудрец» должен их осаживать: «...А вы помните, о чем я вас просил вначале, — не шуметь, если я буду говорить по-своему» (*Платон. Апология Сократа. 28b*).

Закончив разговор с Мелетом, следующий пассаж своей речи обвиняемый посвящает самому себе. С огромным чувством собственного достоинства, блистая логикой, Сократ убедительно доказывает беспочвенность и беспомощность обвинения, демонстрирует, что всю свою жизнь он, чем мог, честно служил полису, приносил ему только благо, а не зло.

Никаких просьб о снисхождении! Никаких заявлений о раскаянии в содеянном! Напротив того, решительное утверждение: даже если его оправдают и отпустят, он не намерен изменять свой образ жизни. Раздражение судей нарастает. Внимать доводам разума они не привыкли, а то, что подсудимый ведет себя так же независимо, как вел себя всегда (в том числе и при «Тридцати тиранах»), им очень не нравится.

В результате вновь и вновь звучат привычным рефреном все те же предупреждения Сократа: «Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу — не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать: слушать вам будет полезно, как я думаю» (*Платон. Апология Сократа. 30c*). Как же, должно быть, трудно было ему говорить в этой обстановке постоянного гвалта, издаваемого толпой из полутысячи человек!

А он произносит новые знаменитые слова: «В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает» (*Платон. Апология Сократа. 30e сл.*).

Упоминает о своем демони (а ведь это могло только подлить масла в огонь общего озлобления). Демонстративно заявляет, что не будет унижаться перед присяжными, в отличие от большинства афинян, представавших перед их судом: «Как-никак, а ведь принято все-таки думать, что Сократ отличается кое-чем от большинства людей» (*Платон. Апология Сократа. 34e сл.*). Горделиво!

Итог известен. Когда после окончания речей сторон началось первое голосование — о признании подсудимого виновным или невиновным, — результаты его, как мы видели из сообщения Диогена Лаэртского, оказались следующими: за обвинителей — 281 голос, за Сократа — 220. Удивляться приходится скорее тому, что перевес

в пользу врагов философа был таким незначительным. Сам Сократ замечает по этому поводу: «...Перепади тридцать один камешек с одной стороны на другую, и я был бы оправдан» (*Платон. Апология Сократа. 36а*). И действительно, голоса судей поделились почти поровну. Очевидно, среди народной массы было еще достаточно людей, уважавших «босоногого мудреца» до такой степени, что их не смутило даже его демонстративно нонконформистское поведение во время процесса.

Но начинается второй этап суда — решение вопроса о мере наказания. Обвинители, естественно, по-прежнему стоят за казнь. Задача защищающейся стороны — предложить менее суровую альтернативу, а судьи потом выберут. Причем, подчеркнем, они могут именно только выбрать из двух представленных им вариантов, а собственного назначать не могут. В этой части процесса для обвиняемого главное — не «переборщить», не попросить себе какой-нибудь слишком уж мягкой и незначительной кары, чтобы не разозлить дикастов. Обычные обвиняемые всегда данный нюанс учитывали. Но был ли Сократ «обычным обвиняемым»? Вопрос представляется праздным.

И мы уже знаем, как поступил философ: заявил, что за свои деяния заслуживает не наказания, а награды — пожизненного бесплатного обеда в Пританее. Похоже, после этих слов дикасты даже не шумели, а попросту опешили: неслыханно!!! Никогда, ни в одном судебном заседании не было и не могло быть ничего подобного.

Потом, правда, «босоногий мудрец» как бы делает некоторую уступку: «Пожалуй, я вам могу уплатить мину серебра; ну столько и назначаю. А вот они, о мужи афиняне, — Платон, Критон, Критобул, Аполлодор (все это друзья и ученики Сократа, присутствующие на суде. — *И. С.*) — велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя; ну так назначаю тридцать, а поручители в уплате денег будут у вас надежные» (*Платон. Апология Сократа. 38b*).

Но для ушей присяжных все это звучало опять же как издевательство. Во-первых, предлагавшаяся Сократом сумма штрафа была в первом случае (одна мина, т. е. 100 драхм) просто ничтожной, да и во втором (30 мин) очень маленькой для судебного процесса по столь серьезному обвинению. Но еще более шокировал сам этот речевой стиль, в котором подтекстом как бы звучало: хотите — берите одну мину, хотите — тридцать, а в общем-то, ребята, мне безразлично, что вы там насчет меня решите...

Голосование по мере наказания опять принесло победу обвинителям. А самое парадоксальное — в том, что на сей раз против Сократа было подано на несколько десятков голосов больше, чем

тогда, когда голосовали по вопросу о его виновности. Получается, нашлись люди (и в немалом количестве), которые вначале сочли его вообще не заслуживающим кары, но уже вскоре решили, что он достоин смерти!

Понимал ли Сократ, на что он идет, подобным образом строя свою «защиту»? Не приходится сомневаться, что понимал со всей определенностью. Ксенофонт поэтому пишет о нем: «...Молить об освобождении от казни он не находил нужным, а, напротив, полагал, что ему уже пора умереть» (*Ксенофонт. Защита Сократа на суде. 22–23*). «Сократ таким возвеличением себя на суде навлек на себя зависть и этим еще более способствовал своему осуждению... Он выказал силу духа: придя к убеждению, что умереть ему лучше, чем продолжать жить, он... перед смертью не выказал малодушия» (Там же. 32–33).

Платон не говорит столь же категорично, будто бы его учитель прямо-таки считал, что ему пора умереть, но все же и у него Сократ — уже после вынесения окончательного приговора — выражается в несколько схожем духе: «Я... гораздо скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели оставаться живым, защищавшись иначе» (*Платон. Апология Сократа. 38e*). Важный нюанс, как видим, тут все-таки есть: Сократ не вообще предпочитает смерть жизни, а честную смерть позорной жизни. Рыцарственная, гоппитская, спартанская позиция!

В противном случае пришлось бы предположить, что философу просто надоело жить на свете и он избрал такой экстравагантный способ самоубийства. Честно говоря, порой закрадывается подозрение, что в чем-то так оно и было. Трудно избавиться от впечатления, что, приложи Сократ хоть некоторые усилия — и он, возможно, был бы даже оправдан, и уж, во всяком случае, скорее всего не осужден на казнь. Все-таки обычно процессы по делам такого рода не заканчивались столь жестоким решением. Приговаривая «босоногого мудреца» к высшей мере, дикасты явно действовали под влиянием эмоций, возбужденных в них речами подсудимого. Потом наверняка даже сожалели — поступили, дескать, чрезмерно строго. Но сделать было ничего уже нельзя: как мы знаем, приговор гелии какому-либо пересмотру или апелляции не подлежал.

Сохранилась, правда, поздняя традиция, согласно которой якобы «очень скоро афиняне раскаялись: они... Мелета осудили на смерть, остальных (обвинителей. — *И. С.*) — на изгнание» (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 43*). В принципе, подобный образ поведения был отнюдь не чужд афинянам: признать, что такое-то решение было принято неверно, одна-

ко — поскольку державный демос, воплощенный в гелиее, ошибаться не может — наказать тех, кто «обманул» этот самый демос, «навязал» ему неправильный поступок. Иными словами, обвинителей. Так, после завершившегося чудовищной несправедливостью суда над стратегами, одержавшими победу при Аргинусских островах (а нам суд этот памятен, поскольку в нем, как мы знаем, сыграл свою роль и Сократ), обвинители во главе с Калликсеном подверглись преследованию и были вынуждены бежать из Афин (*Ксенофонт. Греческая история. I. 7. 35*).

Но вот в данном конкретном случае что-то в торжество справедливости верится с трудом. Похоже, перед нами — попытка выдать желаемое за действительное, закономерная реакция тех писателей последующих эпох, которые были до глубины сердца возмущены тем, что сотворили с Сократом, и хотели, чтобы зло получило по заслугам.

Характерно, что современники событий ничего не говорят о подобной развязке. Ксенофонт приводит лишь следующую деталь. Уже после приговора, «увидав проходившего мимо Анита, Сократ, говорят, сказал: “Он гордится, как будто совершил какой-то великий, славный подвиг, предав меня смертной казни за то, что я, видя, каких великих почестей удостоили его сограждане, сказал, что не следует ему учить сына кожевному делу... Я встретился однажды на короткое время с сыном Анита: мне показалось, что он — человек даровитый; поэтому я нахожу, что он не останется при том рабском занятии, к которому его предназначил отец; а за неимением хорошего руководителя он впадет в какую-нибудь гнусную страсть и, конечно, далеко пойдет по пути порока”.

Слова эти оправдались: молодой человек полюбил вино, ни днем, ни ночью не переставал пить и в конце концов стал ни на что негодным — ни для отечества, ни для друзей, ни для себя самого. Таким образом, Анит, как вследствие скверного воспитания сына, так и по случаю своего собственного неразумия, даже и по смерти имеет дурную славу» (*Ксенофонт. Защита Сократа на суде. 29–31*).

Нам здесь совершенно незачем даже обсуждать, имел ли действительно место этот случай с алкоголизмом сына Анита. Главное-то в другом: автор текста хочет показать, что Анита боги наказали за несправедный поступок. Если бы тот действительно был изгнан из Афин, Ксенофонт уж точно не преминул бы упомянуть об этом: вот был бы великолепный и убедительный пример божественной кары, свидетельствующий о том, что Сократ — не просто человек, что он особо любим небожителями. Тогда не пришлось бы прибегать и к заведомо более слабому аргументу, касающемуся сына.

Как бы то ни было, суд над Сократом¹³ и его осуждение навсегда остались одним из самых мрачных пятен на «белых одеждах» афинской демократии. Перед нами — один из первых в истории (и уж, во всяком случае, один из самых известных) случаев преследования за инакомыслие, за «диссидентство», за то, что человек не такой, как все, да еще осмеливается отстаивать свое право на индивидуальность, право быть непохожим, выделяться из массы других людей. И вот ведь парадокс: не жестокий тиран, не олигархи казнили Сократа. Приговор ему вынесло — причем с соблюдением всех необходимых формальностей, «буквы закона» — демократическое государство, самое передовое, самое прогрессивное в Элладе, да и во всем тогдашнем мире.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ...

В версии Платона Сократ завершает свою речь в гелиее такими словами (приговор уже вынесен, обвинители и судьи расходятся, и философ обращается в основном к группе своих приверженцев, продолжающих жадно слушать его): «Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога» (*Платон. Апология Сократа. 42а*).

Подразумевается, что осужденного сейчас отведут на казнь. И действительно, как упоминалось выше, обычно приговор присяжных сразу же приводился в исполнение, ведала этим специальная коллегия Одиннадцати. Но в случае с Сократом получилось иначе. Одиннадцать препроводили его в тюрьму, что находилась поблизости от здания, где его судили, тоже в центре Афин¹. И «босоногому мудрецу» предстоял еще целый месяц жизни.

Почему же так вышло? Пояснение находим в диалоге Платона «Федон». О казни Сократа беседуют два человека — его преданный ученик, заглавный герой диалога, с неким Эхекратом, приехавшим из другого города. Эхекрат, естественно, расспрашивает, Федон отвечает. Гость Афин недоумевает: «... Мы еще удивлялись, что приговор вынесли давно, а умер он столько времени спустя. Как это получилось, Федон?

Федон: По чистой случайности, Эхекрат. Вышло так, что как раз накануне приговора афиняне украсили венком корму корабля, который они посылают на Делос.

Эхекрат: А что за корабль?

Федон: ... Афиняне, как гласит предание, дали... Аполлону обет: ...ежегодно отправлять на Делос священное посольство. С той поры и поныне они неукоснительно, год за годом, его отправляют. И раз уж снарядили посольство в путь, закон требует, чтобы все время, пока корабль не прибудет на Делос и не возвратится назад, город хранил чистоту и ни один смертный приговор в исполнение не приводился. А плавание иной раз затягивается надолго, если задуют противные ветры. Началом священного посольства считается день, когда жрец Аполлона возложит венок на корму корабля. А это случилось накануне суда — я вам уже сказал. Потому-то и вышло, что Сократ пробыл так долго в тюрьме между приговором и кончиною» (*Платон. Федон. 58а слл.*).

Как часто бывает, необходимы и некоторые наши комментарии. В классическую эпоху древнегреческий (эллинский) этнос еще подразделялся на несколько крупных племенных групп (субэтносов). Одной из таких групп была ионийская, и именно к ней-то принадлежали афиняне. А главной святыней всех ионийцев был храм Аполлона на крошечном острове Делос в центральной части Эгейского моря. Там, на Делосе, раз в год очень пышно справлялось празднество в честь божества — покровителя острова (согласно мифам, именно там Аполлон и родился вместе со своей сестрой Артемидой). Именно по этому поводу и отправлялось на Делос афинское священное посольство на корабле.

Факт, сообщенный Платоном, подтверждает и Ксенофонт: «После суда ему (Сократу. — *И. С.*) пришлось прожить еще месяц по случаю того, что в том месяце был Делосский праздник, а закон воспрещает всякие казни до возвращения праздничного посольства из Делоса» (*Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. IV. 8. 2*).

Строго говоря, как видно из вышеприведенного места в «Федоне», точный день приведения приговора в исполнение до последнего момента оставался неясным — ждали возвращения посланного корабля и, соответственно, окончания «священных» дней. В 399 г. до н. э. этих дней оказалось тридцать.

В тюрьме ноги Сократа сразу же заковали в кандалы — сняли их только утром в день казни. Но в целом режим в месте заключения был довольно свободным. Никаких посещений не запрещалось, и, разумеется, к Сократу регулярно ходили те, кто и раньше привык слушать его. Вспоминает тот же Федон:

«Мы... — и я, и остальные — каждый день непременно навещали Сократа, встречаясь ранним утром подле суда, где слушалось его дело: суд стоит неподалеку от тюрьмы. Всякий раз мы коротали время за разговором, ожидая, пока отпрут тюремные двери. Отпирались они не так уж рано, когда же наконец отпирались, мы входили к Сократу и большею частью проводили с ним целый день» (*Платон. Федон. 59d*).

Несмотря на все эти беседы с друзьями, философ, несомненно, мучился вынужденным бездействием. Пожалуй, именно оно было для него самым тягостным в роковой месяц, а не ожидание казни как таковое: к смерти семидесятилетний Сократ, как мы уже прекрасно знаем, был готов и не боялся ее.

Но такое обилие поневоле неподвижного досуга для человека, который ранее всегда так и кипел жизненной энергией, было, надо полагать, невыносимым. Поэтому, по здравом размышлении не кажется столь уж удивительным то, что Сократ в тюрьме, согласно со-

общениям античных авторов, начал... сочинять стихи, чего никогда ранее не делал. Да и действительно, на первый взгляд — перед нами явный парадокс: случилось, что «босоногий мудрец» учил первостепенных поэтов (Аристофана и Агафона), как им надлежит работать, но представить его самого в роли стихотворца, согласитесь, получается с трудом.

Сократ старался в этот свой последний месяц обращаться к поэзии как вполне серьезной (написал гимн Аполлону), так и шуточной (басни в роде Эзоповых). Сам он незадолго до казни так говорил друзьям об этом (еще один пассаж, который просто необходимо процитировать полностью ввиду его важности):

«В течение жизни мне много раз являлся один и тот же сон. Правда, видел я не всегда одно и то же, но слова слышал всегда одинаковые: “Сократ, твори и трудись на поприще Муз”. В прежнее время я считал это призывом и советом делать то, что я и делал. Как зрители подбадривают бегунов, так, думал я, и это сновидение внушает мне продолжать мое дело — творить на поприще Муз, ибо высочайшее из искусств — это философия, а ею-то я и занимался. Но, теперь, после суда, когда празднество в честь бога отсрочило мой конец, я решил, что, быть может, сновидение приказывало мне заняться обычным искусством, и надо не противиться его голосу, но подчиниться: ведь надежнее будет повиноваться сну и не уходить, прежде чем не очистишься поэтическим творчеством. И вот первым делом я сочинил песнь в честь бога, чей праздник тогда справляли (Аполлона. — И. С.), а почтив бога, я понял, что поэт — если только он хочет быть настоящим поэтом — должен творить мифы, а не рассуждения. Сам же я даром воображения не владею, вот я и взял то, что было мне всего доступнее, — Эзоповы басни. Я знал их наизусть и первые же, какие пришли мне на память, переложил стихами» (*Платон. Федон. 60е слл.*).

Сократ, как видим, и сам признает, что он — человек скорее рассудочный, а поэту необходима фантазия, и потому на этом поприще ему было нелегко. Уже известный нам позднеантичный биограф-компилятор (*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 42*) приводит некоторые фрагменты из предсмертных стихов Сократа. А именно — начало его гимна Аполлону:

Слава тебе, Аполлон Делиец с сестрой Артемидой! —

и начало одной из басен:

Некогда молвил Эзоп обитателям града Коринфа:
Кто добродетелен, тот выше людского суда.

Если эти отрывки подлинны, то перед нами — единственные сохранившиеся строки, написанные самим Сократом. Часто, впрочем, отрицают их подлинность и говорят о поздней подделке. Но почему бы? Так сказать, из «презумпции виновности» в отношении древних текстов? Не одобряем такую позицию.

А если перед нами действительно слова самого «босоногого мудреца», появляется возможность интересного анализа. Вспомним, во-первых, в отрывок из гимна. Аполлон почитался в Элладе во многих «ипостасях». Особенно славен был Аполлон Дельфийский — тот самый, при святилище которого находился оракул, объявивший Сократа мудрейшим из людей. И при каких-нибудь иных условиях, пожалуй, было бы естественнее ожидать от Сократа воспевания именно этого божества.

Однако же сократовский гимн, как видим, обращен к Аполлону Делосскому. Дело, думается, в следующем: в тот конкретный момент именно ему философ имел причину быть благодарным. Ведь, что бы ни говорить, из-за праздника на Делосе произошла отсрочка казни. Подчеркнем: Сократ отнюдь не цеплялся за жизнь любой ценой, но все же дарованный богом лишний месяц жизни — в любом случае не зло, а благо, даже если этот срок приходится провести в тюрьме и в оковах.

Теперь о баснях. Басенный жанр² относится к числу наиболее древних. В Греции его происхождение, как всем известно, связывалось с именем Эзопа. Но Эзоп — фигура не менее (если не более) туманная, чем Гомер. Его сохранившиеся жизнеописания практически во всех биографических деталях чисто легендарны. Творческую деятельность Эзопа условно относят к VI в. до н. э.

Как бы то ни было, ясно, что басня — продукт устного народного творчества, а не создание какого-то одного гениального писателя. «Эзоповыми баснями» по традиции называли все ранние басни — именно потому, что по сути своей они анонимны. Басни эти наряду с другими литературными произведениями изучались в школе, и потому были прекрасно знакомы всякому образованному человеку. Судя по приведенным чуть выше словам Сократа, ученики даже учили их наизусть.

Басни в тот исторический период имели еще прозаическую форму. И кажется, до Сократа никому не приходило в голову переложить их в стихи. И он в таком случае оказался первым на этом поприще! То есть заложил ту богатейшую, многовековую традицию, которой в дальнейшем следовали Федр и Бабрий, Лафонтен и Крылов, — в общем, великие баснописцы всех времен и народов, придававшие своим произведениям именно вид небольших стихотворений.

Позднеантичный автор несколько пренебрежительно называет дошедшую до него басню Сократа «не очень складной» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 42). Но тут виден некоторый снобизм человека, жившего в эпоху уже куда более утонченных и изящных литературных форм. Понятно, что и Гомер, Эсхил или Софокл покажутся несколько грубоватыми на фоне изысканной куртуазности Каллимаха или Аполлония Родосского. Но последним зато явным образом недостает той художественной мощи, которая была свойственна более ранним поэтам. Впрочем, ответственно судить о действительных достоинствах или недостатках сократовских басен мы никак не можем, ибо дошли-то от них всего лишь две строчки (цитированные выше). В принципе, не было бы ничего удивительного, если бы впервые предпринятый опыт сочинения стихотворных басен и действительно оказался не слишком удачным. Как известно, первый блин часто бывает комом. А тут еще нужно учитывать, что за дело взялся человек, никогда прежде не занимавшийся поэзией.

Характерно и само содержание басни, написанной Сократом. Даже на основании такого маленького отрывочка, какой мы имеем, об этом содержании можно составить представление, хотя бы самое общее. Ключевой является мысль: «Кто добродетелен, тот выше людского суда». Не приходится сомневаться, что Сократ говорит о себе самом! Приведенная строка в точности характеризует его ситуацию и выражает собой основное настроение его защитительной речи. Причем в данном случае неважно, сочинил ли философ эту строку сам или взял идею из Эзопа и просто версифицировал. Главное в том, что он и в тюрьме, в преддверии смерти, продолжал размышлять — и это вполне естественно! — над тем, что волновало его ранее.

* * *

А корабль со священным посольством неспешно двигался с Делоса в Афины, неминуемо приближая роковой день. И однажды в тюремному прибежал, запыхавшись, верный Критон. Прибежал ранним-ранним утром, затемно, — его и впустил-то сторож только потому, что старик сунул ему денег. Сократ еще спал, и Критон долго сидел у изголовья, не желая тревожить и ожидая, когда друг-наставник сам пробудится.

Философ, открыв глаза и увидев самого давнего и преданного из своих учеников, надо полагать, сразу понял, в чем дело. Да и любой догадался бы: тут особой проницательности не нужно. Поэтому он скорее для проформы задает неизбежные вопросы:

«Сократ: ... Зачем же ты пришел так рано?»

Критон: Я пришел с печальным известием, Сократ, печальным и тягостным не для тебя, как я вижу, а для меня и для всех твоих близких, — с известием, которое мне кажется непереносимым.

Сократ: С каким это? Уж не пришел ли с Делоса корабль, с приходом которого я должен умереть?

Критон: Прийти-то еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, судя по словам тех, которые прибыли с Суния (Суний — крайний юго-восточный мыс Аттики. — *И. С.*) и оставили его там. Ну вот из того, что они передают, очевидно, что он придет сегодня, и завтра, Сократ, тебе необходимо будет окончить жизнь.

Сократ: Да в добрый час, Критон! Если богам угодно так, пусть будет так» (*Платон. Критон. 43с сл.*).

Как видим, «босоногий мудрец» привычно невозмутим. Да и удивительно это, учитывая все, что мы о нем знаем. Критон же, напротив, в полной панике. Скорее уж этому приходится удивляться. Неужели он до сего дня питал какую-то надежду, что свершится чудо и корабль с Делоса не вернется? Вначале его речь полна просто эмоциональными восклицаниями: «На тебя же давно удивляюсь, глядя, как ты сладко спишь... Разумеется, мне и прежде, во время всей твоей жизни, нередко приходилось удивляться твоему нраву, но особенно я удивляюсь ему теперь, при твоем несчастье, как ты его легко и терпеливо переносишь» (*Платон. Критон. 43b*).

Потом он переходит к делу: к организации побега. Не так-то уж и трудно это сделать: среди поклонников Сократа немало людей состоятельных, а деньги, как известно, отпирают любые двери. Более того, можно догадываться, что, если бы философ бежал, афинские власти посмотрели бы на это «сквозь пальцы». Более того, даже были бы, скорее всего, удовлетворены таким исходом. Ведь явно же ощущалось, что, когда Сократа приговорили к смерти, совершилась несправедливость, которая могла породить об Афинах дурные толки во всей Элладе. Речь-то шла о человеке, известном далеко за пределами родного полиса, о мыслителе, к которому ехали учиться люди из самых разных мест, о мудреце, которому сам Дельфийский оракул присудил «пальму первенства»! Одним словом, скандал.

Насколько было бы лучше, если бы осужденный тайно покинул территорию государства... Его, конечно, не стали бы объявлять в розыск, как когда-то Диагора, поскольку вариант с «исчезновением» устроил бы всех: и правосудие восторжествовало, и никто не погиб. А главное — державный демос опять чист, как слеза: ибо Сократ, обратившись в бегство, тем самым косвенно признал бы свою виновность.

Сократ, вне сомнения, прекрасно осознавал все это — и именно потому не хотел давать своим палачам никаких шансов. Нет, пусть кровь его останется на их руках! Явно разговор о побеге заходил уже далеко не в первый раз. Но философ вновь и вновь мягко, но решительно отказывается.

Критон недоумевает. Ему в голову приходит такая мысль: «...Уж не боишься ли ты за меня и за прочих близких, что, если ты уйдешь отсюда, доносчики причинят нам неприятности за то, что мы тебя отсюда похитили, и что мы должны будем потерять довольно много денег, а то и наше состояние или даже подвергнуться, сверх того, еще чему-нибудь? Если ты боишься чего-нибудь такого, то оставь это, потому что справедливость требует, чтобы мы ради твоего спасения подверглись подобной опасности, а если понадобится, то и большей» (*Платон. Критон. 44е сл.*).

Мысль, в принципе, вполне резонная, и самоотверженность Критона, готового спасти друга, даже если придется самому за это пострадать, достойна всяческого уважения. Он указывает и конкретное место, куда мог бы Сократ перебраться: это далекая северная Фессалия, где он точно будет в безопасности. В Фессалии, славной своими богатыми и щедрыми аристократами, уже несколько лет как подвизался другой наш давний знакомец — софист Горгий, и ничего, кроме хорошего, там не видел, а в Афинах, вполне возможно, тоже оказался бы в роли подсудимого.

В ходе своего длинного монолога Критон, чувствуете, овладевает собой, и его доводы звучат все более и более весомо: «А к тому же, Сократ, ты затеял, мне кажется, несправедливое дело — предавать самого себя, когда можешь спастись... Мало того, мне кажется, что ты предаешь и своих собственных сыновей, оставляя их на произвол судьбы, между тем как мог бы и прокормить и воспитать их, и твоя это вина, если они будут жить как придется; придется же им испытать, разумеется, то самое, что выпадает обыкновенно сиротам на их сиротскую долю. В самом деле, или не нужно и заводить детей, или уж нести все заботы о них — кормить и воспитывать, а ты, мне кажется, выбираешь самое легкое; следует же тебе выбирать то, что выбирает человек добросовестный и мужественный, особенно если говоришь, что всю жизнь заботишься о добродетели» (*Платон. Критон. 45cd*).

Одним словом, основной пафос доводов Критона, перерастающих уже почти в упреки, — следующий: если не хочешь думать о себе самом, подумай о своих родных и близких, ты на свете не один. Разумеется, Сократ дает на это ответ, который тоже по-своему звучит убедительно (перед цитированием оговорим, что философ здесь иронически обращается к себе самому во втором лице):

«Но допустим, ты ушел бы подальше от этих мест и прибыл в Фессалию, к друзьям Критона; это точно, что беспорядок там и распушенность величайшие, и, вероятно, они с удовольствием стали бы слушать твой рассказ о том, как это было смешно, когда ты бежал из тюрьмы переряженный, надевши козлиную шкуру или еще что-нибудь, что надевают обыкновенно при побеге, и изменив свою наружность. А что ты, старый человек, которому, по всей вероятности, недолго осталось жить, решился так малодушно цепляться за жизнь, этого тебе никто не заметит?.. И вот будешь ты жить, заискивая у всякого рода людей, и ничего тебе не останется делать, кроме как наслаждаться едой, все равно как если бы ты отправился в Фессалию на ужин. А беседы о справедливости и прочих добродетелях, они куда денутся? Но, разумеется, ты желаешь жить ради детей, для того, чтобы вскормить и воспитать их? Как же это, однако? Вскормишь и воспитаешь, уведя их в Фессалию, и вдобавок ко всему прочему сделаешь их чужеземцами? Или ты этого не думаешь делать, а думаешь, что они получают лучшее воспитание и образование, если будут воспитываться при твоей жизни, хотя бы и вдали от тебя? Или ты думаешь, что твои близкие будут о них заботиться, если ты переселишься в Фессалию, а если переселишься в Аид, то не будут? Надо полагать, что будут, если они только на что-нибудь годятся, твои так называемые близкие» (*Платон. Критон. 53d — 54b*).

Снова и снова приходится учитывать большое различие как в жизненных реалиях, так и в особенностях сознания людей между нашим временем и эпохой, от которой нас отделяет две с половиной тысячи лет. И поэтому в очередной раз не обойтись без некоторых пояснений. Главное из них будет скорее напоминанием: в условиях полисной эллинской цивилизации только гражданин был во всех отношениях полноправен, гражданами же не могли быть переселенцы из других городов. А ведь Критон сейчас предлагает Сократу оказаться именно в таком положении. Тот парирует: существовать-то он в Фессалии, конечно, сможет, но это будет именно существование и не более того, поскольку продолжение прежнего образа жизни — с беседами, поисками истины и т. п. — на чужбине уже вряд ли возможно.

То же самое и с детьми. Если бы философ перебрался в Фессалию, у него было бы две возможности: перевезти сыновей туда к себе или оставить их в Афинах. Первый вариант заведомо плох, потому что за пределами родного полиса мальчики станут бесправными чужаками. А если они останутся на родине, то какая, в сущности, разница: мертв ли их отец или жив, но находится далеко, причем не имея права приехать к ним? В любом случае он не сможет их лично воспитывать и заботиться о них, придется так или иначе

переложить эту заботу на афинских родственников, и тут уж все зависит от этих людей.

Резонно. Точно так же, как и мысль Сократа, что, по меньшей мере, смешотворно было бы семидесятилетнему старцу (который к тому же, вспомним, раньше почти никогда не покидал родного полиса — разве что отправляясь на войну) в преклонном возрасте куда-то вдруг постыдно бежать...

Здесь, впрочем, уместно сделать небольшое отступление, дабы коснуться вопроса: а действительно ли человек сократовского возраста считался в тогдашней Греции старцем? Иными словами, речь пойдет о продолжительности жизни в античной Элладе.

Бытует распространенное мнение, что в древних обществах в целом средняя продолжительность жизни была очень невысокой, 25–30 лет или что-нибудь в этом роде. Само это положение, пожалуй, и верно, но из него делаются совершенно превратные выводы, что люди в античности действительно жили 25–30 лет, что сорокалетний считался глубоким стариком и т. п. А это полностью противоречит данным источников. Уже в архаическую эпоху, в первой половине VI в. до н. э., Солон считал, что лучший возраст для умственного развития человека лежит между 42 и 56 годами, а смерть наиболее «уместна» в 70 лет (*Солон. фр. 19 Diehl*). Впоследствии он изменил и это мнение, признав, что смерть должна приходиться к человеку лишь в 80 лет (*Солон. фр. 22 Diehl*)³. Сам этот афинский мудрец, кстати, прожил, судя по всему, даже больше 80 лет. Приведем еще несколько примеров аналогичного ряда, при этом сознательно не будем брать случаи экстраординарные, вроде ритора Горгия, прожившего 100 или даже 107 лет и до конца жизни сохранявшего здравый ум. Такое долгожительство являлось исключением в античности, как и в наши дни, а нас интересуют примеры более типичные.

Политик и полководец IV в. до н. э. Фокион, 50 раз (!) занимавший пост стратега, окончил жизнь (причем умер не своей смертью, а был казнен) в 80 с лишним лет; он был, конечно, стариком, но отнюдь не дряхлым, а бодрым и деятельным. Перикл прожил 65 лет, при этом ни один источник не говорит о нем в его последние годы как о человеке старом или хотя бы пожилom. Напомним, что сам Сократ к моменту суда и казни имел маленьких детей — в 70-то лет, — стало быть, оставался еще вполне крепким мужчиной. В целом нет оснований считать, что древние греки жили существенно меньше, чем наши современники, скорее наоборот.

Подчеркнем принципиально важный момент: средняя продолжительность жизни в античности была низкой прежде всего за счет очень высокой детской смертности. Это последнее явление было об-

щим для всех древних обществ, да и вообще для всех человеческих социумов вплоть до открытия антибиотиков в XX веке. К слову сказать, на наш взгляд, тем научным открытием XX века, которое в наибольшей степени повлияло на жизнь человечества, следует назвать, вопреки распространенному мнению, не ядерную бомбу, не космический корабль, не компьютер, а именно антибиотики. Их применение позволило практически ликвидировать детскую смертность, а это, в свою очередь, коренным образом изменило всю демографическую ситуацию в мире. В равной степени в греческом полисе эпохи классики и в русской деревне позапрошлого столетия весьма значительная, едва ли не бóльшая часть детей умирала в младенчестве, когда организм особенно уязвим для разного рода болезней, в то время как в наши дни выживают практически все.

Но если уж ребенок выживал (а выживали, естественно, наиболее сильные и крепкие), а затем, став взрослым, не погибал на войне (еще один фактор низкой средней продолжительности жизни), то ничто не мешало ему дожить до весьма преклонного возраста. Никто, думается, не будет спорить с тем, что экологические условия в античности и в целом в доиндустриальную эпоху были несравненно более благоприятными для человека, нежели ныне.

Далее, ритм жизни был более неторопливым, размеренным, что уменьшало количество стрессовых ситуаций, которые, как известно, тоже негативно влияют на продолжительность жизни. Могут сказать, что источником стресса для людей античности были постоянные войны. Однако, как ни парадоксально, война не порождала стресса именно потому, что она была нормой жизни. Нормальная, привычная ситуация вообще, как правило, не может выступать источником стресса. Поясним свою мысль предельно бытовым примером, с которым сталкивались многие. Для человека, который привык спать допоздна, необходимость встать очень рано приводит к стрессу и зачастую выбивает его из колеи на целый день. Тот же, для кого ранний подъем является привычной нормой, не испытывает по этому поводу никакого дискомфорта.

Постоянное употребление в умеренных дозах разбавленного виноградного вина также укрепляло здоровье людей. Все это приводило к тому, что бодрая и деятельная старость была не менее, а пожалуй, и более частым явлением, чем в нашу эпоху⁴.

Итак, когда Сократ подчеркивает, что он — старик, в этом, по всей вероятности, тоже следует видеть проявление его знаменитой иронии. Но в общем позиция философа ясна и последовательна. Характерно, однако, что все эти контраргументы на доводы Критона он приводит лишь под самый конец разговора. Бóльшая же часть диа-

лога посвящена иному. «Босоногий мудрец» отказывается бежать из Афин не только потому, что не хочет срамиться под конец жизни, и не только потому, что это может навлечь неприятности на его друзей, организовавших побег. Главное для него — в том, что бегство означало бы нарушение законов государства. А этого Сократ никогда не делал, не желает делать и на сей раз.

Критона подобная позиция озадачивает, да не может не озадачить и современного читателя. Как же так, ведь с Сократом явно поступили несправедливо, приговорили его к смерти, в сущности, ни за что! Казалось бы, в данном случае восстановление справедливости именно в том и будет заключаться, чтобы любой ценой не дать свершиться казни — плоду судебной ошибки.

Но для Сократа в таком ходе рассуждений есть определенная казуистика. А он — отнюдь не казуист, а самый жесткий ригорист. Действительно, либо каждый из нас берет на себя право решать, какой закон справедлив, а какой нет, какой заслуживает исполнения, а каким можно пренебречь, — но тогда это будет самый настоящий софистический релятивизм и субъективизм, с которым Сократ боролся всю жизнь. Либо уж нужно считать, что закон — всегда закон, и повиноваться ему, не делая никаких исключений.

Сократ выбирает последний вариант, что вполне естественно: не он ли постоянно подчеркивал важность законности для жизни общества? Это находит наивысшее воплощение как раз в «Критоне» — произведении, которое можно назвать настоящим гимном законам. Они в речи Сократа даже персонифицируются, предстают в виде неких одушевленных существ.

В принципе, подобный «культ закона» был характерен для политиков и мыслителей следующего этапа развития афинской демократии, имевшего место в IV в. до н. э.⁵ И весьма вероятно, что сложился этот «культ» в какой-то степени под влиянием сократовских воззрений. Весьма популярной стала идея о том, что истинный господин полиса — не демос, а закон. Впрочем, самые дальновидные и откровенные авторы не скрывали, что в действительности для них такое представление — скорее некая благочестивая фикция. Например: «В чем же состоит сила законов? Если кто-нибудь из вас громко закричит, что его обидели, — прибегут ли к нему законы на помощь, чтобы его защитить? Нет, разумеется! Ведь это написанные тексты, и они сами по себе не могут ничего сделать» (*Демосфен*. XXI. 224).

А вот для Сократа, похоже, законы все-таки были чем-то большим, нежели просто написанные тексты. Они — живые; они (можно сказать даже и так) — некие божества, охраняющие город. Во всяком случае, так изображает дело Платон в «Критоне». И за-

главный герой диалога с грустью уходит: ему не удалось добиться своего, Сократ остался тверд.

Фессалия его так и не увидела, хотя тамошние знатные вожди звали его и желали, чтобы мыслитель стал их гостем. Кстати, не отставал от них в этом деле, но также не добился успеха и царь еще севернее расположенной Македонии. По более надежным сведениям (*Аристотель*. Риторика. II. 1398a24 сл.; *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 25), это был Архелай, правивший в 413–399 гг. до н. э. Менее вероятно, что имеется в виду его отец Пердикка (*Марк Аврелий*. Размышления. XI. 25), но зато приводящий эту последнюю версию римский император-философ, похоже, наиболее адекватно передает мотивы отказа: «Сократ так сказал Пердикке, почему не идет к нему: чтобы не погибнуть наихудшей гибелью, а именно быть благодетельствованным без возможности благодетельствовать в ответ». Да, Сократ, как мы уже прекрасно знаем, был беден, но горд. А вот драматурги Еврипид и Агафон, например, такое же предложение Архелая охотно приняли...

Впрочем, строго говоря, к какому именно времени относятся эпизоды с приглашением Сократа фессалийцами и македонянами, — с точностью и уверенностью сказать нельзя.

* * *

И вот — день казни. По афинским обычаям утром с приговоренного снимали оковы, а сама чаша с ядом подносилась ему только после заката солнца. Часы же, что в промежутке, он был волен провести в тюрьме так, как ему угодно. По возможности даже выполнялись его желания. Ясно, что каждый употреблял это время по своему: кто-то улаживал домашние дела, отдавал последние распоряжения, а кто-то требовал вина и гетер, чтобы перед смертью хоть повеселиться...

Сократ, разумеется, провел свой последний день по обыкновению в беседе с друзьями и учениками. Весь этот день — начиная с освобождения от кандалов и вплоть до того момента, когда Критон закрыл глаза умершему другу, — детально и ярко описан Платоном в знаменитом «Федоне». Заглавный герой диалога, ученик Сократа, рассказывает своему знакомому Эхекрату о том, что случилось, не жалея красок. И в первую очередь передает общую атмосферу дня:

«...Я испытывал удивительное чувство. Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к нему не ощущал — он казался мне счастливым, Эхекрат, я видел поступки и слышал речи счастливого человека!.. Это было какое-то совершенно небывалое чувство, какое-то странное смешение удовольствия и скорби — при мысли, что он вот-вот должен умереть. И все, кто собрался в тюрьме,

были почти в таком же расположении духа и то смеялись, то плакали, в особенности один из нас — Аполлодор» (*Платон. Федон. 58е сл.*).

Собеседник желает знать подробности:

Эхекрат: Кто же там был вместе с тобою, Федон?

Федон: Из тамошних (т. е. афинских. — *И. С.*) граждан — этот самый Аполлодор, Критобул с отцом (Критоном. — *И. С.*), потом Гермоген, Эпиген, Эсхин, Антисфен. Был и пеаниец Ктесипп, Менексен и еще кое-кто из местных. Платон, по-моему, был нездоров.

Эхекрат: А из иноземцев кто-нибудь был?

Федон: Да, фиванец Симмий, Кебет, Федонд, а из Мегар — Евклид и Терпсион...

Эхекрат: И больше никого не было?

Федон: Кажется, больше никого» (*Платон. Федон. 59bc*).

Итак, вроде бы с исчерпывающей полнотой перечислены действующие лица последнего акта «драмы Сократа». Но не будем забывать, что автор диалога — Платон, который всегда был несколько «себе на уме», и чем старше — тем больше. А «Федон», напомним, к числу ранних («сократических») и наиболее, так сказать, простодушных сочинений Платона не относится. Не расставил ли нам автор каких-нибудь «подводных камней»?

Первый из таковых сразу бросается в глаза. В числе тех, кто был с Сократом в его последний день, не названы в только что приведенном перечне его жена Ксантиппа и дети. А между тем, как мы сразу после этого узнаем, читая тот же диалог, они, естественно, тоже посетили тогда философа. Ну ладно, отсутствию упоминания о них удивляться еще не приходится: известно, что для гражданина классического греческого полиса, этакого «мужского клуба»⁶, женщины и дети — если не полное ничто, то нечто близкое к этому.

Однако обратим внимание и на другое, более важное. Как охарактеризовано отсутствие (или присутствие?) самого Платона? «Платон, по-моему, был нездоров». Сразу два смущающих момента. Во-первых, это «по-моему» уже задает некий градус сомнения. Во-вторых, что значит «был нездоров»? Из подобной формулировки еще не вытекает напрямую, что он и при смерти учителя не был. Ради возможности в последний раз повидаться с ним он вполне мог прийти, даже и будучи болен. В исследовательской литературе подчас высказывается такая мысль: Платон не пришел в тот день к Сократу, лишь сославшись на (мнимую?) болезнь, а на самом деле просто для него невыносимо было бы присутствовать на казни человека, который долгое время значил для него все. Честно говоря, не верится в это. Платон, в конце концов, — не какая-нибудь «кисейная барышня», склонная к обморокам при созерцании тяжелых сцен. Да и не

нежный юноша: хоть он и принадлежал к младшим ученикам Сократа, но все же в 399 г. до н. э. ему было уже 28 лет.

Думается, Платон совершенно сознательно выразился именно так, как выразился, дабы для читателей диалога остался неразрешенным вопрос: так находился или не находился он в числе тех, кто провел с Сократом этот скорбно-радостный день? На самом-то деле, по нашему глубокому убеждению, он тоже там сидел и слышал все то, что говорил «босоногий мудрец» в преддверии смерти: уж очень живо и непосредственно данное им в «Федоне» описание. Но просто у Платона был принцип, которого он придерживался неукоснительно: никогда не выводить себя самого в качестве действующего лица своих диалогов. Ни в одном из них (а их — десятки) он действительно не появляется. Как будто бы и не имел никакого отношения к Сократу, а просто излагал факты, вовсе его лично не касающиеся.

Не будем сейчас рассуждать о том, почему Платон следовал этому принципу. Но то, что он так делал, — факт, не подлежащий сомнению. Выскажем здесь также мысль, которая, возможно, покажется еретической: в тех случаях, когда нужно было косвенно указать на свое участие в том или ином событии, он пользовался своеобразным «псевдонимом». А именно — скрывался за именем некоего Аполлодора (он и чуть выше, как мы видели, упомянут). Об этом последнем настолько мало известно, что, вообще говоря, нельзя утверждать с полной определенностью, существовал или не существовал такой человек.

От лица Аполлодора написан «Пир» — произведение для Платона знаковое, одно из центральных. Упомянем тут же, что имя «Аполлодор» дословно означает «дар Аполлона», а именно с этим божеством Платон в последующей литературной традиции устойчиво ассоциировался, — надо полагать, потому, что ассоциировал себя сам.

Вот несколько соответствующих замечаний античных авторов: «Рассказывают, что Сократу однажды приснился сон, будто он держал на коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями и взлетел с дивным криком: а на следующий день он встретил Платона и сказал, что это и есть его лебедь» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. III. 5). Лебедь, как известно, считался священной птицей Аполлона⁷. Восходит же процитированный рассказ, надо думать, к самому Платону (а к кому же еще?).

Рассказ о матери и отце Платона, по словам Диогена Лаэртского, ходивший по Афинам: «Когда Потона была в цвете юности, Аристон пытался овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои попытки, он увидел образ Аполлона; после чего сохранял жену в чистоте, пока

та не разрешилась младенцем. Родился Платон в 88-ю олимпиаду, седьмого фаргелиона, в день, когда делосцы отмечают рождение Аполлона...» (Там же. III. 2). Здесь сказано — ни много ни мало — о том, что настоящим отцом Платона был не афинянин Аристон, а сам бог Аполлон. Более того, и появился на свет мыслитель в один день со своим «небесным родителем». Именно к этой дате аттического календаря приурочивали уже непосредственные ученики Платона в Академии празднование дня его рождения. Наверное, здесь самое время вспомнить о том, что день рождения самого Сократа справлялся шестого фаргелиона, т. е. накануне. Куда уж символичнее...

Сам Диоген Лаэртский сочинил о Платоне стихотворение, начинавшееся так:

Фебом на благо людей рождены и Платон и Асклепий:
Тот — целителем душ, этот — целителем тел.

(Там же. III. 45)

Здесь Платон сопоставлен с богом врачевания Асклепием, который, согласно мифам, считался отпрыском Аполлона.

У писателя более позднего времени все эти «аполлоновские нюансы» личности Платона еще более утрируются до приобретения откровенно сказочного облика: «Говорят, будто однажды ночью призрак Аполлона возлег с его матерью Периктионой (тут, кстати, зафиксирован более верный вариант написания имени матери Платона, Периктиона, а не Потона. — И. С.), а потом предстал перед Аристоном и повелел ему не сочетаться более с Периктионой до тех пор, пока она не родит ребенка, и тот повиновался» (*Олимпиадор*. Комментарии к «Алкивиаду» Платона. 2).

Все это, конечно, легенды, но легенды весьма характерные. Они однозначно показывают, что Платон воспринимался в некоей мистической связи с Аполлоном. И, насколько можно судить, «отец» этой легендарной традиции — сам философ. Так почему бы ему было не назвать себя в диалогах «даром Аполлона», Аполлодором? Тем более что, как известно, имя менять ему было не впервой. Мы знаем его как Платона, но при рождении он был наречен Аристоклом, а Платон («Широкий») — не более чем позже данное прозвище, которое настолько прилипло, что уже при его жизни употреблялось в качестве имени.

Одним словом, будем исходить из того, что Платон был в день казни «босоногого мудреца» в числе его собеседников. Стало быть, его рассказ в «Федоне» — рассказ очевидца, а не почерпнутый откуда-то из чужих рук. Тем ценнее он для нас становится. Оговорим:

ценнее с точки зрения воссоздания общей атмосферы дня, а не конкретного содержания бесед, которые в тот день велись. Вот тут-то как раз велика возможность того, что Платон поддался своим позднейшим настроениям. К моменту написания «Федона» он, познакомившись с пифагорейцами и очень заинтересовавшись их учением, уже твердо верил в бессмертие души, и, соответственно, большую часть своих высказываний платоновский Сократ посвящает аргументации в пользу этой идеи (аргументации, надо сказать, весьма убедительной). Однако в «Апологии Сократа» — а это произведение было написано заведомо раньше, и в нем, вне сомнения, Платон с большей точностью передает взгляды учителя — тот высказывается отнюдь не столь однозначно:

«Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения о чем бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят» (*Платон. Апология Сократа. 40с*). Последняя часть сказанного звучит вообще довольно скептически. Предлагаются два варианта, т. е., как минимум, у Сократа нет полной уверенности в посмертном существовании души. А к моменту казни такая уверенность у него появляется — если судить по «Федону». У кого-нибудь другого могла бы, конечно, и такая метаморфоза произойти за месяц тюремного заключения. Но вряд ли у Сократа, отличавшегося стойкостью убеждений и совершенно не подверженного «порыву минуты».

Нет, судя по всему, в «Федоне» Платон заставляет учителя высказывать мысли, принадлежащие не ему, Сократу, а отражавшие тогдашние воззрения самого Платона. Последний, напомним, увлекался в те годы пифагореизмом. Случайно ли, что среди главных собеседников «босоногого мудреца» в день казни в «Федоне» изображены видные пифагорейцы Симмий и Кебет?

* * *

Итак, тюремная стража допускает друзей в камеру к Сократу. Там уже сидит плачущая Ксантиппа, но Сократ велит отвести ее домой и всецело предается беседе с людьми, которые ему близки. Сообщаются живые, реалистичные подробности. Например: философ, с которого только что сняли оковы, сидя на кровати, растирает затекшие ноги (*Платон. Федон. 60b*).

Или вот другая деталь из рассказа Федона — одна из тех, что придают столь запоминающуюся непосредственность всему рассказу: «Случилось так, что я сидел справа от Сократа, подле самого ложа — на скамеечке — и потому гораздо ниже его. И вот, проведя

рукой по моей голове и пригладив волосы на шее — он часто играл моими волосами, — Сократ промолвил:

— Завтра, Федон, ты, верно, острижешь эти прекрасные кудри?

— Боюсь, что так, Сократ, — отвечал я.

— Не станешь ты этого делать, если послушаешься меня» (*Платон. Федон. 89ab*).

Поясним: в античной Греции одним из знаков траура по близкому человеку было острижение волос. Сократ призывает Федона (и тем самым, естественно, других слушающих его) не поступать так, т. е. не погружаться в траур по нем, не воспринимать его смерть как горе — коль скоро он сам этого не делает.

Разговор тянется весь день. Впрочем, слово «тянется» здесь явно неуместно: для учеников Сократа он наверняка пролетел как один миг. Но вот осужденный говорит: «Ну, пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот — не надо будет обмывать мертвое тело» (*Платон. Федон. 115b*). Снова, как всегда, «босоногий мудрец» думает в первую очередь о других, а не о себе...

Помывшись в другом помещении, Сократ прощается с детьми, отдает последние распоряжения Критону и пришедшим женщинам-родственницам, а потом вновь выходит к друзьям: последние минуты он проведет именно в их обществе.

Рассказ об этих последних минутах — своего рода кульминация диалога «Федон», к тому же драгоценное свидетельство. Кончина далеко не каждого великого человека описана столь подробно. Стоит ли передавать платоновское изложение своими словами? Нам это представляется даже кощунственным. Так передадим же слово современнику:

«Было уже близко к закату: Сократ провел во внутренней комнате много времени. Вернувшись после мытья, он сел и уже больше почти не разговаривал с нами. Появился прислужник Одиннадцати и, ставши против Сократа, сказал:

— Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж раньше за это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали. И теперь я уверен, что ты не гневаешься на меня. Ведь ты знаешь виновников и на них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой вестью я пришел. Итак, прощай и постарайся как можно легче перенести неизбежное.

Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ взглянул на него и промолвил:

— Прощай и ты. А мы всё исполним как надо. — Потом, обратившись к нам, продолжал: — Какой обходительный человек! Он все это время навещал меня, а иногда и беседовал со мною, просто замечательный человек! Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его — пусть принесут яд, если уже стерли. А если нет, пусть сотрут.

А Критон в ответ:

— Но ведь солнце, по-моему, еще над горами, Сократ, еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву много спустя того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а иные даже наслаждались любовью, с кем кто хотел. Так что не торопись, время еще терпит.

А Сократ ему:

— Вполне понятно, Критон, что они так поступают, — те, о ком ты говоришь. Ведь они думают, будто этим что-то выгадывают. И не менее понятно, что я так не поступаю. Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже, и только сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над последними ее остатками. Нет, нет, не спорь со мной и делай, как я говорю» (*Платон. Федон. 116b слл.*).

Мы хотели просто привести рассказ Платона о смертном часе учителя, никак не вмешиваясь в этот рассказ. Но не можем удержаться. Впечатление просто потрясающее! Плачет не приговоренный, а тюремщик — человек, надо полагать, не из слабонервных, выдавший в жизни разное... А приговоренный, напротив, как будто даже торопит казнь, не внемлет совету друга остаться на этом свете еще хоть немного.

«Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку. Раб удалился, и его не было довольно долго (очевидно, цикута не была еще приготовлена, не ждали, что Сократ ее так скоро прямо-таки потребует. — *И. С.*); потом он вернулся, а вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым ядом, чтобы поднести Сократу. Увидев этого человека, Сократ сказал:

— Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком — что же мне надо делать?

— Да ничего, — отвечал тот, — просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно подействует само.

С этими словами он протянул Сократу чашу. И Сократ взял ее с полным спокойствием, Эхекрат, — не задрожал, не побледнел, не изменился в лице, но, по всегдашней своей привычке, взглянул на того чуть исподлобья и спросил:

— Как, по-твоему, этим напитком можно сделать возлияние кому-нибудь из богов или нет?

— Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо выпить.

— Понимаю, — сказал Сократ. — Но молиться богам и можно и нужно — о том, чтобы переселение из этого мира в иной было удачным. Об этом я и молю, и да будет так.

Договорив эти слова, он поднес чашу к губам и выпил до дна — спокойно и легко.

До сих пор большинство из нас как-то еще удерживалось от слез, но увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержаться. У меня самого, как я ни крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя — да! не его я оплакивал, но собственное горе — потерю такого друга! Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил:

— Ну что вы, что вы, чудак! Я для того главным образом и ото-слал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, — ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!

И мы застыдились и перестали плакать» (*Платон. Федон. 117а слл.*).

Опять остановимся. Не друзья утешают приговоренного к казни, ободряют его, призывают мужаться. Нет, сам приговоренный, более того, уже *казненный* — ибо казнь свершилась! — успокаивает рыдающих друзей.

«Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и немного погодя — еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет.

Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся — он лежал, закутавшись, — и сказал (это были его последние слова):

— Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте.

— Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?

Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо: взгляд Сократа остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза» (*Платон. Федон. 117е слл.*).

«ЯЗЫЧЕСКИЙ ХРИСТОС» И ЕГО АПОСТОЛЫ

Такая вот смерть. С чисто внешней точки зрения — настолько неприглядная, что, кажется, дальше уже и некуда. В тюремной камере, в присутствии палача, который до последней минуты не дает покоя, все щупает разные части тела. Причем делает это, надо полагать, в первую очередь для того, чтобы проверить — а все ли идет как надо? Не оказалась ли, часом, приготовленная порция яда меньшей, чем требуется? А то ведь, чего доброго, не подействует, и приговоренный останется в живых, придется казнить его второй раз... Скандал будет! Выйдет, что называется, «экономия себе на голову».

Но в то же время самое главное впечатление, возникающее у каждого, кто читает рассказ Платона о смерти Сократа, — это, конечно, впечатление колоссальной высоты духа, проявляемой человеком, которого безвинно — и притом вполне законно — умерщвляют.

Несколько наивным на первый взгляд кажется заключительное восклицание платоновского «Федона»: «Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека — мы вправе это сказать — самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого» (*Платон. Федон. 118а*). И тем не менее по здравом размышлении приходится признать, что именно такая простодушно-восторженная концовка лучше всего передает чувства людей, присутствовавших при кончине «босоногого мудреца».

Поневоле припоминается другая великая смерть — случившаяся почти полутысячелетием позже той, о которой только что говорилось, — по традиционной датировке, в 33 г. н. э. Тоже несправедливый суд и несправедливый приговор. Тоже казнь, — правда, публичная и демонстративно позорная. И тоже, в сущности, за бескомпромиссность, за то, что — не такой, как все, и не хочет притворяться таким же... Читатели, конечно, уже поняли, о ком и о чем идет речь.

Закрадывается вначале даже кощунственная мысль: а ведь, пожалуй, язычник Сократ более твердо, стойко встретил свой смертный час, чем сам основатель христианства?! Евангелистами приводятся предсмертные восклицания Христа, выражающие горе, почти отчаяние. «Душа моя скорбит смертельно... Да минует меня чаша сия» (Евангелие от Матфея. 26. 38–39). Это — незадолго до ареста. И потом, уже на кресте: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оста-

вил?» (Там же. 27. 45). Из уст Сократа до последнего мига не вырвалось ни намека на подобные жалобы.

Но тут нужно помнить, что Христа перед казнью подвергали избиениям, издевательствам, да и сама казнь — распятие — была долгой и мучительной. Обычному человеку (а Христос пришел в мир именно как обычный человек) не под силу такое вынести. Сократа же, по достаточно гуманным обычаям, принятым в Афинах того времени (конечно, если вообще можно употребить слово «гуманный» применительно к убийству человека), лишили жизни без физических мучений. К рубежу V–IV вв. до н. э., насколько можно судить, выработалось уже мнение, что смертная казнь — вещь сама по себе слишком серьезная, чтобы ее следовало еще чем-либо отягощать; напротив, нужно смягчать страдания казнимого. Отсюда — переход от привычного ранее сбрасывания в пропасть к чаше цикуты. К той самой чаше, само имя которой уже вскоре стало употребляться как нарицательное. Напомним и повторим: Христос молится о том, чтобы миновала его *чаша* сия. Подразумевается, естественно, чаша цикуты — просто как символическое обозначение казни. Хотя на самом деле ждала Христа отнюдь не пресловутая чаша, а вещи посерьезнее...

Кстати, может быть, уместно поставить вопрос: а когда же именно появилась пресловутая чаша в качестве орудия казни. Известно, что стратегов, осужденных после битвы при Аргинусских островах, сбросили в пропасть. Это было в 406 г. до н. э. (время агонии афинской демократии, канун олигархического переворота Тридцати). С другой стороны, Ферамену, казненному по инициативе Крития, т. е. уже при «Тридцати тиранах», в конце 404 или начале 403 г. до н. э., поднесли уже цикуту. Стало быть, к этому, весьма краткому хронологическому промежутку (406–404 гг. до н. э.) и следует приурочивать перемену. Вполне возможно, что она связана именно с переворотом Тридцати, и этот режим, придя к власти, ввел новый способ приведения в исполнение смертных приговоров. Конечно, такое утверждение с трудом увязывается с общей для античных источников крайне негативной репутацией «Тридцати тиранов», запятнавших себя — в этом не приходится сомневаться — обилием несправедливых казней. Но, может быть, именно потому — цикута? С ее помощью можно было убивать и обильно, и «безболезненно»...

Как бы то ни было, нам, людям XX–XXI веков, не могут не показаться даже несколько преувеличенными восторги свидетелей гибели Сократа по поводу того, как он эту гибель встретил. Да, человек стойко и хладнокровно взглянул в глаза смерти. Нам ли этому удивляться? Нам ли, кому еще с дошкольных лет рассказывали о подвигах Зои Космодемьянской или генерала Карбышева? Приучили нас

к героическим смертям, так что они уж и не воспринимаются чем-то экстраординарным. Ну, подумаешь, Сократ выпил яд и тихо, без страданий ушел из жизни... Кого-то обливали водой на морозе, кого-то пилили пилой... Но тут опять же нужно отдавать себе отчет в том, что мы живем в рамках совершенно иной культурно-исторической традиции.

Античные эллины были великими жизнелюбами. И религия их — религия «мира сего», а не «иного», не ориентированная на загробное, потустороннее существование. Сама посмертная судьба человека рисовалась в неясных и довольно мрачных тонах: души покойных, согласно традиционным представлениям, ведут унылое и довольно безрадостное существование на туманных лугах подземного царства — Аида.

Вполне естественно, что такая перспектива, мягко говоря, не казалась привлекательной. Уже у Гомера великий герой Ахилл, погибший и сошедший в Аид, удрученно говорит посетившему его Одиссею:

О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый.
(Гомер. Одиссея. XI. 488 слл.)

Здесь нужно учитывать, что в гомеровские времена положение батрака-поденщика (фета) считалось даже худшим, чем положение раба. Ахилл — сам бывший царь! — согласен скорее батрачить на земле, чем владычествовать в Аиде.

Для грека расстаться с милой жизнью — уже само себе страшная мука. И не надо никаких иных. Не случайно каких-то особо изощренно-жестоким казней (как колесование, сожжение на костре, сажание на кол и т. п.) или казней, предваряемых пытками, в Элладе мы не встречаем. Подобные мучения нередки в тех цивилизациях (возьмем Древний Китай или европейское Средневековье), где по тем или иным причинам смерть как таковая не считалась слишком уж суровой карой.

Понятно, почему так было, например, в Средние века. В то время мировоззрение людей было всецело христианским, что предполагало неколебимую веру в загробную жизнь. Смерть однозначно воспринималась не как уход в небытие, а как переход в другой мир, по-иному никто и не думал. И потому была она не столь страшна. К тому же осужденных на смерть исповедовали и причащали, а это означа-

ет, что они, как ни парадоксально, могли ожидать для себя райской доли, даже если они запятнали себя кровавыми преступлениями. Очень странный по нашим понятиям ход мышления, но точно так же чуждый и античному менталитету. В подобной системе ценностей воистину должно было казаться, что просто казнить преступника — совсем недостаточно, нужно, чтобы он еще и помучился. А то ни ему самому не будет должного урока, ни другим — должного предостережения.

Повторим и подчеркнем: Древняя Греция — мир совершенно не такого склада. В нем смерть страшна сама по себе, практически невыносима. И в античной истории (тем самым, кстати, и во всей европейской) Сократ — если не первый, то один из первых, кто принял казнь так мужественно. Специально акцентируем: речь идет именно о казни. Одно дело — умереть в бою, где это происходит по большей части быстро и неожиданно, от вражеского удара. Другое дело — приведение в исполнение смертного приговора со всеми сопутствующими ритуалами...

По некоторым сведениям, большой героизм проявил, когда его казнили, несколькими десятилетиями раньше другой философ, старший современник Сократа Зенон Элейский (он нам тоже знаком). «...Он задумывал низвергнуть тирана Непарха (а иные говорят, Диомедонта) и был схвачен, как о том рассказывает Гераклид в «Сокращении» по Сатиру; но когда его допрашивали о сообщниках... он в ответ оговорил всех друзей тирана, чтобы тот остался одинок, а потом, попросившись сказать ему на ухо кое о чем, вцепился в ухо зубами и не отпускал, пока его не закололи... Деметрий в «Соименниках» говорит, будто он откусил тирану нос, а Антисфен в «Премествах» — будто после того, как он оговорил друзей тирана, тот его спросил, не было ли кого-нибудь еще, а он ответил: «Только ты, пагуба нашего города!», потом обратился к окружающим: «Дивлюсь я вашей трусости: чтобы не пострадать, как я, вы ползаете перед тираном!» — и наконец отгрыз себе язык и выплюнул его тирану в лицо... Гермипп утверждает, будто он был брошен в ступу и забит насмерть» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. IX. 26–27).

Но очень уж много подозрительного (в смысле достоверности) в этом рассказе, — кстати говоря, очень позднем, отделенном многими веками от времен Зенона. Собственно говоря, достоверного-то, похоже, и вовсе нет ничего. Неясно даже имя тирана, который якобы казнил философа. И что Зенон откусил — ухо, нос или язык? И себе или тирану? В общем, полная путаница. А подробность о том, как героя-мыслителя живьем истолкли пестами в ступе (смерть, надо пола-

гать, и вправду страшно мучительная) передается также в связи с некоторыми другими представителями греческой философии, но более поздними, жившими уже в IV в. до н. э. после Сократа. Да и вообще о тиранах, правивших в городах Эллады, об их жестокости любили в последующие времена рассказывать разные ужасы — само слово «тиран» постепенно стало одиозным, каким оно первоначально не было. Большинство подобных историй производят впечатление тенденциозно придуманных.

Одним словом, мужественная гибель Зенона — под вопросом, нет полной уверенности, что она на самом деле имела место. Совсем другое дело — смерть Сократа, тщательно документированная уже его современниками.

Этой смертью восхищались, но далеко не сразу поведению «босоногого мудреца» начали подражать. Например, Аристотель — а он, как-никак, ученик ученика Сократа, — когда против него в Афинах был возбужден судебный процесс, предпочел не искушать судьбу и бежал из города. Очевидно, не ощущал в себе сил проявить такой же героизм.

Позже образ философа как человека, умеющего не только жить, но и умирать достойно, был чрезвычайно популярен среди представителей учения стоицизма. Стоики вообще восхищались Сократом — причем даже не столько как мыслителем, сколько именно как личностью¹. Он как бы воплощал их чаяния о мудреце бесстрашном, идущем на казнь с полным спокойствием, доходящим до равнодушия, — ибо что такое наша брэнная жизнь на фоне вселенской гармонии божественного Космоса? Разумеется, стоикам пришлось несколько «препарировать» реальный образ Сократа, дабы он лучше соответствовал их идеалу: упростить его, лишить некоторых черт, которые приходили в противоречие с их учением, и, в общем, сделать этот образ более «одномерным»².

Стойким (волей-неволей напрашивается каламбур «стойк — стойкий»³), даже презрительным отношением к смерти отличался даже не столько греческий, сколько более поздний — римский стоицизм. Достаточно вспомнить известнейший рассказ о том, как умирал его виднейший представитель Сенека: получив от императора-чудовища Нерона приказ покончить с собой, философ в ванне вскрывает себе вены и, в то время как из его старческого тела не спеша вытекает кровь, до последней минуты беседует с учениками. Ассоциация с Сократом неизбежна...

Собственно, мы хотим сказать, что традиция бестрепетно смотреть в лицо несправедной казни восходит (если не в мировом, то уж, во всяком случае, в европейском масштабе) именно к «босоного-

му мудрецу». От него она перешла к стоикам, а от тех — к ранним христианам. Всем известно из житийной литературы, как их мучили и губили римские власти и как бескомпромиссны были, несмотря ни на что, христианские мученики. Христианство на заре своей истории, несомненно, испытало определенное влияние стоицизма (Энгельс, назвав Сенеку «дядей христианства»⁴, в общем-то, не попал пальцем в небо, как с ним нередко случалось), а тем самым — и влияние Сократа, пусть косвенно.

* * *

Вот уже не в первый раз звучат у нас в связи с Сократом упоминания о христианах, Христе. И ведь действительно, трудно не заметить целого ряда параллелей, которые позволяли называть Сократа «языческим Христом» или «христианином до Христа».

Этическая проповедь. Выдвижение исключительно высоких нравственных требований, которым учитель прежде всего следует сам — и, разумеется, призывает руководствоваться ими же своих последователей. Полный нонконформизм, нежелание и неумение «приспосабливаться». Как результат этого — столкновение с обществом и насильственная смерть.

А само отношение к смерти? Вспомним приводившиеся уже, на первый взгляд, загадочные последние слова Сократа: «Мы должны Асклепию петуха». Настало время пояснить и это. Асклепий — древнегреческий бог медицины, и его считали своим покровителем все больные, желающие исцелиться. Выздоровевший приносил в жертву петуха — это был его благодарственный дар божеству. Получается, Сократ воспринимал свою смерть как исцеление, а значит, жизнь для него была болезнью?! Во всяком случае, так выходит, если следовать интерпретации Платона. Взгляд, в общем-то, тоже вполне соответствующий христианскому: эта религия, как всем известно, считает главной посмертную судьбу человека, а здешнюю краткую жизнь — лишь периодом приготовления к вечной. Другое дело, что мы не можем быть полностью уверены в точности передачи Платоном мысли учителя. Что сам Платон (во всяком случае, в зрелые годы) считал именно так — в этом сомневаться не приходится. Но вот Сократ... Тут есть определенные сомнения, и выше уже говорилось о несоответствиях, которые возникают, если безоговорочно приписать «босоногому мудрецу» подобные воззрения. Но, с другой стороны, полностью придумать данный тезис и беспочвенно приписать его Сократу Платон тоже ведь не мог: среди его читателей были люди, лично знавшие Сократа, и откровенная неправда была бы быстро уличена.

А вот и еще один момент сходства между Сократом и Христом. У проповедника из Галилеи было множество слушателей, но среди них четко выделялась небольшая группа ближайших, самых верных учеников и последователей — апостолов. В случае с Сократом встречаем полную параллель: беседовал он тоже с большим количеством людей, но и у него были свои «апостолы», свой «ближний круг». Эти люди, с которыми «босоногий мудрец» особенно любил общаться, проводя с ними если не все время, то значительную его часть, в большинстве своем уже знакомы нам из предыдущих глав. Впоследствии многие из них продолжили занятия философией и вошли в историю этой дисциплины под общим наименованием сократиков.

Но вот тут-то, сравнивая апостолов Христа с сократиками, натываемся мы и на принципиальнейшее различие, опять коренящееся в цивилизационных несходствах. Как сообщается в Новом Завете, апостолы, потрясенные арестом Иисуса, на первых порах разбежались; Петр даже временно отрекся от учителя. На самой казни из апостолов присутствовал вроде бы один только Иоанн. Но уже вскоре апостолы вновь собрались и не дали погибнуть делу основателя религии — создали христианскую Церковь, некий единый духовный организм.

Совсем иначе получилось с ближайшими учениками Сократа. Вначале они, кажется, не разбежались. Во всяком случае, на казни были многие из них. Правда, сократики ощущали, что Афины им лучше на время покинуть. Озлобление демоса легко могло перекинуться с самого Сократа на его друзей и приверженцев. И они перебрались в соседние Мегары: один из них, Евклид, был гражданином этого полиса, он-то и приютил у себя единомышленников (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 106).

Но в том-то все и дело, что сократики тогда уже перестали (или, по крайней мере, переставали) быть единомышленниками. Очень скоро их кружок распался, их пути разошлись. Каждого ожидала своя судьба, некоторых — славная, а уж известность приобрели почти все. Но не встали они у истоков чего-то мощного и единого — нет, напротив, фактически перессорились друг с другом.

Как сложилась дальнейшая жизнь сократиков — в большинстве случаев известно. Очевидно, вскоре умер самый старый из них — Критон, которого, если продолжать сравнивать учеников Сократа с учениками Христа, в наибольшей степени можно уподобить, пожалуй, Петру — тоже самому зрелому из апостолов, но при этом самому наивному в глубоких богословских вопросах, зато отличавшемуся житейской практичностью.

Коль скоро мы уж приняли эту метафорическую «систему координат», в которой Петру соответствует Критон, то подходящей параллелью для апостола Иоанна, «ученика возлюбленного», будет, несомненно, Платон с его высоким духом и смелыми, имевшими огромное значение прозрениями. Но, впрочем, о Платоне здесь сколько-нибудь детально говорить не будет — мы уже и так достаточно много знаем о перипетиях его биографии после казни учителя. Главным, напомним, было создание Платоном Академии.

А что же остальные сократики? Евклид стал основоположником и главой мегарской философской школы. Он и его последователи, формируя свое учение, ряд положений взяли у Сократа, а ряд — у его вечных оппонентов, софистов. Подобный «синтез» выглядит довольно противоестественно, и тем не менее факт остается фактом. Мегарики (так называют представителей этой школы) усиленно занимались спорами, полагая, что подражают в этом «босоногому мудрецу». Но если у Сократа спор всегда направлен на поиск истины, то споры мегариков — самоцель, досужие словопрения. Чтобы легче побеждать оппонентов, эти философы, в частности, разработали целый ряд софизмов — ловких словесных ухищрений, запутывавших собеседника, но построенных обычно на незаметной подмене понятий. Выше уже упоминались, например, «рогатый софизм» и «критский софизм». В целом мегарская школа не внесла значительного вклада в развитие античной философской мысли.

То же можно сказать о так называемой элидо-эретрийской школе, основанной Федоном, одним из самых молодых учеников Сократа. Об особенностях этой школы вообще известно настолько мало, что вряд ли можно дать ответственную характеристику проповедовавшегося в ней учения.

Некоторые из сократиков, хоть и не встали у начала собственных школ, но все же в той или иной степени прославились. Припоминается прежде всего имя тоже хорошо уже знакомого нам Ксенофонта. Покинув Афины еще до казни Сократа, он тем не менее всегда считал себя его верным учеником. Для творческой же деятельности Ксенофонта было, как известно, характерно стремление к этакому энциклопедическому универсализму. Писал и исторические трактаты, и мемуары, занимался и философией, и экономикой; даже какая-нибудь псовая охота могла для него быть предметом рассмотрения в специальной книге... Но все это, разумеется, вело к некоторой поверхностности. Если в античности Ксенофонта еще рассматривали в числе философов следующего за Сократом поколения (например: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 48–59), то ныне его уже, как правило,

не включают в историю философии, а если и упоминают в соответствующих трудах, то единственно только из-за его «Воспоминаний о Сократе».

Еще одна довольно заметная фигура интересующего нас круга — Эсхин Сократик. Собственной школы не основал, но и занятия философией после смерти учителя не оставил. Пытался совершать философские поездки — так, например, посетил сиракузского тирана Дионисия, визиты к которому стали настоящей модой для философов первой половины IV в. до н. э. Насколько можно судить, Эсхину как-то не везло. Большинство других представителей сократиков относились к нему с неким пренебрежением. Вряд ли из-за его не очень высокого социального происхождения (Эсхин был сыном колбасника, см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 60). Например, Федон был вообще отпущенным на волю рабом, но его авторитета это не умаляло.

Насколько можно судить, Эсхин, будучи человеком застенчивым, прежде всего сам недооценивал собственные способности и не решался конкурировать с более прославленными коллегами: так, он не создал собственной школы потому, что «слишком знамениты были школы Платона и Аристиппа» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 62). И ограничился в основном написанием сократических диалогов. Ни один из этих диалогов не дошел до нас (не считая незначительных фрагментов), в связи с чем приходится выразить глубокое сожаление. Образ Сократа был бы для нас еще многограннее, если бы сохранились свидетельства не только Платона и Ксенофонта, но и других современников «босоногого мудреца» — а Эсхин был его очень хорошим знакомым, даже присутствовал при казни. Есть предположение, что сам жанр сократического диалога изобретен именно Эсхином, а Платон и другие подхватили это нововведение. Во всяком случае, диалоги Эсхина относятся к числу самых ранних: «на него даже наговаривали,.. будто большая часть его диалогов писана на самом деле Сократом, а он раздобыл их у Ксантиппы и выдал за свои» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 60). Разумеется, перед нами — грубое, клеветническое измышление, не имеющее ничего общего с действительностью; оно способно вызвать лишь улыбку, особенно если вспомнить, что сам-то Сократ никаких диалогов вовсе не писал. Но сам факт, что подобное подозрение в плагиате могло возникнуть, свидетельствует, видимо, о том, что Эсхин передавал сократовские взгляды с наибольшей степенью достоверности, не привнося в них ничего «от себя».

Напомним, что даже кожевник Симон, в чью лавку заходил Сократ, вроде бы издал книжку сократических диалогов. Это, похоже, решительно вошло в моду в начале IV в. до н. э., и кто только не писал тогда в этом духе? Упоминаются как авторы подобных произведений фиванцы Симмий и Кебет, присутствовавшие при казни Сократа, и еще какой-то Главкон из Афин (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 124). Известно, что у Платона был родной брат по имени Главкон⁵, причем он тоже принимал участие в беседах с Сократом. Не тождествен ли он автору диалогов, которые были известны под именем Главкона? Предположение соблазнительное, хотя безоговорочно доказать его вряд ли возможно.

* * *

Еще два знаменитых ученика Сократа, уже известные нам и характеризовавшиеся выше как полные антиподы, — Аристипп и Антисфен. Первый — основоположник киренской, или гедонистической школы, признававшей высшим благом удовольствие. Второй стоял у начала школы кинической, наоборот, учившей до минимума ограничивать потребности и даже, в сущности, превращавшей демонстративную неприязнательность и пренебрежение к общепринятым нормам в самоцель. Не случайно впоследствии само слово «кинизм», несколько изменившись через посредство латыни, вошло в современные языки в форме «цинизм». Учеником Антисфена был самый знаменитый киник — всем известный Диоген, тот самый, который жил в бочке и которого, кстати говоря, Платон будто бы называл «спятившим Сократом» (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 54).

Итак, вернемся к прошедшему перед нами разительному различию. Если от Христа пошло единое учение, воплощенное в христианской Церкви, — то от Сократа пошло, можно сказать, великое множество учений и школ. И все эти школы не просто мало в чем коррелируют друг с другом — они постоянно конфликтуют, каждая пытается доказать, что она и именно она верна заветам учителя. Платон враждебно относится к Аристиппу, Антисфен — к Платону... Порой споры идут корректно, вполне «по-джентльменски», как, например, между Платоном и Ксенофонтом: их взгляды на Сократа существенно различались, и оба автора это не скрывали, но тем не менее никогда не переходили на личности, даже не упоминали друг о друге в своих произведениях, — возможно, из той же вежливости, дабы не вступать в базарную перепалку. Были, впрочем, и такие, которые именно перепалки-то и хотели. Например, Антисфен написал

против Платона обличительный памфлет, в котором даже имя своего оппонента изменил грубым и издевательским образом: из Платона сделал «Сафона», что неудобопереводимо, ибо непристойно. Он даже именно так и назвал свое произведение. «Сафон» Антисфена не сохранился, но можно догадываться, в каком тоне там велась полемика. Впрочем, киники на то и были киники, что никакие нормы благопристойности были им не писаны. Киник Кратет, ученик Диогена, ничтоже сумняшеся совокуплялся со своей женой Гиппархией у всех на виду (*Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 97).

Итак, никакого единства, постоянные споры! Здесь во всей полноте проявляется дух античных эллинов с их неистребимой страстью к состязательности в любой сфере жизни и деятельности. В том числе и в сфере философской мысли. Была в высшей степени целостная, как бы изваянная из мрамора фигура Сократа, а оказалась на ее месте пестрейшая амальгама, когда каждый философ брал и развивал ту частичку взглядов и мнений великого учителя, которая ему лично была более по душе. Но ведь именно поэтому к Сократу и восходит практически вся последующая античная философия, какими бы разнообразными, непохожими друг на друга ни были ее многочисленные «ответвления».

СОКРАТ В ВЕКАХ

Сократа не стало — а страсти вокруг его имени продолжали кипеть. Этот «овод», возмущавший спокойствие афинян (мы знаем, что так он сам себя характеризовал), даже и после своей кончины оставался фигурой спорной. В начале IV в. до н. э. софист Поликрат написал специальную речь «Против Сократа» — против уже казненного человека! Приходится сожалеть, что речь эта (точнее выражаясь, это был замаскированный под речь обличительный памфлет) не сохранилась, — из нее мы, наверное, имели бы целостное представление об аргументации тех авторов, которые были противниками «босоногого мудреца».

Дискуссии по поводу оценки сократовской личности и деятельности разворачивались в афинском обществе еще долго, на протяжении ряда десятилетий. Так, более полувека спустя оратор Эсхин (не путать с Эсхином Сократиком) в одной из речей мимоходом, как о чем-то общеизвестном, отзывается о Сократе как о софисте, воспитавшем тирана Крития и казненном по заслугам (*Эсхин*. I. 173).

Но это, впрочем, были уже скорее глухие отголоски былой вражды. Ведь давно уже вступила в действие «тяжелая артиллерия» сократиков. Ученики выпившего цикуту философа на первых порах, как известно, были в растерянности, бежали в Мегары, потом кто-то из них уехал и дальше... Однако прошли какие-нибудь несколько лет после смерти их учителя — и они начали писать и издавать свои сократические сочинения. Есть предположение, что побудительным моментом, «толчком» стало именно издание памфлета Поликрата, наверняка провокационного и по сути, и по форме. Он и вызвал полемику — ведь нужно же было отвечать на высказанные в нем наветы. Сократики не могли потерпеть оскорбления памяти их наставника.

Хоть эти мыслители и разделились на конкурирующие школы, хоть они и спорили, подчас враждовали друг с другом, однако имела вещь, которая всех их объединяла. И это был, разумеется, именно безусловный, благоговейный пиетет перед Сократом. Изображали в своих трудах они его по-разному, но всегда в однозначно-положительном свете, как человека в любом отношении безупречного. По сути дела, создавалась традиция, которую можно было бы сравнить с агиографической — с написанием житий христианских святых.

В литературу IV в. до н. э., таким образом, влился мощный поток произведений, прославлявших Сократа. Среди них встречались краткие и пространные, не блиставшие особым талантом (наверное,

таких, по обыкновению, было большинство) и подлинно гениальные (как шедевры Платона)... Но таких сочинений появились десятки, если не сотни! Они читались, оказывали влияние на общественное мнение, на взгляды образованной публики. И в результате проводимая в них точка зрения на «босоногого мудреца» со временем стала общепринятой. Сократ был, фигурально выражаясь, канонизирован.

Этот его чрезвычайно светлый образ фигурирует в философской и общекультурной традиции вплоть до конца античности. Да и позднее тоже. В эпоху Средневековья, если о Сократе вспоминали (а это случалось, понятно, несравненно реже в силу совершенно изменившихся исторических условий), также видели в нем фигуру весьма положительную.

Вот величайшее произведение позднесредневековой литературы — всем известная «Божественная комедия» Данте. В ее колоссальном «космосе», вместившем в себя очень многое, находится место и для античных философов. Поскольку они жили еще до Рождества Христова и, естественно, могли быть только язычниками, для христианина Данте единственно подходящее им место — ад, а не рай и даже не чистилище. Но, с другой стороны, поскольку они отличались личной праведностью, высокой мудростью и заслуги их несомненны, Данте не может допустить, чтобы эти люди подвергались загробной каре. И, соответственно, помещает их в Лимб — первый круг ада, его самую «щадящую» область. Там нет мучений, там мыслители, насколько судить, занимаются привычным делом — беседуют друг с другом. Возглавляет их Аристотель, которого в средние века особенно ценили и который был тогда настолько знаменит, что Данте даже не считает нужным назвать его имя: и так все поймут, о ком идет речь.

Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей мудролюбивой окружен.

К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,

Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит...

(Данте. Ад. IV. 130 сл.)

Как видим, в произведении итальянского поэта Сократ на очень почетном месте, в непосредственной близости от Аристотеля.

В чем-то как будто иллюстрацией к этому описанию выглядит знаменитая фреска «Афинская школа», выполненная примерно два века спустя соотечественником Данте — не менее великим Рафаэлем. Фреска призвана символизировать собой всю древнегреческую философию времен ее расцвета. Центром композиции являются, естественно, фигуры Платона и Аристотеля, чинно и величаво ведущие беседу «о горнем и дольном», что отражается в характере их жестов. А поблизости, левее — вот он, Сократ! Сразу бросается в глаза его неповторимая внешность, которую живописец запечатлел более чем узнаваемо: лысина, крутой нависший лоб, глаза навывкате, короткий вздернутый нос... «Босоногий мудрец» занят своим привычным делом: спорит, оживленно жестикулируя, с группой слушателей. В отличие от Платона и Аристотеля, в его облике нет ни величавости, ни спокойствия; напротив, он весь — борьба.

Интересно, что «Афинская школа» была написана Рафаэлем в папском дворце в Ватикане, на стене рабочего кабинета главы Римской церкви. И это ясно свидетельствует: времена изменились, на смену Средневековью пришло Возрождение. Данте уважает эллинских мыслителей, но для него они в первую очередь язычники, и он помещает их все-таки в ад. В эпоху Рафаэля уже считается возможным изобразить их в «святая святых» католицизма!

Интересу итальянцев к греческой философии в целом и к Сократу в частности удивляться не приходится: как-никак они — потомки римлян и в этом качестве — прямые наследники античности. Гораздо более поразительно, что в те же самые времена, когда писал Рафаэль, т. е. в начале XVI в., аналогичный интерес рождается и на далекой Руси! У нас, в Москве, тоже появляются изображения так называемых «внешних мудрецов», т. е. языческих, эллинских философов и писателей, живших еще до появления христианства.

Более того, и здесь, как в Риме, мы встречаем их на стенах религиозного по назначению здания, Благовещенского собора в Кремле¹. Фрески с мудрецами помещены в галерею храма; и по сей день любой посетитель может их увидеть. Тут и Платон, и Аристотель, и историк Фукидид, и другие... Разумеется, в их числе — и Сократ. В руках каждого из древних греков — свиток с изречениями, которые, очевидно, в Древней Руси соотносились с их именами.

На свитке, который держит Сократ, читаем: «Доброго мужа никакое зло не постигнет. Душа наша бессмертна. По смерти будет добрым награда, а злым — наказание». Разумеется, это не дословные цитаты из Сократа (да таких цитат, как мы знаем, и быть не могло,

за неимением у Сократа философских трудов). Тем не менее нельзя не заметить, что в целом здесь достаточно адекватно представлены некоторые сократовские взгляды — в той форме, как их донес до последующих поколений Платон.

Фрески с философами в Благовещенском соборе — это, бесспорно, культурная и историческая загадка. Ведь, в отличие от Западной Европы, в нашей стране в ту пору не было Ренессанса, характеризовавшегося секуляризацией, «обмирщением» всей жизни общества, в том числе даже и самой Церкви. В Риме уже вовсю появлялись «папы-гуманисты», а в России устои традиционной веры были еще более чем крепки.

Почему же в храме изображения язычников (пусть даже и великих)? Пожалуй, здесь самое время вспомнить, что при создании архитектурно-художественного комплекса Московского Кремля самым активным образом привлекались мастера из Италии. При их ведущем участии были построены соседние Успенский и Архангельский соборы. Благовещенский, правда, возведен отечественными (псковскими) зодчими. Но ведь само присутствие итальянцев должно было создавать особую атмосферу на кремлевской Соборной площади, тогда представлявшей собой огромную стройплощадку. Невозможно представить, чтобы гости из южноевропейской страны не приносили с собой что-то от того духа Возрождения, который царил на их родине.

* * *

Итак, шли века, а отношение к Сократу не менялось. В одни эпохи его понимали лучше, в другие — хуже, но почтение к самому его имени оставалось неизменным. В какой-то степени он попал в положение «неприкосновенных», тех, о ком говорить плохо почти нельзя. Это — один из великих и славных героев человеческой истории...

Во второй половине XIX века нашелся человек, который самым решительным образом бросил вызов этому всеобщему благодушию. Речь идет, разумеется, о Фридрихе Ницше — одной из самых колоритных и даже скандальных фигур в истории философии, мыслителе, постоянно и совершенно сознательно эпатировавшем «почтеннейшую публику» предельной жесткостью и беспощадностью парадоксально-заостренных суждений. Само явление Ницше в эпоху, когда, казалось, всецело господствовал позитивизм, было подобно «грому с ясного неба». Тут проповедуют веру во всемогущество науки и бесконечный прогресс — и вдруг некто начинает в полный голос вещать о «сверхчеловеке» и открыто называть себя нигилистом.

У Ницше с Сократом были, если так можно выразиться, совершенно особые отношения — такие, каких, наверное, не было почти ни

у кого и никогда. Если почитать то, что пишет немецкий мыслитель о «босоногом мудреце», создается полное впечатление: не иначе, тут самая настоящая личная вражда. Личная вражда между людьми, которые не только не знакомы друг с другом, но и разделены двумя с лишним тысячелетиями?! А вот однако же:

«... Я опознал Сократа и Платона как симптомы гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков... Был ли Сократ вообще греком? Безобразие является довольно часто выражением скрещенного, *заторможенного* скрещением развития... На *décadence* (т. е. упадок, декаданс. — И. С.) указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также суперфётация (преувеличенное развитие. — И. С.) логического и характеризующая его *злоба рахитика*. Не забудем и о тех галлюцинациях слуха, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демоний Сократа». Все в нем преувеличено, *buffo*, карикатура, все вместе с тем отличается скрытностью, задней мыслью, подземностью... Сократ был шутком, *возбуждившим серьезное отношение* к себе... Сократ был недоразумением; *вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением...*»².

Все эти яркие, характерные цитаты взяты лишь из одного небольшого эссе «Проблема Сократа», вошедшего в труд «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» и написанного, как часто у Ницше, в форме серии афоризмов — броских донельзя и как бы не требующих доказательства. Помнится, когда автор этих строк впервые (было это еще в его студенческую пору, в 1980-е) прочел подобное во взятом у кого-то на время «контрабандном» томике Ницше, тогда еще отнюдь не выдававшегося в библиотеках всем желающим, было ощущение какой-то ошарашенности: вот уж воистину «философствование молотом»... Хотя и о Сократе я тогда, конечно, мало что знал, но чувствовал: творится какая-то грандиозная несправедливость.

Впрочем, по большому счету, и в других своих произведениях «певец белокурой бестии» отзывался о Сократе не лучше — разве что несколько более корректно, без откровенных оскорблений. И если называть вещи своими именами, в некоторых точных и метких наблюдениях в приведенных цитатах Ницше не откажешь. Более того, его неприязнь к Сократу — не какой-то произвольный каприз, а органичная часть всего его мировоззрения, в частности, той картины Древней Греции, которую он создал и показал своим читателям. Картины на тот момент новой, необычной до неприемлемости (не случайно другой немец — Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф, крупнейший в мире из современников Ницше специалист по антич-

ной Элладе, — выступил против своего соотечественника с самой жесткой критикой), а ныне, в общем-то, не вызывающей уже такого отторжения и скорее ставшей элементом общепринятых представлений. Кто не слышал о борьбе «аполлонического» и «дионисийского» начал в духовной жизни эллинов? А ведь это — открытие именно Ницше³. До него ни о чем подобном никто и не подозревал, греков изображали односторонне-гармоничными, без какого-либо внутреннего конфликта.

Ницше — поклонник архаической, аристократической Греции, которая видится ему неким монолитным единством (в этом плане, кстати, его наследник — Хайдеггер). Сократ — разрушитель этого единства, тот, кем посеян «червь сомнения», разъедающий с тех пор западную цивилизацию. «С появлением Сократа... побеждается *аристократический вкус*; чернь всплывает наверх с диалектикой»⁴. Традиционное ницшеанское презрение к «черни»; напомним, что и самого-то Сократа Ницше без обиняков причислял к оной (хотя, как мы попытались показать в одной из первых глав, это всего лишь характерное заблуждение, а на самом деле происхождение философа было вполне благородным).

Но все же, несомненно, что-то глубоко личностное ощущается в ожесточенных напаках Ницше на Сократа; тут, похоже, не только разница мировоззрений. Рискнем предположить, что немецкий мыслитель видел в греческом... конкурента! Ницше воспринимал себя как «пророка Диониса», именно ему, повторим, принадлежит честь открытия «дионисийского» начала в древнегреческой цивилизации. Когда он под конец жизни сошел с ума, то даже вообразил себя не кем иным, как Дионисом. Ну, а о связи Сократа с Дионисом неоднократно говорилось выше. Два великих «дионисийствующих философа», похоже, не могли ужиться, как два медведя в одной берлоге.

Обратим внимание еще вот на какое обстоятельство. Сократ, несомненно, был ненавистен Ницше еще и тем, что он слыл «языческим Христом», одним из духовных предтеч христианства — да и на деле был таковым. Для Ницше же христианство — эта «религия слабых», «религия рабов» — тоже было одним из источников постоянного раздражения. В одной из приведенных чуть выше цитат мы могли видеть, как выпад против Сократа прямо сочетается с выпадом против христианства.

Между прочим — вот еще один парадокс — в силу общей антихристианской подоплеки странным образом коррелируют негативная оценка Сократа со стороны Ницше и не менее негативная оценка того же мыслителя со стороны многих советских ученых-марксистов.

стов. Вот несколько выписок из главы о Сократе в академической «Истории философии», изданной в сталинские времена:

«Сократ — представитель идеалистического религиозно-нравственного мировоззрения, открыто враждебного материализму. Впервые именно Сократ... выступил против античного материалистического понимания, естественно-научного знания и безбожия... Кружок Сократа имел ярко выраженный антидемократический характер, был центром идеологической борьбы против афинской демократии... Основной причиной знаменитого процесса Сократа была антидемократическая пропаганда, проводившаяся афинским философом... Идеологи реакционной аристократии принадлежали к сократовскому кружку, все они крепкими нитями были связаны с афинским философом-идеалистом... Сократ — принципиальный враг изучения природы. Работу человеческого разума в этом направлении он считает нечестивым и бесплодным по результатам вмешательством в дело богов... Нужны гадания, а не научные исследования, чтобы получить указания богов относительно их воли. И в этом отношении Сократ ничем не отличался от любого невежественного жителя Афин... Телеология Сократа выступает в крайне примитивной форме... Сократ на стороне отсталой деревни — против города с его ремеслами, промышленностью и торговлей»⁵.

Конечно, в главе все-таки оговаривается, что Сократ был «выдающимся афинским философом»⁶. Но ведь и Ницше признавал и не мог не признавать, что «босоногий мудрец» — фигура очень крупного масштаба. Однако в целом как для Ницше, так и для философов-большевиков Сократ — враг, это совершенно очевидно из общего духа высказываний. Неприязнь по отношению к нему даже не скрывается. Как тут не вспомнить о том, что некоторые виднейшие деятели большевистской культуры (Горький, Луначарский) в молодости активно увлекались ницшеанством...⁷

Правда, для Ницше Сократ — «декадент», а для марксистов, напротив, «реакционер», т. е., на первый взгляд, вроде бы имеет место диаметрально расхождение. Но противоположности часто сходятся — и вот в обоих случаях афинский философ осуждается за то, что он был религиозным человеком, врагом безбожия.

Негативная по отношению к Сократу тенденция зародилась, как мы знаем, еще при его жизни, одновременно с позитивной, если не раньше. Ее первый известный представитель — комедиограф Аристофан. В XIX–XX вв. мы видим как бы возрождение этой «аристофановской линии». Конечно, в весьма своеобразно преломленном виде: у Аристофана-то Сократ выступает как раз отъявленным безбожником.

* * *

«Года минули, страсти улеглись...». Теперь уже, конечно, не встретишь столь крайних, односторонних суждений о «босоногом мудреце» и его учении. Не раз нам на протяжении книги доводилось приводить цитаты из работ А.Ф. Лосева, исключительно тонко понимавшего как античную философию в целом, так и деятельность Сократа в частности. Одной из таких цитат мы и закончим свой рассказ:

«Сократ... получил общеантичное значение, несмотря на пеструю смену самых разнообразных эпох, прошедших от его смерти до конца античного мира. Мало того, он остался глубоко привлекательным мыслителем, можно сказать, на все времена»⁸.

Основные даты, связанные с жизнью и деятельностью Сократа

- 469 г. до н. э. — в Афинах, в семье Софрониска и Фенареты родился Сократ.
- 460-е гг. до н. э. — Лидерство Кимона в Афинах. Победа Кимона над персами при Евримедонте. Начало благоустройства Афин.
- 461 г. до н. э. — изгнание Кимона из Афин. Судебная реформа Эфиальта. Начало преобладания Перикла.
- 460–446 гг. до н. э. — Первая (Малая) Пелопоннесская война.
- 450-е гг. до н. э. — демократические реформы Перикла.
- 450 г. до н. э. — смерть Кимона.
- Около 450 г. до н. э. — визит в Афины Парменида и Зенона Элейского, встреча Сократа с ними. Родились Алкивиад и Критий.
- 449 г. до н. э. — окончание Греко-персидских войн.
- 447 г. до н. э. — Алкивиад остается сиротой и попадает под опеку Перикла.
- 446 г. до н. э. — «Тридцатилетний мир» Афин со Спартой.
- Около 446 г. до н. э. (?) — родился Антисфен.
- 445 (или 430) г. до н. э. — родился Ксенофонт.
- Около 444 г. до н. э. — родился Федр.
- 443 г. до н. э. — основание колонии Фурии в Италии при участии Протагора, Геродота и др.
- 440–439 гг. до н. э. — восстание Самоса и его подавление Периклом.
- Около 440 г. до н. э. — родилась Ксантиппа, будущая жена Сократа. Родился Аристипп.
- 430-е гг. до н. э. — знакомство и сближение Сократа и Алкивиада.
- 432 г. до н. э. — Сократ участвует в походе на Потидею.
- Около 432 г. до н. э. — закон Диопифа против философов. Изгнание Анаксагора. Протагор в Афинах, беседа Сократа с ним.
- 431 г. до н. э. — начало Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой.
- 430 г. до н. э. — начало эпидемии в Афинах. Суд над Периклом.
- 429 г. до н. э. — смерть Перикла. Падение Потидеи.
- Около 428 г. до н. э. — смерть Анаксагора.
- 427 г. до н. э. — родился Платон.
- 425 г. до н. э. — увеличение форося по инициативе Клеона. Захват Пилоса.
- Около 425–420 гг. до н. э. — брак Сократа и Ксантиппы.
- 424 г. до н. э. — Сократ участвует в сражении при Делии. Взятие афинянами Киферы. Поход Брасида на северное побережье Эгейского моря.
- 423 г. до н. э. — постановка на афинском театре комедии Аристофана «Облака» с критикой Сократа.
- 422 г. до н. э. — Сократ участвует в сражении при Амфиполе. Пир у Каллия с участием Сократа.

421 г. до н. э. — «Никиев мир».

418–416 гг. до н. э. — Аристофан работает над второй редакцией комедии «Облака».

416 г. до н. э. — пир у Агафона с участием Сократа. Триумф Алкивиада на Олимпийских играх.

Около 416 г. до н. э. — у Сократа и Ксантиппы родился сын Лампрокл.

415 г. до н. э. — начало Сицилийской экспедиции. Алкивиад осужден и переходит на сторону Спарты.

Около 415 г. до н. э. — родился Теэтет.

414 г. до н. э. — комедия Аристофана «Птицы».

413 г. до н. э. — провал Сицилийской экспедиции. Спартанцы захватывают Декелею.

Около 412 г. до н. э. (?) — суд над Протагором.

411 г. до н. э. — олигархический переворот в Афинах, установление и свержение режима «Четырехсот». Казнь Антифонта.

410 г. до н. э. — восстановление демократии.

Около 410 г. до н. э. — у Сократа и Ксантиппы родился сын Софрониск. Смерть Протагора.

409 г. до н. э. — Афины теряют Пилос. Стратег Анит под судом, но оправдан.

407 г. до н. э. — Алкивиад триумфально возвращается в Афины.

406 г. до н. э. — сражение при Аргинусских островах. Суд над стратегами-победителями; Сократ противится произволу демоса.

405 г. до н. э. — комедия Аристофана «Лягушки». Решающее поражение афинского флота при Эгоспотамах.

404 г. до н. э. — окончание Пелопоннесской войны, капитуляция Афин. Новый олигархический переворот, правление «Тридцати тиранов».

Около 404 г. до н. э. (?) — введение цикуты как средства казни в Афинах.

Конец 404 или начало 403 г. до н. э. — убийство Алкивиада. Казнь Ферамена.

403 г. до н. э. — гибель Крития. Восстановление демократии. Амнистия.

Около 402 г. до н. э. — у Сократа и Ксантиппы родился сын Менексен.

401 г. до н. э. — Ксенофонт покидает Афины.

399 г. до н. э. — суд над Сократом и его казнь.

Краткая библиография

Васильева Т. В. Афинская школа философии: Философский язык Платона и Аристотеля. М., 1985.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Жебелев С. А. Сократ. Берлин, 1923.

Зберовский А. В. Сократ и афинская демократия (социально-философское исследование). Красноярск, 2007.

Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). М., 1997.

Кессиди Ф. Х. Сократ. 2-е изд. М., 1988.

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993.

Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Маффу А.-И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998.

Нерсесянц В. С. Сократ. М., 1977.

Платон. Собрание сочинений в четырех томах. М., 1990–1994.

Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э. М., 2002.

Фролов Э. Д. Огни Диоскуров: Античные теории переустройства общества и государства. Л., 1984.

Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. М., 2000.

Примечания

ЗНАКОМЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ

¹ В ссылках на античных авторов римская цифра обозначает номер книги, первая арабская цифра — номер главы внутри книги, вторая арабская цифра (если есть) — номер параграфа внутри главы. На некоторые источники (прежде всего труды Платона и Аристотеля) принято ссылаться иначе, при помощи особой нумерации. В ссылках на стихотворные произведения арабская цифра обозначает номер стиха (строки). Для фрагментарно сохранившихся сочинений указывается номер фрагмента и обозначается издание, по которому фрагмент приводится (например, «Демокрит, фр. В 304 Diels — Kranz» означает, что Демокрит (от этого философа полностью не сохранилось ни одного произведения) цитируется по «Фрагментам досократиков» Г. Дильса и В. Кранца, причем приводится фрагмент, который в этом издании носит номер В 304.

² Иногда считают, что ничего не писал также Диоген, тот самый, который жил в бочке (он был учеником Сократа во «втором поколении», т. е. учеником его ученика). Однако это не так: известен перечень трудов Диогена, хоть и не сохранившихся до наших дней (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 80).

³ Об этом процессе см.: *Wallace R. W. Speech, Song and Text, Public and Private: Evolution in Communications Media and Fora in Fourth-Century Athens // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr. Stuttgart, 1995. S. 199–217.*

⁴ *Рожанский И. Д.* Сократ // *Философский энциклопедический словарь.* 2-е изд. М., 1989. С. 599.

⁵ Наиболее подробную сводку свидетельств источников о «семи мудрецах» см.: *Snell B. Leben und Meinungen der Sieben Weisen. 3. Aufl. München, 1952.*

⁶ Ср.: *Шичалин Ю. А.* История античного платонизма в институциональном аспекте. М., 2000. С. 109.

⁷ Как известно, древние греки на пирах не сидели за столами, а возлежали на ложах.

⁸ Слова «афинский» и «аттический» — синонимы: Аттика — название той области Греции, главным городом которой были Афины.

⁹ Об этой школе см., в частности: *Васильева Т. В.* Афинская школа философии: Философский язык Платона и Аристотеля. М., 1985.

¹⁰ *Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher. Ithaca, 1991. P. 82.*

¹¹ Например: *Кессиди Ф. Х.* Сократ. 2-е изд. М., 1988.

¹² Например: *Нерсисянц В. С.* Сократ. М., 1977.

¹³ В частности, ярко и живо написана большая глава о Сократе в книге: *Фролов Э. Д.* Огни Диоскуров: Античные теории переустройства общества и государства. Л., 1984. С. 60–134.

¹⁴ *Vlastos G. Op. cit. P. 79.*

МНОГОЛИКИЙ СОКРАТ

¹ Заметим здесь, что неверно распространенное мнение, согласно которому диалог — обязательно беседа двух людей, а если разговаривают трое или больше — это должно называться как-то по-другому. Отнюдь нет: диалог противопоставляется монологу (речи одного) и предполагает разговор с любым количеством участников. Первая часть «диа-» в этом греческом по происхождению слове происходит не от числительного «два», как иногда думают, а от приставки со значением «между».

² Так переводчик передал выдуманное Аристофаном забавное словечко «фронтистерий» — буквально «место, где размышляют».

³ Херефонт был родом из аттического дема (округа) под названием Сфетт. О Херефонте подробнее см.: *Nails D. The People of Plato: The Prosopography of Plato and Other Socratics. Indianapolis, 2002. P. 86–87.*

⁴ *Лурье С. Я. Новый оксиринхский отрывок // Известия РАН. 1918. № 15. С. 1601–1602.*

⁵ Об образе Сократа у Аристофана написано немало. См., например: *Соболевский С. И. Сократ и Аристофан // Ученые записки Московского городского педагогического института. Т. 6. М., 1947. С. 7–32; Strauss L. Socrates and Aristophanes. N.Y.; L., 1966; Okál M. L'attitude d'Aristophane envers Socrate // Sbornik filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava). 1967. Roč. 17. S. 107–124; Adkins A. W. H. Clouds, Mysteries, Socrates and Plato // Antichthon. 1970. Vol. 4. P. 13–24.*

⁶ *Storey I. Poets, Politicians and Perverts: Personal Humour in Aristophanes // Classics Ireland. 1998. Vol. 5. P. 85–134; Stark I. Athenische Politiker und Strategen als Feiglinge, Betrüger und Klaffärsche. Die Wannung vor politischer Devianz und das Spiel mit den Namen prominenter Zeitgenossen // Spoudaio geloion: Form und Funktion der Verspottung in der aristophanischen Komödie. Stuttgart — Weimar, 2002. S. 147–167.*

⁷ *Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. К древней аттической комедии теория Бахтина была нами применена в работе: Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н. э. М., 2002. С. 273 сл.*

⁸ *Halliwell S. Comic Satire and Freedom of Speech in Classical Athens // Journal of Hellenic Studies. 1991. Vol. 111. P. 48–70; Wallace R. W. Law, Attic Comedy, and the Regulation of Comic Speech // The Cambridge Companion to Ancient Greek Law. Cambridge, 2005. P. 357–373.*

⁹ Подробно о его жизни, деятельности, литературном творчестве см.: *Фролов Э. Д. Указ. соч. С. 135–167.*

¹⁰ Оригинальные названия двух последних — «Экономик» и «Апология Сократа». Мы называем их так, как они озаглавлены в русском переводе С. И. Соболевского.

¹¹ Литература о Платоне воистину необъятна. Для первичного ознакомления можно рекомендовать книгу из серии ЖЗЛ: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 1993.

¹² Соболевский С. И. Комментарии // Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. М., 1993. С. 341.

¹³ Суриков И. Е. Геродот. М., 2009. С. 372 слл.

¹⁴ Vlastos G. Op. cit. P. 48–49.

¹⁵ Подробнее см.: Суриков И. Е. Адам и... Адам (К вопросу о специфике гендерных ролей в условиях античного греческого полиса) // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2006. № 12. С. 23–47.

¹⁶ Piérart M. Du règne des philosophes à la souveraineté des lois // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 249–268.

¹⁷ Такого мнения придерживался, например, Х. Теслеф, а этим ученым предложена хронология произведений корпуса Платона (разработана в монографии: Thesleff H. Studies in Platonic Chronology. Helsinki, 1982), которая ныне является одной из самых авторитетных.

СЫН КАМЕНОТЕСА И ПОВИТУХИ

¹ О Фемистокле, Аристиде, Кимоне и связанных с ними событиях древнегреческой истории подробнее см.: Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Время расцвета демократии. М., 2008.

² О богатстве Афин на этом этапе Греко-персидских войн см.: Vickers M. Attic Symposia after the Persian Wars // Sympotica: A Symposium on the Symposium. Oxf., 1990. P. 105–121.

³ См. обоснование: Суриков И. Е. Геродот... С. 167 слл.

⁴ Например, такой известнейший историк античной философии, как Э. Целлер, выступал против мнения о том, что Сократ учился у Архелая. См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М., 1996. С. 91.

⁵ Более подробное разъяснение относительно дат с «дробями» мы дали в другой книге из серии ЖЗЛ (Суриков И. Е. Геродот... С. 93–94) и здесь не будем специально на этом останавливаться.

⁶ «Сўда» — анонимный византийский энциклопедический словарь, составленный в X в. н. э. Несмотря на позднюю датировку этого источника, к нему часто обращаются специалисты по античности, потому что в нем содержится немало интересной информации, подчас не сохранившейся у других авторов.

⁷ Schaps D. The Woman Least Mentioned: Etiquette and Women's Names // Classical Quarterly. 1977. Vol. 27. № 2. P. 323–330.

⁸ Matthews E. Making the Book Again // A Lexicon of Greek Personal Names / Ed. by Fraser P. M., Matthews E. Vol. 2. Attica / Ed. by Osborne M. J., Byrne S. G. Oxf., 1994. P. VI.

⁹ Raubitschek A. Phainarete // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Hbd. 38. Stuttgart, 1938. Sp. 1562.

¹⁰ *Нерсесянц В. С.* Указ. соч. С. 5.

¹¹ *Ходза Е. Н.* Гротеск в эллинистической короппластике // Вестник древней истории. 2006. № 3. С. 157.

¹² *Ницше Ф.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 564.

¹³ *Молчанов А. А.* Антропонимия и генеалогия знати в древних Афинах // Ономастика в кругу гуманитарных наук. Екатеринбург, 2005. С. 201–203; *Суриков И. Е.* Античная Греция... С. 82 сл.

¹⁴ См., например: *Wilson N.* Scoliacti e commentatori // Studi classici e orientali. 1983. Vol. 33. P. 83–112.

¹⁵ *Молчанов А. А.* Указ. соч. С. 202.

¹⁶ *Toeppfer J.* Attische Genealogie. В., 1889. S. 168.

¹⁷ В целом о дружбе в античной Греции см.: *Herman G.* Ritualized Friendship and the Greek City. Cambridge, 1987; *Konstan D.* Friendship in the Classical World. Cambridge, 1997.

¹⁸ О статусе наложницы в классических Афинах см.: *Mossé C.* La place de la pallakê dans la famille athénienne // Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1991. S. 273–279.

ПУТЬ К ФИЛОСОФИИ

¹ О древнегреческом воспитании и образовании наиболее подробно см.: *Маффу А.-И.* История воспитания в античности (Греция). М., 1998.

² Хариты (Грации) — в древнегреческой мифологии три второстепенные богини, воплощавшие добрые начала жизни: Аглая, Евфросина и Талия.

³ *Васильева Т. В.* Указ. соч. С. 53 слл.

⁴ Тем более что ему посвящена специальная книга из серии ЖЗЛ: *Арский Ф. Н.* Перикл. М., 1971.

⁵ Подробнее о нем и его учении см.: *Рожанский И. Д.* Анаксагор. М., 1983.

⁶ Сохранившийся фрагмент из его труда Мартин Хайдеггер называет «древнейшим изречением западного мышления» (*Хайдеггер М.* Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. М., 1991. С. 28).

⁷ О Диопифе, его законе и контексте принятия этого постановления см.: *Суриков И. Е.* Эволюция религиозного сознания... С. 86 слл.

⁸ Этого Зенона в научной литературе обычно так и называют Зеноном Элейским, чтобы отличать его от тезки, другого выдающегося философа — Зенона Китийского, основателя стоицизма; тот жил лет на двести позже.

⁹ Не случайно он привлекал особое внимание одного из самых неортодоксальных мыслителей XX века — М. Хайдеггера, посвятившего ему специальную книгу (недавно появился русский перевод: *Хайдеггер М.* Парменид. СПб., 2009). Впрочем, строго говоря, в книге идет речь не столько о Пармениде как таковом, сколько — на его примере — об общих особенностях раннегреческого философского мышления.

¹⁰ *Пушкин А. С.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. М., 1985. С. 358.

¹¹ Комарова В. Я. Учение Зенона Элейского: Попытка реконструкции системы аргументов. СПб., 1988. С. 155.

¹² Об этом авторе см.: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Макробий и Марциан Капелла — философствующие писатели поздней античности // Античность в контексте современности. М., 1990. С. 5–33.

¹³ См.: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Примечания // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 1993. С. 503 (данная точка зрения обозначается, но тут же и отвергается).

¹⁴ Васильева Т. В. Указ. соч. С. 33.

¹⁵ Жмудь А. Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 1994. С. 8.

КРУГ СОБЕСЕДНИКОВ (I): СОФИСТЫ

¹ Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. Л., 1981. С. 152–153.

² Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 115–116.

³ О софистах существует обильная литература. Лучшими работами являются следующие: Kerferd G. B. The Sophistic Movement. Cambridge, 1984; Romilly J. de. The Great Sophists in Periclean Athens. Oxf., 2002.

⁴ Ср.: Маффу А. -И. Указ. соч. С. 81.

⁵ См. по проблеме также: Müller C. W. Protagoras über die Götter // Hermes. 1967. Bd. 95. S. 140–159.

⁶ Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 26.

⁷ Разбор этих влияний см.: Nestle W. Untersuchungen ueber die philosophischen Quellen des Euripides. Lpz., 1902; Verrall A. W. Euripides the Rationalist: A Study in the History of Art and Religion. 2nd ed. N.Y., 1967; Bergson L. Die Relativität der Werte im Frühwerk des Euripides. Stockholm, 1971; Whitman C. H. Euripides and the Full Circle of Myth. Cambridge Mass., 1974; Romilly J. de. La modernité d'Euripide. P., 1986; Shapiro H. A. Myth into Art: Poet and Painter in Classical Greece. N.Y., 1997. P. 160 ff.; Egli F. Euripides im Kontext zeitgenössischer intellektueller Strömungen: Analyse der Funktion philosophischer Themen in der Tragödien und Fragmenten. Lpz., 2003.

⁸ Ср.: Kopff E. C. Nubes 1493 ff.: Was Socrates Murdered? // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1977. Vol. 18. № 2. P. 113–122; Гаврилов А. К. Ученая община сократиков в «Облаках» Аристофана // Некоторые проблемы истории античной науки. Л., 1989. С. 62–77.

⁹ О месте софистов и Сократа в интеллектуальном движении их эпохи см.: Wallace R. W. Plato's Sophists, Intellectual History after 450, and Sokrates // The Cambridge Companion to the Age of Pericles. Cambridge, 2007. P. 215–237.

¹⁰ Winkel L. Das sokratische Paradoxon οὐδείς ἐκὼν ἐξαμαρτάνει und strafrechtliche Zurechnung im Lichte neueren Literatur // Symposium 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1989. S. 109–117.

¹¹ *Farrar C.* The Origins of Democratic Thinking: The Invention of Politics in Classical Athens. Cambridge, 1989.

¹² Например: *Васильева Т. В.* Указ. соч. С. 56.

¹³ *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М., 1990. С. 785.

¹⁴ О роли Горгия в складывании античной риторики см.: *Wardy R.* Rhetoric // Greek Thought: A Guide to Classical Knowledge. L., 2000. P. 465–485.

¹⁵ *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 1. С. 798.

¹⁶ *Gagarin M.* Antiphon the Athenian: Oratory, Law, and Justice in the Age of Sophists. Austin, 2002; *Суриков И. Е.* Antiphonthea II: Антифонт-оратор и Антифонт-софист — два лица или все-таки одно? // *Studia historica.* Т. 7. М., 2007. С. 28–43.

¹⁷ См. наиболее фундаментальное исследование об этом режиме: *Heftner H.* Der oligarchische Umsturz des Jahres 411 v.Chr. und die Herrschaft der Vierhundert in Athen: Quellenkritische und historische Untersuchungen. Frankfurt a.M., 2001.

¹⁸ *Лебедев А. В.* Антифонт // *Философский энциклопедический словарь.* 2-е изд. М., 1989. С. 32.

¹⁹ *Лурье С. Я.* Антифонт: творец древнейшей анархической системы. М., 1925.

КРУГ СОБЕСЕДНИКОВ (II): ДРУЗЬЯ, УЧЕНИКИ, ПОПУТЧИКИ...

¹ *Nails D.* Op. cit.

² См. для первичного ознакомления общую работу вводного характера: *Fossey J. M.* The Study of Ancient Greek Prosopography. Chicago, 1991.

³ Подробному анализу этого диалога специально посвящена книга: *Kraut R.* Socrates and the State. Princeton, 1984.

⁴ Следуем реконструкции биографии Федра, которую принимает Д. Нейлс: *Nails D.* Op. cit. P. 232 ff.

⁵ *Buitron-Oliver D., Camp J. M.* Exhibition Catalogue // The Birth of Democracy. Athens, 1993. P. 123 ff. (фотографии предметов, найденных в мастерской, с комментариями).

⁶ См. хотя бы: *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 2. С. 476–477.

⁷ *Nails D.* Op. cit. P. 274 ff., с аргументацией против этого ошибочного мнения.

⁸ Детальный анализ термина «калокагатия» (от «калос кагатос») см. в работе: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. М., 1994. С. 386–439.

⁹ *Davies J. K.* Athenian Propertied Families, 600–300 B.C. Oxf., 1971. P. 265 ff.; *Nails D.* Op. cit. P. 176 ff.

¹⁰ К их именам принято прилагать дополнительные эпитеты, чтобы не путать их с тезками, прославившимися в иных областях культуры: Евклида — со знаменитым математиком Евклидом, Эсхина — с оратором Эсхином и др.

¹¹ *Nails D.* Op. cit. P. 36.

¹² Мина — древнегреческая мера стоимости, эквивалентная 436 граммам серебра.

¹³ См. вдумчивый анализ этого сюжета у Платона: *Видаль-Накэ П.* Черный охотник: Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001. С. 281 сл., 366 сл.

¹⁴ Например: *Nestle W.* Kritias // *Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur.* 1903. Bd. 11. S. 81–107, 178–199; *Wade-Gery H.N.* Kritias and Herodes // *Classical Quarterly.* 1945. Vol. 39. № 19–33; *Fuks A.* Kritias, Pseudo-Herodes, and Thessaly // *Eos.* 1956. Vol. 48. Fasc. 2. P. 47–50; *Usher S.* Xenophon, Critias and Theramenes // *Journal of Hellenic Studies.* 1968. Vol. 88. P. 128–135; *Momigliano A.* Lebensideale in der Sophistik: Hippias und Kritias // *Sophistik.* Darmstadt, 1976. S. 465–477; *Rosenmeyer T.G.* The Family of Critias // *American Journal of Philology.* 1949. Vol. 70. № 4. P. 404–410; *Sutton D.* Critias and Atheism // *Classical Quarterly.* 1981. Vol. 31. № 1. P. 33–38; *Ungern-Sternberg J. von.* Die Revolution frißt ihre eignen Kinder': Kritias vs. Theramenes // *Große Prozesse im antiken Athen.* München, 2000. S. 144–156.

¹⁵ Например: *Панченко Д. В.* Еврипид или Критий? // *Вестник древней истории.* 1980. № 1. С. 144–162; *Он же.* Платон и Атлантида. Л., 1990; *Фролов Э. Д.* Критий, сын Каллесхра, афинянин, — софист и тиран // *Вестник древней истории.* 2003. № 4. С. 67–89.

¹⁶ Часто в исследовательской и справочной литературе можно встретить указание на время около 460 г. до н. э. как дату рождения Крития (например: *Nails D.* Op. cit. P. 108). Строго говоря, все датировки подобного рода даются вполне гадательно. Нам представляется, что Критий скорее был примерно ровесником Алкивиада: вместе они учились у Сократа, да и вообще в источниках нередко встречаются в связи друг с другом.

¹⁷ Сатирова драма — древнегреческий театральный жанр, промежуточный между трагедией и комедией, но находящийся ближе к последней, содержащий гротескно-комические элементы.

¹⁸ См. сводку свидетельств: *Winiarczyk M.* Wer galt im Altertum als Atheist? // *Philologus.* 1984. Bd. 128. Ht. 2. S. 162–163; *Hesk J.* Deception and Democracy in Classical Athens. Cambridge, 2000. P. 179 ff.

¹⁹ Например: *Nestle W.* Kritias... S. 97 ff.; *Борухович В. Г., Фролов Э. Д.* Античное свободомыслие и атеизм // *Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения.* М., 1986. С. 120–123.

²⁰ *Drachmann A. B.* Atheism in Pagan Antiquity. L., 1922. P. 44.

²¹ *Kerferd G. B.* Op. cit. P. 171.

СОКРАТ И АЛКИБИАД

¹ Впрочем, Алкивиад оказывал чарующее воздействие отнюдь не только на своих современников. Так, в XIX веке им восхищался выдающийся русский мыслитель К. Н. Леонтьев. Об отношении Леонтьева к Алкивиаду см.: *Бердяев Н. А.* Кон-

стантин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли // Н.А. Бердяев о русской философии. Ч. 1. Свердловск, 1991. С. 171.

² Об отношении греков, в частности, афинян, к своим политическим лидерам см.: *Кнох Р.А.* «So Mischievous a Beaste»? The Athenian Demos and its Treatment of its Politicians // *Greece & Rome*. 1985. Vol. 32. № 2. P. 132–161.

³ Мы придерживаемся мнения (впрочем, далеко не все его разделяют), согласно которому автором данной речи, составленной в начале IV в. до н. э., вполне мог действительно быть Андокид. См. аргументацию: *Суриков И.Е.* Остракизм в Афинах. М., 2006. С. 429 слл.

⁴ О посмертной актуальности образа Алкивиада см.: *Bianco E.* L'attualità di Alcibiade nel dibattito politico ateniese all'inizio del IV secolo a.C. // *Rivista storica dell'antichità*. 1992–1993. Vol. 22–23. P. 7–23.

⁵ См.: *Dyson G. W.* ΛΕΟΝΤΑ ΤΕΚΕΙΝ // *Classical Quarterly*. 1929. Vol. 23. № 3/4. P. 186–195; *Суриков И.Е.* Antiphontea III: Друзья и враги Антифонта (просопографический этюд) // *Studia historica*. Т. 8. М., 2008. С. 90 сл.

⁶ *Babelon J.* Alcibiade, 450–404 avant J.-C. P., 1935. P. 7.

⁷ *Taege F.* Alcibiades. München, 1943. S. 235–236; ср.: *Idem.* Charisma: Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes. Bd. 1. Stuttgart, 1957. S. 162. Ср. также весьма высокую оценку Алкивиада в работе: *McGregor M.F.* The Genius of Alcibiades // *Phoenix*. 1965. Vol. 19. № 1. P. 27–46.

⁸ *Hatzfeld J.* Alcibiade. Étude sur l'histoire d'Athènes à la fin du V^e siècle. P., 1940. P. 355; ср.: *Bloedow E.* Alcibiades «brilliant» or «intelligent»? // *Historia*. 1992. Bd. 41. Ht. 2. P. 139 ff.

⁹ *Ellis W. M.* Alcibiades. L.; N.Y., 1989. P. XIX.

¹⁰ *Суриков И.Е.* Алкивиад: афинский денди или первый «сверхчеловек»? // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. М., 2001. С. 198–225.

¹¹ О них см.: *Duff T.* Plutarch on the Childhood of Alcibiades (Alc. 2–3) // *Proceedings of the Cambridge Philological Society*. 2003. Vol. 49. P. 89–113.

¹² Хорег — гражданин, за собственный счет набравший и подготовивший хор для выступления на каком-либо государственном празднестве.

¹³ См. об описываемых событиях: *Bowra C.M.* Euripides' Epinician for Alcibiades // *Historia*. 1960. Bd. 9. Ht. 1. S. 68–79; *Surikov I.E.* Athenian Nobles and the Olympic Games // *Mésogeios*. 2004. Vol. 24. P. 185–208; *Суриков И.Е.* Афинская аристократия и Олимпийские игры (просопографический этюд) // Норция: межвузовский сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения А.И. Немировского. Вып. 6. Воронеж, 2009. С. 21–38.

¹⁴ См. об этой сцене: *Harris E. M.* Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of Nomos // *The Law and the Courts in Ancient Greece*. L., 2004. P. 25.

¹⁵ *Hansen M. H.* The Athenian Assembly: In the Age of Demosthenes. Oxf., 1987. P. 49 ff.

¹⁶ Осада афинянами Потидеи стала, как известно, одним из главных непосредственных предлогов для начала Пелопоннесской войны. Об этом событии см.: *Badian E.* From Plataea to Potidaea: Studies in the History and Historiography of the Pentecontaetia. Baltimore, 1993. P. 138 ff.

¹⁷ См. о них подробно: *Farenga V.* Citizen and Self in Ancient Greece: Individuals Performing Justice and the Law. Cambridge, 2006. P. 471–535.

¹⁸ Об отношениях такого рода см.: *Bremmer J. N.* Adolescents, Symposion and Pederasty // *Sympotica: A Symposium on the Symposion.* Oxf., 1990. P. 138–148. Об истоках таких отношений (инициационные ритуалы) и древнеиндийских параллелях см.: *Семенцов В. С.* Проблема трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты // Восток–Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 5–32.

¹⁹ Об этом произведении см.: *Friedländer P.* Der grosse Alkibiades: Ein Weg zu Plato. Teil 1–2. Bonn, 1921–1923.

²⁰ *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 1. С. 727.

«АФИНСКИЙ СИЛЕН»

¹ *Nails D.* Op. cit. P. 299.

² *Nails D.* Op. cit. P. 183.

³ Ibid.

⁴ *Nails D.* Op. cit. P. 270.

⁵ *Nails D.* Op. cit. P. 203.

⁶ Иное мнение см.: *Nails D.* Op. cit. P. 299–300.

ИСКУССТВО ДИАЛОГА

¹ Персидская царица, жена Дария I и мать Ксеркса, пошедшего походом на Грецию.

² Дионис в этой сцене выступает не в собственном облике, а так сказать, инкогнито, выдавая себя за жреца.

³ *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 2. С. 444.

⁴ *Суриков И. Е.* Эволюция религиозного сознания... С. 211.

⁵ О времени издания труда см.: *Суриков И. Е.* Геродот... С. 361 сл.

⁶ *Суриков И. Е.* Античная Греция... С. 83 сл.

СОКРАТОВСКАЯ ИРОНИЯ

¹ *Vlastos G.* Op. cit. P. 21–44. Именно в этой книге вопрос о сократовской иронии исследован, пожалуй, наиболее удачно.

² *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 14-е изд. М., 1983. С. 225.

³ Например: *Вейсман А. Д.* Греческо-русский словарь. Репринт V издания 1899 г. М., 1991. Ст. 379.

⁴ *Аристотель.* Сочинения в 4 томах. Т. 4. М., 1984.

⁵ См. в данной связи: *Кудрявцева Т. В.* Карать или миловать: чем руководствовались афинские дикасты, вынося приговор // *Studia historica*. 2007. Вып. 7. С. 44–54; *Она же.* Тяжущиеся на беме: речи и поведение сторон в афинском народном суде // *Вестник древней истории*. 2008. № 1. С. 3–18; *Она же.* Народный суд в демократических Афинах. СПб., 2008. С. 224–259.

⁶ Известный трагический актер.

⁷ *Бабичев Н. Т., Боровский Я. М.* Словарь латинских крылатых слов. 3-е изд. М., 1988. С. 713.

ДЕМОНИЙ — БОЖЕСТВЕННЫЙ ГОЛОС

¹ В целом см.: *François G.* Le polythéisme et l'emploi au singulier des mots θεός, δαίμων dans la littérature grecque d'Homère a Platon. P., 1957.

² *Суриков И. Е.* Эволюция... С. 38.

³ *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 1. С. 727.

⁴ См., например: *Васильева Т. В.* Указ. соч. С. 19; *Шичалин Ю. А.* Платон // *Философский энциклопедический словарь*. 2-е изд. М., 1989. С. 479; *Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А.* Примечания... Т. 1. С. 701.

⁵ См. о нем, например: *Caiani G.* Nicia e Alcibiade: il dibattito sull'ἀρχή alle soglie della spedizione in Sicilia (analisi lessicale di Thuc. 6, 9–18) // *Studi italiani di filologia classica*. 1972. Vol. 44. P. 145–183; *Powell C. A.* Religion and the Sicilian Expedition // *Historia*. 1979. Bd. 28. Ht. 1. S. 15–31; *Kagan D.* The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition. Ithaca, 1981; *Buck R. J.* The Sicilian Expedition // *Ancient History Bulletin*. 1988. Vol. 2. № 4. P. 73–79; *Jordan B.* The Sicilian Expedition was a Potemkin Fleet // *Classical Quarterly*. 2000. Vol. 50. № 1. P. 63–79; *Суриков И. Е.* Была ли Сицилийская экспедиция авантюрой? // *Antiquitas aeterna*. 2007. Вып. 2. С. 30–39.

⁶ О соответствующих контрроверзах см.: *Суриков И. Е.* К историко-хронологическому контексту последнего афинского остракизма // *Античность: эпоха и люди*. Казань, 2000. С. 17–27.

⁷ Об этом эпизоде и о позиции Аристодема см.: *Суриков И. Е.* Эволюция религиозного сознания... С. 109 сл.

⁸ В переводе воспоминаний Ксенофонта, выполненном С.И. Соболевским, — Евфидем. Но «Евтидем» и «Евфидем» — просто две равновозможные русские транскрипции одного и того же греческого имени.

⁹ Происходящий из латинского языка термин «дивинация» равнозначен греческому термину «мантика» и означает все то, что относится к предсказаниям будущего, предзнаменованиям, гаданиям и т. п.).

¹⁰ Интересующимся можем порекомендовать компетентные обзоры существующих трактовок демония хотя бы в следующих работах: *Фролов Э. Д.* Огни Диоскуров... С. 102–105; *Кессиди Ф. Х.* Указ. соч. С. 108–114.

¹¹ Подробнее см.: *Зайцев А. И.* Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. 2-е изд. СПб., 2000. С. 106 слл.

¹² Ярхо В. Н. Была ли у древних греков совесть? (К изображению человека в аттической трагедии) // Античность и современность: К 80-летию Ф. А. Петровского. С. 251–264.

¹³ Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1989. С. 594 (статья не подписана).

¹⁴ Auffarth Chr. Aufnahme und Zurückweisung «Neuer Götter» im spätklassischen Athen: Religion gegen die Krise, Religion in der Krise? // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 337–365. В целом о суде над Сократом см.: Scholz P. Der Prozeß gegen Sokrates: Ein «Sünderfall» der athenischen Demokratie? // Große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 157 ff.

НАД ПРОПАСТЬЮ СФИНКСА

¹ Стагиритом часто называют Аристотеля (по месту его рождения — городу Стагиры на северном побережье Эгейского моря).

² Целлер Э. Указ. соч. С. 96–97.

³ Там же. С. 98–99.

⁴ Гомперц Т. Греческие мыслители. Минск, 1999. С. 578 слл.

⁵ Там же. С. 596.

⁶ Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 265.

⁷ Там же. С. 267 слл.

⁸ Там же. С. 283 слл.

⁹ Там же. С. 287–288.

¹⁰ Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). М., 1997. С. 58.

¹¹ Там же. С. 59 слл.

¹² Там же. С. 70 слл.

¹³ Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 51 слл.

¹⁴ Там же. С. 53 слл.

¹⁵ Там же. С. 69.

¹⁶ Там же. С. 78.

¹⁷ Там же. С. 79 слл.

¹⁸ Кессиди Ф. Х. Указ. соч. С. 204 сл.

¹⁹ Там же. С. 206.

²⁰ Там же.

²¹ Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 23.

²² Там же.

²³ Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания... С. 36.

²⁴ Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 23 слл.

²⁵ Там же. С. 29.

²⁶ Там же. С. 33.

²⁷ Там же. С. 34.

²⁸ Фролов Э. Д. Огни Диоскуров... С. 65 сл.

²⁹ Там же. С. 76.

³⁰ Там же. С. 76 сл.

³¹ Аллюзия на слова Сократа у Платона (*Платон*. Теэтет. 147с).

³² Богомолов А. С. Диалектический логос: Становление античной диалектики. М., 1982. С. 213 слл.

³³ Там же. С. 217.

³⁴ Там же. С. 218 сл.

³⁵ Там же. С. 221.

³⁶ Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 211.

³⁷ Там же. С. 217 сл.

³⁸ Об этом тезисе см. также: *Winkel L.* Op. cit.

СОКРАТ И ГОСУДАРСТВО

¹ Делаем это с опорой на нашу книгу: *Суриков И. Е.* Солнце Эллады: История афинской демократии. СПб., 2008.

² *Туманс Х.* Псевдо-Ксенофонт — «Старый олигарх» или демократ? // Вестник древней истории. 2004. № 3. С. 24. Об этой антидемократической тенденции в философской мысли см. также: *Ober J.* Political Dissent in Democratic Athens: Intellectual Critics of Popular Rule. Princeton, 1998; *Idem.* The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory. Princeton, 1999.

³ Например: *Барнс Дж.* Аристотель: краткое введение. М., 2006. С. 162; *Monoson S. S.* Plato's Democratic Entanglements: Athenian Politics and the Practice of Philosophy. Princeton, 2000. Passim. Критику подобного подхода (применительно к Платону) см.: *Rowe C. J.* Killing Socrates: Plato's Later Thoughts on Democracy // *Journal of Hellenic Studies*. 2001. Vol. 121. P. 63–76.

⁴ *Farrar C.* Op. cit.

⁵ *Will W.* Thukydides und Perikles: Der Historiker und sein Held. Bonn, 2003.

⁶ См. к проблеме также: *Raaflaub K. A.* Thucydides on Democracy and Oligarchy // *Brill's Companion to Thucydides*. Leiden, 2006. P. 189–222; *Никитюк Е. В.* Фукидид и афинская демократия // Мнемон. 2008. Вып. 7. С. 119–134.

⁷ Об элитаризме и антидемократизме политических взглядов Сократа см., в частности: *Фролов Э. Д.* Огни Диоскуров... С. 83 слл. См. также в недавней работе: *Зберовский А. В.* Сократ и афинская демократия (социально-философское исследование). Красноярск, 2007. Книга страдает некоторой долей дилетантизма, но сделанные в ней выводы следует признать в целом верными.

⁸ *Vlastos G.* Op. cit. P. 48.

⁹ *Кессиди Ф. Х.* Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М., 1984. С. 37.

¹⁰ См. об этом принципе: *Mulgan R. G.* Lot as a Democratic Device of Selection // *The Review of Politics*. 1984. Vol. 46. № 4. P. 539–560.

¹¹ *Kraut R.* Op. cit. Passim.

¹² Это общераспространенная точка зрения, см., например: *Schütrumpf E.* Politische Reformmodelle im vierten Jahrhundert. Grundsätzliche Annahmen politischer Theorie und Versuche konkreter Lösungen // *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.* Stuttgart, 1995. S. 272–273.

¹³ Об Архите, знаменитом «философе-правителе» Тарента и друге Платона, см.: *Huffman C. A.* Archytas of Tarentum: Pythagorean, Philosopher and Mathematician King. Cambridge, 2005.

¹⁴ *Диллон Дж.* Наследники Платона: Исследования истории Древней Академии (347–274 гг. до н. э.). СПб., 2005. С. 249.

¹⁵ Обычно мы приводим цитаты из сократических сочинений Ксенофонта в классическом переводе С.И. Соболевского, ничего не меняя в нем. Но в данном случае необходимым оказывается принять несколько терминологических поправок Э.Д. Фролова (*Фролов Э.Д.* Огни Диоскуров... С. 90).

¹⁶ Ср.: *Kamtekar R.* The Politics of Plato's Socrates // *A Companion to Greek and Roman Political Thought.* P. 339–352.

¹⁷ См., например: *Нерсисянц В.С.* Указ. соч. С. 51 сл.; *Кессиди Ф.Х.* Сократ... С. 34 слл.

¹⁸ *Фролов Э.Д.* Огни Диоскуров... С. 88.

В ТРУДНУЮ ПОРУ

¹ *Зайцев А.И.* Указ. соч. С. 69 слл.

² Например: *Anderson E. R.* Plato's *Lesser Hippias*: A Neglected Document in Sport History // *Journal of Sport History.* 1981. Vol. 8. № 1. P. 102–110.

³ В связи с данным свидетельством Иона см.: *Fletcher R.* Legwork: Ion's Socrates // *The World of Ion of Chios.* Leiden; Boston, 2007. P. 319–330.

⁴ В другом месте мы высказываем идею, что тогда же Афины впервые заключили договор и со столь известным впоследствии Римом — тогда еще мало чем примечательным италийским городком. См.: *Суриков И.Е.* Два очерка об афинской внешней политике классической эпохи // *Межгосударственные отношения и дипломатия в античности.* Ч. 1. Казань, 2000. С. 95 слл.

⁵ *Calder W. M.* Socrates at Amphipolis (Ap. 28e) // *Phronesis.* 1961. Vol. 6. P. 83–85.

⁶ См. подробнее об этом эпизоде: *Hatzfeld J.* Socrate au procès des Arginuses // *Revue des études anciennes.* 1940. Vol. 42. P. 165–171.

⁷ Например: *Нерсисянц В.С.* Указ. соч. С. 88; *Фролов Э.Д.* Огни Диоскуров... С. 62.

⁸ Ср.: *Соболевский С.И.* Комментарии... С. 294.

⁹ *Нерсисянц В.С.* Указ. соч. С. 88.

¹⁰ *Махлаюк А.В., Суриков И.Е.* Античная историческая мысль и историография. М., 2008. С. 78.

СОКРАТ И «ТРИДЦАТЬ ТИРАНОВ»

¹ Например: *Kraut R.* Op. cit. P. 17 ff.; *Harris E. M.* Op. cit. P. 33.

² Удачное сравнение афинских олигархических режимов V в. до н. э. (перевороты 411 и 404 гг. до н. э.) и IV в. до н. э. (перевороты 322 и 317 гг. до н. э.) см. в работах Г.А. Леманна: *Lehmann G. A.* Überlegungen zu den oligarchischen Machtergreifungen im Athen des 4. Jahrhunderts v.Chr. // *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr.* Stuttgart, 1995. S. 139–150; *Idem.* Oligarchische Herrschaft im klassischen Athen: Zu den Krisen und Katastrophen der attischen Demokratie im 5. und 4. Jahrhundert v.Chr. Opladen, 1997.

³ В частности, для Аристотеля одна из главных черт олигархии как политической системы — именно наличие имущественного ценза (*Schmitz W.* Reiche und Gleiche: Timokratische Gliederung und demokratische Gleichheit der athenischen Bürger im 4. Jahrhundert v.Chr. // *Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr.* Stuttgart, 1995. S. 575).

⁴ Рассуждения (впрочем, вполне гипотетические) о том, почему было выбрано именно это число, см.: *Brock R.* Athenian Oligarchs: The Number Game // *Journal of Hellenic Studies.* 1989. Vol. 109. P. 160–164.

⁵ *Scholz P.* Op. cit. S. 160.

⁶ Ср.: *Pečírka J.* Athenische Demokratie und Fortschrittsdenken gegen Ende des 5. Jahrhunderts v.u.Z.: eine falsche Analogie // *Klio.* 1990. Bd. 72. Ht. 1. S. 198.

⁷ *Havelock E. A.* Why was Socrates Tried? // *Studies in Honour of G. Norwood.* Toronto, 1952. P. 95–109.

СУД НАД ВОЗМУТИТЕЛЕМ СПОКОЙСТВИЯ

¹ Об амнистии 403 г. до н. э. см.: *Dorjahn A. P.* Political Forgiveness in Old Athens: The Amnesty of 403 B.C. Evanston, 1946; *Kuehn J. H.* Die Amnestie von 403 v.Chr. im Reflex der 18. Isokrates-Rede // *Wiener Studien.* 1967. Bd. 80. S. 31–73; *Natalicchio A.* «Μη μνησικακεῖν»: l'amnistia // *I Greci: Storia, cultura, arte, società.* Vol. 2. II. Torino, 1997. P. 1305–1322; *Carawan E.* The Athenian Amnesty and the Scrutiny of the Laws' // *Journal of Hellenic Studies.* 2002. Vol. 122. P. 1–23; *Idem.* Amnesty and Accountings for the Thirty // *Classical Quarterly.* 2006. Vol. 56. № 1. P. 57–76; *Никитюк Е. В.* Афины после свержения тирании Тридцати в 403 г. до н. э. // *История: мир прошлого в современном освещении.* СПб., 2008. С. 152–165.

² Об инциденте с Диагором см. подробнее: *Will W.* Der Untergang von Melos: Machtpolitik im Urteil des Thukydides und einiger Zeitgenossen. Bonn, 2006. S. 59 ff.

³ См. к вопросу: *Панченко Д. В.* Платон и Атлантида...

⁴ Наиболее подробно об этом см.: *Boegehold A. L. et al.* The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimonia (The Athenian Agora. Vol. 28). Princeton, 1995. На русском языке см. также монографическое исследование: *Кудрявцева Т. В.* Народный суд...

⁵ Монетка в три обола (половина драхмы), жалование дикаста за день работы.

⁶ Есть, правда, мнение, что Мелет-младший поэтом не был (*Nails D.* Op. cit. P. 201–202), но оно в явном меньшинстве.

⁷ Термин исключительно удачно предложен У.Р. Коннором (*Connor W. R.* The New Politicians of Fifth-Century Athens. Princeton, 1971) и стал с тех пор общепринятым.

⁸ *Nails D.* Op. cit. P. 37.

⁹ См. подробнее по этому вопросу: *Суриков И. Е.* О некоторых особенностях правосознания афинян классической эпохи // Древнее право. 1999. № 2 (5). С. 34–42.

¹⁰ *Nails D.* Op. cit. P. 189.

¹¹ В связи с этим кругом вопросов см.: *Vernant J.-P.* Myth and Thought among the Greeks. L., 1983. P. 127 ff.

¹² *Платон.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М., 1990. С. 70–96.

¹³ О нем см. также: *Nails D.* The Trial and Death of Socrates // A Companion to Greek and Roman Political Thought. Oxf., 2009. P. 323–338.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ...

¹ В связи с локализацией тюрьмы, в которой сидел Сократ, см.: *Buitron-Oliver D., Camp J. M.* Op. cit. P. 123 ff.

² Высказываемые далее соображения опираются в значительной мере на фундаментальное исследование: *Гаспаров М. А.* Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., 1971.

³ Об изменении взглядов Солона на продолжительность жизни см.: *Доватур А. И.* Феогнид и его время. Л., 1989. С. 118–124.

⁴ О факторах, повышавших продолжительность жизни в Древней Греции, см. также: *Sekunda N. V.* Athenian Demography and Military Strength 338–332 B.C. // Annual of the British School at Athens. 1992. № 87. P. 343.

⁵ *Piérart M.* Op.cit.; *Cohen D.* The Rule of Law and Democratic Ideology in Classical Athens // Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v.Chr. Stuttgart, 1995. S. 227–244.

⁶ Подробнее см.: *Суриков И. Е.* Адам и... Адам...

⁷ См. хотя бы: *Селиванова Л. Л.* Аполлоновы лебеди (К семантике образа в религиозных представлениях античности) // Человек и общество в античном мире. М., 1998. С. 363–397.

«ЯЗЫЧЕСКИЙ ХРИСТОС» И ЕГО АПОСТОЛЫ

¹ См.: *Cullyer H.* Paradoxical *Andreia*: Socratic Echoes in Stoic «Manly Courage» // *Andreia: Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity.* Leiden; Boston, 2003. P. 213–233.

² О стоицизме в целом как определенной вульгаризации предшествующей философской мысли см.: *Шичалин Ю. Ф.* Ἐπιστροφή, или Феномен «возвращения» в первой европейской культуре. М., 1994. С. 18 слл.

³ Хотя, разумеется, термины «стоики», «стоицизм» не имеют никакого отношения к русскому слову «стойкий», но соответствие выглядит настолько удачным, что мало кто этим каламбуром не пользуется. См., например: *Гаспаров М. А.* Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995. С. 287.

⁴ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 19. С. 307.

⁵ *Nails D.* The People... P. 154.

СОКРАТ В ВЕКАХ

¹ *Черная Л. А.* Античность и Древняя Русь // Вечная тайна античности. Ч. 2. М., 1995. С. 118.

² *Ницше Ф.* Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 563–567. Курсив повсюду принадлежит самому Ницше.

³ Сделано им в знаменитом труде «Рождение трагедии» (Там же. Т. 1. С. 47 слл.).

⁴ Там же. Т. 2. С. 565.

⁵ История философии / Под ред. Г.Ф. Александрова и др. Т. 1. Философия античного и феодального общества. М., 1941. С. 133–143.

⁶ Там же. С. 133.

⁷ «Босяки» из ранних рассказов Горького «повторяли немца Ницше» (*Мережковский Д. С.* В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 374).

⁸ *Лосев А. Ф.* Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М., 1990. С. 18.

Содержание

Знакомый и загадочный	5
Многоликий Сократ	15
Сын каменотеса и повитухи	38
Путь к философии	58
Круг собеседников (I): софисты	77
Круг собеседников (II): друзья, ученики, попутчики... ..	96
Сократ и Алкивиад	121
«Афинский силен»	136
Искусство диалога	150
Сократовская ирония	169
Демоний — божественный голос	182
Над пропастью Сфинкса	201
Сократ и государство	220
В трудную пору	240
Сократ и «Тридцать тиранов»	276
Суд над возмутителем спокойствия	289
Последние дни, последние часы... ..	314
«Языческий Христос» и его апостолы	333
Сократ в веках	344

Основные даты, связанные с жизнью и деятельностью Сократа.....	352
Краткая библиография.....	354
Примечания	355

Научное издание

Суриков Игорь Евгеньевич
Сократ

Корректор: Моисеева Т.Г.
Компьютерная верстка: Исакова Т.В.
Группа допечатной подготовки изданий:
Зеленцов П.О.
Коновалова Т.Ю.
Крылов К.А.
Пияева М.В.

Подписано в печать 31.07.2017. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 23,5. Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Академический проект»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».

Отпечатано в областной типографии «Печатный двор»
(открытое акционерное общество),
адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.

**По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:**

телефоны: + 7 495 305 3702, + 7 495 305 6092,
факс: + 7 495 305 6088,
e-mail: info@aproject.ru, zakaz@aproject.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.

Книги издательства «Академический проект»

Суриков И.Е.

Пифагор

(271 с.)

Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы как сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в обиход слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции». А ведь в ходе этой революции и был, по сути, создан фундамент, на котором и поныне зиждется наша цивилизация. О судьбе Пифагора и его идей, а также об Элладе его времени рассказывает книга специалиста по античной культуре, доктора исторических наук И.Е. Сурикова.

**Книги издательства
«Академический проект»**

Бобровникова Т.А.

**Цицерон. Интеллигент в дни революции
(506 с. + 32 п. вкл.)**

Книга посвящена Марку Туллию Цицерону, одному из наиболее выдающихся деятелей Античности. Его имя давно уже стало нарицательным. Гениальный оратор и писатель, чьи произведения послужили образцом для всех последующих поколений, мыслитель и философ, государственный деятель, он был еще и удивительным человеком, готовым пожертвовать всем, в том числе и собственной жизнью, ради блага Римской республики. Автор книги с огромной любовью пишет о своем герое, представляя его в первую очередь творцом, интеллигентом в наиболее полном и глубоком смысле этого слова — интеллигентом, которому выпало жить и служить своей родине в дни тяжелейших общественных потрясений, революции и гражданской войны.